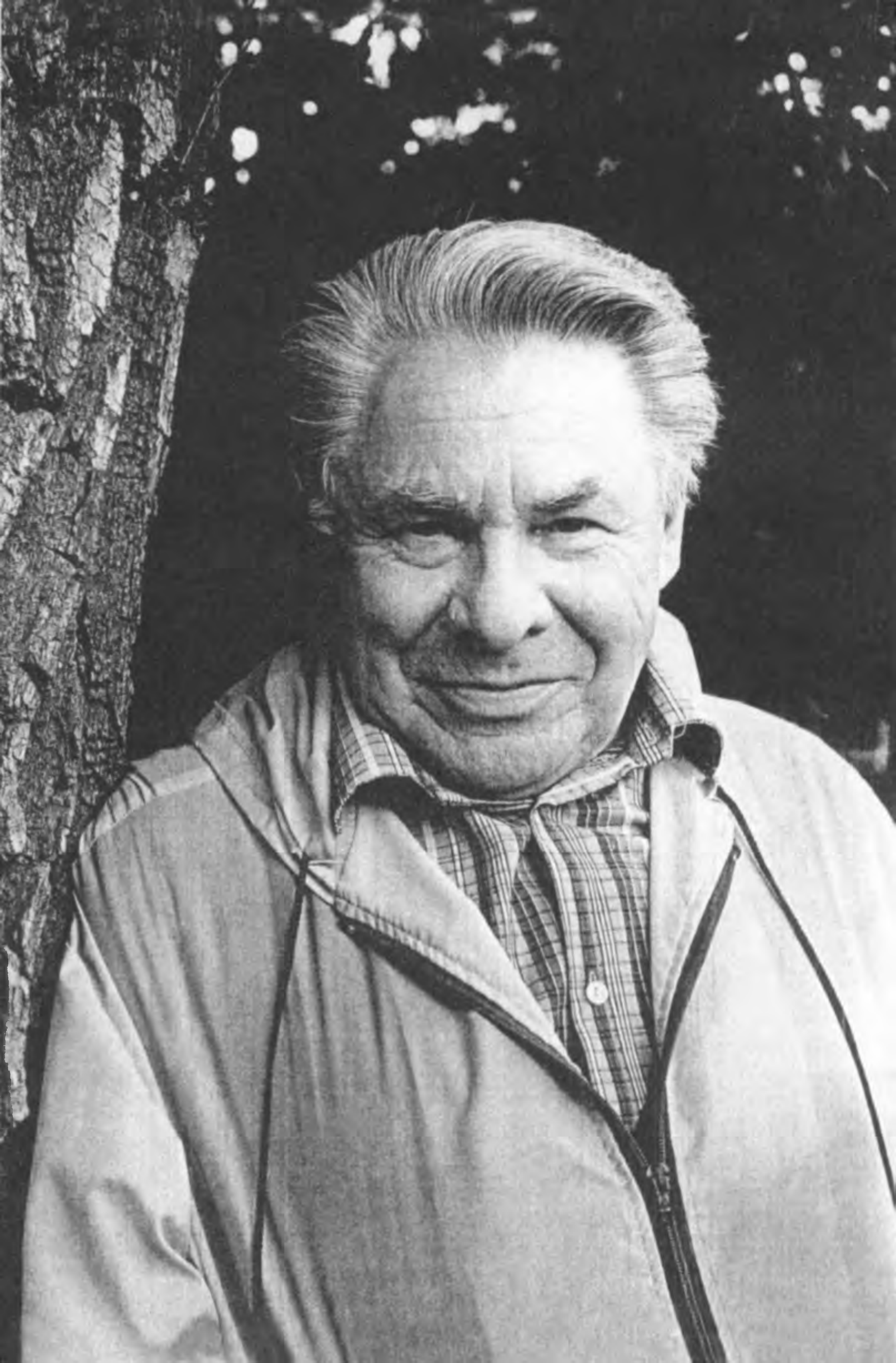
Евгений Носов

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ

EH



Русский Общественный Фонд

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

2001 года

решением Жюри
от 29 января 2001

присуждена

ЕВГЕНИЮ НОСОВУ

**писателю,
чьи произведения в полновесной правде
явили трагическое начало Великой войны,
ее ход, ее последствия для русской деревни
и позднюю горечь пренебреженных ветеранов**

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ

Повести и рассказы

Издательство «Русскій міръ»
ОАО «Московские учебники»

Москва 2005

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Н 84

Серия «Литературная премия Александра Солженицына» основана в 2004 году

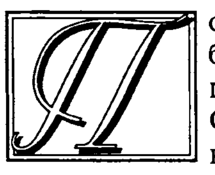
Художественное оформление
В. В. Покатов

В подготовке издания принимал участие
Е. Е. Носов

ISBN 5-89577-069-X

Повести

ШОПЕН, СОНАТА НОМЕР ДВА



осле первых осенних дождей серый пыльный большак почернел, умягчился упруго и был до глянца накатан автомобильными колесами. Сахарозаводский грузовик бежал по нему ходко, почти не гремя бортами, будто по асфальту. В шоферскую кабину никто не стал подсаживаться, всем оркестром в двенадцать человек ехали в кузове на клубных откидных стульях. Здесь, на вольном ветерке, можно было курить, слушать, как Ромка, валторнист, травит свои бесконечные анекдоты, и перешучиваться со студентками, присланными убирать сахарную свеклу. Машина, сверкавшая никелем труб, привлекала девчат, что работали по всей дороге, они отрывались от бурачных куч и с любопытством глядели из-под ладоней, выпачканных землей, на разряженных музыкантов.

— Эй, завлекалки! — задевали их ребята. — Сыграть вам па-де-де? Чтоб веселее работалось?

Ромка хватал с колен валторну и, пузырясь на ветру плащом-болоньей, рвал студеный осенний воздух рублеными пронзительными звуками «Лебединого озера»: «Лата-та-та-та-а-тара-та-а-а...»

В ответ летели бураки, грохали по машине, парни, с хохотом пригибаясь, прятали головы за высокие планчатые борта, а Пашка, схватив тарелки, ловко, по-теннисному, со звоном отбивал ими свеклу.

— Полегче, полегче там! — кричал он с азартом, поправляя сбитую кепку. — Чего урожай расходуете!

— Взяли б да помогли! — кричали девчата. — Ишь, вырядились! Тунеядцы!

Машина проносилась мимо, а по сторонам, зажигаясь шутливой перебранкой, уже бежали по дороге, к грузовику, новые стайки девчат и дружно бомбили кузов бураками.

— Эх, соскочу! — хохотал Пашка. — Ой, поймаю курносую! — Под градом бураков он уже не отбивался, а лишь закрывал лицо тарелками, тогда как Ромка, высунув за борт только один раструб, продолжал неистово дудеть, подзадоривать студенток: «Ти-та-та-та-та-а-а...»

Шофер неожиданно тормознул, в решетке заднего окна показалось его злое лицо.

— Вы что, чокнутые? Стекла побьют!

Дядя Саша, старший в оркестре, от самого завода ехавший стоя, облокотясь о кабину, и тоже во время налета девчат вынужденный пригибать голову, обернулся и осадил парней:

— Хватит вам! Павел, ты как с инструментом обращаешься?

— А что ему сделается? — Пашка с недоумением повертел никелированными дисками. Дядя Саша нахмурился.

— Положи тарелки. Нашел игрушки! И вы тоже — угомонитесь.

— Все, старшой, все!

Ребята нехотя рассаживались по стульям.

А дядя Саша ворчал:

— Разбаловались, понимаешь... Не на свадьбу едем. Понимать надо.

Серенькая, в мелком крапе кепка старшого была надвинута до самых бровей. От встречного ветра фиолетово синели впалые щеки, чисто выбритые перед самым отъездом. Из кармана жесткого шевиотового плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном сатиновом чехольчике. По давней привычке он всегда держал ее при себе.

Ромка снова принялся за свои байки, ребята обступили его, висли на плечах друг у друга, гоготали вовсю. А дядя Саша, расстегнув плащ, из-под которого сверкнула на пиджаке красная орденская звездочка, достал из бокового кармана сигарету и, раскурив ее в затишке, за кабиной, продолжал отрешенно глядеть на бегущую встречь дорогу.

Мимо с глухим ревом и чадными выхлопами прошел КрАЗ. В кузове, наращенном грубыми, неоструганными досками, и в двух его прицепах дядя Саша успел разглядеть серые вороха еще не просохшей свеклы. Следом промчались два голу-

бых близнеца-самосвала — тоже со свеклой, и у обоих на дверцах по белому знаку автотранса. Колхозы спешили, пока позволяла погода, управиться с самой докучливой культурой.

Великая русская равнина в этих местах постепенно начинала холмиться, подпирать небо косогорами, отметки высот уже уходили, пожалуй, за двести метров и выше. В глубокой древности эту гряду холмов так и не смог одолеть ледник, надвинувшийся из Скандинавии. Он разделился на два языка и пополз дальше, на юг, обтекая гряду слева и справа.

И может быть, не случайно на этих высотах, не одоленных ледником, без малого тридцать лет назад разгорелась небывалая битва, от которой, как думалось дяде Саше, спасенные народы могли бы начать новое летосчисление. Враг, грозивший России новым оледенением, был остановлен сначала в междуречье Днепра и Дона, а потом разбит и сброшен с водораздельных высот. В августе сорок третьего, будучи молодым лейтенантом, тогда еще просто Сашей, он заскочил на несколько дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фасе. К маленькой станции Прохоровке, куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов, саперы свозили с окрестных полей изувеченные танки — свои и чужие. Мертво набычась, смердя перегоревшей солияркой, зияя рваными пробоинами, стояли рядом «фердинанды», «тигры», «пантеры», наши самоходки и «тридцатьчетверки», союзные «черчилли», «шерманы», громоздкие многобашенные «виктории». Они образовали гигантское кладбище из многих сотен машин. Среди него можно было и заблудиться.

Дядя Саша курил на ветру, оглядывал высоты, ныне дремлющие под мирными нивами, а сзади него ребята шумно обсуждали какую-то поселковую новость.

— Зойка приехала? — слышался возбужденный Пашкин голос. — Заливаешь?

— Сам видел, — рассказывал Роман. — Юбка — во! До пяток. С каким-то флотским.

— Хахаль небось.

— Да похоже — муж. В универмаге ковер смотрели. Я подхожу: привет, Зоя. А она черными очками зырк-зырк: «Это вы, Рома? Я вас и не узнала. Богатым будете».

— Про меня не спросила? — с неловкостью хохотнул Пашка.

— Нужен ты ей больно!..

Тогда, в Прохоровке, дожидаясь попутной машины домой, на сахарный завод, дядя Саша долго ходил среди танковых завалов. Знойный августовский ветер подвывал в поникших пушечных стволах, органно и скорбно гудел в стальных раскаленных солнцем утробах. Но и мертвые, с пустыми глазницами триплексов, танки, казалось, по-прежнему ненавидели друг друга. Дядя Саша разглядывал пробоины, старался распознать, кто и как обрел свой конец, пока не натолкнулся в одном месте на тошнотворно-сладкую вонь, исходившую от «тигра» с оторванной пушкой. Видно, наши саперы, перед тем как оттащить танк с поля боя, по небрежности не обнаружили внутри, проглядели труп немецкого танкиста. А может, в тот момент он еще и не был трупом...

— Спорим, уведу! — все кричал, горячился Пашка за спиной дяди Саши. — Нет, спорим?!

— Кого, Зойку? От этого морячка? Сядь, не рыпайся.

— Давай на бутылку коньяку. Жорик, будь свидетелем!

— Брось, дело дохлое, — успокаивал Ромка. — Морячок — что надо. Бумажник достал за ковер платить — одни красненькие.

— Плевал я на красненькие. Только пальцем поманю. Я ж с ней первый гулял.

— Ты первый? Ну, трепач!..

Теперь этого танкового кладбища нет. Оно распахано и засеяно, а железный лом войны давно поглотили мартены. Заровняли и сгладили оспяные рытвины от мин и фугасов, и только по холмам остались братские могилы.

Дядя Саша, иногда наведываясь в поля с ружьецом, замечал, как трактористы стороной обводят плуги, оставляют нетронутыми рыжие плешины среди пашни. И как пастухи, выгоняя гурты на жнивье, не дают скотине топтать куртинки могильной травы. Лишь иногда просеменит меж хлебов к такому месту старушка из окрестной деревни, постоит склоненно в немом раздумье и, одолев скорбь, примется выпалывать с едва приметного взгорка жесткое чернобылье, оставляя травку поласковей, понежнее: белый вьюнок, ромашку, синие цветы цикория, а уходя — перекрестит эту траву иссохшей щепотью. Случалось, дядя Саша и сам нечаянно набредал на такой островок, где в жухлой осенней траве среди пашни охотно ютились перепелки, и подолгу задерживался перед ржавой каской, венчавшей могильное изголовье. Иногда сидел здесь, усталый, до самой ве-

черней зари, наедине со своими мыслями, смотрел, как печалью сочатся закаты над этими холмами, и казалось ему, будто зарытые в землю кости все прорастают то тут, то там белыми обелисками и будто сам он, лишь чудом не полегший тогда во рву, прорастает одним из них...

— Дядь Саш! — не сразу услыхал старшой. — А дядь Саш!

Он обернулся и увидел граненый буфетный стакан, протянутый Севой-барабанщиком. Круглое лицо Севы с выступающей из-под берета ровной челочкой было деловито озабоченно. От хода грузовика водка всплескивалась, помачивая половинку соленого огурца, которую он придерживал большим пальцем поверх стакана.

— С нами за компанию, — поддержал Иван, по прозвищу «Бейный», высокий нескладный парень с белесым козьим пушком на скулах, игравший в оркестре на бейном басе.

Дядя Саша чуть было не сорвался, чуть не крикнул на Севу: «Ах ты паршивец! Ты же еще в девятый класс ходишь, еще молоко на губах не обсохло! Выгоню к чертовой матери из оркестра!» Но не выдержал его мальчишески ясного, доброго, терпеливого взгляда, смягчился и только сказал:

— Я не буду. Спасибо.

— Дядь Саш! Ну, дядь Саш! — наперебой загомонили ребята: и Ромка, и альтовик Сохин, и второй тенор Белибин.

Дядя Саша недовольно молчал.

— Ладно тебе, шеф! — с обидой сказал Пашка. — Холодно ведь. До костей продуло. — Он зябко потер ладони. — А ты не будешь, так и мы не будем.

— Нет, ребята, — твердо сказал дядя Саша. — Вы как хотите, а я не могу дышать водкой в мундштук. Мне Гимн сегодня играть, — и отвернулся.

— Так и нам играть! — почему-то обрадовались ребята.

— Что ж теперь, выливать за борт?

— Да заткнитесь вы! — оборвал Ромка.

— Севка! — обиженно крикнул барабанщику Пашка. — Дай сюда стакан! Дай, говорю, — и, досадливо кривясь, целясь из стакана в горло бутылки, зажатой меж колен, обрызгивая брюки, стал переливать водку. — Ну и черт с вами! — ворчал он громко неизвестно на кого. — Все такие идейные стали. Еще попросите, а я не дам.

Въехали в знакомую Тихую Ворожбу. Наново отстроенное село больше не угрюмилось соломенными кровлями. Перед до-

мами за весело раскрашенными штакетниками багряно кучерявилась вишенная молодь. На еще зеленой уличной траве мальчишки, отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли красно-синий мяч с западающими боками. Увидев грузовик с оркестром, они всей ватагой помчались следом, свистя и горланя. И долго еще гналась вслед рыжая собачонка, с хриплым лаем подкатываясь под заднее колесо. Сева, перевесившись через борт, поддразнивал ее, замахиваясь барабанной колотушкой.

— Ну, честное слово, как маленькие, — досадливо обернулся дядя Саша.

Ему почти не верилось, что на этой тихой улочке, по ее мураве, некогда тянулись глинистые, гнойно-желтые рубцы окопных брустверов, звякали под ногами стреляные гильзы и сухой ветер рассевал золу с горячих еще пепелищ.

Громыхнул под колесами расшатанный мостик, внизу холодно блеснула осенняя вода, усыпанная палым листом, и сразу же на той стороне, на взгорке, завиднелись избы, но уже другого села, Заполья, тоже восставшего из праха.

Свернув с большака, проехали еще какие-то деревни и раза два пересекли похожие друг на друга речушки. Они во множестве начинались здесь, среди этих водораздельных высот, и разбегались на все стороны света: одни — на запад, к Днепру, другие — к Дону, иные же, сливаясь с притоками, несли свою ключевую свежесть далекой Волге.

За последней деревней, за сырым кочковатым лугом, выпер очередной увал. Сквозь редкие ольхи чернел он осенней пахотой, был крут и наг, как все здешние высоты, на которых из-за ветров и безводья не принято было устраивать жилья, а лишь ставились в прежние времена ветряные мельницы, сгинувшие бесследно в огне последней войны. Мельниц там больше не возводили, а только под осень выметывали соломенные стога, у которых потом, уже по снегу, мышковали голодные лисы. Отсюда, снизу, казалось, что нахолодавшие облака сизым брюхом задевали неприютную хребтину, и там, на ветряном юру, вдруг стала видна на черной перепаханной земле большая пестрая толпа. Люди вдали безмолвно по-мурашиному копошились, перемешивались на одном и том же пятачке, и оттого порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины. Глядя на этих людей, на их молчаливое топтание в пустынном поле, уже прибранном под зиму, на котором не могло быть никакой работы, никакой причины соби-

раться гуртом, парни в кузове невольно присмирели, поняв, что это и есть то самое место, куда их вез старшой.

Молча въехали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на тряскую пахоту. Чуть поодаль от толпы, за соломенной скирдой, стояли мотоциклы, грузовые машины, прямо на земле лежали велосипеды. У брошенной сеялки белела «Волга». Люди толклись на лоскуте нетронутой желтой стерни, вокруг покрытого брезентом невысокого конуса. Тут же, у подножия, валялись оставшиеся от кладки битые кирпичи, доски опалубки, заляпанные цементом. Школьники в ярких галстуках и белых одинаковых пилоточках старательно собирали весь этот мусор.

К машине с оркестром тотчас подошли несколько человек, и дядя Саша сразу узнал бывших фронтовиков из здешних деревень, с которыми не раз встречался в райбольнице, на втэковских комиссиях. Прямо через борт он обрадованно пожал руку Степану Холодову из Долгушей, Тихону Аляпину с железнодорожного разъезда, однополчанину Федору Бабкину, еще двумтрем незнакомым мужикам и деду Василию, который, не глядя на хромоту, шустро суетился вокруг грузовика.

— Давай, ребята, струмент сюда, — хлопотливо распоряжался дед Василий, ладонью отбивая крючья заднего борта. На нем была артиллерийская фуражка тех лет, еще свежая, незаношенная, должно быть, он берег и надевал ее только по торжественным случаям, а на груди, совсем не по уставу, прямо на новенькой синей телогрейке покачивались белые и желтые медали. — На травку струмент несите, на травку.

Он принял через борт самую большую слепящую никелем трубу и бережно понес ее перед собой, как горячий самовар. Тихон и однорукий Степан потащили за растяжки барабан. Вслед понесли, ближе к обелиску, все остальные дудки и трубы. Тут же, на стерне, уже были разложены рядком еловые венки с яркими бумажными цветами.

— На траве оно мягче, — уважительно приговаривал дед Василий. — Струмент все-таки. Вещь ценная...

По всему было видно, что, кроме оркестра, ждали еще кого-то. Под скирдой в затишке сидели женщины. Возле них гомонили дети, затеяли беготню в салочки вокруг соломы. Тут и там прохаживались принаряженные парни с девчатами. Пашка, а за ним и остальные заводские, словно бы невзначай, подошли к местным. После церемонных рукопожатий парни сразу закури-

ли, и вот уже Роман под одобрительные смешки принялся травить свои байки.

Несколько мужчин, должно быть председатели колхозов, все в коротких плащах и шляпах, обособленно держались возле светлой «Волги». На загорелых шеях белели негнущиеся воротнички нейлоновых сорочек. Они тоже покуривали без нужды и были несколько скованы непривычной торжественностью своей одежды и ожиданием предстоящего.

Фронтовики постояли возле сложенных труб, разглядывая хитросплетения блестящих колен и клапанов, потом, как всегда при встречах, принялись вспоминать, кто и где воевал, докуда дошел, где застала победа.

— У тебя, Федор, помнится, вроде бы «Слава» была? — спросил дядя Саша.

Федор махнул рукой сокрушенно:

— Да не нашел. Кинулся в сундук — вот эти лежат, а «Славы» нету. Небось внук, демоненок, баловался и задевал куда-то. Приставал, помню: дай поносить, дай поносить. Ну, на, говорю, померяй, побудь в героях. А он, вишь, и забельшил невесть куда.

— А то, глядишь, променял дружкам на какую свистульку. — Дед Василий смеялся беззубым ртом. — Понятия никакого нету, чем за это плачено.

— Дак они, медали-то, вроде как уж и без надобности были, — сказал незнакомый дяде Саше мужик в литых резиновых сапогах. — Победу и ту однова забыли спраздновать. Самый для орденов подходящий день. Многие поотвыкли, вроде и совестно выряжаться. Это вот теперь опять надевать начали.

Старые солдаты, смущаясь, исподволь разглядывали друг на друге боевые награды — у кого сколько и какие.

— Медали пришпилить — куда ни шло, — сказал Степан Холодов, взглянув на новую телогрейку деда Василия. — От них на одежке никаких следов не остается. А ежели, к примеру, Красную Звезду, дак эвон какая дырка! К маю купил новый костюм, и сразу задача: надевать орден ай нет? И надеть охота, и костюм дырявить жалко.

— Оно ежели б как раньше: навинтил, да и носи без съему, — поддакнул фронтовик в резиновых сапогах.

— Ну да, ну да, — кивнул Холодов. — Не станешь же потом всякому пояснять, что дырка-то не простая, а почетная.

Солдаты посмеялись незатейливой шутке, и Холодов спросил:

— Ты, Федор, за свою «Славу» сколько получал?

— Уж и не помню... Рублей тридцать, кажись. Еще старыми.

— Выходит, трешку по-нонешнему?

— Дак нынче и вовсе ничего, — заметил Тихон Аляпин.

— Знаю, что ничего. Это я так, прикинуть. А вообще-то надо бы опять платить наградные. Раз уж ордена начали носить.

— Всем платить — ого, сколь надо!

— Да уж сколь? Всего-то рублишко за «Отвагу».

— Тебе рубль да другому рубль — мильон и набежит. Одной «Отваги» и то знаешь сколько?

— Ну, не скажи. Теперь не больно-то густо осталось, — возразил Холодов. — Много ее, «Отваги»-то, на красных подушечках отнесли. Одних маршалов сколь проводили. По газетам гляжу: то один, то другой в черной рамке. А уж нашего брата и подавно большой укос. Да вот считай: тогдашним новобранцам и то уже под пятьдесят...

— Так-то оно так. Костлявая чинов не разбирает...

— Выходит, казне полегче теперь стало. Можно было какую мзду и начислить солдату, который еще уцелел.

— Ну и крохобор ты, Степк! — сплюнул Федор. — Дай награду тебе, да еще мзду в карман. Да нешто мы наемники, что ли? Не чужое обороняли, свое, кровное. К тебе, допустим, в хату воры полезли, а ты их взял да и поколотил. А потом матери своей говоришь: «Я воров прогнал, проявил геройство, давай, мать, за это трояк!» Ведь не станешь у своей же матери требовать? Не станешь! Так и это надо понимать.

— Ну, уел, уел он тебя, Степка! — засмеялись фронтовики. — Ничего не скажешь!

— Да я про что? — тоже рассмеялся Холодов. — Мне разве деньги нужны, чудак-человек. Трешка — какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табашные деньги, а — приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь — тебе очередь уступают, глядят с уважением.

— Тебе и сейчас уступают, вон рукав пустой.

— Да не дюже-то раздвигаются.

— Э-э, мужички! — воскликнул дед Василий. — Какой разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!

К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузный, страдающий одышкой, он

был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль обоих пиджачных бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то инодержавный «лев», который за неимением места расположился почти на самом животе. Казалось, Селиванов потому так тяжко дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймой регалий.

— Привет, гвардия! — сипло пробасил он, расплываясь в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серенькими глазами по наградам собравшихся.

Дед Василий плутовато сощурился:

— Упрел, однако, Кузьмич! Шутка ли, такой иконостас притащил. Никаких грудей не хватит — наедай не наедай.

В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстранявший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а ныне — своего председателя. Да и все знали: Кузьмич — мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.

Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:

— Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают — с того конца поля видать.

— Не-е, Кузьмич, не угадал! — зареготал дед Василий. — Это не я. Это мне баба надраила.

Фронтовики засмеялись.

— Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: нехорошо, говорит, с такими нечищеными на народ.

— Ай да молодец баба! — весело похвалил Иван Кузьмич.

— Вот кому ордена носить — женщинам нашим!

— Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половину нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А это ничуть не слаще войны.

— Значит, это старуха тебе так наблистила?

— Она, она! Да и как не наблистить? — развел руками дед Василий. — Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель, — все едино гаснут. Нету того блеску, как было.

— Время, отец, время работает, — сказал Иван Кузьмич.

— Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, по-

истратились, — заметил Федор. — У всех вон седина из-под шапок.

— А у меня дак и вовсе волос упал, — дед Василий сдернул фуражку и засмеялся: — Во, как коленка! А в Будапешт этаким молодцом вступал.

— Ну ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой, — Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.

— А я и не ропщу! — готовно кивнул дед Василий. — Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем уже нет.

— Ох, и верно, мужики, бежит время! —Тихон Аляпин досадливо пересунул на седой голове путейскую фуражку с молотками. — Соберемся когда вот так, солдаты, глядь — того нет, этот не пришел... Совсем мало нас остается...

— А что ж ты хотел, — сказал Федор. — Ты думал, уцелел, дак война тебя минула. Не-е! Сидит она у всех у нас. Грызет, подтачивает. Кого раны доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года...

Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулись за сигаретами.

Наконец подкатил райисполкомовский «газик», остановился возле белой «Волги». Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухощавый капитан с плащ-палаткой, приторочённой на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФа Бадейко. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой «Волги» и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегая вперед, громко оповещал:

— Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Женщины у скирды, вас тоже касается!

Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке несильно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, переминались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действи-

тельно, было холодновато. Откуда-то набегали низкие серые тучи. Они накрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.

— Значит, так... — дядя Саша оглядел строй оркестрантов. — Как только снимут брезент — сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.

— Да не волнуйся, шеф. — Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало. — Слабаем, что надо.

— Вы мне бросьте это — «слабаем»! — дядя Саша нахмурился. — Ты, Павел, тарелками не очень-то звякай. Только тебя и слышишь.

— А что? Я все по уму. И в нотах указано: форто.

— Форто, форто... Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.

Пашка обиделся:

— Зря придираешься, старшой.

Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митинг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С разрубленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел угрюмовато, но был тихим, непритязательным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шепетовского укрепрайона, он потерял семью — жену и двух девочек — и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижами и серенькими чечетками.

— Друзья мои! — заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, застя уродливый шрам ладонью. — Матери и отцы... братья и сестры... дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память... кто отдал свои жизни...

Быть может, под гулкими сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым осенним небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где послышнее. А Пашка все гудел обиженно:

— Вечно на меня бочку катит. Вон Курочкин ноты прочитать до дела не может, так ему ничего...

— Помолчи, пожалуйста! — досадливо обернулся дядя Саша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.

Налетавший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:

— ...дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами... Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память...

Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица книзу.

— Вот возьму и уйду! — Пашка в самом деле отошел в сторону.

— Павел, — прошептал дядя Саша гневно, — встань в строй.

Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.

— Встань, говорю! — так же шепотом повторил старшой.

Парень, кисло глядя в поле, нехотя подчинился. И тут, перебивая военкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:

— В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.

Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, принялся разматывать веревку, витками охватывающую покрывало.

Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнул пузырем. Бадейко держал его неловко, беспомощно. Несколько человек подбежали помочь. И когда брезент был усмирен и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший, со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:

Агапов Д. М., рядовой
Аникин С. К., рядовой
Борвенков В. В., мл. сержант
Вяткин К. Д., рядовой
Гаркуша И. С., рядовой
Захорьян А. Ш., сержант

Иванов И. П., сержант
Махов А. Я., старшина

Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.

Мокряков Т. С., рядовой
Мурзабеков Б., рядовой
Нечитайло Х. И., рядовой
Ноготков С. С., мл. лейтенант
Нуриев А., рядовой
Обрезков П. С., рядовой
Парфенов А. М., мл. сержант

Дядя Саша подумал, что в этом списке его место было бы сразу за Парфеновым, потому что фамилия его тоже на «п» — Полосухин. Лежал бы он, конечно, не рядом с этим самым Парфеновым А. М., а может, сверху него, может, под ним. Это уж как положат. Там ведь клали не по алфавиту...

Ему уже махали рукой, делая знаки, чтоб оркестр начинал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно положил пальцы на клапаны трубы.

— Три-четыре! И-и... — вобрав в себя воздух, он кивнул ребятам уже с трубой, прислоненной к губам.

Медь дружно рванула: «Союз нерушимый республик свободных...» Он не услышал своего корнета, а только почувствовал пальцами напряженную дрожь инструмента. Сотни раз на своем веку играл он Гимн с тех самых пор, как впервые разучил его на фронте. Но когда снова и снова брался он за трубу, какой-то озноб охватывал его. Он поднял взгляд на парней, уже отрешенно-сдержанных, враз посерьезневших, и одобрительно прикрыл глаза.

Засекин первым снял шляпу и склонил голову. Вслед за ним то здесь, то там замелькали руки, стаскивающие шапки. Женщины с прилипшими к ногам ребятишками тоже сняли с них кепчонки и, скорбно понурившись, теребили непокрытые мальчишечьи головы. И только военком не снял своей фуражки, а, приложив руку к малиновому околышу, стоял навытяжку, напряженно мигая, и пальцы подрагивали у его седого виска.

«...Мы в битвах решали судьбу поколений...» — мысленно выговаривал слова текста дядя Саша, следя, как ладно и вовремя отсекают ритм звонкие всплески Пашкиных тарелок. «Молодец! Вот может же, когда захочет».

Перебирая клапаны, дядя Саша слушал оркестр и вспоминал, как летом сорок четвертого под Быховом он в первый раз разучивал Гимн. Молодых офицеров вызвали специально в штаб дивизии, где под баян знакомили с напевом, чтобы потом они научили своих солдат. Музыка показалась тогда очень трудной, и, возвращаясь со спевки, командиры, чтобы не забыть, донести мелодию до окопов, всю дорогу напевали ее вполголоса. Наверно, странно было в прифронтовой полосе видеть разноголосо, нестройно бормочущих офицеров. Многие, пока шли, незаметно для себя все-таки перепутали нить напева, переиначили на свой лад, и потому в окопах солдаты сперва исполняли Гимн вразнобой — один взвод так, другой этак. Но зато слова знали все назубок.

Дядя Саша дал отмашку, и музыка смолкла. В общем, мелодию проиграли сносно, и даже новичок Курочкин пробасил уверенно, без сбоев.

— Спасибо, ребята, — поблагодарил старшой, вытирая мундштук сатиновым чехлом. — Молодцы!

— Ну вот, а ты все ворчал, — бросил Пашка.

К памятнику сквозь толпу, пара за парой, уже шагали пионеры в белых пилоточках, несли венки в черно-красных лентах. Шествие возглавляла молоденькая вожатая с высоким начесом каштановых, должно быть подкрашенных, волос и тоже в красном галстуке.

Девушка ступала торжественно, ни на кого не глядя, молодое лицо ее пылало и было тоже торжественно, даже строго.

Подножие со всех сторон обложили венками. Двое школьников — мальчик и девочка — замерли справа и слева, подняв руку в салюте. Остальные, отойдя, выстроились рядами, четко обозначенными белыми шапочками.

Митинг начался.

Сначала речь держал председатель здешнего колхоза Осинкин, на чьей земле был сооружен этот памятник. Невысокий энергичный крепыш, на котором, как на молодом кочане с мороза, все поскрипывало и похрустывало — и новенький синте-

тический плащик с опояской, и крепкие каблукастые полуботинки, — он быстрыми шажками сменил военкома у подножия, снял узкую тирольскую шляпу и обвел всех живыми цыганскими глазами. Колхоз его славился вокально-танцевальным ансамблем, гвоздем которого считался знаменитый «Тимоня», инструментованный старинными рожками, сопелками и кугиклами и каждый год бравший первые премии на областных смотрах. Этот ансамбль был, так сказать, увлечением Осинкина, да он и сам не прочь и спеть, и станцевать при случае. Осинкин же почитался душой различных слетов и районных мероприятий на воздухе, вроде Дня тракториста или праздника Урожая, и непременно избирался во всевозможные жюри. Но при всем при том вел хозяйство расчетливо, даже прижимисто, не любил рисковать, тратить копейку «на ветер» и, прежде чем завести какую-нибудь новую машину, скажем, дождевальную установку или суперзерносушилку, сначала посмотрит у соседа, стоит она того или не стоит. Говорил он всегда безо всяких бумажек, на память называл многозначные цифры распаханных под зябь гектаров, надоенных центнеров молока, сданных яиц, заготовленного силоса, внесенных удобрений, называл суммы доходов и расходов, капиталовложений, неделимых фондов. Словом, любил цифру и умел ее подать, а потому слушали его всегда с оживленным вниманием.

Здесь, на открытии памятника, Осинкина тоже слушали с интересом. Он рассказывал, как было развернуто соревнование на уборке урожая за личное право положить первый кирпич в основание обелиска и что в результате их колхоз сдал уже больше половины сахарной свеклы и, несмотря на отдаленность от приемного пункта, занял на вывозке третье почетное место в районной сводке.

А дядя Саша все смотрел на цементный конус, отыскивая на табличке место, на котором его прервали.

Праведников Г. А., рядовой
Проскурин С. М., рядовой
Пыжов А. С., лейтенант
Рогачев М. В., мл. сержант
Родионов Н. И., рядовой

Как и все остальные здесь, дядя Саша тоже не знал никого из этого списка, но имена неотвратимо притягивали к себе.

— Итоги подводить нам еще рано, — продолжал Осинкин, — но то, что мы сделали, это уже весомо. Это, товарищи, ни много ни мало, а тридцать шесть тысяч центнеров сырья для нашей сахарной промышленности, или, если учесть, что из одного центнера бурака можно получить пуд сахара, то — миллион двести пачек рафинада, можно сказать, уже положили на прилавки наших магазинов. А чтобы вам это представить более зримо, то получится по пачке сахару на каждого жителя таких городов-гигантов, как Харьков или Новосибирск.

Романов Ф. С., мл. сержант, —

про себя читал дядя Саша.

Салямов М., рядовой
Санько А. Д., рядовой

— ...Вот сейчас закончим свои дела в поле, — воодушевленно говорил Осинкин, — подчистим там кое-что и вернемся доделывать новый клуб. Денег мы на это не пожалеем: надо миллион — отпустим миллион, надо полтора — дадим полтора. А как же? Хорошо поработали — будем культурно отдыхать, верно, девчата? А отдыхать у нас тоже умеют. Вот был наш ансамбль на ВДНХ, — пожалуйста, еще один диплом привезли.

Говоря, Осинкин время от времени косил карие глаза в сторону Засекина, как привык на активах и совещаниях бросать взгляды в президиум.

Сыромятников В. С., рядовой
Тихомиров П. К., рядовой
Тугаринов М. З., рядовой

Вчитываясь в эти фамилии, дядя Саша как-то и не заметил, когда Осинкина сменила пионервожатая. Придерживая концы отутюженного галстука, которые ветер то и дело забрасывал ей на плечо, она начала звонко и четко рапортовать об успехах школьных следопытов. Старшой слушал эту чистенькую расторопную девочку, а перед ним встала вдруг в памяти картина, виденная все там же, под Быховом.

...Зимой они сменили пехотную часть на плацдарме по ту сторону Днепра. Поредевшую, измотанную шквальным огнем,

ее незаметно отвели обратно за реку. И дядя Саша, командовавший тогда ротой, увидел в бинокль перед занятыми позициями убитого бойца. Он ничком висел на немецкой колючей проволоке, сникнув посиневшей стриженой головой. Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки. Казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприютного, скрыть от пуль и осколков, которые все продолжали вонзаться и кромсать его тело. Но проволока, видно, крепко вцепилась в солдата и не пускала к земле. За зиму на нем нарос горб снега, нелепый, уродливый. Это был, по всему, наш сапер или, может, разведчик. Он, лейтенант Саша Полосухин, дважды посылал по ночам своих людей снять убитого. Но труп был пристрелян немцами, и только зря потеряли еще двух человек. Больше за убитым он уже не посылал. Так солдат провисел до самой весны, и всем было больно и совестно смотреть в ту сторону. А в апреле труп оттаял, позвоночник не выдержал, переломился, и убитый обвис на проволоке, сложившись вдвое... Только в июне была прорвана оборона врага. Он, Полосухин, повел роту через проделанные проходы в проволочном заграждении и вдруг с содроганием увидел, что у висевшей шинели ворот был пуст и ветер раскачивал пустые рукава...

Узляков С. Н., рядовой
Умеренков К. Г., рядовой
Федунец М. С., старшина

Кто же был тот, на проволоке? У него ведь тоже были фамилия, имя, отчество...

И дядя Саша подумал: как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не пропустил его фамилию. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если тот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сундуками и сейфами. Если... Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блиндажи, обвалы домов, сгоревшие танки и эшелоны и многое что другое... А еще — прямое попадание, когда на том месте, где солдат только что бежал с автома-

том, через мгновение уже черно и смрадно дымится воронка и комья выброшенной земли, падая, мешаются с кусками одежды, даже не успевшей окровениться...

Фомичев В. А., мл. сержант
Ходов С. М., сержант
Цуканов А. Ф., мл. сержант

В это время пионервожатая выкрикнула:

— Никто не забыт, ничто не забыто!

Она произнесла последнюю фразу особенно звонко и, довольная, что нигде ни разу не запнулась, пылая счастливым лицом, на носочках перебежала от обелиска к стоявшим в строю ребятишкам.

Выступили и еще несколько человек: заведующая здешним клубом — женщина уже в годах, но еще проворная, в искусственной дошке под леопарда и крепко отдающая духами; недавно демобилизованный паренек, надевший по этому случаю свой совсем еще новенький мундир с яркой нашивкой на рукаве и, по недавней армейской привычке вытянув руки по швам, отчеканивший о преемственности боевых традиций; после него в круг вышел, опираясь на самодельный костылик, согбенный учитель истории из ближней деревни. Начал он с Александра Невского, с Ледового побоища, перешел к Куликову полю и тут хотел к случаю продекламировать стихи и уже прочел было первые три строчки:

Воткнув копье, он бросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег...—

но неожиданно запнулся и умолк. Старичок мучительно потирал пальцами восковой висок, напрягал память, твердя последние слова: «...а спину полдень жег...», «...а спину полдень жег...», однако, так и не вспомнив продолжения, сокрушенно махнул рукой и, растерянно улыбаясь, бормоча: «извините, извините», — отступил в толпу.

Вышла и еще женщина, видно, из колхозниц — в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу нес-

колько рук: «Нельзя, нельзя туда! Ты что ж это?» Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась.

— Ничего, пусть постоит, — сдержанно улыбнулся Засекин. — Ишь ты какой герой!

А женщина, не замечая парнишку и еще не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

— Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, а тоже поранетая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнущимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она наконец отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

— Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая, война.

Мальчонка, ничего не понимая, замерев, испуганно глядел на граненое острие обелиска.

От имени фронтовиков взялся сказать несколько слов Иван Кузьмич Селиванов.

— Ну что тут можно добавить? — трудно, задышливо начал он, вздымая грудью всю тяжесть своих орденов. — Ну вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию. Это хорошо, это нужно. Теперь будем все сообща беречь его, следить, чтобы время не стерло их имена. Ну, конечно, памятник не ахти какой видный. Делали его наши местные мастера. Слов нет, Осинкин мог бы пригласить и пoименитей специалистов, поставить и повыше, и поосновательней, скажем, из мрамора или из гранита: денег у него на это хватило бы — в миллионерах ходит...

Стоявший неподалеку Осинкин нетерпеливо переступил, похрумкал скрипучими штиблетами.

— ...Он ведь как рассудил? Могила, мол, не в людном месте, в стороне от туристских дорог, паломничества не будет, можно и поскромнее.

— Брось, брось, Кузьмич! — не сдержался Осинкин. — Памятник типовой, не хуже, чем у других. Мы в Тарасовке смотрели: там тоже такой, наш даже повыше.

— Дело, в конце концов, не в мраморе и высоте памятника, — продолжал Селиванов, — а в нашей памяти. В нашем понимании того, какой ценой заплачено за победу над самым лютым из врагов, когда-либо нападавших на русскую землю. — Селиванов перевел дыхание. — Мой полк прошел от Воронежа до Белграда. Были моменты, когда в полку оставалось только триста с небольшим человек, и то вместе с ранеными. А когда мы в конце войны вместе с начальником штаба подсчитали, сколько прошло через наш полк людей, то сами себе не поверили. Двадцать две тысячи! Двадцать две! Вы спросите, куда они девались? А вот они! — Иван Кузьмич указал на обелиск. — Тут! Правда, многие остались позади полка по госпиталям и лазаретам. Но многие вот так — в чистом поле. Полк шел на запад, а за нами от села к селу, от города к городу цепочкой тянулись могилы — путь к нашей победе. За это время я сам вот этими руками подписал и отправил многие тысячи похоронных извещений. И где-то, во всех уголках нашей земли, получали их и неслышно для нас захлебывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей... Полк мой не проходил по этим местам, но здесь шел чей-то другой полк, другая дивизия. И путь ее был такой же!

В толпе кто-то всхлипнул, а Иван Кузьмич, постояв в раздумье, снова поднял голову:

— Заканчиваю, товарищи... Я не стану вас призывать достойно трудиться на этой земле. Вы об этом и сами знаете. Я только хочу, чтобы вы, мужчины и женщины, бывшие солдаты и солдатские жены, участники и очевидцы, пока еще живы, пока это не стало достоянием исторических книг и архивариусов, передали бы своим детям и внукам священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Вот это я хотел сказать.

Ему дружно похлопали.

Больше желающих выступать не оказалось, хотя бывшие фронтовики и подбадривали друг друга: дед Василий — Федора Бабкина, а тот подталкивал в спину Тихона Аляпина, который застенчиво упирался и посылал Федора:

— Какой из меня говорильщик. Ты пограмотней мово. Да и что говорить? Вон Кузьмич все сказал.

Так они препирались тихонько, а слово тем временем было предоставлено самому Засекину.

Засекин вышел в круг и взглянул на часы...

Сегодня дядя Саша слышал в завкоме, что на завод должны были прибыть чешские специалисты. Ожидали их к вечеру, но уже с утра девчата драили столовую, и было слышно, как в заводской гостинице гудели пылесосы. Летом, во время подготовительного ремонта, чехи устанавливали в цеху свои новые диффузионные аппараты повышенной мощности и теперь, когда завод начал сезон, должны были приехать снова, чтобы проверить оборудование под полной нагрузкой. Засекину надо было их встречать, однако митинг затягивался, к тому же его открыли позже, чем намечалось, и предрик, похоже, беспокоился.

Но насчет чехов дядя Саша только предполагал, а возможно, у Засекина могли быть и другие неотложные дела: все же на его плечах целый район, да еще в такую напряженную пору, когда то здесь, то там ломался график уборки сахарной свеклы.

Говорил он, однако, без заметной торопливости, обстоятельно и толково, обрисовал международное положение, рассказал о достижениях района и его текущих задачах, назвал передовиков. Слушали и смотрели на него с особенным интересом, потому что многие видели Засекина вот так близко впервые.

Но тут, в самый разгар его выступления, вышла непредвиденная заминка. Подвыпивший мужичишка, растрепанный ветром, в расстегнутой до пупа рубахе, убегая позади толпы от кого-то, запнулся о лежавшую на стерне басовую трубу и, загремев наземь, плаксиво зашумел, забуянил:

— Ты домой меня не гони! Нечево меня гнать. Я тоже воевал. Я, может, тверезей тебя!..

Засекин прервал речь, на мужика зашикали. Ребята-оркестранты подхватили его под руки и без церемоний, волоком, потащили по пахоте к грузовику. А тот, загребая ногами землю, все вскрикивал визгливо:

— По какому такому праву? Я тоже воевал!

— Но, но! Раскудахтался! — весело покрякивал на мужика Пашка, пользуясь случаем поразмяться, заняться каким ни есть действом. — Будешь выёгиваться — мухой на пятнадцать суток постригу. Жора, давай ножницы!

— А чево она, зануда!.. Указчица! Нынче наш день. Хочу — гуляю!

Женщина в упавшем на плечи платке понуро шла следом к грузовику, подобрав на пахоте оброненный башмак.

Засекин молчал, сдержанно покашливал — пережидал.

— Это твой артист? — спросил он наконец Осинкина.

— Да тут один... В примаках живет.

— Зачем привезли такого?

— Да ведь кто ж знал? Пока везли, вроде ничего был, незаметно. Это он уж тут, наверно, с кем-нибудь... Приеду — мы с ним разберемся. Вот шельмец!

— Нехорошо получается, товарищ Осинкин.

Парни дружно подняли и кулем перевалили шумливого мужика через борт в кузов, и женщина зашвырнула туда ботинок. Происшествие оживило публику, толпа задвигалась, загудела, мужики стали закуривать. А из кузова неслось разудало:

И все отдал бы за ласки взора-а,
Лишь ты владела б мной одна-а...

— Перебрал Никитич, перебрал! — снисходительно журили в толпе мужика. — Вот ведь и печник хороший, а — с изъяном.

Засекин после этого говорил недолго, и вскоре митинг объявили закрытым. Оркестр снова проиграл Гимн. Но и когда смолкли трубы, толпа все еще стояла вокруг обелиска, и мужчины не надевали шапок.

— Все, товарищи! Все! — вскинул руки Бадейко. — Спасибо за внимание!

Люди, словно не понимая, что все уже кончилось, расходились нехотя, озираясь, оглядываясь, будто ожидали чего-то еще.

Засекин, бегло попрощавшись и уже на ходу напомнив: «Так завтра сессия, товарищи! И — никаких опозданий!», направился со своими спутниками к урчавшему мотором «газику» и сразу же уехал. Вскоре разошлись по машинам и председатели.

— Василий Михайлович! — окликнул из своей «Волги» Селиванов. — Садись, подброшу.

— Да вот не знаю... — растерялся дед Василий. — Тут робяты маракуют того... Я, поди, еще побуду маленько... Дак и ты, Кузьмич, давай к нашему салашу.

— Спасибо, братцы! Мне этого теперь — ни-ни!.. — Иван Кузьмич положил руку на ордена. — Барахлит что-то...

— Ну, ежели так, то конешно...

Иван Кузьмич, насажав полную машину попутной малыш-

ни, тоже уехал, и было видно, как скособочилась на одну сторону перегруженная старенькая машина.

Поле постепенно пустело. Умчалась машина с веселыми пионерами. Вниз по склону покатили мотоциклы, велосипеды. Неспешно побрели и пешие, кому идти было недалеко, до ближайших деревень, что отсюда, с косогора, виднелись как на ладони.

— Все отдал бы за ласки взорра-а... — продолжал выкрикивать мужичонка, высовываясь из-за борта и опять оседая на дно кузова. — И ты б... и ты б...

Подошел Федор Бабкин, взял дядю Сашу под локоть:

— О чем, солдат, задумался? Пойдем, посидишь с нами.

Под скирдой уже пристроились Степан Холодов, Тихон Аляпин, дед Василий и еще несколько человек.

— Во, еще один орелик! — оживился дед Василий. — Садись-присаживайся. Какую-никакую, а поминку справим. По старому по нашему обычаю.

Фронтовики охотно раздвинулись, высвобождая дяде Саше место в кружку на соломе. Откуда-то объявилась стопка, налитая дополна, в дяди Сашину руку вложили помидор.

— Давай, товарищ лейтенант, — кивнул дед Василий. — А то говорить поговорили, а добрые слова не скрепили. Они и отлетят дымом, слова те.

Старшой на этот раз не отказывался и, подняв стопку, взглянул на обелиск.

— Ну, простите, братья! Пусть будет вам пухом...

— Вечная память... Вечная память, — нестройно и торопливо заговорили и остальные, опять снимая шапки.

— Вечная вам память.

Дядя Саша выпил в молчаливом окружении старых солдат, опустивших седые скорбные головы.

Неожиданно появился Пашка, хотел что-то спросить, но, увидев склоненных людей, в нерешительности замялся.

— Тебе чего, Павел? — поднял глаза дядя Саша.

— Да... хотел узнать... Играть больше не будем?

— Нет.

— Тогда нам тоже можно порубать?

— Садись, пожалуйста, — подвинулся Федор.

— Да нет, спасибо. У нас своя компания. — Он постоял,

разглядывая мужиков, потом с обидой сказал: — С нами так не стал, старшой.

— Иди, Павел, — попросил дядя Саша. — Я сейчас приду.

— Да чего уж, сиди, — сказал Пашка. — Я ведь только спросить, будем играть или пошабашили.

Что-то насвистывая, Пашка ушел к ребятам, где на поваленном плашмя барабане стояла бутылка и Жора, шурша бумагой, раскладывал закуски.

Федор Бабкин, поглядывая на женщин, уже рассевшихся по грузовым машинам, украдкой наливал, закрываясь полой, и обносил рюмку по кругу.

— Давай, Степ, бери... Тихон, твой черед.

Фронтовики торопливо выпивали, тыкали дольками помидоров в спичечный коробок, в мокрую розоватую кашицу соли и, не дожевав еще, лезли в карманы за куревом. А с машин нетерпеливо окликали:

— Эй, мужики! Вы чего там колдуете? Поехали!

— Да сейчас! — отмахнулся Федор. — Сейчас едем.

— Ждать не будем! — кричали с машин.

— Ох эти бабы! — подосадовал дед Василий, вставая. — Никакого понятия. В кои-то разы собираемся так вот. Может, и не свидимся больше.

Фронтовики нехотя начали подниматься.

— Так пусть себе едут, — сказал дядя Саша. — У меня тут своя бортовая. Тебе, Сорокин, куда?

— Да мы вот с ним, с Хмызовым, из Березовки. А Федору вот с Тихоном в Махотино надо. Дальше, за нами.

— Ну, не волнуйтесь, всех отвезем.

Обрадованный Федор побежал сказать, чтоб их не дожидались. Машины начали разъезжаться.

Вернувшись, Федор выкопал из-под скирды еще одну бутылку, принялся оделять по новому заходу. То обстоятельство, что теперь не надо было никуда спешить, располагало к воспоминаниям, и Степан Холодов оживленно хлопнул себя по колену:

— А вот, братцы, был у нас один случай!..

— Ну, ну, давай.

— Брали мы под Орлом одну высоту. И высотка-то не больно какая, а не подступишься: все открыто, ни кусточка, ни задоринки, а по низу — топь. Ну, раз сунулись — не вышло, в другой — никаких делов. Строчит и строчит из дота. Пробовали

бить по нему из минометов — дым, пыль, ну, думаем, все, накрыли! Сунемся, а он опять — тра-та-та-та... Живой, гад! Оно б пальнуть из артиллерии, может, что и получилося, да не было при нас никакой артиллерии. Ну а у тех силенок оказалось маловато: фук-фук, а немец цел. И потери у нас уже немалые. Командир батальона по телефону нашего ротного материт, чтоб к такому-то часу высота была захвачена, да и только!

— Ну дак вы б ее ночью-то, по темному...

— Погоди ты, ночью... До ночи вон сколь было ждать. Да... сидит наш ротный в траншее, курит, на сапоги плюет — злой-презлой. Мы тоже помалкиваем, отпыхиваемся после атаки. А что скажешь? Видит око, да зуб неймет. Вот тебе подсаживается к нему один солдатик, пацан пацаном. Товарищ командир, говорит, отпустите вон в ту брошенную деревню. Если я найду, что мне нужно, — даю слово, после обеда сковырнем немца.

— А что ж ему такое нужно-то было?

— Не перебивай. Сказать, так неинтересно будет. Слушай... Ну, отпустили его, пополз парень. Глядь — вертается, волокет что-то в мешке. Полдеревни, говорит, обшарил, а нашел. Только теперь надо обождать, когда солнце к немцу за спину зайдет...

— А-а! — засмеялся Федор. — Разгадал — зеркало!

— Ну, разгадал — нечего теперь и рассказывать...

— Давай, давай!..

— Изготовились мы к новой атаке, ждем. Только солнце начало к немцу воротить, парень и достал из мешка свою хитрость. А стекло во какое, с газету! Давай наводи, говорит ему командир. Ну и уцелил он что ни есть в самую амбразуру. Немцу, конечно, это не понравилось, а что он может сделать? Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то все в рожу, в рожу! Ну, конечно, там, окромя пулеметчика, и еще были, да мы их тут быстро разделали. Так потом и возили с собой зеркало, пуще глаза берегли. Как секретное оружие.

— Дак это ж на Одере так вот прожекторами ослепляли.

— Э-э, браток, на Одере когда было? А то еще под Орлом. Оно, может, потом про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская.

— А то вот раз было... — начал фронтовик в резиновых сапогах.

И пошло, и пошло... Заговорили мужики, закраснелись лицами, заблестели глазами — не от водки, нет! Что там водка, если вспомнить нечего! А уж вспомнить им было чего — и геройского, и горше горького...

Возле обелиска не осталось теперь ни одного человека, и он, серый, цементный, одиноко высился среди черной предзимней наготы полей.

— Сколько же их там лежит? — в раздумье спросил Степан Холодов.

— Сорок девять, — ответил дядя Саша.

— Да-а... Где-то сорок девять дворов осиротело. Деревня целая.

— Дак они из разных мест, должно.

— Ну, это я так, к примеру.

— Сорок девять — еще немного. — Холодов полез за новой папироской.

— Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали. Наш полк в три дня целый батальон потерял.

— А говорят, будто только по нашей местности четыреста таких памятников будет поставлено, — сказал Холодов. — Лектор один приезжал, так рассказывал...

— Вполне может быть.

— Сколь же тогда по всей России? — прикидывал дед Василий.

— А вот и считай...

— Да еще по Польше, да по разным другим сторонам. Под Берлином одним триста тысяч легло.

— Сказано: всего двадцать миллионов.

— А немца сколь?

— Что-то миллиона четыре с небольшим, — сказал дядя Саша.

— Только-то? — удивился Холодов.

— А что — мало?

— Нда-а... Как же так, били-били, а только четыре миллиона нахлопали? Выходит: мы его одного, а он наших пятерых...

— Дак, чудак человек, — сказал Федор. — Мы одних только ихних солдат, а они кого попадя: и баб наших, и пацанов. Вон у военкома — и женку, и обеих девчушек... А сколь в Германию поугнал, в лагерях сгноил. Вот двадцать миллионов и набралось.

— Ох, лихо, лихо, — вздохнул дед Василий. — Не заесть, не запить этова. Не заесть, не запить...

Дед Василий помолчал, но вдруг, пересев половчее, сказал как-то осиянно, осветясь лицом:

— А все ж, братцы мои, помереть солдатом в бою с неприятелем — святое дело, што ни говори! Из всех смертей смерть! Ну вот што я? Ну, покопчу свет маленько, годка три-четыре, да и помру на печи. Снесут за деревню и закопают. И вся недолга. Потому как помер от старости. А вот ежели бы я там, солдатом смерть принял — это уже смерть вон какая! Глядишь, и мне памятник бы поставили.

Долго дымили сигаретами. Было слышно, как возле барабана о чем-то спорили музыканты:

— Не, Жорик, мелькомбинату ничего не светит. Кому там играть, где у них форварды? Там кирюхи одни.

— Не скажи! Вот увидишь, воткнут.

— Слабо! Они даже райпотребсоюзу продули.

Степан Холодов поправил пустой рукав телогрейки, выбившийся из-под ремня.

— Ты говоришь — четыреста... — сказал он. — Оно ежели все памятники поставить, как и положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет.

Дед Василий, сощурившись, оглядел дальние косогоры, будто прикидывал, где они должны стоять, эти не воздвигнутые еще обелиски.

— Надо бы раньше начинать ставить-то, — сказал Федор. — По свежим следам. Молодняк вон подрос, должон видеть и знать, во что обошлось. А то уж подзарастать начало. Долго ли: плугом прошелся — и все. Ровно, гладко, как ничего и не было.

— Я вам так скажу, — дед Василий обтер ладонью усы. — Это вот пешку, к примеру, сшибли в игре, а в другой кон опять ставь, опять двигай. А у солдата жизнь одна-разъедина. Солдата не воротишь. Ну, а коли он свою голову сложил, то нету цены ей.

Возле барабана дружно смеялись ребята.

— Вот дает! Заливает!

— Чего? — кипятился Пашка. — У них один Зюзя чего стоит!

— Дерьмо твой Зюзя.

— Зюзя — дерьмо? Ха-ха! А ты видел, как он штрафной бил?

Видел? Вот как от скирды до того памятника. С тридцати метров. Как врежет! Под самую планку.

Мужики помолчали, прислушиваясь к спорившим музыкантам.

— Н-да... — Тихон поскреб под черной путейской фуражкой. — Я как-то на совещание в Белгород ездил. В дистанцию пути. А там, может, видели, на площади Вечный огонь горит. А над огнем женщина пригорюненная такая. Из камня. Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарняком. Иду часу во втором ночи-то через площадь, смотрю, пацаны возле Вечного огня колготятся. Лет по шестнадцати. Хохочут, на гитаре дрынчат. И девчатки с ними, все в белых платьицах. Гляжу, на граните бутылка, стакан. Ах, говорю, поганцы вы этакие! Да разве для этого огонь тут зажгли? А что, говорят, мы такое особенное делаем? Мы ж ничего не портим. Марш, говорю, по домам! Осерчал я. А они и в толк не возьмут. Мы тут до утра будем. Рассвет встречать. У нас, говорят, выпускной. Во как!

Сквозь тучи низко, у самого горизонта, пробилось солнце. Оно ударило багряными пучками по дальним угорам, что друг за другом необозримо убегали из виду. Его лучи отыскали среди этих холмов неприметную дотоле церквушку. Трепетный, бегучий свет быстро перемещался, накатываясь все ближе и ближе, и вот уже огнем полыхнула межевая цепочка тополей на соседнем склоне, медным отливом затеплились пашни, и среди них радостно зазеленели полотнища озими.

Фронтовики, привалившись к теплому боку скирды, загляделись невольно на это неожиданное прозрение солнца, на торопливый и просветляющий бег лучей его по земле.

И вдруг на фоне темного неба, загроможденного тучами, пронзительно, как вспышка, высветилась кинжально острая грань обелиска. В этот предвечерний час он выглядел особенно отрешенным, как бы вознесшимся над будничной суетой, и, может быть, потому пышная кипень венков у подножия — эта пестрота бумажных цветов, сосновой зелени, черных и красных бантов — показалась дяде Саше каким-то тщетным и ненужным убранством. Как старый музыкант, не раз имевший дело с погребениями, он не терпел венков. Скоро они пожелтеют, осыплется хвоя, дожди смоют с лент непрочные слова, напи-

санные зубным порошком, и нет ничего печальнее видеть потом на могильной плите этот пожухлый мусор.

Солнце, посветив недолго, опять затянулось хмурой наволокой, и по краю разлилась багровая полоса заката. А вскоре предвечерняя синь и вовсе скорбно окутала холмы.

— Пора, однако, по домам. — Дед Василий оглядел небо. — Кабы дождя не натянуло. Второй день что-то мозжит нога, окаянная.

Остальные, вспомнив про разные свои дела, тоже засобирались, и дядя Саша пошел сказать своему шоферу, спавшему в кабине, чтоб тот развез фронтовиков по домам.

И вскоре, пофыркивая и покачиваясь на ухабах, машина увезла и деда Василия, и всех прочих.

К вечеру поутихло. Тучи присмирело сгрудились, непроницаемой толщей повисли над головой. Начало моросить — сперва одной только мокрой пылью, а потом посыпало и всерьез. Оркестранты, оставив лежать на жнивье инструменты, укрылись под застрехой обдерганной скирды.

Уже в который раз выходил дядя Саша на край пахоты, подолгу глядел в сторону большака, откуда вот уже два часа дожидались машины. Но кругом было глухо, как бывает только в осеннем ненастном поле.

— Ну что, старшой? — нетерпеливо окликали его оркестранты. Дядя Саша молча возвращался к стогу.

— Небось самогон трескает, — заключил о шофере Пашка.

— Это точно.

Ребята угрюмо дымили сигаретами. Было слышно, как в душной утробе скирды пищали и возились мыши. Кто-то вспомнил, что сегодня наши играют на кубок с испанцами и что теперь не удастся посмотреть, потому что игру будут транслировать в семь, а уже начало седьмого.

— А у меня сегодня верная десятка гавкнула, — сказал альтовик Сохин, до самого подбородка обросший бакенбардами. — А то и побольше.

— А тебе куда? — поинтересовался Иван-бейный. — На «жмурика»?

— Ха, на «жмурика»... — Сохин брезгливо поморщился. — На «жмуриков» я уже давно не клюю. Это ты, поди, трояки там сшибаешь. На свадьбу в одно место приглашали.

— Свадьба — это дело, — согласился Иван. — Я бывал. Только играть помногу заставляют.

Иван-бейный принялся выдергивать слежало запахшую солому, долго по-собачьи уминал ее, подтыкал под бока и наконец затих. Вскоре раздался его мерный храп.

— Гаммы проигрывает, — усмехнулся Ромка.

Дождь заметно прибавил прыти, зачастил по плащам, парни, подбирая под себя ноги, все теснее жались к скирде. Один Иван-бейный беспечно похрапывал, не замечая сырости. Откуда-то налетела стая грачей, густо усеяла небо и полетела гомонящей полосой на восток, к ночевкам, исчезая, растворяясь в серой кисее дождя. С пролетом грачей вечер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками, и оттого время потянулось еще тягучей. Пашка снял с себя свою куцую болонью, попробовал укрыться, но не улежал под нею, сырость и копившееся раздражение подняли его, он отшвырнул плащ, как затравленный хорек, свирепо зыркнул по сторонам.

— И на кой хрен надо было отдавать машину! — сплюнул он, яростно тряхнув за плевком рыжей всклокоченной головой. — Теперь вот припухай.

— Да, тут старшой перемудрил, — отозвался Сохин, неприязненно поглядывая, как дядя Саша взад-вперед прохаживался вдоль стога.

Остальные сдержанно помалкивали.

— Всего-то пару раз и сыграли. Стоило ли переться в такую даль! — продолжал распаляться Пашка. — Другого оркестра не могли найти, что ли? Да теперь в каждом колхозе полно духачей. — Он рывком опять натянул на себя плащ, ткнулся головой в солому и уже из-под болоньи выкрикнул: — Небось старшой сам и напросился!

— Да помолчи ты наконец! — оборвал его дядя Саша.

Сдерживая себя, он побрел к инструментам, тускло поблескивавшим в стерне. В сумерках едва не споткнулся о барабан, плашмя опрокинутый поодаль. На кожаной деке вокруг опорожненных бутылок мокли клочья газеты, яичная скорлупа, остатки недоеденной хамсы. Старшой весь закипел от гнева: хотя бы убрали за собой эту пакость, черт возьми! И, чувствуя, что уже не владеет собой, вдруг крикнул:

— Разобрать инструменты!

Парни, не поняв, что стряслось, затаенно остались лежать.

— Встать всем! — глухо проговорил дядя Саша, чувствуя, как немеют челюсти.

Музыканты, еще помедлив, нехотя завозились в соломе.

— А в чем дело, старшой? — с небрежной растяжкой осведомился Сохин. И, не получив ответа, пожал плечами: — Что это он, а?

Поеживаясь от дождя, на ходу вытряхивая из пиджаков и штанов полову, оркестранты понуро побрели разбирать трубы. Послышались раздраженные голоса:

— Чья альтуха?

— Да тихо ты, козел, валторну раздавишь. Смотреть надо!

— Заткнись!

— Иван, забирай свою иерихонскую.

Дядя Саша, не дожидаясь, первым ступил на глыбистую, уже порядком промокшую пашню. Оркестранты, увязая в раскисшей земле, вразнобой плелись следом. На проселке старшой остановился и, когда выбрались все остальные, скомандовал:

— По три разбери-ись!

Ребята недовольно запротестовали:

— А зачем? Что мы, новобранцы, что ли? Кому это нужно?

— Прекратить разговоры!

Порядок построения оркестра все знали хорошо: корнеты — вперед, за ними тенора, альты, басы... Но было непонятно, зачем идти строем, да еще в дождь.

— Да брось фасонить, старшой, — снова попробовал отговорить Сохин. — Ну, чего ты?

— Стать в строй! — голос дяди Саши звучал непривычно чужим и непреклонным.

— Ого! — отпрянул Сохин и с недоуменной усмешкой втиснулся между Курочкиным и Белибиным.

— Барабан здесь? — окликнул дядя Саша, оглядывая хмуро переминавшихся оркестрантов.

— Здесь! — подал голос Сева из заднего ряда.

— Бейный бас?

— Ну, вот он я... — неохотно отозвался Иван.

— Шагом ар-рш! — Дядя Саша круто повернулся и зашагал вниз.— И не отставать!

Шли в отчужденном молчании, было только слышно лип-

кое чавканье подошв на осклизлом проселке да бряцанье труб, задевавших друг друга. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой и, застясь от дождя, закуривал на ходу. И только Пашка продолжал недовольно бубнить, понося шофера, дорогу, погоду и свою горькую судьбу.

— И куда мы? — с язвительностью спросил Сохин.

— Куда, куда! — сразу пыхнул Пашка. — С кудыкиной горы — в тартарары.

— Ясное дело: теперь до большака, — предположил Жора.

— Ничего себе! Километров десять! Ну, а там что?

— А там — на попутку.

— Плевать! — фыркнул Пашка. — Идем до первой деревни.

— А на работу? — с растерянностью спросил Курочкин. — Мне завтра в первую заступать.

— А это старшой отвечает. Наше дело телячье.

Склон был крут, ноги ступали будто в пустоту. По сторонам все выше дыбились горбы соседних холмов, и все меньше оставалось над головой тускло-серого неба. Угор нескончаемо сбегал и сбегал вниз, дорога уже едва различалась, и оркестранты, скользя и разъезжаясь ногами, спускались будто в преисподнюю, сокрытую дождем и надвигавшейся темнотой.

Где-то ниже вдруг охватило подвальным холодом, дохнуло стоялой водой, жухлой осокой. Под ногами зачавкала жижа.

— Все! Начерпал в корочки, — кисло объявил Пашка. — На той неделе тридцатку отдал, теперь хана им.

— А ты ходи по камушкам, — усмехнулся Ромка.

— По каким камушкам? Какие тут камушки — сплошное болото.

Дорогу обступили черные громады ракит, под которыми сразу стало темно, как в пещере. Дождь глухо шумел где-то высоко над головой, путаясь в чащобе веток, и лишь отдельные капли разреженно и тяжело колотили по спинам. Строй окончательно рассыпался, оркестранты брели как попало, прощупывая места потверже. Под ногами захрустел скользкий хворост, должно быть, наваленный шоферами в топких колдобинах. Ветки пружинили, цеплялись за штаны, больно хлестались, из-под них при каждом шаге с хлюпом выбрызгивалась грязь. Иван-бейный вместе со своим басом залетел в какую-то канаву и долго шуршал кустами, отыскивая кеп-

ку. Выбравшись на твердое, он стал уверять, что идут вовсе не туда, не по той дороге, и вообще зря стронулись с места.

— Вот увидите, запремся куда-нибудь, — ворчал он, долговязо и неуклюже перепрыгивая по затонувшим слегам. — Днем, когда ехали, никакого болота не было.

— Это точно! — злорадствовал Пашка. — Завел Сусанин. И чтоб я еще куда поехал! Мотал я такую самодеятельность!

Дядя Саша остановился, подождал Пашку.

— Ты вот что, Павел, — сказал он, придерживая парня за рукав. — Возьми-ка у Севы барабан.

— А почему, спрашивается, я?

— Да потому, что у тебя одни тарелки.

— Пусть Курочкин несет, любимчик твой. С его мордой только барабан таскать.

— Нет, понесешь ты, — жестко сказал дядя Саша.

— Все Павел да Павел, — передразнил Пашка. — Целый день придираешься.

— Ну хорошо. Не возьмешь барабан — понесу я.

Пашка угрюмо молчал, пытаясь освободить рукав из крепко державших дяди Сашиных пальцев. И вдруг заорал:

— Севка, паразит, давай свое грохало!

— Ладно, дядь Саш, я сам, — откликнулся Сева. — Мне еще не тяжело.

— Отдай, отдай! — строго настоял дядя Саша и, отпустив Пашку, пошел вперед. — Пусть понесет.

Пашка сорвал с подошедшего Севы барабан, сунул ему тарелки и, зло выматерившись, дал парнишке пинка.

— У, оглоед!

Ребята гуськом проходили мимо Пашки, не ввязываясь в спор. А Пашка, усевшись на барабан, жадно курил и, когда все прошли, поплелся сзади, чтобы ни с кем не идти рядом.

Держась за хлипкие перильца, ощупью минули какой-то мосток, который то ли был, когда ехали сюда, то ли не был.

Наконец кончился ракитник и постепенно начал угадываться подъем. Небо расширилось и, казалось, даже чуть посветлело. Все ожидали появления деревни. Но дорога, враз раскисшая, налившаяся водой по колеям и выбоинам, все тянулась куда-то с удручающей прямизной, все маячили надоедливо телеграфные столбы в серой хляби меркнущего неба, и ничего не было слышно, кроме дождя, хлеставшего по спинам и трубам.

Парни нахохленно брели за дядей Сашей, уже не обходя ни луж, ни колдобин. Двенадцать пар башмаков, еще утром начищенных до щегольского сияния, нестройно и безразлично чавкали, осклизались, хлюпали в сметанно-вязкой жиже, и в этой беспорядочной толчее ног старшой улавливал скрытое недовольство самолюбивых, ничего еще не видевших мальчишек, почитавших себя на этом пути мучениками и жертвами несправедливости и произвола. В общем-то, конечно, получилось довольно нескладно, и дядя Саша испытывал неприятное чувство вины перед ними, но ведь должны же и они понимать то главное, ради чего он это сделал — отдал фронтовикам машину.

...В сорок третьем из запасного полка вывел он сотни три вот таких же зеленых, необстрелянных парней. И так же лили дожди и непролазны были дороги. Шли только ночами: остерегались авиации. К рассвету делали по тридцать — сорок километров. Тяжелые кирзачи, мокрые, разбухшие шинели, не успевающие просыхать за время коротких дневок, скудный паек и сон не вволю. Парни усыхали на глазах: осунулись, потемнели лицами. К концу недели засыпали на ходу: глядишь, идет, уронив голову, держится за соседа, как слепой. Несколько минут такого неодолимого забытья — и опять топает, месит нескончаемую грязь прифронтовой дороги. Последние тридцать верст уже не шли, а буквально домучивали. Помнится, как в рассветной мгле наконец завиднелись постройки пункта назначения. У всех билась одна только мысль: дойти, свалиться и спать, спать — все равно где, на чем...

И вдруг конный посыльный: прибывшее пополнение будет встречать сам командир полка. По колонне понеслось: «Подтянись! Разобраться по четыре! Оправить обмундирование!» На перекрестке в открытом «виллисе» стоял старый усатый подполковник. Он поднял руку к забинтованной голове, отдал честь едва тащившейся роте. «Поздравляю со вступлением в действующую армию! — хрипло выкрикнул командир полка. — Всем присваиваю звание гвардейцев!» И в тот же миг за его спиной оркестр грянул веселый праздничный марш: «Утро красит нежным светом...» Утро было хмурое, лохматое, в глинистых лужах пузырился осточертевший дождь. Понурые, забрызганные грязью солдаты как могли подровняли нестройные, разорванные шеренги, приподняли отяжелевшие головы, первые

ряды даже попытались отбить строевым — так радостно, ободряюще гремела музыка, так звала она к чему-то прекрасному и необыкновенному! «Кипучая, могучая, никем не победимая!» — звонко, радостно пели трубы, и рота, воспрянувшая и слившаяся, вторила им тяжелым и грозным шагом. «Хорошо идете, товарищи гвардейцы! — перекрывая оркестр, крикнул дрогнувший лицом старый подполковник. — Благодарю за службу, сынки!»

В то утро дневки не было. Роте выдали оружие и вручили приказ на новый тридцатикилометровый форсированный бросок.

Тем же вечером дядя Саша водил их в первую контратаку. Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись...

— Подтяни-ись! — подбодрил парней дядя Саша, прислушиваясь к разреженным шагам на дороге.

На взгорке возле крайней избы старшой остановился. Сквозь перехлест дождя из окон бил яркий и ровный электрический свет, выхватывавший из темноты мокрый почерневший штакетник, за которым в палисаднике взахлеб булькала переполненная кадка. Один по одному к избе молча подходили все остальные. Иван-бейный снял с плеча свою «иерихонскую», опрокинул раструбом книзу и вылил скопившуюся воду. Почуяв за воротами чужих, во дворе загремела цепью, заметалась собака. На ее хриплый, остервенелый брех в коридоре послышались шлепающие шажки, громыхнул деревянный засов, и в освещенных дверях появилась девушка в долгополом халате.

— Ой, кто это? — отпрянула она, увидев сверкавшие на свету трубы.

— Бременские музыканты, — нарочитым басом отозвался Ромка, всегда готовый потрепаться с девчатами.

— Ой, ничего я не знаю! Ма, а ма! — девушка убежала, бросив дверь открытой. — Ма, там пришли-и...

В распахнутом коридоре были видны клеенчатый конторский диван с высокой спинкой, лопушистый фикус, белые цинковые ведра на деревянной скамье. Серый кот клубком спал на лоскутном коврике, постланном у порога на чистом крашеном полу. Потревоженный кот вытянул передние лапы в сладком зевке, поцарапал коврик и недоуменно уставился на незнакомых людей, столпившихся у крыльца.

Вышла женщина, круглолицая, полнеющая, в теплом платке на плечах. Дядя Саша сказал, кто они и откуда.

— Ой, лихо, в такой-то проливень! — сочувственно ужаснулась она, выглядывая за порог. — Да что ж вы стоите! Проходите уж, чего зря мокнуть.

Оркестранты стали было складывать инструменты на свету под окнами, но хозяйка запротестовала:

— И музыку заносите. Пропасть не пропадет, а кто ж ее знает... Машина невзначай колесами наедет или еще что... Чего ж бросать.

Ребята, пошмурыгав о траву туфлями, пообтрусив плащи, начали подниматься на крыльцо, сразу наполнив коридор запахом дождя и мокрой одежды. Кот предусмотрительно ушмыгнул в кухню. Не зная, оставаться ли им здесь или можно войти в дом, парни неловко теснились, озирались по сторонам.

— Проходите, проходите в горницу, — ободрила их женщина. — Машина мимо пойдет, никуда она не денется. По такой дороге не вот-то проскочит. Ее и в доме будет слыхать.

Покидав в коридоре плащи и башмаки, ребята присмирело, гуськом прошли через кухню в горницу.

Возле кафельной грубки, спрятав руки за спину, стояли четыре девушки, настороженно поглядывавшие на незваных гостей.

— Еще раз здрасте, — вкрадчиво сказал Ромка. Подойдя к девушке, открывавшей им дверь, протянул руку топориком, представился:

— Рома.

Девушка пыхнула, некоторое время смущенно смотрела на Ромкину ладонь и, наконец решившись пожать ее, тихо промолвила:

— Вера.

— Очень приятно! — удовлетворился Ромка и передал ладонь другой девушке:

— Рома.

— Серафима, — охотно назвала себя другая девушка в черном спортивном костюме.

— Рома.

— Надя.

— Рома.

— Нонна.

— Очень, очень приятно. А это все моя охрана. — Ромка по-

вел рукой, указывая на обступивших оркестрантов. — Знаете, как поется: «Ох, рано встает охрана!»

Девушки засмеялись.

Неловкость первых минут была преодолена, и вот уже Ромка, подкладывая хворост в занявшийся костерок беседы, допытывался:

— Значит, все четверо — родные сестры?

— Ага, сиамские близнецы, — подтвердила Серафима.

— Ясно.

— Бурачные побратимы, — уточнила Надя.

— А это уже неясно.

— Что ж тут неясного? Приехали в колхоз бурак копать.

— Значит, студенты! Так это вы в нас бураками кидались?

— Когда? — удивились девушки.

— Где? — спросил Ромка.

— Что — где? — переглянулись девчата.

— Это вы спрашиваете — где.

Девушки, наконец разгадав подвох, расхохотались.

Дядя Саша остался на кухне с хозяйкой, только что принесшей со двора ведерко с прессованным углем.

Гремя совком, подбрасывая брикеты, мокро шипевшие на огне, она сетовала на дождь, которому можно было бы и повременить, поскольку в полях еще много свеклы. Ей-то дождь ничего, она работает под крышей, на ферме, а другим женщинам теперь достанется: благо ли возиться с бураками по такой земле! Вот и девочки из города у нее квартируют, прислали на уборку. Та вон, в халатике, — ее дочь Вера, а остальные приезжие. Только вернулись с поля, едва успели умыться, переодеться, а завтра чуть свет опять идти. И Вера с ними ходит, оторвали от занятий. В этом году десятый кончает, класс ответственный, а тоже не посмотрели, отправили на бурак.

Говорила она охотно, с той гостеприимной приветливостью, которая невольно усвоена безмужними деревенскими женщинами.

— Да вот решила угольком протопить, просушить девчачью одежку, а то пришли, как гуща. Можно б и русскую печь затопить, девок теплом побаловать, да опасливо — дымить начнет, столько времени нетопленная. Да теперь и редко кто топит печи, все больше плитами обходятся. Меньше хлопот. Это ж раньше сами хлеба пекли, да скотине всякого варева на каждый

день. А теперь все это отпало. Думала даже сломать печку-то, в доме попросторнеет, да как-то рушить жалко, привыкли. Еще девочкой на ней сиживала, уж годов, годов той печке!

— Дом-то вроде новый, — заметил дядя Саша, оглядывая ровный потолок и свежую матицу.

— Да домок-то, верно, новый, после войны ставленный, а печка старая, еще от той хаты. Это ж как немец спалил деревню, так одни печи и торчали. На нашей весь кирпич пулями да осколками поиссечен, такие щербатины были! Потом, правда, глиной позамазали, а если обмазку отколупнуть, так на ней, бедной, живого места не сыщешь. Она у нас геройская печка, хоть медаль цепляй, — улыбнулась хозяйка. — Жалко разорять теперь.

Из боковушки, опираясь о дверной косяк, выползла старуха в подшитых валенках, тихо, без интереса поздоровалась.

— Да вот, мам, про нашу печь заговорили, — чуть громче обратилась к ней женщина. — Как ее пулями-то посекло.

— А-а. — Старуха, придерживая одной рукой поясницу и опираясь о стол, медленно опустилась на табуретку. — Было, было. — Она уже оживленней поглядела на нового человека.

— От печки все и пошло. Вся наша жизнь теперешняя. Как немец-то ушел, — сказала женщина с добродушной веселостью, — вылезли мы из погреба на свет Божий, а света Божьего и нет. От нашего двора — ни былочки, ни поживочки, одна черная печка. Поглядела — а труба без крыши-то до того высокая да страшная! А окрест глянули — и деревни нету. Одна дорога. И поле — вот оно, совсем близко.

— Про щи скажи, Пелагеюшка, про щи, — напомнила старуха.

Женщина засмеялась:

— У нас щи перед тем в печи варились. Еще до пожара. Ну, сковырнули крышку-то, а там одна сажа.

Старуха улыбнулась слабо:

— Упарились.

— Ага... Ну дак что было делать, с чего начинать? Как жить? Стали мы нашу кормилицу плетнем оплетать да глиной плетень обмазывать. А сверху крышу из бурьяна накидали. Сарай не сарай, а затишок вроде вышел. С того и начали.

В кухню выскочила раскрасневшаяся Вера, хозяйкина дочь, спросила:

— Мам, можно яблок ребятам дать?

— Да разве жалко? — готовно согласилась Пелагея. — Свои, не купленные. Сходи, доченька, набери.

Девушка вышла в сени и, воротясь, быстро прошла в горницу с решетом крупной, улежалой антоновки. Из комнаты тянуло сигаретным дымом, дядя Саша слышал, как Ромка, видать, уже освоившись, трепался там вовсю, и девчонки то и дело прыскали смехом.

— Может, и вы чего покушаете? — обернулась к дяде Саше хозяйка. — Весь-то день, поди, в поле играли. — И, не дожидаясь ответа, засуетилась у полки, достала хлеб, из крынки налила молока в кружку, обтерла донышко и поднесла гостю. — Оно бы лучше чего горяченького, да девчатки пришли, все подобрали.

— Кушай, кушай, — закивала старуха и, помолчав, спросила: — Это ж на каком поле играли, не расслышала я?

— Да вот там, за вашей деревней, — указал дядя Саша. — Как мосток перейти.

— Ага, ага...

— На заяружной пожне, мама, — пояснила Пелагея.

— Ага, ага... На заяружной... — повторила за дочерью старуха. — Дак там-то дюже сильные бои были. Сколь недель бились: он — наших, а наши — его, он вот как палит, а наши не уступают. Коса на камень. Уж так изрыта пожня была, так изрыта! А уж гранатов этих да всякого смертоубийства оставлено — как ребятишки убегут туды, аж сердце захолонет. Сколь покалечило беспонятных. Дикое поле сделалось, весны две не пахали, все, бывало, голодные собаки туда бегали.

Дядя Саша придвинул кружку, и, пока ел, обе женщины как-то вдруг смолкли и, пригорюнившись, с тихим вниманием, исподволь смотрели, как сидит он у них за столом, этот немолодой, усталый мужчина, как ест хлеб и прихлебывает молоко.

— Ох-хо-хо, — вздохнула каким-то своим думам старуха и темной рукой погладила на столе скатерку. А он, запивая хлеб молоком, чувствовал на себе их взгляды и думал, что, наверно, давно за этим столом не кормили мужчину и давно, должно быть, живет в этом доме тоска по хозяину.

Вера опять выбегала в сени с опорожненным решетом, и в горнице весело гомонили, наперебой хрустели яблоками.

— А чем рассчитываться будем за такой сервис? — слышался голос Ромки.

— Да что вы! Ничего и не надо, — отвечала Вера. — Вы уж лучше сыграйте что-нибудь.

— Это всегда пожалуйста.

Старуха, склонив голову, некоторое время тугоухо прислушивалась к разговору в комнате, потом сказала:

— Наш Лексей тоже, бывало, на гармошке играл. Вот так же соберутся и ну шуметь.

— Дак и Коля тоже играл, — живо заметила Пелагея.

— И Коля, и Коля... — согласно закивала старуха. — Коля тоже веселый был. Они обои веселые были.

— Сыновья? — спросил дядя Саша.

— Сыно-очки, сыно-очки, — опять закивала старуха. — Вот ее, Пелагеюшкины, братья. Принеси, Пелагея, карточки-то, покажь человеку.

Пелагея сходила в темную, без света, боковушку, вынесла небольшую рамку с фотографиями, окрашенную голубой масляной краской, так же, как и цветные горшки на подоконнике, как рукомойник в углу, и, на ходу протирая стекло передником, сказала извинительно:

— Висела в горнице, а Верка: сними да сними. Говорит, будто не вешают теперь всех заодно в одной раме, не модно. Теперь, дескать, в альбомах надо держать. Ну, я взяла и сняла, перевесила к маме в темную.

Хозяйка поставила рамку на стол, прислонила к стене. Старуха, щурясь, напрягаясь лицом, потянулась к фотографиям:

— Я дак теперь и не различаю, который тут где. Это вот не Лексей ли? Ну-ка, Пелагея, ты зрячая.

— Это Коля с дружками. Еще в эмтээсе снимались.

— Ага, ага... Дак а это кто же тогда, не пойму?

— И это тоже Коля. — И уже дяде Саше пояснила: — Колиных тут целых три карточки. Вот еще он. С Василием. Это наш, деревенский. Они в одной части были. А Лешина одна-разъединственная. Леша-то наш, вот он. Как же ты, мама, забыла? Он всегда у нас с этого краю был.

— Дак, может, переставили когда... — оправдывалась старуха. — А так, как же, помню... Лексей... сыночек...

Она дрожащими пальцами потрогала стекло в том месте, где была вставлена крошечная фотокарточка с уголком для печати. Дядя Саша и сам едва различил на ней уже слабые очертания лица, плохо пропечатанного каким-то фронтовым фотогра-

фом, погасшего от времени. На снимке просматривались одни только глаза да еще солдатская пилотка, косо сидевшая на стриженой голове. Вот-вот истают с этого кусочка бумаги последние человеческие черты, подернутся желтым налетом небытия. И дядя Саша подумал, что, должно быть, старуха мать, сама угасающая и полуслепая, уже не обращается к этой карточке: она давно для нее блеклая пустота. И даже память, быть может, все труднее, все невернее воскрешает далекие, годами застланные черты. И только верным остается материнское сердце.

— Лексея-то помню... — как-то отрешенно, уйдя в себя, проговорила старуха. — Как же, первенец мой. Уже зубочки резались, а я все грудью баловала. Уж так прикусит, бывало... — Старуха провела по пустой ситцевой кофте и, наткнувшись на пуговицу, успокоила на ней мелко дрожащую руку.

— Ну, а это мы тут со Степой, — встревоженно метнув взгляд на мать, поспешно и даже весело сказала Пелагея. — Сразу как поженились. Это уже опосля войны. — Пелагея задержала тихий и грустный взгляд на фотографии, где она, простенько, на пробор причесанная девчонка, радостно-настороженная, едва доставала до плеча строгого, уже в летах мужчины. И уважительно, чуть дрогнувшим голосом добавила: — Со своим Степаном Петровичем...

Она помолчала, предоставляя дяде Саше поглядеть на себя молодую и на своего Степана.

— Ну, а это все двоюродные да тетки. Весь наш боковой корень. Только папы нашего здесь нет. До войны как-то не успел сняться, а потом просили-просили, чтоб с фронта прислал, так и не дождались. Все есть, а его нету...

Хозяйка взяла со стола рамку, опять отнесла ее в темную боковушку и, воротясь, подытожила:

— Четверо легло из нашего дома. А по деревне так и не счесть.

— А четвертый кто же? — спросил дядя Саша.

— А четвертый Степа мой. Мы с ним уже опосля войны поженились. Он-то до самой Германии дошел, а это потом смерть и его нашла, уже дома достала. Раны у него открылися. Перемогался, перемогался, лег в больницу, да больше и не вышел оттуда...

Лицо Пелагеи дернулось, и она быстро прошла к плите, высыпала из ведра остатки угля. Потом долго через конфорку шуровала кочергой, разгребала, уравнивала брикетины.

— Степа-то мой у себя лежит, ухоженный, — вздохнула она, не поворачиваясь от плиты. — И оградку мы ему поставили, и карточки подменяем. Я сразу десять штук увеличила, чтоб надолго хватило, пока сама жива. Да и так когда сходишь поплачешься, бабье дело... А уж как те мои родненькие лежат, и где они... Ездила я года два назад поискать папину могилку. Сообщали, будто под Великими Луками он. Ну, поехала. В военкомате даже район указали. Около станции Локня. И верно, стоят там памятники. Дак под которым наш-то? Вечная слава, а кому — не написано. А может, и не под которым. Местные-то люди сказывают, будто и теперь еще из омшар да болот костяки достают... С тем и вернулась я... Ну, а Николай в морской авиации служил. — Пелагея понизила голос: — Того и искать нечего... А Леша наш до сего дня без похоронной... Я раньше тоже ждала, да что ж теперь... Столько лет прошло... Одна мама все надеется...

Старуха ревниво прислушивалась, потом подняла глаза в потолочный угол, выдохнула скорбный полушепот:

— Ох, светы мои батюшки! Ох, неприбранные лежат страдальцы наши!

— Что ты, мама! — испуганно возразила Пелагея. — Как так можно? Неприбранные! Выдумает тоже.

Дядя Саша молча курил, глядя на черные стекла ночного окна, по которым, подсвеченные из комнаты, косо чиркали трассирующие капли дождя. И опять ему привиделся тот неизвестный солдат на проволоке под дождем и пулями, синими руками просившийся к земле. И как потом осыпался он из своей шинели костьми и прахом...

А старуха, утвердив обе руки на коленях, безмолвно сидела, уставившись в малиновое поддувало, сидела так, как, наверно, привыкла за долгие годы сидеть в терпеливом ожидании чуда.

В соседней горнице девчата опять стали просить Ромку сыграть что-нибудь:

— Ну чего вы, правда! Что вам, воздуху жалко, что ли?

— Шейк? Босса-нова? — небрежно кинул Ромка.

— А играете? — обрадовались девушки.

— Спрашиваете!

— Ой, шейк, мальчики! Шейк!

— Ну как, братва, слабаем?

— Рванем!

— Ой, давайте, давайте! — студентки забили в ладоши.

На пороге кухни появился Ромка, по-хозяйски навалясь на косяк, возбужденно сказал:

— Шеф, там девчонки шейк просят сбацать. Как смотришь?

Дядя Саша даже не понял сразу, о чем говорил ему Ромка.

Он не сразу оторвался от окна, посмотрел на него каким-то невидящим взглядом и опять отвернулся. Ромка озадаченно помолчал и спросил уже потише, поспокойней:

— Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?

Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:

— Сыграй, милай, сыграй. У нас прежде в дому завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я ну его укорять: Леша, сынок, куда ж ты ношу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда играть? А он смеется: сгодится, мама, сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой... Дак и Коля тоже любил... Сыграй, милай, сыграй.

Дядя Саша пристально вгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в вопрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:

— Давай, правда, сыграем, Роман.

И убежденно добавил, вставая:

— Несите-ка инструменты.

В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали и дяде Саше его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонку к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.

— Ты что ж, Сим, так и будешь в тренировочном костюме?

— А что? Шейк ведь! Вон и Вера в халате.

— Я не буду, — замялась Вера. — Я не умею такие.

— Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли надену.

И девушки скрылись за занавеской.

— А ты почему не взял инструмент? — Дядя Саша покосился на Сохина, в стороне жевавшего яблоко.

— Да я потанцую. Хватит вам и одного альта.

— Ты мне нужен как раз. Иди возьми.

Сохин передернул плечами, недовольно вышел.

Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшого, изготовившись, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкавший чистотой корнет. Делал он это как никогда торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержанно переговариваясь, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.

Дядя Саша постучал ногтем по корнету. Трубы замерли в изготовке.

И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:

— Шопен... Соната... номер... два.

Какое-то время оркестранты смятенно смотрели на старшого, глазами, немотой своей как бы спрашивая: какая соната? При чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: «Чего это он?» Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.

Дядя Саша опять постучал по трубе:

— Играем часть третью. Вы ее знаете.

— Ну, знаем, конечно... — сдержанно кивнул за всех Ромка.

— Прошу повнимательнее.

Он еще раз оглядел оркестр.

— Начали!

И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули си-бемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.

Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит, и веселье, при первых звуках вздрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыла глаза и поудобнее положила одна на другую ревматические, сухие руки.

Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади остальных Иван-бейный старательно надувал щеки, вперив смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку.

Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет так-

там взмахами колотушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша.

И Пашка с его не просохшими после дождя взъерошенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.

Звуки страдания тяжко бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в оконные, испуганно подрагивающие стекла.

Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом.

Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела недвижно и прямо.

Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом вдовьем дому. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.

И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою.

Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами...

И тут Вера, внучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.

Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней. И как проливается последний дождь при умытом солнце — уже без туч и тяжелых раскатов грома, — так и дядя Саша повел мелодию на своем корнете в тихом сопутствии одних только теноров: без гитар, басов и барабанов.

Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветленно.

Освободившиеся от игры ребята — басы, баритоны — в немой завороженности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета, звучавшим все тише и умиротвореннее. Печаль как бы истаивала, иссякала, и, когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким

вздохом и обратясь в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потерянно полез в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шествия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой эпитафией.

И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.

Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.

— Ну, вот и ладно... — проговорила она. — Хорошо сыграли... Вот и проводили наших... Спасибо.

И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол.

Оркестранты молча закуривали.

Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.

Проходили набухшие водой низины, глухие распаханные поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни огонька, и лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, взахлеб брехали из глубины дворов.

Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя.

Как тогда, в сорок третьем...

И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся, глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:

— Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем...

1973

УСВЯТСКИЕ ШЛЕМОНОСЦЫ

И по Русской земле тогда
Редко пахари перекликалися,
Но часто граяли враны.

«Слово о полку Игореве»

1

лето, как быть тому, Касьян косил с усвятскими мужиками сено. Солнце едва только выстоялось по-над лесом, а Касьян уже успел навихлять плечо щедрой тяжестью. Под переменными дождями в тот год вымахали луга по самую опояску, рад бы поспешить, да коса не давала шагнуть, захлебывалась травой.

В тридцать шесть годов от роду силенок не занимать, самое спелое, золотое мужицкое времечко, а вот поди ж ты: как ни тужься, а без остановки, без роздыху и одну прокошину нынче Касьяну одолеть никак не удавалось — стена, а не трава! Уже в который раз принимался он монтачить, вострить жало обливным камушком на деревянной рукоятке. По утренней росе с парным сонным туманцем ловкая обношенная коса не дюже-то и тупилась, но при народе не было другого повода перемочь разведенное плечо, кроме как позвякать оселком, туда-сюда пройтись по звонкому полотну. А заодно оглянуться на чистую свою работу и еще раз поудивляться: экие нынче непроворотные травы! И колхоз, и мужики с кормами будут аж по самую новину, а то и на другой год перейдет запасец.

Вышли хотя и всей бригадой, но кусты и облесья не позволяли встать всем в один ряд, и порешили косить каждый сам по себе, кто сколько наваляет, а потом уж обмерить в копнах и определить сдельщину. Посчитали, что так даже спорее и выгоднее.

Радуясь погожему утру, выпавшей удаче и самой косьбе, Касьян в эти минутные остановки со счастливым прищуром

озирал и остальной белый свет: сызмальства утешную речку Остомлю, помеченную на всем своем несмелом, увертливом бегу прибрежными лозняками, столешную гладь лугов на той стороне, свою деревеньку Усвяты на дальнем взгорье, уже затеплившуюся избами под ранним червонным солнцем, и тоненькую свечечку колокольни, розово и невесомо сиявшую в стороне над хлебами, в соседнем селе, отсюда не видном, — в Верхних Ставцах.

Это глядеть о правую руку. А ежели об левую, то виделась сторона необжитая, не во всяк день хоженая — заливное буйное займище, непролазная повительная чащоба в сладком дурмане калины, в неуемном птичьем посвисте и пощелке. Укромные тропы и лазы, обходя затравенелые, кочкарные топи, выводили к потаенным старицам, никому во всем людском мире не известным, кроме одних только усвятцев, где и сами, чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые ветлы в космах сухой куги, с вороватой поспешностью ставили плетеные кубари на отливавшую бронзой озерную рыбу, промышляли колодным медом, дикой смородиной и всяким снадобным зельем.

Еще с самой зыбки каждого усвятца стращают уремой, нечистой обителью, а Касьян и до сих пор помнит обрывки бабкиной присказки:

Как у сгинь-болота жили три змеи:
Как одна змея закликуха,
Как вторая змея заползуха,
Как третья змея веретенка...

Но выбирались пацаны из зыбок, и, вопреки всяким присказкам, никуда не тянуло их так неудержимо, как в страховитую урему, что делалась для них неким чистилищем, испытанием крепости духа. А став на ноги, на всю жизнь сохраняли в себе уважение к дикому чернолесью. И, кажется, лиши усвятцев этого никчемного, бросового закоулка их земли, многое отпало бы от их жизни, многое потерялось бы безвозвратно и невосполнимо. Что ни говори, а даже и теперь, при тракторах и самолетах, любит русский человек, чтобы поблизости от его жилья непременно было вот такое занятное место, окутанное побасками, о котором хочется говорить шепотом... Займище окаймлял по суходолу, по материковому краю сивый от тумана лес,

невесть где кончавшийся, за которым, признаться, Касьян ни разу не был: значилась там другая земля, иная округа со своими жителями и со своим начальством, ездить туда было не принято, незачем, да и не с руки. Так что весь мир, вся Касьянова вселенная, где он обитал и никогда не испытывал тесноты и скуки, почитай, описывалась горизонтом с полдюжиной деревень в этом круге. Лишь изредка, в межсезонье, выбирался он за привычную черту, наведывался в районный городок приглядеть то ли новую косу, то ли бутылку дегтя на сапоги, лампового стекла или сменить поизносившийся картуз.

Куда текла-бежала Остомля-река, далеко ли от края России стояли его Усвяты и досягаем ли вообще предел русской земли, толком он не знал, да, поди, и сам Прошка-председатель тоже того не ведал. Усвятский колхоз по теперешним отмерам невелик был, кроме плугов да телег, никакой прочей техники не имел, так что Прошка-председатель, сам местный мужик, не ахти какой прыщ, чтобы все знать.

Правда, знал Касьян, что ежели поехать лесом и миновать его, то сперва будут Ливны, а за Ливнами через столько-то ден объявится и сама Москва. А по тому вон полевому шляху должен стоять Козлов-город, по-за которым невесть что еще. А ежели поехать мимо церкви да потом прямки, прямки, никуда не сворачивая, то на третьем или четвертом дне покажется Воронеж, а уж за ним, сказывали, начинаются хохлы...

Была, однако, у Касьяна в году одна тысяча девятьсот двадцать седьмом большая отлучка из дому: призывался он на действительную службу. Трое суток волокся состав, и все по неоглядной, желтеющей поздним жнивьем земле, пока не привезли его к месту назначения. Попал он в кавалерийскую часть, выдали шашку с винтовкой, но за все время службы ему нечасто доводилось палить из нее и махать шашкой, поскольку определили его в полковые фуражиры, где ничего этого не требовалось. А было его обязанностью раздавать поэскадронно прессованные тюки, мерять ведрами пыльный овес, а в летнее время вместе с выделенными нарядами косить и скирдовать военхозовское сено. За тем делом и прошла вся его служба, ничего такого особенного не успел повидать, даже самого Мурома, через который и туда, и обратно проехали ночью. И хотя в Муроме и останавливались оба раза, но эшелон был затиснут между другими составами, так что когда Касьян высунулся было из узко-

го теплушечного оконца, то ничего не увидел, кроме вагонов и станционных фонарей, застивших собой все остальное.

Больше всего запомнилась ему дорога, особенно обратная, когда не терпелось поскорее попасть домой, а поезд все не спешил, подолгу стоял на каких-то полустанках, потом опять принимался постукивать колесами, и окрест, в обе стороны от полотна, простирались пашни и деревеньки, бродил по лугам скот, ехали куда-то мужики на подводах, кричали и махали поезду такие же, как и везде, босые, в неладной обношенной одежде, белоголовые ребятишки... Тогда-то и запало Касьяну, что нет ей конца и краю, русской земле.

Случалось, на старых бревнах говаривали бывалые старики про разные земли, кому где довелось побывать или про то слышать, и вот в такие вечера Касьян, отрешаясь от своих дел и забот, вспоминал, что, кроме русской земли, есть еще где-то и иные народы, о которых на другой день при солнечном свете сразу же и забывалось и больше не помнилось. И если бы теперь оторвать Касьяна от косьбы и спросить, в какой стороне должны быть, к примеру, китайцы и в какой турки, — Касьян досадливо б отмахнулся: «Делать, что ли, окромя нечего, как думать про это». И опять с размашистой звенью принялся бы ходить косой.

За три года солдатчины Касьян попривык к сапогам и, вернувшись, больше не носил лаптей, но всегда плел свежую пару к Петрову дню, к покосам. И теперь, обутый в новые невесомые лапотки, обшорканные о травяную стерню до восковой желтизны и глянцевитости, с легкой радостью в ногах притопывал за косой, выпростав из штанов свежую выстиранную косоворотку. Да и все его крепкое и ладное тело, взбодренное утренней колкой свежестью, ощущением воли, лугового простора, неспешным возгоранием долгого погожего дня, азартно возбужденное праздничной работой, коей всегда считалась исконно желанная сенокосная пора, ожидаемая пуще самих хлебных зажинков, — каждый мускул, каждая жилка, даже поднывающее натруженное плечо сочились этой радостью и нетерпеливым желанием черт знает чего перевернуть и наворочать.

Солнце тем временем вон как оторвалось от леса, кругов этак на пятнадцать, поменело, налилось белой каленой ярью. Глядит Касьян: забродили мужички, один за другим потянулись кто к припасенным кувшинам, кто к лесным бочажкам.

Касьян и сам все еще задирал подол рубахи, чтобы обтереть пот, сочившийся сквозь брови, едуче заливавший глаза. И вот уже и он не выдержал, торчком занозил косье в землю и, на ходу стаскивая мокрую липучую рубаху, побрел к недалекой горушке, из-под которой, таясь в лопушистом копытнике, бил светлый бормотун-ключик. Разгорнув лопушье и припав на четвереньки, Касьян то принимался хватать обжигающую струйку, упруго хлеставшую из травяной дудочки, из обрезка борщевня, то подставлял под нее шершавое, в рыжеватой поросли лицо и даже пытался подсунуть под дудку макушку, а утолив жажду, пригоршнями наплескал себе на спину и, замерев, невольно перестав дышать, перемогая остуду, остро прорезавшую тело между сдвинутых вместе лопаток, мученически стонал, гудел всем напряженным нутром, стоя, как зверь, на четвереньках у подножия горушки. И было потом радостно и обновленно сидеть нагишом на теплом бугре, неспешно ладить самокрутку и так же неспешно поглядывать по сторонам.

Отсюда хорошо были видны сенокосные угодья и все косцы, человек двадцать, тут и там мелькавшие рубахами меж кустов и куртин, аккуратно обкошенных и четко выделявшихся темной зеленью на свежей стерне. Трав свалили уже порядком, впору раздергивать валки, выстилать на просушку, вон и ветерок заиграл, заполоскал листвой, и Касьян, застясь от встречного солнца, поглядел в сторону села, не идут ли на подмогу бабы. По уговору им отпущено время управиться по дому, но чтобы часам к одиннадцати быть на покосе.

Бабы, и верно, уже бежали. Касьян сперва не приметил их среди ряби рассыпавшихся по выгону коров. Но вот от стада отделился пестрый рой и покатился, покатился лугом. Уже и белые платки стало видать, и щетинки граблей замаячили над головами, а скоро и бабья галдеца донеслась до слуха. Спешат, судачат крикливо на весь луг, а за торопкой этой ватажкой — хвост ребятни, мал мала меньше. Упросились-таки, пострелята, выголосили себе приключение. Да и какому мальцу охота сидеть в опустевшей деревне, когда приспел сенокос, когда неудержимо тянет к себе парной теплынью речка Остомля, а займище полно земляники и всякой лесной и луговой забавы — цветов, стрекоз и птах.

Правда, Касьян не велел появляться своей Натахе: на восьмом месяце ходила она уже третьим младенцем. Так что не

очень-то перебирал глазами баб, не искал свою с узелком покосных гостинцев, какие всегда было заведено носить в луга об эту пору. С вечера сам собрал себе торбочку: отрезал ломоть сала, сунул горбушку крутого, недельного хлеба, тройку яиц, уже по-темному нащипал в огороде перышек молодого лука да заправил кисет жменей табаку: всего-то и надо — раз присесть, перекусить одному накоротке. Но когда бабы уже бежали зыбким, в две тесины мостком через Остомлю, растянулись по нему, все видные до единой, вдруг высмотрел Касьян и свою Натаху. Вот она: мелькает белыми шерстяными носками в легких чуньках, белый узелок в руке, в другой руке грабли, а живот выше мостковых перилец. По животу, по кургузой фигуре и узнал свою. Сергунок с Митюнькой следом. Сергунок, старшенький, восьми годов, смело бежит впереди по лавам, хворостинкой играючи постукивает по встречным столбикам. А Митюнька, белоголовенький, как луговой молошник, за мамкин подол держится, видать, высоты боится. Третий годочек пошел только, впервой ему и мосток этот, и сама Остомля, и вся дорога в займище. Все ж молодец парнишка: три версты от дому своим ходом пробежал, мать-то уж наверняка не пособляла, на руки не брала. Вон как пыхкает, куда бежит такая, дурья голова, мало ли чего с ее положением... Ох и упорна, все по-своему повернет — говори не говори... Побранил Касьян Натаху за своенравие, а у самого меж тем при виде ее полыхнуло по душе теплом, мужицкой гордостью: пришла-таки!

Работать, конечно, он ей не дозволит, пусть под кустом с ребятами посидит, в кои-то разы поваляется на воле, какая с нее помощница, но зато, как и другие, всей семьей вместе будут. И Касьян, отшвырнув цигарку, крупно пошагал, почти побежал навстречу, на ходу напяливая обсохшую рубаху.

— Папка! Папка-а! — уже горланил и мчался, завидев Касьяна, старшой, и его колени дробно строчили, вымелькивали среди ромашек и колокольцев. — Папка! Мы пришли-и!

Митюнька тоже кинулся бежать к отцу, но не одолел травы, запутался, плюхнулся ничком, канул с головой, будто в бочаг, завопил горласто, басовито. Касьян отыскал по реву, цапнул пятерней за рубашонку, подкинул враз оторопело примолкшего парнишку, по-лягушечьи растопырившего кривулистые ножки, и, поймав на лету, сунулся колючим подбородком в мягкий живот. От этого прикосновения к сынишке уже в кото-

рый раз за сегодняшнее утро все в нем вскипело буйной и пьяной радостью, и он, вжимаясь щекой в сдобное, пахучее тельце, утратил дар речи и лишь утробно стонал, всей грудью выдыхал нечто лесное, медвежье: «мвав! мвав!», как тогда, под струями родникового ключа. Митюнька же, позабыв свои минутные слезы, счастливо закатился от щекотки, немощно отпихиваясь обеими ручками от горячей кудлатой головы, пинал ножонками в грудь, в лицо, хватал отца за уши. А когда тот насытился лаской, мальчонка тут же, как ни в чем не бывало, цепко, привычным манером обхватил крутую Касьянову шею и завертел белой одуванчиковой головкой, озирая неведомый ему заречный мир с высоты отцовского плеча.

— Чего пришла-то? — запоздало строжась, глянул Касьян на жену остывшими от забавы глазами. — Говорил же...

— Да это они все: пойдем к папке, пойдем да пойдем.

— Мало ли чего они... Сама должна понимать.

— Да и как было не пойти? Гляну, гляну в окошко, все идут. Так ждала этого дня...

Касьян перехватил из ее рук узелок, бугристо набитый чем-то теплым, духмяным.

— Это гостинчик тебе, — пояснила Натаха.

— А грабли зачем? Или еще не натягалась?

— Я ж думала, забыл ты их. Смотрю утром, грабли дома. Дай, думаю, снесу, а то как же без граблей-то?

— Ну да, ну да, мели, а я поверю, — с укором гуднул Касьян. — Или я тут рогулю не срубил бы. Обошелся бы и без граблей.

— Да ладно тебе, Кося. — Натаха обхватила Касьянову руку, повисла на ней, заглядывая в лицо. — Или не рад, что ли, нам?

— Ну ладно, ладно нежности разводить, — озирнулся по сторонам Касьян. — Идем к месту, раз уж пришли.

На своей обкошенной делянке он опустил на землю Митюньку, сложил к его ногам узелок и, завернув беремок уже обвялой медово истекавшей кошенины, отнес его под куст краснотала.

— Во! Тут сидите, — приказал Касьян, расстилая траву в тени. — На-кось тебе, Сергунок, ножичек, поиграйся. Свистульку вырежи. Себе и Митрию. Смотри, не зарони.

— Не-е! — обрадовался Серенька, обеими руками принимая от отца заветный складничек. — Я его покамест в карман спрячу.

— А никак дырка в кармане?

— Какая дырка? — засмеялась Натаха. — Ты, отец, и не видишь, что у твоих сынов штаны новые?

— Глянь-кось! — изумился Касьян. — А я и правда не вижу. Ну-ка, Серень, повернись, погляжу.

Сергунок, засунув руки в карманы, горделиво прошелся в новых штанах туда-сюда.

— И я! И я в новых! — потребовал к себе внимания младшенький.

— Дак и ты! Ну, герои! Ну, молодцы! — похвалил отец. — И в каком же таком магазине куплены такие хорошие штаны? Да еще с карманами!

— Это мамка нам сшила.

— Неужто мамка? — опять нарочито изумился Касьян. — Экая рукодельница у нас мамка!

— Вчера дошила, — радостно закраснелась Натаха от своего же признания.

— На руках? — продолжал играть Касьян. — Ну, чудеса! А как магазинские!

— Машинкою оно б поладней вышло. Да уж какие получились.

— А чего? Хорошие штаны! Ну, давай, Натаха, займись с ими, — кивнул он на ребятишек. — Пить захотите, вон горушка, а под нею ключик. Там и ягод полно, позабавьтесь.

— Где? Па, где ягоды? — навострился Сергунок.

— Да вона, вишь бугор! Прямо обсыпан весь. Ложись на живот и ешь. Ну, давайте, давайте, делайте чего-нибудь. А то я вон сколь время потерял с вами.

Еще издали нетерпеливо примериваясь глазами, жадно целясь в незавершенный прокос, Касьян поплевал на руки и выдернул из земли косье. Чувствуя, что за ним наблюдают домашние, он, превозмогая боль в плече, молодцевато, одним духом выбрил закоулок между двумя куртинками ивняка и уже было собрался без всякого роздыха сделать новый зачин, как, обернувшись, увидел позади себя Натаху. Насунув на глаза платок, она негнуче, бугрясь тяжким животом, неловко накидывала грабли, пытаясь раздергивать неподатливые, уже успевшие слежаться пласты кошенины. Сергунок с Митюнькой тоже вовсю старались, пыхтя, загребали еще нехваткими руками сырую траву и, зарывшись в ней с головой, тащили и раскладывали на поляне.

— Ого, я сколько! — радостно звенел голос Митюньки. — Мам, мам, погляди!

— А ну, брось! Брось! — осерчал Касьян, подбегая к Натахе. — Или время свое не знаешь?

Натаха приостановилась, оперлась о држак.

— Да я, Кося, легонечко. — Круглое ее лицо жарко румянилось под слабой тенью косынки. — Трава парится, а я сидеть стану.

— Гляди, девка, не шуткуй мне с этим.

— Да не бойся ты! Чудной, право! Разве это трудно — граблями-то шевелить? Парню одна польза от этова, когда не сидеть.

— Какому парню? — не понял Касьян.

— Как это какому! А который будет.

— А ты почем знаешь, что парень?

— Да уж знаю. Поди, не впервой. Я-то ваш завод за три месяца чую. Драчунов. — Натаха сдернула на затылок платок, открыла мужу усмешливое лицо. — Или уже не нужен парень-то?

— Чего городишь пустое?

Чтобы скрыть толкнувшую его отцовскую радость, Касьян полез за кисетом. Слюнявя языком цигарку, он кивнул на ребятишек:

— Гляди-ка, косари наши стараются. Работнички! А Митька, Митька-то, ну, пыхтун! — И, смягченно толкнув Натаху в плечо, сказал: — Ну, ладно... Ты смотри тут, не дюже-то... А я пойду покошусь. Сена-то нынче какие, а? Эх, благодать-то!

2

Часу в двенадцатом, когда уже припекло невмоготу, косари начали разбредаться по кустам, по семейным сижам. Касьян, докосив свое, побег еще помочь Натахе разбросать валки, а когда и с этим управились, велел кликнуть обедать пацанов, которые успели улепетнуть на бугор по ягоды. Сам же пошел к мужикам, не терпелось поглядеть, у кого сколько накошено.

Воротился он, когда Натаха уже выложила свои покосные гостинцы — бутылку молока для ребят, черепушку томленной на сале картошки, дюжину румяных пирожков, лоснившихся, отпотевших от собственного тепла.

Касьян довольно хмыкнул, увидев пироги: когда и напечь успела! Однако, вытащив из куста и свою торбочку, объявил:

— Давай, Натаха, собирай все это. Мужики к себе зовут.

— А может, одни посидим?

— Пошли, пошли. — Касьян подхватил Митюньку на руки. — Чего мы одни будем. Нехорошо сторониться.

Под разметавшимся кустом калины в тучных набрызгах завязи, где устроил свой стан Иван Дронов, колхозный бригадир, уже собралась целая ватага. Бабы отдельной стайкой примостились по одну сторону калины, мужики — по другую, размеренно развалясь и так и этак, покуривали в прохладной траве. В стороне, невидимый на жаре и солнце, потрескивал, дрожал светлым пламенем большой бездымный костер, распаленный ребятишками. На рядне, разостланном по выкошенной палестинке, горкой высилась складчина: снесли вместе и навалили безо всякого порядка яиц, бочковых огурцов, отварной солонины, охапок лука, чеснока, картошки, сала, и все это вперемешку с пирогами всех фасонов и размеров — серыми, белыми, ржаными, кто на какие сподобился.

— Мир вам, люди добрые, — чинно поклонилась Натаха и выложила и свою снедь на общую скатерть.

— Давай, давай, Наталья, подсаживайся.

— Ох ты, пир-то какой! — подал из-под куста голос косец Давыдко. — Тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом! Ужли все одолеем?

— А чево ж не одолеть? — откликнулись бабы. — Враз и умолотим.

— Ой ли... — засомневался Давыдко, дочерна запеченный мужик в серебре щетины по впалым щекам. — Оно ведь о сухую траву и коса тупится...

Мужики сразу поняли Давыдкин уклон, оживленно поддержали:

— Да уж надо бы... тово... для осмелки.

— Оно, конешно, смочить начатое дело не помешало бы.

— Ох! Сразу и за свое! — дружно накинулись, зашумели бабы. — Мочильщики! Сперва управьтеся, а тади и замачивайте. Сказано: конец всему делу венец.

Но Давыдко тут же оборол бабью присказку своим присловьем:

— Однако и говорится: почин дороже овчин. А уж почин нынче куда с добром!

— Да уж чево там! — закивали мужики. — В кои годы такое видано. По таким сенам оно бы от самого правления магарыч поставить.

— За таким-то столом и чарка соколом, — вставил свое слово и дедушко Селиван, одинокий старец, тоже поохотившийся наведаться в покосы — кому в чем помочь поелико возможно, а больше пообтираться среди мужиков, вспомнить и свое былое, прошедшее. — Не перечьте, бабоньки. Дорого не пиво, а изюминка в ем. В одном селе живем, а за одним столом не каждый день сиживаем.

— Ну раз такое дело, — подбил разговор Иван Дронов, — тогда вот чево. Бери, Давыдко, моего мерина, вон, вишь, в воде на песках стоит, да скачи в сельпо. Скажи продавщице, что, мол, шесть бутылок в долг до завтра. А завтра, скажи, бухгалтер отдаст.

— А ежели не отдаст, заупрямится?

— Отдаст, говорю. Дело артельное. Потом на веревки спишет.

— Бумажка какая будет? — заколебался Давыдко.

— Валяй без бумажки. Скажи, Дронов просил.

— Ага, ага. Тогда уж спрошу десять головок. Чего уж дробить.

Маленький щуплый бригадир дернулся книзу щекой, как делалось с ним всякий раз, когда ему попусту возражали.

— Сказано: шесть! — отрезал он, насунув белые ребячьи брови.

— Хватит и этова, — поддержали бригадира женщины.

— Да я ж за вас и хлопочу. С вами вон нас сколь.

— Обойдемся, таковские.

— Шесть так шесть. — Посыльный поднялся, поддернул штаны. — Дай-ка, Касьян, твою торбу.

Босой Давыдко побежал трусцой к реке.

Дело было затеяно, пусть и праздное, а потому никто не притрагивался к еде, одних только детишек оделили пирогами да крутыми яйцами, и те побежали на бережок Остомли. Сами же мужики уже в который раз принимались за курево, в нетороплином ожидании наблюдали, как Давыдко, засучив штанины, ловил в реке мерина, не дававшего себя обротать, как потом долго водил его по отлогому берегу, ища какое-нибудь возвышение, опору для ног, как наконец все-таки взгромоздился, перекинувшись животом поперек хребтины, и в таком положении

норовистый мерин попер его неглубоким бродом. На той стороне Давыдко выпрямился, окорячил коняку, поддал ему голыми пятками и сразу хватил галопом.

Было видно, как он проскочил стадо, улегшееся на жвачку, и вот уже малой букашкой едва приметно зачернел на узволоке, на деревенском взгорье.

— Ну, лих парень! — усмехались под кустами мужики. — Прямо казак.

— Казак — кошелем назад, — съязвил кто-то из бабьего стана. — За этим-то он швыдок. Пошто мне соха, была бы балалайка.

— Ох ты, мать честная! Сегодня же воскресенье! Магазей не работает, — вспомнил кто-то из мужиков.

— А и верно, братцы. Как же это мы не подумали?

— Ничево! Этот найдет! Под землей, а Клавку сыщет. У нее дома завсегда припасено.

Слушая мужиков, Касьян из-под полусмеженных век умиротворенно поглядывал, как Натаха, упрятавшись от жары под резное кружево калиновых листьев, трудно, неудобно сидя на земле, баюкала на руках сомлевшего Митюньку, отмахивая от его потного личика молодых июньских комарков, еще неумело докучавших в тенистой прохладе. Она и сама взопрела, отчего на круглом простеньком лице грубо проступили предродовые пятна. Но от этой временной Натахиной дурноты, от сознания внутренней тайной работы, которая, несмотря ни на что, свершалась в ней ежеминутно и которую она молча перебарывала и терпела, Натаха казалась ему еще роднее и ближе, ответно полня все его существо тихим удовлетворением. «И когда это она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напекти... Вот получу на трудодни сено, куплю ей швейную машинку, — думал он, начиная задремывать. — Пусть себе рукодельничает».

Привиделось ему, будто и на самом деле славно выручился он за излишки сена и дали ему совсем новую пачку денег, еще не хоженных по рукам, перепоясанных красивой бумажной ленточкой. Сели они с женой за стол считать. Натаха радуется, постелила белую скатерть, чтоб чисто было, ничего не мешало счету. Касьян разрезал на ровном аккуратном кирпичике опояску, поплевал на пальцы, метнул на стол первую денежку. Новенький червонец перевернулся в воздухе и лег на самой середине скатерти другой стороной. Глянули, а это вовсе и не червонец, а король червей! Переглянулись они с Натахой: что за

притча? Касьян метнул еще раз — шестерка крестовая! «Глянь-ка, — всплеснула руками Натаха, — да ведь король — это ж ты, Кося! А шоха — это тебе дорога будет. А ну кинь, кинь еще». Кинул Касьян очередной червонец — и опять все своим чередом: лощеная бумажка повернулась и выложилась на стол тузом: посередине бубна, вроде подушки-думки, а от нее в разные стороны красные перья, будто огонь брызжет, жаром пылает. «Во! — опять изумилась Натаха. — Туз — это письмо, казенную бумагу означает, какую-то контору». — «Нет, это не контора, — не согласился Касьян. — А ежели казенка, дак не иначе как магазин. Я, откроюсь тебе, в самый раз туда собирался. Швейную машинку хочу купить. Хочешь швейную машинку?» — «Ой, родненький! — обрадовалась Натаха. — Да как же не хотеть? Я и сама про нее все время мечтаю, да боюсь тебе сказать». — «Ну вот родишь сына, и куплю. Истинное слово!» — «Ну тогда дай я еще выну карту, у меня рука легкая». Натаха перехватила пачку, принялась перетасовывать, тесать остренькие червонцы промеж собой, а потом весело зажмурилась и потянула ощупью из самой середки: «Ну-ка, гляди, Кося, какая?» Она подкинула бумажку, чтобы подольше летела, и та заходила над столом кругами. Кружит и не падает, вьется и все никак не ложится. А потом вертанулась и объявилась дамой пик: белая невестина фата на ней, а сама желтый цветок нюхает. Увидела даму Натаха, покраснела, смутилась вся: «Нет, Кося, не ту карту вытянула. Я ж другую хотела». — «Как же не ту? — возразил Касьян. — Все верно: это же наша Клавка, продавщица. Все сходится у нас с тобой!» — «Ну как же ты не видишь? Это же ведьма! Пиковая дама завсегда ведьмой считалась». — «А Клавка и есть змея подколодная, — засмеялся Касьян. — Опять скажет, дескать, яички сперва давай, а потом и машинку спрашивай. А у нас до пая еще триста штук не хватает. Клавка и есть, ее рожа». Стали разглядывать, а у дамы вовсе и не лицо даже, а череп кладбищенский: глаза пустые, зубы ощерены и желтый лютик-дурман к дырявому носу приставлен. «Ох, Касьян, Касьян, гляди получше: не Клавка это... Вот тебе крест». — «Да кто же еще, дуреха, кому быть-то?» — «Не знаю, родненький, но токмо не продавщица она... Какая-то не такая эта денежка, уж не фальшивая ли? Ты вот не посмотрел сразу, когда деньги-то брал, доверился, а тебе и подсунули, недотепа». Касьян взял в руки диковинную бумажку, повертел и так, и этак, положил обратно, но уже не дамой, а обратной стороной, червонцем кверху. «Да ты не прячь

ее, — вскинулась Натаха. — Так-то от нее не отделаешься. Ты давай бери-ка да снеси нашему бухгалтеру, сменяй у него на хорошую, а он потом в банке поменяет». — «Да не возьмет он, дьявол косоглазый! Скажет: тебе всучили, ты и отбояривайся». — «Ну тади Лексею Махотину отнеси: я у них, у Махотиных, помнишь, десятку занимала налог уплатить. Вот и возверни ему. Сверни пополам, чтоб пика внутри оказалась, и подай. Мол, спасибо, извините, что не сразу. А он и примет, не догадается». — «Нет, — сказал ей Касьян. — Негоже такое делать. Нам с тобой выпало, чего уж другим подсовывать. Да и подумаешь — десятка! У нас их вон еще сколь! Тут тебе не только на швейную, а и на плюшевый жакет хватит, и на пуховый платок. Все твои! А эту мы вон как...» Касьян схватил даму, рванул ее пополам, сложил половинки и еще располовинил, а потом покрошил и того мельче. «Вот тебе и вся недолга, — засмеялся он довольно. — Была и нету ее».

Касьян слышал, как тормошил его кто-то, торкал ногою лапоть, но никак не мог побороть сон, да и очень уж хотелось довести задуманное до конца — забежать в сельпо и купить Натахе обещанный подарок. Но ему, как нарочно, мешали:

— Вставай, вставай, Касьян! Хватит дрыхнуть. Давыдко вон уже скачет.

Кто-то повозил в носу травинкой, Касьян отчаянно чихнул и под дружный хохот подхватился и сел, подобрав коленки.

Промигав все еще изморно слипавшиеся глаза, он глянул за реку: по знойной ровноте выгона и впрямь уже мчался Давыдко. И все засмотрелись на его разудалый скач — локти крыльями, рубаха пузырем, а сам, не переставая, знай наяривает мерина пятками. По тому, как он поспешал, охаживал лошадь, всем стало ясно, что гонит он так неспроста, что наверняка разжился, раскопал-таки Клавку, иначе чего бы ему палить коня без всякого резона.

— Ну, артист! Вьюн-мужик!

Косари, повскакав на ноги, засмотрелись на Давыдкину лихость.

— Этак и бутылки поколотит.

— Умеючи не поколотит. Должно, переложил чем-нибудь.

— Эх, ребята, а и верно, промашку дали: надо было все ж таки десять штук заказывать. Чего уж там!

Между тем Давыдко, даже не придержав коня, на рысях скатился с кручи; было видно, как посыпались вслед и забухали в

воду оковалки сухой глины. Мерин ухнул в реку и, поднимая брызги, замолотил узловатыми коленками.

— Да что ж он, скаженный, делает! Детей подавит, — всполошились бабы, когда верховой выскочил на эту сторону и голые ребятишки, валявшиеся на песке, опрометью шарахнулись врассыпную.

— Да не пьяный ли он часом?! — тревожились бабы. — Эк чего выделывает! По штанам, по рубахам прямо.

— А долго ли ему хлебнуть, паразиту!

— Бельма свои залил — никого не видит.

Еще издали, там, на песках, Давыдко заорал, замахнулся кулаком — на ребятишек, что ли? — и все так же колотя пятками в конское брюхо и что-то горланя — «а-а!» да «а-а!» — пустился покосами. Раскидывая оборванные ромашки и головки клевера, мерин влетел на стан и, загнанно пышкая боками, осел на зад. Распахнутая его пасть была набита желтой пеной. Посыльный, пепельно-серый то ли от пыли, то ли от усталости, шмякнув о землю пустую торбу, сорванно, безголосо выдохнул:

— Война!

Давыдко обмякло сполз с лошади, схватил чей-то глиняный кувшин, жадными глотками, изнутри распиравшими его тощую шею, словно брезентовый шланг, принялся тянуть воду. Обступившие мужики и бабы молча, отчужденно глядели на него, не узнавая, как на чужого, побывавшего где-то там, в ином бытии, откуда он воротился вот таким неузнаваемым и чужим.

С реки, подхватив раскиданные рубахи и майки, примчались ребятишки и, пробравшись в круг своих отцов и матерей, притихшие и настороженные, вопрошающе уставились на Давыдку. Сергунок тоже прилепился к отцу, и Касьян прижал его к себе, укрыв хрупкое горячее тельце сложенными крест-накрест руками.

Давыдко отшвырнул кувшин, тупо расколовшийся о землю, и, ни на кого не глядя, не осмеливаясь никому посмотреть в лицо, будто сам виноватый в случившемся, запаленно повторил еще раз:

— Война, братцы!

Но и теперь никто и ничего не ответил Давыдке и не стронулся с места.

В лугах все так же сиял и звенел погожий полдень; недвижно дремали на той стороне коровы, с беспечным галдежом и

визгом носились над Остомлей касатки, доверчиво и открыто смотрели в чистое безмятежное небо белые кашки, туда-сюда метались по своим делам стрекозы — все оставалось прежним, неизменным, и невольно рождалось неверие в сказанное Давыдкой: слишком не совместимо было с обликом мира это внезапное, нежданное, почти забытое слово «война», чтобы вдруг, сразу принять его, поверить одному человеку, принесшему эту весть, не поверив всему, что окружало, — земле и солнцу.

— Врешь! — глухо проговорил бригадир Иван Дронов, неприязненно вперив в Давыдку тяжелый взгляд из-под насунутой фуражки. — Чего мелешь?

Только тут людей словно бы прорвало, все враз зашумели, накинулись на Давыдку, задергали, затеребили мужика:

— Да ты что, кто это тебе сказал?

— Мы ж только оттуда, — напирали бабы. — И никакой войны не было, никто ничего.

— Да кто это тебе вякнул-то?

— Может, враки пустили.

— Потому и ничего... — отбивался Давыдко. — Дуська нынче не вышла, у нее ребенок заболел...

— Какая Дуська? При чем тут какая-то Дуська?

— Дак счетоводка, какая же...

— Ну?!

— Вот и ну... А бухгалтер кладовку проверял, не было его с утра в конторе. А Прохор Иваныч тоже был уехамши. Может, и звонили, дак никого при телефоне-то и не сидело. А война, сказывают, еще с утра началася.

— Да с кем война-то? Ты толком скажи!

— С кем, с кем... — Давыдко картузом вытер на висках грязные подтеки. — С германцем, вот с кем!

— Погоди, погоди! Как это с германцем? — продолжал строго допытывать Иван Дронов. — Какая война с германцем, когда мы с им мир подписали? Не может того быть! И в газете о том сказано. Я сам читал. Ты откуда взял-то? За такие слова, знаешь... Народ мне смущать.

— Поди, кто сболтнул, — снова загалдели бабы, — а он подхватил, нате вам: война! Ни с того, ни с сего.

— Не иначе, брехня какая-то, — обернулся к Касьяну Алешка Махотин, кудлатый, в смоляных кольцах, косарь. Перочин-

ным ножичком он машинально продолжал надрезать квадратики и выковыривать кожуру на ореховой тросточке, которую от нечего делать затеял еще в ожидании Давыдки.

— Мир-то мир, а с немцем всякое могет статься, — запальчиво выкрикнул дедушко Селиван. — С германца спрос таковский. Немец, он и бумагу подпишет, да сам же ее и не соблюдет. Бывало уж так-то, в ту войну, в германскую.

Однако мужики и сами уже нутром почуяли, что посыльный не врал, им только не хотелось в это поверить, потому что от худой этой вести многое, может быть, придется отрывать, бросать и рушить, о чем пока не хотелось и думать, а потому их наскоки на Давыдку выглядели всего лишь неловкой и бессильной попыткой остановить время, обмануть самих себя. Давыдко же, пятясь под их гомонливым натиском, вдруг взъярился, закричал сипло и с пробившимся визгом в сорванном голосе:

— Да вы чего на меня-то? Чего прете? Стану я врать про такое! Да вон слухайте сами!

Со стороны деревни донесся отдаленный, приглушенный, а потому особенно тревожный своей невнятностью торопливый звон. Разгулявшийся ветер то относил, совсем истончая ослабленные расстоянием звуки, низводя их до томительной тишины, до сверчковой звени собственной крови в висках, то постепенно возвращал и усиливал снова, и тогда становилось слышно, как на селе кто-то без роздыху, одержимо бил, бил, бил, бил по стонливому железу.

Вслушиваясь, Иван Дронов сомкнул губы в неподвижную, омертвелую кривую гримасу и сосредоточенно, уйдя в себя, глядел в какую-то точку под ногами, молчали мужики, теребя подбородки и бороды, помалкивал и Касьян, враз ознобленный случившимся, с тупым отвлекающим интересом уставясь на Алешкины руки, по-прежнему ковырявшие красивую тросточку, обникли плечами, словно бы заострились, стали ниже ростом женщины, склонили свои белые, глухо насунутые платки и косынки. И только дети, обступившие Давыдку, ничего не понимая, недоуменно смигивали, переметывались синью распахнутых глаз по лицам взрослых, вдруг сделавшихся, как Давыдко, тоже неузнаваемыми и отчужденными.

Да еще Натаха как сидела под калиновым кустом, так и осталась там. Митюнька с зеленым ивовым пищиком в кулачке

безмятежно посапывал на ее коленях. Он спал под сенью крутого материнского живота, отделенный от своего будущего братца теплой, натужно взбухшей перегородкой. Натаха, не переменяя позы, терпеливо помахивала рукой над белой головкой, под рассыпчатыми вихрами которой, должно быть, парили во сне веселые луговые птахи и сам он, Митюнька, заходясь счастливым испугом от высоты, парил вместе с ними над беспредельностью остомельской земли.

А из села заливисто и тревожно, каким-то далеким лисьим тявканьем опять доносилось:

— А-ай, а-ай, а-ай, а-ай...

Иван Дронов наконец первым очнулся, крутнул головой, как бы отмахиваясь от этого лая, обвел всех тягучим взглядом и объявил с глубинным выдохом, будто собирался ступить в ледяную воду:

— Ну, люди, пошли! Слышите, зовут нас...

Старая Махотиха, Лешкина мать, обморочно всплеснула вялыми плетьми рук, закрылась ими и завыла, завыла, терзая всем души, уткнув черное лицо в черные костлявые ладони.

3

С покосов уходили молчаливым гуртом, ощетиненным граблями, деревянными рогатыми вилами, посверкивающими косами, добела отмытыми травой, — словно и впрямь ополчение, кликнутое отражать негаданную напасть. И будто какой воевода, высился на своем мерине над картузами и косынками пеших людей бригадир Иван Дронов все с той же непроходящей сумрачной кривиной на сомкнутых губах. Даже детишки попримолкли и без обычного гомона, непременного баловства трусили рысцой, поспевая за старшими, и, чуя неладное, каждый держался поблизости от отца или матери. Парнишки упрямо не оставляли своих нехитрых трофеев — кто ореховый хлыстик для удилища, кто срезанную развилину для желанной рогатки, а кто прятал в прижатом к груди картузе несмышленого слетка, желторотого дрозденыша, коими в покосы всегда кипело урочище. На головках у девочек, еще недавно в праздничном разноцветье лугов воображавших себя сказочными царевнами, в жалкой теперь ненужности мелькали цветочные венки, обвядшие, безвольно поникшие, о которых девочки, наверное,

уже и не помнили. Иные в затвердело-сжатых кулачках, как бесценное сокровище, несли перед собой пучки земляники. Вдосталь пособирать ее так и не довелось, и почти у всех пучки были жиденькие, недобранные, с непрогретой зеленцой на редких дрожливых ягодах.

Но уже за Остомлей, на ровном выгоне, бригада рассыпалась, разбилась на мелкие кучки, а те подробились и того мельче — кому мешали поспешать малые дети, кого удерживали квелые старики. Не утерпел, ускакал на голос все еще лязгающего железа Иван Дронов, крикнув только с коня:

— К правлению давайте! К правлению!

Народ растянулся от берега почти до самого деревенского взгорья. Одни уже одолевали последний узволок, по зеленому косо прорезанный светлой песчаной дорогой, другие подступали к стаду, а одинокий дедушко Селиван еще только перебирался по мостку. Не отрывая от настильных плах своих войлочных поршеньков, выстланных сеном, он мелко, опасливо шаркал подошвами, по-птичьи цепко перехватывал неошкуренное березовое перильце. И ему, должно, казалось, что и он тоже поспешал, бежал со всеми.

А позади, над недавним становищем, уже слеталось, драчливо каркало воронье, растаскивая впопыхах забытую артелью складчину: яйца, сало и еще не простывшие пироги.

Касьян, посадив на плечи Митюньку, сдерживая себя от бега, щадил жену, тяжело ступавшую рядом с косой и граблями, но та, упорная, все наддавала и наддавала, вострясь лицом на деревню.

— Да не беги, не беги ты так! — в сердцах окорачивал ее Касьян. — Чего через силу-то палишься!

— Все ж бегут...

— Тебе-то небось и не к спеху.

— Я-то ничего... да ноги... сами бегут... — приговаривала она, хватая воздух. — А тут еще звякают... Хоть бы не звякали, что ли... Душа разрывается...

— Сядь передохни, слышь! Не в деревне ж война. А ты бегишь, запаляешься. Как бы худо не стало...

— Ох, нет, Кося! Пошли, пошли... Нехорошо как-то... Неспокойно мне... А ежели тебя возьмут... А у меня ничего не готово, не постирано...

— Ну дак не сразу ж. А может, и вовсе не возьмут.

— Да как же не взять? То ли ты хромый или кривой какой?

— Сперва молодых должны. А уж потом как пойдет. А то, может, и одними молодыми управятся. Вот и польская была, и финская, а меня не тронули. Ну-ка, одних молодых кликни, и то сколь, ого-о!

— Ох, Кося, в финскую так-то вот не звякали, не скликали. Тогда тихо все было...

Деревня уже каждой своей избой хорошо виделась на возвышении. Касьян привычно отыскал и свой домок: как раз напротив колодезного журавца. Он всегда был тихо, со сдержанной молчаливостью привязан к своему дому, особенно после того, как привел в хозяйки Натаху, которая как-то сразу пришлась ко двору, признала его своим, будто тут и родилась, и без долгих приглядок хлопотливо заквохтала по хозяйству. Да и у него самого, как принял он от отца подворье, стало привычкой во всякую свободную минуту обходить, окидывать со всех сторон жилье, надворные хлевушки, погребицу, ладно срубленный, сухой и прохладный, на высокой подклети амбарчик, в три хлыста увязанный, все еще свежий плетень, всякий раз неспешно присматривая, что бы еще такое подделать, укрепить, подпереть или перебрать заново. За годы собрался у него всякий инструмент — и по дереву, и по железному делу, а каждую найденную проволочку или гвоздок, рассмотрев и прикинув, определял про запас в заветный тайничок. Позапрошлой весной заменил на своей избе обветшалые наличники на новые, за долгую зиму урывками между конюхованием сам навыдумывал, навыпиливал всяких по ним завитков и кружевцев, потом покрасил голубеньким, а кое-где, в нужных местах, сыграл киноварью, и от всего этого изба враз весело обновилась, невестой засмотрелась в божий мир. Касьяну и самому никогда не наскучивало поглядывать в эти оконца, все, бывало, отвернет занавесочку, обежит сквозь стекло глазами, хотя виделось в общем-то одно и то же: однообразный до самой Остомли выгон, по-за которым курчавилось покосное займище, а уж потом, у края неба, дремотно и угрюмовато маячил матерый лес. Простая и привычная эта картина, ее извечная, сколь себя помнит Касьян, неизменность откладывались в сознании незыблемостью и самой Касьяновой жизни, и он ничего не хотел другого, как прожить и умереть на этой вот земле, родной и привычной до каждой былки.

Но вот бежал выгоном Касьян с Натахой, пытливо вгляды-

вался в свое подворье, которое столь старательно укреплял и ухорашивал, и, наверное, впервые при виде голубых окошек испытывал незнакомое чувство щемящей неприютности. Слово «война», ужалившее его там, на покосах, как внезапный ожог, который он поначалу вроде бы и не очень почувствовал, теперь, однако, пока он бежал, начал все больше саднить, воспаленно вспухать в его голове, постепенно разрастаться, заполняя все его сознание ноющим болезненным присутствием. Но сам он еще не мог понять, что уже был отравлен этой зловещей вестью, ее неисцелимым дурманом, который вместе с железным звоном рельсового обрубка где-то там на деревне уже носился в воздухе, неотвратимо разрушая в нем привычное восприятие бытия. О чем бы он мельком ни подумал: о брошенном ли сене, о ночном дежурстве на конюшне, о том, что собирался почистить и просушить погреб, — все это тут же казалось ненужным, утрачивало всякий смысл и значение. Он бежал и все больше не узнавал ни своей избы, ни деревни.

Вытравленным, посеревшим зрением глядел он на пригорок, и все там представлялось ему серым и незнакомым: сиротливо-серые избы, серые ветлы, серые огороды, сбегавшие вниз по бугру, серые ставни на каких-то потухших, незрячих окнах родной избы... И вся деревня казалась жалко обнаженной под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг равнодушно-бездонным небом, будто неба и не было вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит крышу над обжитым и казавшимся надежным прибежищем.

Не хотелось Касьяну сейчас в деревню, не тянуло его и домой. Ему чудилось, будто их изба тоже стояла без крыши, обезглавленная до самого сруба, с разверстой дырой в серую пустоту, и он, все более раздражаясь, не понимал, почему так рвется туда Натаха, где уже нельзя было ни спрятаться, ни укрыться.

— Да не беги ты как полоумная! Сядь, отдохни перед горой-то!

— Ничего уж...

— Экая дура!

— Теперь вот оно, добежали.

— Да ведь не пожар, успеется.

— Кабы б не пожар...

— Па, а па! — вскинул на отца возбужденный взгляд Сергунок. — А тебе чего дадут: ружье или наган?

Касьян досадливо озирнулся на Сергунка, но тот, должно быть, воображая себе все это веселой игрой в казаки-разбойники, горделиво посматривал на крупно шагавшего отца, и Касьян сказал:

— Ружье, Сережа, ружье.

— А ты стрелять умеешь?

— Да помолчи ты...

— Ну, пап!

— Чего ж там уметь: заряжай да пали.

Невольно перекидываясь в те годы, когда отбывал действительную, Касьян с неприятным смущением, однако, вспомнил, что нечасто доводилось стрелять из винтовки: день-деньской, бывало, с мешками да тюками, с лошадьми да навозом. Не нужно оно было ни для какой надобности, это самое ружье.

— Ружье лучше! — распалял себя мальчишеским разговором Сергунок. — К ружью можно штык привинтить. Пырнул — и дух вон.

— Ага, можно и штык...

— Штык, он во-острый! Я видел у Веньки Зябы. Он у них в амбаре под латвиной спрятан. Только весь поржаветый.

— Што, говоришь, в амбаре? — вяло переспросил Касьян, занятый своими мыслями.

— Да штык! У Веньки у Зябы.

— А-а! Ну-ну...

— Вот бы мне такой! Я бы наточил его — ой-ой! Раз их, рраз! Да, пап? И готово!

— Кого это?

— Всех врагов! А чего они лезут.

— А мне стык? — подхватил новое слово Митюнька. — Я тоза хоцю сты-ык!

— Тебе нельзя, — важно отказал Сергунок. — Он колется, понял?

— Мозно-о!

— А ну хватит вам про штыки! — оборвала парнишек Натаха. — Тоже мне колольщики. Вот возьму булавку да языки и накыляю, чтоб чего не след не мололи.

Уже наверху, на въезде в село, Касьян ссадил с себя Митюньку и, не глядя на жену, сказал:

— Схожу в колхоз, разузнаю. А вы ступайте домой, нечего вам там делать.

И, еще не отдышавшись, Касьян полез за кисетом, за мужицкой утехой во всякой беде. Он крутил косулю, и пальцы его непослушно дрожали, просыпая махру.

Новая, крепкая правленческая изба без всяких архитектурных премудростей, если не считать жестяной звезды, возвышенной над коньком на отдельном шестике, с просторным крыльцом под толстой, ровно обрубленной соломой, была воздвигнута за околицей прямо на пустыре. Прошка-председатель не захотел ставить новую контору на прежнем месте в общем деревенском порядке, где каждое утро и вечер с ревом и пылью, оставляя после себя лепехи, проходило усвятское стадо и день-деньской возле правления ошивались чьи-то куры и поросята. Он сам выбрал этот бросовый закраек, пока что неприютный своей наготой и необжитостью. Но меж лебедой и колючником уже поднялись тоненькие, в три-четыре веточки, саженцы, обозначавшие, как Прошка уважительно выражался, будущий парк и аллеи — заветную его мечту.

Касьян, поспешая через пустырь, еще издали увидел подле конторы роившийся народ, дроновского мерина и председательские дроги у коновязи. При виде этого непривычного людского скопища середь рабочего дня Касьяна еще раз обдало мурашливым холодком, как бывало с ним, когда вот так, случалось, подходил он к толпе, собравшейся возле дома с покойником. Да и здесь тоже нынче что-то надломилось: что-то отошло в безвозвратное, и не просто жизнь одного человека, а, почитай, всей деревни сразу.

Рельса все еще надсадно гудела. Полуметровая ее культя была подвешена перед конторой на специальной опоре, покрашенной, как и сама контора, в зеленую краску. Звонить по обыденности строго-настрого возбранялось, и лишь однажды был подан голос, когда от грозы занялась овчарня. В остальное же время обрубок обвязывали мешковиной, чтобы не шкодили ребятишки. Конторский сторож Никита, которому в едином лице предписано право оголять набат по особому Прошкиному указанию, сегодня, поди, давно уже отбил руки, и теперь, пользуясь случаем и всеобщей сумятицей, в рельсу поочередно трезвонили пацаны, отнимая друг у друга толстый тележный шкворень. Били просто так, для собственной мальчишеской утехи, еще не очень-то понимая, что произошло и по какой нужде скликали они своих матерей и отцов.

Люди, тесня друг друга, плотным валом обложили контору. Крепко разило потом, разгоряченными бегом телами. Касьян, припозднившийся из-за Натахи и приспевший чуть ли не последним из косарей, начал проталкиваться в первый ряд, смиряя дыхание и машинально сдергивая картуз. Высунулся и ничего такого особенного не увидел: на верхней ступеньке крыльца, уронив голову в серой коверкотовой, закапанной мазутом восьмиклинке, подпершись руками, сидел Прошка-председатель, поверженно и отрешенно глядевший на свои пыльные, закочуренные сухостью сапоги.

Помимо косарей сбежался сюда и весь прочий усвятский народ — с бураков, скотного двора, Афоня-кузнец с молотобойцем и даже самые что ни на есть запечные старцы, пособляя себе клюками и костыликами, приплелись, приковыляли на железный звяк, на всколыхнувшую всю деревню тревогу. И, подходя, пополняя толпу, подчиняясь всеобщей напряженной, скрученной в тугую пружину тишине, люди примолкали и сами непроизвольно никли обнаженными головами.

А Прошка-председатель все так и сидел, ничего не объявляя и ни на кого не глядя. Из-под насунутой кепки виден был один лишь подбородок, время от времени приходивший в движение, когда председатель принимался тискать зубы. Касьян думал поначалу, потому Прошка молчит, что выжидает время, пока соберутся все. Но вот и ждать больше некого, люди были в сборе до последней души.

Наконец, будто хворый, будто с разломленной поясницей, Прошка утружденно, по-стариковски приподнялся, придерживаясь рукой за стояк. И вдруг, увидев возле рельса ребятишек, сразу же пришел в себя, налился гневом:

— А ну, хватит! Хватит балабонить! Нашли, понимаешь, игрушку. Никита! Завяжи колокол!

И как бы только теперь увидев и всех остальных, уже тихо, устало проговорил, будто итожа свои недавние думы:

— Ну, значит, такое вот дело... Война... Война... товарищи.

От этого чужого леденящего слова люди задвигались, запереминались на месте, проталкивая в себе его колючий, кровенящий душу смысл. Старики сдержанно запокашливали, ощупывая и куделя бороды. Старушки, сбившиеся в свою особую кучку, белевшую в стороне платочками, торопливо зачастили перед собой щепотками.

— Нынче утром, стало быть, напали на нас... В четыре часа... Чего остерегались, то и случилось... Так что такое вот известие.

Сумрачно тиская зубы, Прошка отвернулся, уставился куда-то прочь, в поле, плескавшееся блеклым незрелым колосом невдалеке за конторой. И было томительно это его отсутствующее глядение. Медленно багровея от какого-то распиравшего его внутреннего давления, он сокрушенно потряс головой:

— На ж тебе: ты только за пирог, а черт на порог. Тьфу!

Председатель ожесточенно сплюнул и заходил взад-вперед по крыльцу от столба к столбу как пойманный, будто запертый в клетку. Вдруг резко крутнувшись на железных подковках, внезапно закруглил собрание:

— А теперь... тово... давайте, кто на бураки, кто на сено. В общем, пока все по местам.

Люди, однако, не расходились, понурились в скованном молчании, ожидая еще чего-то. Но Прошка, сбежав с крыльца и расчищая себе дорогу сквозь неохотно подававшуюся на две стороны толпу, досадливо покрикивал:

— Все! Все! Расходись давай. Пока больше ничего не имею добавить...

Он отвязал вожжи от коновязного бруса, окорячил дрожки, умягченные плоским, слежалым мешком с соломой, и, полоснув лошадь концами, крикнул уже сквозь колесный клекот:

— Будут спрашивать — в районе я. В район поехал!

4

И второй, и третий день деревня жила под тягостным спудом неизвестности. Все как-то враз смялось и расстроилось, вышло из привычной колеи. Иван Дронов попытался было наладить прерванный сенокос, самолично объехал подворья, но в луга почти никто не вышел, и сено так и осталось там недокошенным, недокопненным. Ждали, что вот-вот должны понести повестки, какое уж там сено! Повестки, и верно, объявились уже на второй день. Правда, брали пока одних только молодых, первых пять-шесть призывных годов, в основном из тех, кто недавно отслужил действительную. Но кто знает, как оно пойдет дальше, какой примет оборот?

Прошка-председатель ходил сумной, неразговорчивый и больше норовил завеяться с глаз долой. Сказывали, будто виде-

ли его нечаянно на дальнем Ключевском яру, на краю хлебного поля, и будто бы, пустив на волю коня с таратайкой, сидел он там, на юру, один, как во хмелю, обхватив коленки и уронив на них раскрытую голову. Не узнали б его, эдак скрюченного, закрывшегося от всего, посчитали бы за чужого человека, если бы не конь: конь-то его приметный — чалый, с белой гривой и белым хвостом.

Поутру мужики, а больше бабы подворачивали к правлению под разными предлогами, толпились у крыльца, засматривали в окна на счетоводку Дуську, сидевшую у телефона: не будет ли каких известий, от которых зависел весь дальнейший ход усвятской жизни.

Радио на ту пору в деревне не имелось. Правда, уже по теплу, перед маем, начали было расставлять столбы, накопали по улицам ямок, но районные монтеры что-то закапризничали, в чем-то не сошлись с Прошкой и больше не появились в Усвятах. Теперь в самый раз сгодилось бы послушать, ни за какой ценой не постояли б, да кто ж знал, что так оно обернется, думалось ли кому о войне? Газетки же пока еще шли довоенные, из них ничего не явствовало: вчера доставила почтальонка, а там все еще пишут про всякое такое разное и на картинках все такие довольные, ровно ничего и не случилось. Оно и понять можно: пока составят заметки, пока прокрутят через печатную машину да развезут по городам, а оттуда — по районам, из районов — по сельсоветам, а там уж и по самим деревням, это ж сколь раз из рук в руки передать надо, сколь потратится времени. Районка — та и вовсе один листок и не каждый день в неделю.

Вот и отирались у конторского порога с немым вопросом на сумеречных лицах, вострились слухом, не зазвонит ли телефон, не скажет ли трубка чего нового, пока внезапно наехавший Прошка-председатель не принялся шуметь:

— Кова черта, понимаешь! Ну, война, война... Дак что теперь делать? Сидмя сидеть? Пелагея! Авдонька! Бураки вон сурепкой затянуло, а вы тут жени мнете. Кому сказано! А ну марш все отседова, чтоб глаза мои не видели!

— Да ить как робить, ничего не знаючи? Руки отпадают. У тебя там, Прохор Ваныч, телефон в кабинете. Можа, чего слыхать...

— А чего слыхать? Ничего не слыхать. Отражают пока, отбиваются.

— Ты бы спросил в трубку-то. Живем, как в мешке завязаны.

— Об чем, об чем спрашивать-то?

— Да какая она будет война — большая аль маленькая? Будут ли еще мужиков забирать ай нет? Нам бы хочь об этом узнать. А то думки изгложут.

— Ничего этого я не ведаю — большая или маленькая. Нету у меня такого аршину. А какая она б ни была, нечего сидеть. Вон солнце уже где, в колодезь скоро заглянет, а вы до си тут, понимаешь. Вот счас перепишу всех, потом не обижайтеся: «Нехорош Прохор Ваныч». Совсем разболтались, понимаешь.

Касьян, возвращаясь с ночного дежурства, тоже захаживал в контору послушать, чего говорят. Не было хуже этой вот неопределенности. Куда б легче, кабы знать наверняка, так или этак, возьмут или не возьмут. Но никто этого наперед сказать не мог, и он, придя домой, не находил себе места, а уж о деле каком и вовсе в голову не шло. Вот и погреб надо бы почистить, подкрепить на зиму, да все как-то не мог обороть себя. Если днями возьмут, то и затеваться с погребом нечего: только зря растревожишь, разворотишь старье, оно — тронь, дак и в две недели не уберешься. Было с ним такое, будто подвесили его поперек живота и никак не дотянуться до дела руками или ногами стать. Бесцельно бродил он по двору, в городчике среди гряд, все тянулся куда-то слухом, и тесно ему стало подворье, давило плетневой городьбой, так бы взял и разгородил напрочь, напустил воздуху. А то сядет у окна, и будто нет его, просидит безгласно до самых поздних сумерек. И Натаха старалась не докучать ему, ни в чем не перечить. Висела в амбаре сумочка с нарубленным самосадом, полез давеча, а там одна нюхательная пыль. И сам удивился, когда успел пожечь, выпустить дымом этакую прорву табачища.

Тем же днем, уже под вечер, посланный малец передал Касьяну, будто велено явиться в контору, не мешкая, по важному делу. Не успел и расспросить, какое дело, как парнишка тут же улепетнул, засверкал пятками. Касьян, встревожась, не стал дохлебывать поданные Натахой щи, а, утершись ладонью, цапнул с гвоздя картуз.

— Доешь, успеется, — сказала Натаха, сама насторожась. — Поди, не тебя одного кличут.

Но Касьян, уже не слыша жены, взятый тревогой, вышагнул в сени.

Возле конторы, как и в тот первый колокольный день, уже кишел, крутился народ — мужиков с полста, не считая баб и налетевшей мошкары — пацанов, которые по случаю пустого летнего времени в школе лезли во всякую затею: где чего стряслось, там и они, пострелы. Валяются поодаль в траве, барахтаются, устраивают друг дружке всякие подвохи — то кому травинкой за ухом пощекочут, то прилепят сзади на штаны репей с куриным перышком. Но промеж этим исподволь послеживают за старшими, за окнами и крыльцом правления: ждут, чего будет. Баловство баловством, а и мальцов за показной шкодой берет тайная сумять: война!

Касьян и сам, пряча тревогу, молча присел в тени возле прохладного кирпичного фундамента, где уже рядком устроились пришлые мужики.

Вскоре туда же присеменил, постукивая батожком, и дедушко Селиван.

Жил он бобылем в старенькой своей избе с давно осыпавшейся трубой, после смерти старухи не держал во дворе никакой живности, кроме воробьев да касаток, и даже не засевал огорода, дозволив расти на грядках чему вздумается. Кормился же он возле сторонних людей, и ни у кого не поворачивался язык отказать ему в стариковской малости, тем паче, что сам он никогда не попросится к столу: дадут чего похлебать — отблагодарствует, забудут — так посидит в сторонке, покурит, водицы попьет. Пуще же хлеба держался он людским словом, а потому редко когда обитал в своем дому, особенно в летнюю пору, а все больше там, где была доступная живая душа, — на конюшне, с ночными сторожами, с эмтээсовскими трактористами на полевом стане.

Навалясь грудью на батожок, поддерживая себя так, дедушко Селиван остановился перед густо дымящим миром, обежав мужиков упрятанными под куделистые брови, но все еще живыми востренькими глазками.

— Што за сход? Вижу, все бегут, а пошто — никто ничево.

— Да вон таратайка стоит, кого-сь из району доставили.

— Ох ты, мать твоя с яйцом курица! По какой надобности-то?

— Известно по какой. Надобность теперь одна...

— Бают, как будто в рай будут зачислять. У кого руки-ноги при себе, глаз не кривой, того прямки под самые пущи... Яблоки кушать, гарнаты.

Дедушко Селиван засмеялся, закивал бородкой:

— Пригожее место! Я б и сам с вами напросился, да зубов вовсе не стало — по яблоки-то.

— Там вставят...

— Нуте, нуте... То-то, гляжу, оробели, лишку курите. Дак, может, и не по той причине. Гостюшка-то штатский али в мундире? Кто видал?

— Кажись, в белом пинжаке.

— Ага, ага... Сорока-белобока... Нуте, нуте... Потрескочет, побалаболит чево-нито, да и восвояси. Не артист ли, как тот раз?

— Да кто ж его знает... Об эту пору с гармошкой не пошлют, с куплетами. Небось скоро нам свою затягивать...

Приезжий человек все не объявлялся, затворился в конторе вдвоем с Прошкой-председателем. Может, они там и о пустом говорят, время тянут, а тут сиди, гадай. Никто толком не мог сказать, с чем гость пожаловал, и мужики, хотя и пошучивали, но сидели как на угольях.

Наконец в конторе послышалось какое-то шевеление, пискнула кабинетная дверь и на крыльце объявился Прошка-председатель в своей низко насунутой восьмиклинке, в куропатчатом расхожем пиджаке с обвислыми карманами, в которых он, запустив по обычаю своему руки, перебирал, позвякивал ключами и всякими подобранными на дороге винтиками-болтиками, перемешанными с овсом, викой и прочими семенами, скопившимися еще от посевной кампании.

Следом, держа под мышкой долгую бумажную трубу, оживленно вышел приезжий человек с простовато-округлым лицом, в широкой чесучовой толстовке.

— Товарищи! — объявил Прошка-председатель. — Давайте подходите поближе.

Усвятцы, переминаясь и оглядываясь, мало-помалу подтянулись, поубавилась галдеца. Усаживались прямо на мураву перед конторой, туда же вынесли два стула и стол под красным полотнищем, придавив его графином.

— Покучней, покучней, понимаешь, — подбадривал Прошка.

Кое-кто посунулся еще маленько к столу.

Приезжий приветливо поздоровался с крыльца, покивал очками на три стороны, будто хотел раздать всем по кивку. Ар-

тельщики оживились, с интересом посматривая на бумажную трубу — что в ней такое.

— Значит, так... — Прошка-председатель, обхватив обеими руками крылечное перильце, качнулся туда-сюда некрупным подростковым телом, как бы испробуя прочность загородки. — Тут, значит, такое дело... Многие интересовались насчет немца. Ну дак вот... Я договорился с районом, чтоб нам выделили знающего товарища, — он метнул козырьком кепки в сторону стоявшего рядом приезжего. — Просьбу нашу, как видите, удовлетворили. Чтоб, значит, не пользовались посторонними слухами. А то есть у нас, понимаешь, отдельные любители базарного радива: «ши-ши-ши» да «ши-ши-ши»... А чего в этом «ши-ши-ши» правда, чего брехня — не всяк способен разобраться.

Сидящие задвигались, запереглядывались, раздались несмелые голоса:

— Да чего уж... Всяко болтают.

— Пущают слушки!

— Да вот вам последний факт. Насчет хлеба. Кто это распустил, будто зерно по дворам собирать будут? Дескать, хлебом собираемся откупаться от немца?

Прошка-председатель обвел упористым взглядом первые ряды, потом пошарился по остальному люду.

— За такие штучки, понимаешь... — Он запихнул руки в карманы, сердито побренчал ключами, но тут же выхватил, свернул фигу и сунул ею на закат солнца. — А во ему хлеба, поняли? На-кось вон, пусть понюхает. Крендель с ногтем!

Приезжий человек сдержанно покашлял.

— Насчет овса, это верно, есть такая разнарядка, получена. Чтоб подготовить излишки в фонд мобилизации. Овсом, конечно, мы поделимся. Дак опять не с немцем же! Потому как наша армия состоит не из одних токмо бойцов и командиров, а и кони при ей есть. Пушки, обозы, кухни — все это коня требует. А конь — овса. Понимать надо...

Он сделал заминку, потер скулу, пошуршал щетиной.

— Ну это я к тому, что не знаешь — не болтай. А то хлеб, хлеб! А короче говоря, давайте послушаем, что нам скажет сведущий человек, вот он, товарищ Чибисов Иван Иванович. Чтоб потом некоторые не отирались без толку возле правления. Теперь каждая минута дорога. Эй, пацанва! Потише там! Разбало-

вались, понимаешь. Цыц мне! Чтоб ни гугу. А то живо ухи отвертаю.

На поляне попритихли: никогда еще усвятцы не видели своего председателя таким осерженным, в таком недобром расположении.

Прошка-председатель с приезжим Иваном Ивановичем спустились к столу. Та бумажная труба оказалась всего-навсего печатной картой, раскрашенной веселыми разноцветными красками. Пока Иван Иванович пришпиливал ее кнопками к стене меж конторскими окнами, Прошка достал складничек, отхватил им от саженца боковую ветку, сноровисто обчистил добела и подал лектору, после чего занял место за столом, готовясь тоже послушать вместе со всеми.

Иван Иванович, не мешкая, принялся объяснять, какова из себя Германия, кто таков этот расфашист и разбойник Гитлер, почему ему неймется мирно обходиться с другими государствами, сколь народов уже повоевал и обездолил перед тем, как напасть на Россию. Говорил он неспешно и обстоятельно, помогая себе хворостинкой, и всем стало сразу ясно, что человек он и на самом деле сведущий. Мужики, покуривая, следили, как проворно бегала по карте выструганная палочка, как втыкалась она в разноокрашенные места, означавшие страны, которые хотя и ненадолго задерживались в памяти из-за их непривычных, мудреных названий — Великобритания, Норвегия, Голландия, Люксембург и еще много других и прочих, — все ж слушать ровно бегущую речь было хотя и тревожно, но интересно. Из задних рядов, правда, не очень-то уследживалось, кто там и где находится, — дюже уж теснились, изловчались и наседали друг на дружку оные царства и государства. Скопившиеся под дальними саженцами пацаны подхватили забавное для них слово — Европа и, хихикая, сразу же приспособили к нему свой к ладу, к созвучности добавок, за что восседавший за кумачом Прошка-председатель тут же отчитал остряков:

— А ну-ка, грамотеи! На срамное вы завсегда мастера. Лучше б вникали, чего вам говорят умные люди. Только хихи да гаги в голове.

И лишь одно название было всем дорого и понятно, как, скажем, мать или хлеб, — Россия. Против тех государств, как бы разнопосевных кулижек, витиевато обведенных на карте межами и частокольем, лежала она, будто большое, раздольное

поле, да и то, оказывается, не вся поместилась на карте, смогла войти в нее лишь малой своей частью, тогда как на остальное не хватило бумаги. И голубые жилы рек, которые указал и назвал Иван Иванович, петляли по России не обрываясь, не подныривая под пограничные прясла, а текли себе привольно от самого начала до своего исхода — к синим морям. И было всем странно и непонятно, как это Германия осмелилась напасть на такую обширную землю. Сидевший рядом с Касьяном Давыдко глядел-глядел, таращась, на единую российскую покраску, на общий ее засев и не утерпел, перебил вопросом лектора:

— Ужли наше все это? Дак которая тади из них Германия-то?

Иван Иванович приостановил хворостинку, выслушал Давыдку и тем же ровным голосом дообъяснил непонятное:

— Я вам, товарищи, уже показывал. Вот эта коричнево окрашенная территория и есть Германия.

— Только и всего? Это которая на морду похожа?

— Ну, если хотите, — сдержанно улыбнулся Иван Иванович, — то сходство с физиономией, с профилем действительно имеется. Это вы весьма удачно заметили. В самом деле, вот эта часть, — Иван Иванович показал на карте хворостинкой, — которая вытянулась на восток вдоль Балтийского моря вплоть до польского города Гдыня, очень похожа на обращенный в нашу сторону и как бы принюхивающийся нос. И даже капля висит на этом носу — так называемая Восточная Пруссия — часть земли, некогда отвоеванная у приморских славян. А там, где нам воображается глаз, — вот видите этот кружок? — это и есть германская столица Берлин.

— А и верно — глаз! — удивились бабы. — Дак а чего-то у него, немца-то, изо рта торчит, цигарка, что ли? Эку длинну в рот забрал!

— Нет, товарищи, это не цигарка, — опять улыбнулся Иван Иванович. — Это государство Чехословакия, которую Германия аннексировала, или, как вполне точно кто-то из вас выразился, — забрала в рот, — еще в тысяча девятьсот тридцать восьмом году.

— Понятно теперича... Вот оно что!

Далее, однако, выяснилось, что карта эта уже устарела и что нос у немца вытянулся еще дальше, уперся в самую Россию, а теперь вот Германия и вовсе на нас напала — бомбит города, во

многих местах вклинилась на нашу землю, и что есть уже убитые и раненые...

Народ на полянке поумолк, а какая-то бабенка в задних рядах при упоминании об убитых сдавленно завыла и, закрывшись руками, ткнулась белым платком под саженец в отросшую траву. На нее зацыкали соседки, принялись тормошить с укором. Прошка же, постучав ключом по графину, возвысил голос:

— Марья! Не мешай слушать! Сразу и в рев...

Баба малость поубавила тону, но выть не перестала.

— Как фамилия этой колхозницы? — склонился к председателю Иван Иванович, который, насунув на глаза козырек кепки, с нетерпеливым недовольством глядел в ту сторону, под саженец.

— Кулиничева, — подсказал председатель. — Мария Федосеевна. Ладно, ладно тебе, Марья. Нечего загодя голосить-то. Не муторь мне людей.

— Марья Федосеевна! — попробовал окликнуть ее и Иван Иванович. — Товарищ Кулиничева!

Он смущенно поглядел в толпу поверх очков.

— Послушайте, голубушка. Ну что же вы так сразу. Слезы в таких вещах плохой помощник. Кому от них польза? Одному врагу, одному ему на руку наша растерянность. Наоборот, надо проявлять твердость духа, а не поддаваться паническим настроениям.

Щуплая, плосконькая бабенка, еще пуще вжимаясь в землю, вовсе потерялась в траве, и было только видно, как заметный уголок белой косынки судорожно дергался в кустиках лебеды.

— Право же, никаких оснований для слез еще нет, — пытался утешить Иван Иванович. — Ведь все эти временные успехи достигнуты неприятелем за счет внезапности нападения. Представьте себе: вы ничего не знаете, а на вас набросились из-за угла. В таком случае даже сильный может оказаться на первых порах в невыгодном положении и понести некоторый урон и ущерб. Вот сидящим здесь мужчинам такая ситуация должна быть знакома из личного опыта, — попробовал шуткой смягчить непредвиденную заминку Иван Иванович. — Ведь и с каждым, наверно, бывало такое, если припомнить, не правда ли?

Мужики оживленно заерзали, загалдели:

— Ну дак ясное дело! Бывало, бывало такое...

— Вот видите? А вы, Марья Федосеевна, сразу и в слезы.

— Да, понимаешь, сын у нее служит в тех местах, — перебил его Прошка-председатель. — И жену с дитем как раз по весне забрал туда... Марья! Где это у тебя Гришка-то? В каком городе?

Что ответила бабенка, не было слыхать, но люди через ряды донесли ее ответ, и Давыдко объявил:

— В каком-то Перемышля он.

— Ах вон оно что... — покивал очками Иван Иванович. — Понятно, понятно...

— Встань, Марья! — опять потребовал Прошка-председатель. — Кому говорю.

Марья вяло выпрямилась, утерлась углом косынки и смиренно сложила руки в подол.

— Мы несколько отвлеклись от нашей беседы, — опять ровно заговорил Иван Иванович, — так что продолжим... Как я уже сказал, для особых тревог у нас с вами нет оснований. Бои ведут пока одни только пограничники. Главные наши силы еще не подошли, не участвуют в сражении. На это нужно время, надо немного подождать.

Он вернулся к карте и, оглядывая ее, простирая к ней хворостинку, рассказал о том, что скоро, очень скоро враг на себе испытает всю мощь ответного наступления, что на его наглую вылазку наша армия ответит тройным сокрушительным ударом и что не за горами то время, когда немецкие войска будут с позором обращены в бегство и наголову разбиты на их же собственной территории.

Мужики одобрительно запереглядывались, и лектор, оставив карту и подойдя к столу, обратился непосредственно к ним:

— Дорогие друзья! Есть еще одно немаловажное обстоятельство, не учтенное германскими горе-стратегами. Чем больше они раздувают свою военную машину, тем ненадежней она, тем опасней для них самих. Вы спросите, как так? Да потому, что их армия в большинстве своем состоит из обманутых рабочих и крестьян, которые никак не заинтересованы воевать против нас, своих же братьев. Их гонят в наступление насильно, из-под палки. Отсюда какой можем мы с вами сделать неоспоримый вывод? А тот, что подневольная армия при первом же серьезном отпоре неизбежно развалится и немецкие солдаты, такие же, как и мы с вами, простые труженики, повернут штыки против своих хозяев...

Иван Иванович покопался за отворотом чесучовой толстовки, достал какой-то листок и продолжал:

— А что касается, товарищи, нашей армии, то не буду утруждать вас всевозможными цифрами, да это, сами понимаете, и не положено в военное время, а зачитаю вам лишь некоторые установки, которые даны войскам. Надеюсь, вы сами сделаете из них надлежащие выводы и подведете черту нашей беседе. А написано тут следующее.

Первое: если враг навяжет нам войну, наша армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий.

Второе: войну мы будем вести наступательно, перенеся ее на территорию противника.

И третье: боевые действия будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома противника и достижения решительной победы малой кровью.

Иван Иванович аккуратно свернул бумажку и опять спрятал ее в карман.

— Возможно, у кого есть вопросы? — поинтересовался он, вытирая платочком запотевшие очки. — Есть вопросы, товарищи?

Из задних рядов кто-то выкрикнул:

— А верно ли бают, как будто немец одной колбасой питается?

— То есть как одной колбасой? — перестал протирать очки Иван Иванович.

— Говорят, вроде у него хлеба своего нетути. Одни заводы, а сеять негде. Это ж он нашего хлебца маленько припас, когда договор с нами был, а так — нету.

— А откуда ж у него колбаса, ежели земли нет? — спросил Прошка-председатель, навострив язвительный взгляд в дальнюю кучу мужиков. — Колбасу без земли тоже не сделаешь. Голова!

— Дак, может, она у них такая... неправдашняя, — выкрикнул тот же голос. — Токмо чесноку, шпику добавляют для запаху.

— А ты ее нюхал? — засмеялся кто-то в толпе.

— Я-то, конечно, не нюхал. Где ж мне ее нюхать-то? Я и своей не дюже-то пробовал.

— Не морочь голову, Лобов, — обрезал Прошка-председатель. — Если спрашивать, то по делу. Вечно у тебя в мозгах яишница какая-то, понимаешь.

— У кого еще есть вопросы? — повторил Иван Иванович.

— У меня есть! — объявил Давыдко. — Дак а сколь у ево народу, если он так-то всех бьет и бьет?

— Если считать самих немцев, — сказал Иван Иванович, — то приблизительно шестьдесят миллионов.

— А у нас сколь?

— Сто восемьдесят пять. Как говорится, по три наших шапки на одного немца.

— Тади ясно.

— Нет больше вопросов?

— Нема! — довольно отозвались мужики. — Все ясно и понятно.

Приезд Ивана Ивановича принес облегчение, снял томивший груз неведения, и мужики, расходясь, повеселели и даже выпили в тот вечер кружком, за конторой.

Бывает так по осени: внезапно пахнет мороз, захватит врасплох все живое, обникнут опаленные холодом разохотившиеся было и дальше расти побеги, убьет на грядах ботву, загонит в норы и под коряги всякую живность, а потом вдруг вновь нежданно растеплится, выстоятся деньки, и опять все, забыв недавние страхи и невзгоды, закопошится, запрыгает и возрадуется благодати.

— А и башковитый мужик! — похвалил Ивана Ивановича дедушко Селиван, когда после лекции расположились своей кучкой в укромных бурьянах. — Теперича все ясно. А то сидим тут — опенки опенками. Соль всю в сельпе подчистили, карасин, спички. Ситчик завалящий — и тот похватали бессчетными аршинами. Иншие дак и хлеб стали припрятывать.

Вчерашние повестки разворошили было деревню, забегали, запричитали бабы. Но, оказалось, потрусили не густо, одного-двух на десяток дворов, в Касьяновом конце и вовсе никого не тронули. Да и взяли в основном молодых. Остальных, кто постарше, главную усвятскую силу и опору, пока не задели, и после лекции появилась надежда, что могут и не задеть вовсе, тем паче, что против одного немца приходилось по три человека с нашей стороны. Зачем столь брать, обременять государство излишним расходом, наделять всех обужей-одежей да и хлеб зазря переводить?

— Ну, ребятки! — просветленно поднял и свою чарочку дедушко Селиван. — Бог не выдаст — свинья не съест. Авось

обойдется. Возьмут кого, дак ежли, как было сказано-то, есть такое предписание, чтоб на его земле биться, тади вам и делать буде нечего. Это же пока пройдете докторское обсвидетельство, пока распишут по частям — кого в пяхоту, кого в кавалерию, кого в санитары, — о-ей, сколь время убежит! Дело это нешвыдкое — разобраться с каждым, кто на какую службу гож. Да пока довезут до места, колтыхать-то не ближний свет, эвон какова Россия по карте-то, да там примутся обучать строю, оружию, — глядишь, тем временем и попрут его без вас да и замирятся вскоре. Это как в финскую. Тади тоже так вот: война, война... А воевать-то многим и не довелося. Так только — пожили в лагерях, песен строем попели, похлебали казенного варева да и по домам восвояси.

Подвыпивший Касьян слушал все это и чувствовал, как оттаивала душа и онемевшие было руки сами собой испрашивали какого-нибудь дела. Да хоть бы и опять в луга да покоситься всласть, без спешки, маеты и оглядки.

— Попрут, попрут его, голубчика! — продолжал возгораться дедушко Селиван. — Помяните мое слово, попрут. Немец, он только с наружности страховитый. Нацепляет на себя всяких железяк, блях, баклажек да ремней, а разглядеть его, дак хли-ипкай. Штыка, к примеру, никак не выдерживает, сабли — дак за версту одного сверку боится. Истинное слово! Бивали мы его, горохова пярдуна, знато дело. Это ж, ежли порассказывать, как в ту войну, в четырнадцатом. Бывалоча, как высыпем из окопов, как вдарим в штыки да как шумнем «ура!» — потыркает, потыркает по нам, видит — неймет, густо нас дюже, да и деру бежать. Так что попрут, попрут его, и не сомневайтесь в этом.

Но утешение было недолгим и хмельным, как и сама водка, по которую еще раз да другой гонял в тот тихий, полынком обвевающий вечер легкий на такое поручение Давыдко, благо, что и сами жаждали этой неправды: может, и верно, все обойдется малой кровью да на ихней же, немецкой земле. А если и отлучаться из дому, то всей и потраты, что строем попоют песни в лагерях да постебают бесплатного кулешу.

Но уже через несколько дней на деревню, как тяжелые наволочные тучи, наползли слухи, будто немец прет великим числом, позахватил множество городов, полонил и разогнал по лесам и болотам целые наши армии, которые-де побросали на дорогах пушки и обозы со всеми припасами, а которые пробуют

обороняться, тех немец палит огнем и давит бессчетными танками. Что тут было правдой, а что вымыслом, понять было трудно и спросить не у кого. В газетах по-прежнему ничего толком нельзя было вычитать: энская часть да энское направление — вот тебе и весь сказ.

Слухи о том, что немец идет беспрепятственно, рушит все и лютует, ходили все упорнее, и будто бы уже повоевал Белоруссию и сколько-то еще земли по-за нею. Вскоре о том помянули и в газетах, дескать, после упорных боев наши войска оставили Минск. Это означало, что немец за шесть дней наступления углубился не меньше как на пятьсот верст, продвигаясь более чем по восемьдесят километров в сутки. Выходило, что мрачные слухи в общем-то были верны, и мужики, словно после тяжелого похмелья, хмуро молчали и не глядели друг на друга: какая уж там малая кровь! Кровь великая, и лилась она по своей же земле.

Виновато помалкивал и дедушко Селиван, который никак не мог взять в толк, отчего так все получилось нескладно и несуразно.

5

Одно только дело, как и прежде, в мирное время, Касьян исполнял без запинки — гонял колхозных лошадей в ночное к остомельским омутам. Гонял через день, чередуясь со своим напарником Лобовым.

Ночи стояли светлые, в благодатной теплыни. Отпустив стреноженного коня под седлом, он бросал на берег старый бараний кожух, ложился ничком головой к реке и постепенно отходил душой.

Внизу, в густой тени, под глиняной кручей вкрадчиво бормотали сонные струи, неся с собой парные запахи кубышек, которые, разомлев еще в дневной духоте, только теперь начинали пахнуть особенно остро и опьяняюще. К этим запахам примешивалось дыхание заречных покосов, томный аромат калины, а иногда вдруг в безветрии, поборов все остальное, обнажалась нежная горечь перегретых осин, долетавшая в луга из дальнего и незримого леса.

Опершись подбородком на скрещенные руки, Касьян бездумно прислушивался, как невидимый зверушка шебуршил под обрывом, должно быть, чистил свою нору, роняя сухие

комья, дробью стучавшие по воде. А на самой середине реки, на лунно-осиянном плесе, все вскидывалась на одном и том же месте какая-то рыба, пуская вниз по течению один за другим кольчатые блинцы. В заречье, в сырых, дымно-серебристых от росы лозняках неумолчно били перепела — краснобровые петушки, словно нахлестывали друг друга тонкими прутиками — фью-вить! фью-вить! — и выстеганный ими воздух, казалось, потому был так чист и прозрачен.

Вкруг Касьяна в кисейно-лунной голубизне маячили лошади, мирно хрумкали волглой травой. Даже теперь, в ночи, Касьян различал многих из них, и не по одной только масти.

Вон сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, подбирала все подряд, будто жала, словно все время помнила, что летняя ночь коротка, а день в хомуте долог, мослатая работяга Варя. Неподалеку от матери резвился Варин двухмесячный малышок со смешным кучерявым хвостиком, который он то и дело поднимал и держал на отлете, как бы вопрошая мать: а что это? а это что? Жеребенок то пробовал щипать траву, неумело тянулся короткой шеей к земле, то, узрев темный кустик татарника, таинственный в своей неподвижности, цепенел перед ним, боязливо тянулся ноздрями, и вдруг, неумело взбрыкнув, отлетал прочь. Но, увидев мать, тут же забывал свои минутные страхи и вот уже, полный ликующей радости бытия и потребности куда-то мчаться, пускался отбивать копытцами — та-та, та-та, та-та, — в лихом наклоне узкого и плоского тельца вынашиваясь вокруг Вари.

А там, часто переходя, шумно отфыркиваясь, выбирала, обнюхивала каждую куртинку привередливая Пчелка — молодая, красивых донских обводов кобыла в белых чулках на передних ногах. На ней уже ездили, но она пребывала в той переходной легкомысленной поре, когда еще не научилась терпеть упряжь как должное и всякий раз при виде подносимого хомута западала ушами и норовила куснуть ненавистную штуковину. Но в лугах все эти удила и подпруги тотчас забывались, и она предавалась свободе и беспечности, как школьница, забросившая докучливую учебную сумку.

Там вон сошлись, чешут зубами друг другу холки неразлучные подруги Вега и Ласточка, чалые простушки, которых Касьян и в работе старался не разлучать и запрягал только в пароконку. В дышле и бежали, и тянули они ревностно, всегда по-

ровну, честно деля и дальнюю дорогу, и нелегкий воз, и Касьян уважал их за эту добросовестную надежность.

Поодаль, подойдя к самому обрыву, недвижно стоял старый Кречет. Когда-то был он в нарядных серых яблоках, особенно по широкой груди и округлым стегнам, постепенно переходивших книзу, к ногам, в посеребренную чернь. Но со временем яблоки вылиняли, а потом и совсем пропали, и Кречет сделался просто сивым, покрылся морозным инеем, а под глубоко провалившимися салазками отросла белая стариковская борода. Конь, ослабив заднюю ногу и обвиснув репицей, в раздумье смотрел в заречье, а может, уже и никуда не глядел и ни о чем не думал, как полусухой чернобыл перед долгой зимой...

Он еще продолжал помаленьку работать, таскать свою сорокаведерную бочку на скотный двор, но и это, казалось, необременительное дело все больше утомляло его, и он тут же задремывал, как только останавливались колеса и возчик бросал на его зазубренный хребет веревочные вожжи.

Касьян, глядя на одряхлевшую лошадь, всякий раз вспоминал своего старика отца, когда тот однажды, еще до колхоза, поохотившись поехать в поле, не смог сам влезть в телегу, заплакал и не поехал. «Все, Кося, отъездился я...» — проговорил он в неутешном сокрушении. Касьян попробовал было посадить старика, взял его под сухонькие закрылки — так хотелось Касьяну, чтобы и отец, ну пусть не помог, а хотя бы побывал в поле на первый день жнитвы, порадовался бы дороге, воле, молодому хлебу. Но отец, отстранив Касьяна, замотал лунь-головой: «Нет, сынок, так я не хочу. Коли не работник, то и нечево...»

Недолго небось и Кречету осталось до того дня, когда он тоже не сдвинет своей бочки...

Уже в который раз Прошка-председатель, наткнувшись на Кречета, гудел, что, мол, попусту держат ненужную худобу, травят на нее корма. Но у Касьяна рука не поднималась выдворить старика за конюшню, и он упрямо, не зная и сам для чего, поддерживал в нем остывающую жизнь и даже исподтишка подкармливал чем помягче: то овсеца вымочит в ведре, то зачерпнет сечки в коровнике.

Когда перед ночным отвязывали и выпускали лошадей и те, нетерпеливо теснясь, выбегали за конюшенные ворота, Кречет, уже зная, куда их и зачем выгоняют, тоскливо посматривал из-

за своей загородки на светлый квадрат распахнутой зари и даже пытался напомнить о себе ржаньем. Но голоса у него уже не было, и он лишь немо и тяжко выдыхал неозвученный воздух. Касьян под конец выпустил и его, и Кречет, выйдя за порог, глубоко и шумно вздохнул. А потом, выфукивая пыль из-под разлатых, уже не ковавшихся копыт, тяжело неся свой громоздкий остов, трусил позади табуна, стараясь не отставать, как тогда дедушко Селиван...

«Кабы б все только с пользой, дак многое на этом свете найдется бесполезного, — размышлял Касьян, глядя на серую глыбу лошади на берегу. — Не одной пользой живет человек».

Иногда к Касьяну подходила бродливая Пчелка. Лоснясь лунными бликами, вся трепетно настороженная, готовая во всякую минуту отпрянуть, взвиться и отскочить с игривым испугом, она принималась обнюхивать Касьянов узелок с едой, черный закопченный котелок, оброненный в траву ременный кнут, потом подбиралась и к самому Касьяну, тыкалась мордой в кожух, брезгливо сфыркивая от запаха овчины, тянулась мягкими губами к его старенькой кепке, пропахшей конюшней, овсом и сеном. Касьян не отпугивал кобылу, недвижно лежал, полнясь сладким удовольствием от этого осторожного прикосновения лошади, накрывшей его своей тенью и веющей терпким и таким близким и успокаивающим духом здоровой конской плоти.

— Ну, будет, будет... — наконец повернулся он к Пчелке, когда та задышала в самое ухо и даже ослюнявила его. — Ступай, пощипи. А то пробегаешь так-то... Вон, глянь-ка, Варя молодчина какая.

Он говорил совсем по-мирному, будто позабыл, что идет война.

После деревенской колготы, бабьего рева и томительного ожидания чего-то здесь, в лугах, стало Касьяну особенно отрадно, тут можно было хотя бы на время отдаться тому неведению беды, в коем пребывали и эта ночная отдыхающая земля, и вода, и кони, и все, что таилось, жило и радовалось жизни в этой чуткой голубой полутьме, — всякий сверчок, птаха или зверушка, ныне никому не нужные, бесполезные твари.

Деревня кое-где еще светилась, и, когда Касьян оборачивался в ту сторону, лишь они, эти тусклые керосиновые огоньки, затаенно припавшие к земле у самого горизонта, напомина-

ли об иной, неизбывной реальности, куда он должен был возвращаться на рассвете.

Ему казалось, что все там охвачено каким-то тяжким повальным недугом. Это поветрие, принесенное в деревню, уже проникло и расползлось по людским душам, будь то мужик или баба, старик или малое дитя. У всех без разбора оно отложило свое семя, и с ним теперь каждый просыпался, принимался что-то делать, ел или пил, шел куда-то или ехал и, отбыв сумятный день, опять забывался во сне, не избавлявшем от смуты и ожидания неизвестного.

Война...

Отныне все были ее подушными должниками, начиная с колхозного головы и кончая несмышленым мальчонкой.

Являлся ли в контору Прошка-председатель, день его занимался не с привычных заведенных обычаев, когда он, едва только взбегая на крыльцо, уже начинал шариться по карманам, отыскивая ключ от своего нового кабинета, и все находившиеся в конторе слышали, как сперва решительно клацал замок, потом сразу же начинало гулко трыкать где-то под потолком, означая, что Прошка подставил стул и самолично заводит настенные часы, а уж потом доносилось бодрое «Потапыч», когда был он в добром расположении, или нетерпеливое и требовательное «Петр-р-раков!», что на конторском языке в обоих случаях понималось: «Бухгалтера ко мне!» Теперь же Прошка-председатель входил в контору без прежнего оживленного топота, будто прокрадывался, — сумной, проткнутый какой-то больной думой, с белым пятном извести на спине замятого пиджака: где-то шоркнулся в беготне о стену да так и не оттер. И после того как отпирал дверь, из его кабинета больше не слышалось ни рыка заводимых часов, ни клича бухгалтера, а наступала мертвенная тишина, которая иногда затягивалась надолго, и никто не знал, что он делал в эти немые минуты: то ли недвижно замирал у окна, то ли забывался, сидя за своим неотомкнутым столом. И только он один знал, что день его теперь начинался с опасливого погляда на телефон, поскольку на другом конце провода ежечасно, ежеминутно его караулила война. В любое мгновение она могла ознобить властным звонком, бесцеремонным распоряжением, как уже было, когда позвонили и потребовали срочно отгрузить все наличие овса в фонд мобилизации, или оглушить в трубку худой вестью, от которой и вовсе опускались руки.

Отправлялась ли баба в сельпо, она теперь не по-будничному шла туда, лузгая семечки, чтобы, поболтав у прилавка, купить кулек лампасеток или кренделей, а уже издали зыркала, приглядываясь к лавке: не подвезли бы, подай Бог, еще партию соли, которая вдруг сделалась слаще всяких конфет и которую в давке расхватали до самого пола — волокли кто на горбу, кто на тачке, а кто в ведрах на коромысле.

Рассаживались ли на завалинке запечные старцы — и они, не как прежде, сходились для одного лишь коротания летней погожей зари, а, гонимые все тем же недугом напасти, гадали и рядили, прикидывали на свой стариковский салтык, как оно будет, каково пойдет дале, ежели уже теперь оплошали и дозволили немцу потоптать уймищу своей земли.

И даже детишки в гурьбе на выгоне больше не забавлялись в жучка и салочки, а словно бы с ними чего сотворили, навели какую порчу, — все враз кинулись выстругивать себе сабли, ружья да пугачи. Допоздна — матерям не дозваться — галдят, галдят драчливо за огородами, бегут, бегут куда-то, пригнувшись, прячутся по канавам и все пукают друг в друга из тесового оружия.

Но только ли на людях — на всей деревне с ее заулками и давно не поливавшимися грядами, на всякой избе и каждом предмете в дому отпечатано это нестираемое клеймо военной хворобы. От всего веяло порухой прежнего лада, грядущими скорбями, все было окроплено горечью, как подорожной пылью, и обрело ее привкус. Этот недуг души, разлад в ней и сумятица ломали, муторили и самого Касьяна, когда он оказывался во всеобщей толчее — возле правления, на скотном базу или в мужицком сходе на улице. И только здесь, в лугах, в росном безбрежье трав, в безлюдной вольнице под мирный всхрап коней и бой перепелов Касьяна постепенно отпускало.

Раза два он уже вставал с кожуха, отыскивал оседланного Ясеня, объезжал и поправлял табун, чтобы широко не растекался, и здесь, в седле, к полуночи его настиг внезапный и такой нестерпимый голод, как после избавления от болезни. Он бросил объезд и напрямки, через лошадей, вернулся к узелку. И тут кусок крутого хлеба, на поду испеченного Натахой еще на мирной неделе, который он густо осыпал серой крупной солью и которым жадно хрустел теперь с молодым перистым луком, впервые за весь день обрел свой прежний житный вкус и даже обостренный аромат далекого детства — без горечи гнетущей несвободы.

С берегов Остомли в легкой подлунной полумгле деревня темнела едва различимой узенькой полоской, и было странно Касьяну подумать, что в эту полоску втиснулось почти полторы сотни изб с дворами и хлевами, с садами и огородами да еще колхоз со всеми его постройками. И набилось туда более пятисот душ народу, триста коров, несчетное число телят, овец, поросят, кур, гусей, собак и кошек. И все это скопище живого и неживого, не выдавай себя деревня редкими огоньками, чужой, нездешний человек принял бы всего лишь за небольшой дальний лесок, а то и вовсе ни за что не принял, не обратил бы внимания — такой ничтожно малой казалась она под нескончаемостью неба на лоне неохватной ночной земли! И Касьян приходил в изумленное смятение, отчего только там ему так неприютно и тягостно, тогда как в остальной беспредельности, середь которой он теперь распластался на кожухе, не было ни горестей, ни тягостной смуты, а лишь царили покой, мир и вот эта извечная благодать. И на него находило чувство, будто и на самом деле ничего не случилось, что война — какая-то неправда, людская выдумка.

И он отвернулся от деревни и, доедая ломоть хлеба, принялся глядеть за реку, в благоухающую кипень сырых покосных перелесков, где все живое, не теснимое присутствием человека, раскованно и упоенно праздновало середину лета.

«Вот же нет там никого, — думалось ему, — одна трава, дерева да звезды, и нет никакой войны...»

Но где-то уже за полночь в той стороне, откуда быть солнцу, в ночные голоса лугов прокрался едва приметный звук, похожий на гуд крупного жука. Касьян даже пошарил вокруг глазами: в эту пору жуки всегда летели с той стороны, из дубравных лесов, и не раз доводилось сбивать их шапкой. Отыскав потом по басовитому рыку в траве, Касьян заворачивал в тряпицу и приносил эту занятную диковинку своим ребятишкам.

Но приглушенный гуд постепенно перешел в гул, который все нарастал и нарастал, как наползает грозовая туча. Нездешний и отчужденный, с протяжным стонущим подвыванием, он неотвратимо и властно поглощал все остальные привычные звуки, вызывая в Касьяне настороженное неприятие. Сначала расплывчатый и неопределенный, он все больше густел, все явственнее определялся в небе, собирался в ревущий и стонущий ком, обозначивший свое движение прямо на Касьяна, и

когда этот сгусток воя и рева, все ускоряя свой лет, пересек Остомлю и уже разрывал поднебесье над самой головой, Касьян торопливо стал вглядываться, рыскать среди звезд, размытых лунным сиянием.

В самой светлой круговине неба он вдруг на несколько мгновений, словно потустороннее видение, схватил глазами огромное крылатое тело бомбовоза. Самолет летел не очень высоко, были различимы даже все его четыре мотора, наматывавшие на винты взвихренную лунную паутину, летел без огней, будто незрячий, и, казалось, ему было тяжко, невмочь нести эту свою черную слепую огромность — так он натужно и трудно ревел всем своим распаленным нутром.

Стихли, перестали взмахивать своими прутиками перепела. Затаился, оборвал сырой скрип коростель, должно быть, вытянулся столбиком, подняв к небу остренькую свою головку, сделав себя похожим на былку конского щавелька. Кони тоже оставили траву, замерли недвижными изваяниями. И только Варин жеребенок не выдержал, сорвался было куда-то, но, внезапно остановившись, потрясенно упрясь в землю широко расставленными ножками, залился отчаявшимся колокольцем. Варя, сама придавленная моторным ревом, не пошевелясь, не поворотив даже головы, а лишь подобрав брюхо, исторгла какой-то низкий утробный глас, какого Касьяну не приходилось слышать от лошади, и жеребенок, поворотив обратно, с ходу залетел под материнский живот, в самый темный подсосный угол.

Пройдя зенит, будто перевалив через гору, бомбовоз, уже снова невидимый, умерил свой рев и, отдаляясь, стал все глуше и глуше уходить к закату, возвращая лугам нарушенную тишину. Еще какое-то время он неприкаянно стонал где-то за деревней, пока наконец не изошел совсем, опять превратясь в ничто, в небылое...

Но еще долго после того луга онемело молчали. И лишь много спустя робко, неуверенно фтюкнул первый перепелок, за ним подал о себе знать второй, а уж глядя на них расслабился в своей потаенной стойке и коростель, вновь из щавелевой былки обернулся скрипачом, пока еще несмелым, не одолевшим робости.

Но едва все наладилось, пошло своим прежним чередом, едва кони вспомнили о траве, как на востоке снова вкрадчиво заныло, занудело, разрастаясь вширь упрямым гудом. И опять в

надсадном напряжении всех своих моторов черной отрешенной громадой прошел другой такой же бомбовоз. И было слышно, как от его обвального грохота тонко позвякивала дужка на боку Касьянова котелка.

Потом проследовали тем же путем третий, четвертый, пятый...

Касьян досчитал их до двух десятков, а они все летели и летели, озабоченные какой-то одним им известной устремленностью, заставив окончательно приумолкнуть окрест все живое. И даже кони больше не пытались кормиться, а так и остались стоять, как при обложной непогоде.

А бомбовозы все летели, заполняя ночь нарастающими волнами грома, и, пройдя над Касьяном, снова обращали рев в затихающий гул, а гул в замирающее стонание...

— Это ж она... — потерянно трезвел на своем мокром от росы полушубке Касьян. — Она ж летит...

Он даже не решался назвать это прямо, тем единственным жутким словом, замены которому не было, будто боялся навлечь беду и сюда, в ночные луга. Но теперь уже ни в нем самом, ни во всей округе не оставалось ни покоя, ни той благодати, которые еще недавно заставили было его поверить в неправду случившегося.

Война летела над ним, заполняя собой все, сотрясая каждую травинку, проникая своим грозным воочием в каждую пору земли, в каждый закоулок сознания.

— Видать, разгорается не на шутку, — говорил сам себе Касьян, догадываясь, что эти тяжелые многомоторные чудовища перегоняли к фронту откуда-то из глубины страны. Он никогда еще не видел таких огромных самолетов. Где-то они таились до поры, как прячутся невесть где до своего массового лета те черные рогатые жуки, которых он сбивал шапкой. И еще терзала его догадка, что, ежели такая сила не может побороть врага, который успел заглотить за эти дни столь много от России, стало быть, у него, у немца, и того больше заготовлена сила. Значит, придется идти и ему, и всем подчистую...

Лишь перед рассветом, когда на востоке проклюнулась зеленая неспелая заря, бомбовозы, будто убоявшись грядущего солнца, оборвали свое пришествие: одни ушли дальше, на запад, другие больше не появлялись, оставшись где-то на скрытых гнездовьях дожидаться своего череда.

Так во тьме ночные существа, невольники инстинкта, летят на пламя пожирающего их костра.

И когда в самом зачатке утра, продрогшего от росы и израсходованного вчерашнего тепла земли, наконец наступила тишина, она, эта тишина, как и само утро, показалась Касьяну серой, безжизненной немотой — то ли оттого, что еще не взошло солнце, или потому, что скованно и непривычно молчали луговые птицы.

6

Касьянова деревенька Усвяты некогда тянулась одним порядком — по-над убережной кручей, и все избы этого порядка были обращены в заливные луга — любил русский человек селиться на высоте, чтоб душа его опахалась далью и ширью и чтоб ничто не застило того места, откуда занималось красно солнышко.

Со временем, множась, люди заложили и второй посад, позади первого, и образовались две улицы — Старые Усвяты и Полевые Усвяты, разделенные между собой привольным муравистым выгоном. Выгон этот был для полевских как бы своим лужком: здесь по первой траве весело желтели гусиные выводки, на все лады мекали привязанные телки, а по праздникам девки и парни устраивали свою толоку с гармошкой и припевками.

Уже на памяти стариков Полевые Усвяты дважды выгорали почти до последней избы — то ли оттого, что люди там строились покучнее, поприлепистее, то ли потому, что на том посаде, на самом материке, было мало колодцев.

Горели полевские всегда летом, в суховейные годы, когда перед тем надолго задувал юго-восточный, или, как тут называли его, татар-ветер. Он выметал с дорог всю пыль до окаменелой черни земли, закручивая в хрусткие трубки листья на огурцах и картошке, скрипел пересохшими плетнями и задирал застрехи пороховых соломенных кровель.

Как ни береглись в это время, как ни запасали воду в бочках и кадушках, но довольно было невесть кем оброненной искры, чтобы все это, измученное сушью, враз занялось неудержимым полымем, с гудом пластавшим свои языки вдоль всего посада.

Касьян и сам, будучи еще мальчишкой, захватил последний такой пожар. Помнит, как закричали, завыли вдруг на дальнем

конце Полевых Усвят, где теперь обитал Давыдко, как туго взбугрился желто-зеленый клуб дыма и тотчас отлетел в сторону, будто при взрыве, и понеслись рвать и метать злые, ярящиеся на ветру гривы, густо сорившие вдоль улицы огненными шмотьями и хлопьями. И вот уже закричали, заголосили на других дворах — и тех, что уже занялись, и тех, что ждали своей неизбежной участи.

Минуло тридцать лет, а Касьян и до сих пор с изморозью на душе вспоминает этот страшный, погибельный крик, вместе с огнем и татар-ветром катившийся от подворья к подворью.

И нынче случилось похожее на тот давний пожар.

Воротясь из ночного, Касьян копался под навесом, где у него был верстак, разбирал на всякий случай кое-какой поделочный материал, скопленный для домашнего обихода, когда послышался отдаленный бабий крик. Кричали где-то в Полевых Усвятах.

Встревоженно острясь слухом, Касьян отворил заднюю калитку в маленький садок из нескольких молодых яблонь и вишенника по омежью, пробрался под ветвями в конец.

Перед Давыдкиной избой, зачинавшей полевской порядок, приметно выли две бабы, осыпанные понизу ребятишками. Над ними возвышался какой-то верховой в седле. Глядеть было далековато, лиц не различить, но и без того Касьян понял, что сумятилась так, на всю улицу, Давыдкина Нюрка с детвой и старая Давыдчиха. Верховой отвалил от ихней избы, и обе бабы еще пуще заголосили, вознося руки и переламываясь пополам в бессильном поклоне. А верховой уже свернул через два дома к воротам Афони-кузнеца, и там тоже вскоре завыли, не выходя на улицу. Так и пошло, где через два двора, где через три, а где и подряд в каждом дворе. Верховой, подворачивая, словно факелом подпаливал подворья, и те вмиг занимались поветренным плачем и сумятицей, как бывает только в российских бесхитростных деревнях, где не прячут ни радости, ни безутешного горя.

— Повестки... — холодея, догадался Касьян, и, когда верховой переметнулся к Старым Усвятам, заходя с дальнего от Касьяна конца, он, не зная, чем занять, куда деть эти последние минутки, снова забился в свой куток, стараясь совладать с собой, подавить оторопь, будто начатое там, в кутке, дело-недело оборонит его от неизбывного.

Дома в этот час никого не было. Натаха вместе с Касьяновой матерью, бабкой Ефросиньей, ушла на подгорные ключи полоскать белье. С ними увязались и Сергунок с Митюнькой.

Оцепенело скованный ожиданием, Касьян машинально продолжал перекладывать бруски и дощечки: годные в одну сторону, негодные — за порог, на растопку, когда, вздрогнув, как под бичом, услышал у ворот конский топот и чужой, незнакомый окрик:

— Хозяин! А хозяин! А ну выдь-ка сюда.

В верховом, глядевшем во двор через плетень прямо из седла, Касьян распознал посыльного из Верхних Ставцов, где располагался сельсовет. Остро, ознобливо полоснуло: «Вот он и твой черед...» И все еще продолжая вертеть в руках сухой березовый опилок, из которого собирался нарезать колесиков для детской покатушки, он глядел уже невидящими глазами, медля выходить, пока его не понукнули во второй раз:

— Эй, слышь! Некогда мне...

— Да иду... Иду я...

Отшвырнув брусок, Касьян заученно провел ладонью по волосам, как всегда при встрече гостей, вышагнул из-под застрехи и нетвердо, опасливо направился к воротам.

— Она? — спросил Касьян, подходя, упавшим голосом и зачем-то обтер руки о штаны.

— Ох, она, браток! Она самая...

Посыльный достал из-за пазухи пиджака пачку квитков, полистал, озабоченно шевеля губами, про себя нашептывая чьи-то фамилии, и наконец протянул Касьяну его бумажку. Тот издали принял двумя пальцами, будто брал за крылья ужалистого шершня, и так, держа ее за уголок перед собой, спросил:

— Когда являться?

— А там все указано. Послезавтра уже быть на призывном. Иметь при себе котелок, ложку, все такое. Ну-ка, друг, распишись.

Посыльный подал через плетень свернутую чурочкой клеенчатую тетрадку со вставленным между страниц чернильным карандашом. Тетрадка была уже изрядно потрепана, замызгана за эти дни множеством рук, настигнутых ею где и как придется, как только что застала она Касьяна. Перегнутые и замятые ее страницы в химических расплывах и водяных высохших пятнах, в отпечатках мазутных и дегтярных пальцев, с этими мол-

чаливыми следами чьих-то уже предрешенных судеб, чьих-то прошумевших душевных смут и скорбей, пестрели столбцами фамилий, против которых уже значились неумелые, прыгающие и наползающие друг на друга каракули подписей. Попадались и простые кресты, тоже неловкие, кособокие, один выше другого, и выглядели они рядом с именами еще живых людей будто кладбищенские распятия.

Касьян свернул повестку, сунул ее за шерстяной чулок. Потом, присев на одно колено, а на другое приспособив тетрадку, мазнул послюнявленным пальцем по соседству со своей фамилией и неуверенно, без привычки расписался.

— Кого еще из наших? — попытал он.

— Один не пойдешь, — неопределенно ответил верховой, засовывая тетрадку за пазуху. — Скучно не будет.

— Махотина берут?

— Это который?

— Алексей Дмитрич. Четверта изба от меня.

— А-а! Кучерявый такой? Уже поперед твоего расписался.

— А Николая Зяблова?

— И его. Вот только оттуда.

— А Лобова? Матвея Семеновича? Конюхом он, как и я.

— Да что я, всех упомню, что ли? Вон сколь повесток! Три деревни тут. И Матвея твоего подберут, куда он денется от этого.

— Выходит, под метлу...

— Что поделаешь. Значит, люди требуются. Сказывают, больно сил у него много. Прет и прет, никакого удержу... А что, хозяин, этого самого не найдется ли?

— Чего этого? — не понял Касьян.

— Ну... что тут непонятного? — засмеялся верховой. — А то с утра мотаюсь по деревням... Бабы все нутро вытрепали, как будто я в этом виноватый.

— А-а... Нет, друг, этого пока нету. Не взыщи.

— Пошто так-то? Али итить не собирался, не припас?

— Ну да что теперь говорить... Дак чего хоть слыхать? Где немец-то? В каких местностях?

— А-а... — Верховой отвернул от плетня, задергал поводьями. — Вот пойдешь сам и узнаешь... Но-о! Но, пошел!

Касьян, опершись на изгородь, проводил вестового, пока тот не скрылся, не свернул к кому-то в заулок, и, тяжело ворочая думу, как впотьмах, вернулся под навес.

Там он долго опустошенно стоял перед верстаком, обвиснув руками, ни к чему не притрагиваясь.

«Ну дак чево там... Все к тому и шло... — думал Касьян, привязавшись взглядом к щелке в стене, сквозь которую протянулся под навес солнечный лучик. — Вон и трактора в эмтэесе вместе с людьми забрали. Стало быть, армия уже своим не обходится, коли по сусекам начинают мести».

Трактора гнали вчера под вечер полевым шляхом по-за Касьяновой деревней, и многие бегали смотреть. Взяли пока одни гусеничные. Сперва прошли два старых «Челябинца» без кабин с приторочёнными сзади бочками запасного горючего. Машины, выхаркивая из патрубков керосиновую вонь, торопко мотали гусеницами, топили их в пухлой дорожной пыли, и та, растревоженно клубясь в вечернем безветрии, уже толсто осела и на жарко-потные, сочащиеся автолом распахнутые моторы, и на привязанные бочки, черневшие бархатными подтеками, и на самих верхнеставцовских трактористов, успевших за четыре версты пути зарасти пылью до серой безликой неузнаваемости. Касьян и впрямь не узнал ни одного из троих, сидевших на первом тракторе, и только во втором углядел Ванюшку Путятина, который эту весну работал на ихних полях. Рядом с Ванюшкой тряслась всем дробненьким телом какая-то девчонка в туго обвязанном вокруг шеи платке, тоже в недвижной, омертвелой маске из пыли, — должно быть, Ванюшкина зазноба, увязавшаяся провожать, может, до самой станции, все тридцать пять верст. Ванюшкин напарник уступил ей свое место, пересел на головную машину, и они вдвоем, дыша этой пылью, разлученные грохотом и тряской, немо коротали свои последние часочки.

— Совсем?! — крикнул Касьян проезжавшему мимо Ванюшке.

Тот за шумом не понял, наклонился за край сиденья, помахал возле уха черной пятерней, мол, ни фига не слышно.

— Совсем, говорю? — повторил Касьян, зашагав рядом с машиной, и тоже стал делать знаки, махать рукой на закат, туда, где должна быть война.

Ванюшка наконец догадался, распахнул молодые зубы в улыбке и, воздев руки над головой, сделал из них крест, дескать, все, рассчитался и с эмтэесом, и с домом, и со всеми здешними делами. Крест, мол, всему.

И, сдернув кепчонку, обнажив спутанный и запаренный чубчик, помахал ею остомельцам и, превозмогая лязг и грюк, бесшабашно прокричал:

— Броня крепка и танки наши быстры! Не поминайте лихом!

Потом, через некоторое время, следом прошли еще четыре гусеничных.

Они прогрохотали с наглухо задраенными окнами кабин, уже в отчужденном безразличии к закатно-молчаливым хлебам, обдав их напоследок клубами пыли, и те, еще недавно чисто желтевшие по обе стороны, осиротело померкли и омрачились осевшей на них густой пеленой.

— Покатили ребятки... — Дедушко Селиван в раздумье потыкал батожком серо-мучной прах отпечатков гусениц на дороге. — Ну дак че... Скоро и до лошадей дойдет. Лошадь за кочку не спрячется. Кавалерия сичас первой урон несет. А коня на заводе не сделаешь.

Расходясь, люди видели, как на крыльце правления стоял Прошка-председатель и, застясь от низкого солнца, тянулся шеей и сплюснутой своей кепкой вослед уходившей колонне. И выглядел он в тот закатный час на пустой конторской веранде согбенным и одиноким...

Невелика бумажка — повестка, но, пока Касьян стоял под навесом, пытаясь собрать воедино разбежавшиеся мысли, он все время чувствовал ее за чулком, как сосущий пластырь на нарыве. И все вертелось пустое, неотвязное: «Вот тебе и Клавка — продавщица с цветочком... Нашла-таки, нанюхала...»

Он присел на чурбак, толстый ракитовый кряж, попнулся за повесткой и уж развернул было, чтобы все перечитать, как там и что сказано, но в самый раз забрякала на калитке железная зацепа, и Касьян, воровато оглянувшись, поспешно сунул бумажку опять за чулок. Не мог, не хотел он, когда еще и сам не обтерпелся, не обвыкся с ней, не подготовился духом и силами, чтобы так вот сразу показать повестку Натахе и матери. Натахе в ее положении особенно. И он через плечо пытливо посмотрел на жену: знает или еще нет?

Но Натаха, судя по всему, ни о чем не знала, за возней с бельем внизу под горой, поди, не слышала и того тарарама, что наделал тут сельсоветский вестовой. Мать с корзинами на коромысле, Натаха с узлом на руке — обе, лишь мельком взглянув на Касьяна, устало прошли в прохладные сени. Сергунка с ни-

ми не было, успел забежать куда-то. Митюнька же, увидев отца, сидевшего на чурбане, метнулся к нему, втиснулся меж Касьяновых колен и умиротворенно замер, как жеребенок в привычном стойле. Касьян растерянно погладил Митюньку, это щемяще-родное существо, свою кровинушку, ощущая под ладонью напеченную жарой головку, сладко пахнущую детскостью, влажным травяным подгорьем. Боязно было подумать, что уже через два дня он вот так больше не приголубит сынишку и не увидит его совсем...

— Пап, а Селезка лягуску забил, — донес Митюнька на брата.

— Как же он так?

— Палкой! Ка-а-к даст! Я ему — не смей, она холосая, а он взял и забил... Нельзя убивать лягусок, да, пап?

— Нельзя, Митрий, нельзя.

— И касаток нельзя. А то за это глом ударит.

— И касаток.

— И волобьев...

— Ничего нельзя убивать. Нехорошо это.

— Одних фасыстов мозно, да, пап?

— Ну дак фашистов — другое дело!

— Потому что они с фасыским знаком. Ты пойди и всех их плибей, ладно, пап?

— Пойду, Митя, пойду вот... Ну, ступай, сынка, ступай, а то я тут... работаю...

Никакая, однако, работа на ум не шла. Даже этот заветный Касьянов закуток с развешанными по гвоздям пилами и ножовками, коловоротами и буровцами, всегда одним только видом смягчавшими душу, доставлявшими утеху, теперь теснил его своими стенами, и все здесь утратило смысл, отдалилось куда-то, отошло от Касьяна своей ненужностью. Он вышел во двор, без внимания, как уже нехозяин, обвел глазами плетни и постройки и, томимый какой-то внутренней духотой, душевной спертостью, не находя себе места, в чем был — в старых галошах и шерстяных чулках, где за пагольником лежала так и не прочитанная повестка, — бесцельно, от одной только тесноты вышагнул за калитку, на уличный ветерок.

7

Улица была уже безлюдна в оба конца. После наскока вестового, выплеснувшись первой волной за ворота, вы-

кричавшись там самой нестерпимой болью, бабье горе отхлынуло, убралось во дворы и там теперь, забившись в избы, дострадывалось, обтерпевалось в одиночку, каждой женщиной самой по себе, кто как горазд: иная безголосо, ничком уткнувшись в подушку, иная онемев на сундуке с безвольно оброненными руками, иная ища облегчения пред восковыми и равнодушными ликами святых угодников. Но, выдюжив это первое сокрушение, постепенно приходя в себя и уже начиная жить и дышать этой новой бедой, как единственной данной им теперь явью, они примутся полуощупью двигаться по избе, искать себе дела. И вот уже вскоре с еще не просохшими глазами затеют подорожную стирку, спохватятся замешивать и сами подорожники и разошлют детишек по всем Усвятам и дальше Усвят, по близким и дальним родичам — разносить по ним последнюю весть, скликать к завтрашнему прощальному застолью.

Все так же бесцельно Касьян забрел в нижний городчик, постоял там середь капустных и огуречных гряд, даже прилег внизу у самого ровца под старой ракитой, но и тут ему не стоялось и не лежалось, и он наконец надумал себе занятие — сходить к Алексею Махотину да хоть покурить вместе. И, сразу почувствовав облегчение, поспешно встал, перепрыгнул ровец и зашагал, зашлепал галошами окольной тропой под межевыми ракитами.

Махотина дома не оказалось. Вышедшая на собачий брех старая Махотиха скуксилась, ужала в себя беззубый подбородок, запричетывала:

— Ох, Касьянушка, голубок! Ноги подкашиваются: пришла, пришла ему-ти бумага, штоб тому-то Гитьлеру ни дна, ни покрышки, откудова он токмо, мамай, свалился на наши головушки... Побег Ляксей наш к мужикам узнать, как да чево. Гляжу, ходит, ходит по избе-то, вот курит, вот курит! Да и пошел. Сказывал, будто к Зябловым. А тебе тоже прислали ай минули?

— Прислали, мать, прислали.

— Ох, горемышные вы мои! Страдальцы наши! Дак хоть вместе пойдете, своей кучкой. Вместе оно все не так: куском поделитесь, словом ли... А ежели, не приведи Богородица, паранють, дак и повяжете друг дружку. Ох, лихо, лихо — лишей и не было. Дак у Зяблова он, там яво пошукай, батюшко.

Не сиделось в этот день мужикам по домам, не можилось: торкнулся Касьян к Николе Зяблову, а того тоже нет в своей избе. Заходил-де за ним Махотин да вдвоем вот толечко утрехали, кажись, к Афоне-кузнецу.

Касьян — к Афанасию, но и того дома не нашлось, и в кузне, сказали, искать его нечего: не пошел-де нынче к горну, как получил призывную бумажку.

Начал Касьян самым низом Старых Усвят, а очутился аж на Полевой улице. Никогда, ни в кои годы, ни при каких прежних бедах не бегал вот так борзо по чужим дворам, не искал на стороне себе опоры, как ныне: не чаял встретить кого-нито...

Да так вот и забрел к пустой избе дедушки Селивана...

Стояла она в общем порядке сама-разъедина, справа никого, слева никого, один репей бушует — скорбно пройти мимо, не то чтобы войти. Да и заходить не к кому: и в такой-то день старик и вовсе завеялся, толчется теперь по чужим дворам. Скосился Касьян на мутные оконца без занавесок и даже вздрогнул нежданно: в темной некрашеной раме за серой мутью стекла, как из старой иконы, глядел на него желтенький лик в белесом окладе. И делала ему знаки, призывно кивала щепоть, дескать, зайди, зайди, мил человек.

В другой раз, может быть, и не зашел бы Касьян, отнекался, а тут, и не подумав даже, обрадованно и нетерпеливо пнул калитку, проворнее, чем следовало гостю, шагнул в сени и дернул дверь в жилье. Глянул в горницу, а там за табачищем — мать честная, вот они где, соколики! — и Леха Махотин, и Никола Зяблов, и Афоня-кузнец.

Леха ничего еще, а Никола тоже, вроде Касьяна, ушел из дома как есть, в одной красной майке. И только Афоня-кузнец был уже прибран, в сатиновой рубахе, запахнутой на все пуговицы, да еще пиджак сверху.

Мужики, разглядев, кто вошел, оживились, тоже обрадовались:

— Глянь-ка, еще один залетный!

— Было б запечье, будут и тараканы, — засмеялся дедушко Селиван. Он был без привычного картуза, и безволосая его головка маячила в дыму, как недозрелая тыковка, какие по осени не берут, оставляют в огородах. — Заходь, заходь, Касьянко!

Касьян с тем же радостным, облегчающим чувством крепко потискал всем руки.

— А мы тут... тово... балакаем, — пояснил Селиван. — От баб подальше. А то сичас такой момент, што токмо бабу и слухать, вытье ее. Далече, казал, скакал-то? Гляжу вон, и штаны в репьях.

— Да... телка искал, — уклонился Касьян от правды. — Забежал куда-то...

— Найдется! Давай садись, посидим.

Касьян охотно присел на поднесенную табуретку и, обежав глазами холостяцкое жилье дедушки Селивана, неметеное, с усохшим цветком на подоконнике, достал и себе кисет с газеткой на курево.

— Да как бы собаки куда не загнали, — вернулся к прежнему Касьян, чувствуя, что надо что-то говорить, притираться к компании. Все хоть и свои, знакомые до последней метины, до голого пупка, но нынче у каждого такое, что и не знаешь, что поперва сказать.

— А ну, дай-кось твоего, — потянулся к кисету Никола Зяблов. — Сколь у тебя закуриваю, а никак не раскушу, чего ты туда добавляешь.

Другие тоже соблазнились табаком, начали отрывать бумажки.

— А ничего особого и не добавляю, — Касьян польщенно пустил кисет по рукам. — Донничку самую малость.

— Белого или желтого?

— Любой сгодится. Но я белый больше люблю. А так ничего другого. Остальное сам по себе лист свое кажет.

— Лист и у меня самого такой.

— Такой, да не такой, — сказал Леха Махотин, раскуривая цигарку из Касьянова табака.

— Ох ты! А какой же? Я ж у него рассаду и брал, у Касьяна.

— Мало чего — брал.

— Рассада еще не завод, — трудно выбасил Афоня-кузнец, чисто выбритый, причесанный надвое, как на май. — Я вон нынче взял в Ситном, у свояка, капусты. Понравилась мне его капуста, сладкая. И сажали по уговору в один день, и земля моя не хуже, тоже низко копал, под горкою. Дак у свояка уже завилась, а моя — как занемела.

— От одних отца-матери и то дети разные, — согласно закивал Селиван. — А уж растенье и вовсе не знать, куда пойдет.

Мужики перекидывались с одного на другое, все по пустякам, не касаясь того главного, что сорвало их со своих мест, по-

тянуло искать друг друга. Но и пустое Касьяну слушать было приятно: в неухоженной Селивановой избе среди сотоварищей, помеченных одной метой, сделалось ему хорошо и нетягостно, как бывало прежде перед праздником, когда в ожидании стола и чарки никому не хотелось попусту тратиться припасенным разговором, не спешилось ни о чем таком говорить походя, без повода и причины.

Касьян, однако, не знал, что было уже послано, и тем временем чарка объявилась и взаправду.

Хлопнула калитка, в сенях шумно затопали, и в избу ввалился Давыдко, да еще и с Кузьмой, своим шурином, длинным, сутулым мужиком по прозвищу Кол. Кузьма, кажись, был уже выпивши: зеленцовые его глаза волгло смаргивали, будто им не сиделось, было боязно глядеть с такой жердяной и ненадежной высоты. Давыдко, озабоченно распаленный хлопотами, тут же извлек из камышовой кошелки и выставил на голый стол одну за другой три засургученные поллитровки. Потом пригоршнями стал зачерпывать магазинские пряники и обкладывать ими бутылки. Вслед за ним и шуряк, перегнувшись пополам, начал таскать из мешка съестное: кругляш горячего, еще парившего хлеба, хороший шмат сала, надрезанный крестом, несколько штук старой, еще от того года редьки в погребной земле, мятые бочковые огурцы и чуть ли не беремя луку, который в эту пору отдувался за всю прочую неподошедшую зелень.

— Ох, ловко-то как! — засуетился дедушко Селиван. — Ну ежели так-то, за хлеб, за сальцо спляшем, а за винцо дак и песенку споем. Сичас, сичас и я у себя покопаюсь...

Он распахнул темный шкафчик и, привставая на носки, принялся шебуршить на его полках — достал старинную рюмку на долгой граненой ножке, эмалированную кружицу и несколько разномастных чашек.

— Все разного калибру, — виноватился старик, дуя в каждую посудину, выдувая оттуда застоялое время. — Дак ведь и так еще говорится: не надо нам хоромного стекла, лишь бы водочка текла. — И он, озорно засмеявшись, снова обратился к своему ларю: — А вот вам, орелики, и ножик редьку ошкурить. Не знаю, востер ли? И сольца нашлася. Соль всему голова, без соли и жито трава. Да-а... Была бы жива старуха, была бы и яишанка. Ну да што теперь толковать... У меня теперича два кваса: один што вода, а другой и того жиже.

Селиван опять посмеялся своим легким готовым смешком.

Увидев все это на столе, Касьян с неловкостью сознался:

— У вас тут, гляжу, складчина. А мне и в долю войти не с чем...

— Да уж ладно, — загомонили мужики. — Без твоей доли обойдемся. Нашел об чем. Не тот день, чтоб считаться. Давай, подсаживайся.

— На пятерых припасено, а шостый сыт, — присказал и хозяин. — Брат брату не плательщик. Отноне все вы побратимы, одного кроя одежка: шинель да ремень.

— Это уж точно, обровняли, — кивнул Никола Зяблов.

Мужики подвинули лавки, расселись вокруг стола, источавшего огуречный дух с едкой примесью редьки, и, пока Давыдко разливал по посудкам, уклончиво глядели себе под ноги. Не притрагивались и потом, когда было все изготовлено, не решались взять в руки непривычные эти чары: всякие питы — и крестины, и новоселья, и похороны, а таких вот еще не доводилось.

— Ну, помолчали, а теперь и сказать не грех, — подтолкнул дело хозяин. — Есть охотники?

Мужики помялись, косясь друг на друга, но промолчали.

— Ну тади скажу я, ежели дозволите.

— Скажи, Селиван Степаныч.

— Ты хозяин, тебе и слово.

Селиван привстал, прихорошил ладошкой сивую бородку, пересыхающим ручейком стекавшую на рубаху, поднял граненую рюмку, задержал ее перед собой, как свечу.

— Ну да, стало быть, подступил ваш час, ребятушки. Приспело времечко и вам собирать сумы...

Дедко еще только начал, но тяжелы были его слова, и стало видно, как сразу отяготили они мужицкие головы, как опять пригнуло их долу.

— Думал я, когда ту кончили войну, што последняя. Ан нет, не последняя. Накопилась еще одна, взошла туча над полем...

Дедушко Селиван задержал взгляд на окне. Дрожавшая в его руке рюмка скособочилась, пролилась наполовину, но он не заметил того.

— Тут у нас все по-прежнему, — кивнул он в оконце. — Вон как ясно, тишина, благодать. Но идет и сюда туча. С громом и полымем. Хоть и говорится — велика Русь и везде солнышко, а теперь, вишь, и не везде...

Старик подвигал туда-сюда бровями, словно сметая в кучку остатние мысли, какие еще собирался вымолвить, но, смешавшись, махнул рукой.

— Ну да ладно... Хотел еще чево сказать, да што тут говорить... Ступайте с богом, держитеся... Это и будет вам мое слово. На том и выпейте.

Но мужики не враз кинулись расхватывать свои чарки.

Касьян продолжал теребить на штанах остатки въедливого репья, и Леха, обвиснув тяжелым чубом, замкнувшись лицом, следил за его пальцами. Налился подступившей кровью, сопел своими мехами Афоня-кузнец. Ржавым гвоздем согнулся, поник долговязый Кузьма и, чтоб не согнуться вовсе, подперся обоими кулаками. Давыдко исподлобья уставился куда-то в угол, где в полутьме перед погасшей лампадой одиноко висела простенькая дощечка с угодником. А Зяблов встал из-за стола и отошел к окну, загородив свет своею ширью.

И было в той тишине слышно, как в одичалом Селивановом дворе беспечно и обыденно чирикали воробьи.

— А-а, была не была! — наконец тряхнул головой Никола и, воротясь к столу, потянулся за кружкой. — Давайте, братки. А то так и водка выдохнется.

И, будто пробудившись, мужики ожили, потянулись наперекрест, кто чем, нехоромной посудой, стукнулись и выпили молча и жадно. И пошли шариться по столу грубыми, нехваткими пальцами, разбирая, не глядя, нарезанное, накромсанное. И ели тоже молча, замедленно ворочая челюстями, жевали пополам с думой.

— Чего в магазине деется! — Давыдко зажмурился, покачал головой. — Содо́м! Водку нарасхват. Из Ситного понаехали. Говорят, там уже растащили.

— Ну дак чево... Ясное дело. — Никола Зяблов потянул со стола пряник. — У нас, почитай, полдеревни берут.

— Кой — полдеревни!

— И мы, видать, не последние...

— А кто после нас? Хворь одна.

— Как оно пойдет... От метлы щели нет...

— Дак, мужики, чево слыхал я в магазине-то. Будто сперва к конторе собираться. А потом уже оттудова все вместе пойдем.

— Ну и правильно. Так-то ладнее.

— И штоб подводы были. Сидора́ покидать.

— Подводы дадут, чего ж не дать. Не в гости к куме...

— Да вон Касьян, сам и запрягет, сколь надо.

— Это можно, — кивнул Касьян.

— Касьяну и самому итить.

— Ну дак што... Кто-нибудь потом лошадей обратно отгонит. Да хоть Селиван Степаныч.

— Об чем толк, — готовно согласился дедушко Селиван. — Отгоним, отгоним лошадок. За этим не станет.

— Ну да ладно. Это пустое, — перебил Никола Зяблов. — Пешие ли, конные — все там будем. А вот забота: сено! Надо бы наказать Прохор Ванычу, штоб нашим бабам сенца дал, не обидел бы. Одни ведь остаются.

— Даст, раз обещался.

— Дак кто ж его знает... Время теперь такое... Овес вон забрали. И сено могут затребовать. Лошадей-то небось на войне тоже надо кормить. Они не виноватые.

— Сено! Хлеб неубранный остается.

— Да-а... — почесал за ухом Давыдко. — Не ко времени война зачалась. Что б ей погодить маленько? Ну хоть недельки с три-четыре. Пока б сено прибрали да хлеб. Управились бы, а тогда...

— Что и говорить, не в срок затеялась.

— А и когда война была нашему брату-пахарю в пору? — посмеялся дедушко Селиван. — Смерть да война незваны завсегда.

— А я уж было сарайку начал рубить, — сокрушался Давыдко. — Венца три до крыши не довел. Знато, дак уж лучше б не начинал, лежал бы материал в сухом.

— А у меня возле кузни три лобогрейки раскиданы, — покашлял в кулак Афоня-кузнец. — Прошка косится, да чего уж теперь... Делов там еще не на один день.

— Нам, татарам, все равно на Русь итить, — засмеялся дедушко Селиван. — Завсегда дела находятся. То б надо, это бы... Дак вон и у Касьяна баба на последних сносях, пышкает, как квашня перед праздником. Тоже надо бы погодить с войной. Так ли, Касьянушко?

— Да уж скоро б должна родить, — потупился Касьян, почувствовав, как от этого напоминания какой-то тоскливый червь опять тошно соснул меж ребрами.

— Ах ты, осподи, грехи наши! — вздохнул и дедушко Селиван. — Погоди бить, дай пальцы в кулак возьму. Ох-хо-хо... Да

што поделаешь? Огонь с соломой все равно не улежится. Так и война с нашими делами. А уж ежели занялось, годи не годи, а бросай все да иди. Тут уж тушить надобно, пока и сама изба не сгорела.

Давыдко снова расплескал по чаркам, мужики, оборвав разговор, согласно выпили и тоже согласно закурили. Дым сизыми полостями заходил по избе, ища себе выхода.

— А я, ребята, от посыльного слыхал, — заговорил Никола Зяблов, — будто бригадир заявление в сельсовет подал.

— Какое заявление? — насторожились мужики.

— Ну, штоб, значит, взяли его на фронт. Вроде как по своей охоте.

— Да ну! Иван Дронов?

— Еще на той неделе, говорят, подал.

— Гляди ты... А молчок. Никому ни слова.

— А чего б ему в дуду дудеть?

— Ну, криворотый! Лих, лих малый!

Мужики поудивлялись, покрутили головами, и было заметно, что им почему-то сделалось неловко друг перед другом от этого известия. С ними было такое, как если бы они вшестером тужились одолеть бревно, но так и не подняли, а пришел Иван Дронов, не шибко-то и казист с виду, но, долго не раздумывая, подхватил и понес. И стало оттого совестно и непонятно: как же, мол, так? И в оправдание своей нерасторопности начинала вертеться злая мысль, хотелось придраться, а нет ли тут чего, какого подвоха, по правилам ли сия ноша поднята?

И первым придрался Кузьма, уже заметно охмелевший.

— Да бросьте, не возьмут его! Кто ж будет бригадирить? Это он так, покрасоваться. На него небось уже и бронь наложена.

— Да не, на Ивана не похоже, — сказал Леха Махотин. — Не такой он мужик, чтоб козырнуть заявлением.

— А чего ж: подал, а до си дома?

— Что ж тебе, так вот и сразу? Поди, еще рассматривают бумагу-то. Наверно ж, не один наш Иван.

— Посыльной говорил, в Верхних Ставцах еще сколько-то таких, — уточнил Зяблов, — да из Ситного учитель.

— Ну вот, вишь... Да по другим селам. В военкомате тоже теперь запарка. Ну-ка, всех учти, всех сосчитай, кого брать, кого погодить.

— Так-то, пока рассмотрят, — хмыкнул Кузьма, — дак я, нерассмотренный, поперед их там буду. Какая ж разница? Али за то пули им особые отольют, золоченые?

— А вот та и разница, — сказал Леха Махотин. — То ты сам, а то по повестке.

— Ага... — вертанул белками Кузьма. — В хорошие набивается.

— А ты чего ж не догадался? — спросил Леха. — Ты б тоже, не будь дурак, взял бы да поперед его заявление подал. Глядишь, тебе тоже местечко подобрали б, умнику. Два аршина на бугре. А-а! Кишка тонка! Заткнись лучше.

— А ты? Ты-то сам чего ж не подал? — взвился Кузьма. — Ты ж у нас тоже всех разумней, как послухать. А сам небось первым штаны замарал...

— Не, малый, ошибся, — усмехнулся Махотин. — Штаны мои чистые. Когда надо — пойду. Прятаться за чужие спины не стану.

— Ох, ерой! В земле потурой! А из земли вытащи, дак и лапы кверху.

— Это какие такие лапы? — посерьезнел, насторожился Махотин. — Смотри, друг, говори, да не заговаривайся. Как бы ты свои не задрал...

— Ладно тебе! — одернул Давыдко шурина.

— А чего он, з-зануда. А то враз по соплям разживется.

Махотин привстал, заходил скулами.

— А ну, давай выйдем... — сдавленно проговорил он. — Пошли, гад!

— Сядь, Алексей, — нажал на его плечо Афоня-кузнец. — И ты, Кузька, не скотничай. Не гни на людей напраслину. Пока нечего корить друг дружку... Кто подал, кто не подал... Еще только за столом сидим... Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями еще не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме... Генералы, и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, все не козырь... Все не наш верх...

— Да уж не козырь, это верно, — проговорил Давыдко.

— Вот у меня в кузне, — продолжал Афоня-кузнец, — на што уголь горюч, железо варит, и то не сразу разгорается. Его сперва раздуть надо, а тогда и железо суй. Так и это дело. Не всякому человеку вдруг на войну собраться. Не его это занятие. Ивану, поди, жизнь тоже не копейка... Как-никак, трое пацанов.

Наверно, ночи покрутился, посмолил табаку. И нечего, Кузьма, чепать его понапрасну.

— Иван партейный, — напомнил Никола Зяблов. — Может, ему так предписано.

— Всем предписано, — сунул бровями Афоня-кузнец. — Да не всяк, вишь, горазд.

И опять помолчали мужики, отрешив себя друг от друга. Кузьма, не дожидаясь череда, потянулся за бутылкой, налил себе одному и единым махом выглотал.

— А я так, ребятки, на это скажу, — встрял в спор дедушко Селиван. — На войну што в холодную воду — уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть — голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Еще и не воевал, а уже вроде упокойника. А сразу — как нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать.

— Не говори! — мотнул чубом Леха. Был он хотя и ряб скуластым калмыцким лицом, но смоляной чуб в тугих завивах красил мужика пуще дорогой шапки. — Не говори, дедко! Вторую неделю война, и вторую неделю моя Катерина ревмя ревет. Садимся есть — голосит, спать ляжет — опять за свое. И все глядит на меня, вытаращится и глядит, будто я приговоренный какой... А давеча, — усмехнулся Леха, — когда бумажку вручили, как взялись обе, Катерина да бабка, как наладились в две трубы, аж кобель на цепи не выдержал. Задрал морду и тоже завыл. Хоть из дому беги.

Лехины шутливые слова про кобеля, однако, заставили всех опять запалить цигарки. Касьян тоже закурил и, отвернувшись, засмотрелся в окно, где текли, текли себе, как сон, белые бездумные облака.

Почуяв неладный крен, дедушко Селиван встал со своего места и бочком пробрался по-за тугими спинами мужиков.

— Э-э, ребятки! Не вешайте носов! — сказал он бодрецой. — Не те слезы, што на рать, а те, што опосля. Еще бабы наплачутся... Ну да об этом не след. Улей-ка, Давыдушко, гостям для веселья!

И, остановившись позади Махотина и Касьяна, обхватив их за плечи, затянул шутовской скороговоркой, притопывая ногой:

Ах вы, столики мои, вы тесовенькие!
А чево ж вы стоитё незастеленные?

А чево ж вы сидитё, хлеба-соли не ястё?
То ль медок мой не скусён, то ль хозяин не весёл?

Но тут же откачнулся от обоих, мотнул бородкой с веселой лихостью:

— А то мне, дак так: али голова в кустах, али грудь в крестах!

— Ага... Давай, дед, давай... — Кузьма, заломив луковую плеть, потыкал ею в солонку. — Ага...

— Ась? — не уловил сразу Селиван Кузьминой усмешки.

— Ага, валяй, говорю.

— Вроде и не гусь, а га да га, — отшутился дедко. — Ты к чему это, милай? На какую погоду?

— А так... — Кузьма пожевал лук вялым непослушным ртом. — Хорошо с печи глядеть, как медведь козу дереть...

— Ой ты! — Дедушко Селиван изумленно хлопнул обеими руками по пустым штанам. — Глянь-кось, экий затейник! Али я этого не прошел? Было мое время — и я с рогатиной хаживал. Ходил, милай, ходил! Да вот тебе, хошь, покажу...

Задетый за живое насмешливым хмыканьем Кузьмы, старик проворно спохватился к шкафчику, задвигал, зашебаршил в нем утварью и пожитками.

— Сичас, сичас, сынок, — бормотал он между распахнутых дверец. — Дай только отыскать... Где-сь тут было запрятано. От постороннего глазу... Никому не показывал и сам сколь уж лет не глядел... А тебе покажу... покажу... Штоб не корил попусту... Ага, вот оно!

К столу он вернулся с тряпичным узелком и, все так же присказывая «сичас, милай, сичас», трепетно-нетерпеливыми пальцами начал распутывать завязки. Под тряпицей оказалась еще и бумажная обертка, тоже перевязанная крест-накрест суровыми нитками, и лишь после бумаги на свет объявилась плоская жестяная баночка — посудинка из-под какого-то лекарского снадобья.

— На-кось, Кузьма Васильич, ежли веры мне нету... На вот погляди...

Кузьма пьяно, осоловело смигивал, некоторое время смотрел на протянутую жестянку с кривой небрежительной ухмылкой.

— Ну и чево?

— Дак вот и посмотри.

— А чево глядеть-то?

Понуждаемый взглядом, Кузьма все ж таки принял жестянку, так и сяк повертел ее в руках, даже зачем-то потряс над ухом и, не заполучив изнутри никакого отзвука, отколупнул ногтем крышку.

Коробка была плотно набита овечьей шерстью, длинными, от времени пожелтевшими прядями.

— И чево? — вызрился, не понимая, Кузьма.

— А ты повороши, повороши, — настаивал дедушко Селиван.

Кузьма недоверчиво, двумя пальцами подцепил верхние прядки, под ними на такой же шерстяной подстилке покоился крест...

Было видно, как у Кузьмы медленно, будто не прихваченная засовом воротняя половинка, отвисала нижняя губа.

Мужики потянулись смотреть.

Квадратный, с одинаковыми концами крест был широколап и присадисто тяжел даже с виду. Из-под голубоватой дымки налета пробивался какой-то холодный глубинный свет никем не виданного металла, и, как от всякого давнего и непонятного предмета, веяло от него таинственной и суровой сокрытостью минувшего.

Его разглядывали с немой сосредоточенностью и так же молча и бережно передавали из рук в руки. Забегая каждому за спину, дедушко Селиван заглядывал из-за плеча, чтобы уже как бы чужими глазами взглянуть на давно не извлекавшуюся вещицу. Он и сам уже почти не верил этому своему обладанию и по-детски трепетал и удивлялся тому, что с ним когда-то было и вот теперь и ему, и всем открылось воочию.

— Орден, што ли?.. — наконец с сомнением предположил Леха.

— Егорий, сыночки, Егорий! — обрадованно закивал дедушко Селиван, задрожав губами. Глаза его набрякли, мутно заволоклись, и он поспешно шоркнул по щеке дрожливо-непослушными пальцами.

— Да-а... — Леха покачал крест на ладони. — Вот, стало быть, каков он... Слыхать слыхал, а видеть ни разу не доводилось.

— Да где ж ты ево увидишь... Нынче этим хвалиться нечего. Раза два уж предлагали: сдай, дескать. И деньги сулили. По весу, сколь потянет. Как за ложку али за серьгу. А я не признался: нету, говорю, и все тут. Давно уже нету. Еще в тридцать треть-

ем, мол, на пшено обменял... Есть, есть и еще старики в Усвятах, которые припрятали. Да токмо не скажу я вам, не открою. Не надо вам знать про то. Теперь уж скоро помрем с этим... Велю с собой положить...

— Или царя обратно ждешь? — усмехнулся Кузьма.

— А меня уже про то спрашивали, — без обиды ответил дедушко Селиван. — Про такого сказать бы: под носом проросло, а в голове не посеяно... Вот, Кузька, тебе мой ответ: ты токмо народился, в колыске под себя сюкал, а я уже, милай ты мой, невесть где побывал. Мукден, может, слыхал?

— Это чево такое? — Кузьма шатко приподнялся и, хватаясь за стену, перебрался на хозяйскую койку.

— А-а! Чево! То-то... Штоб ты знал, есть такой город в манжурской земле. Дале-о-ко, браток, отседова. На краю бела света. Вот аж где! Ужли не слыхал про такой? Дед же твой, Никанор Артемьич, царство ему небесное, тоже тамотка побывал. Разве не сказывал?

— Может, и говорил чево, — дремотно-вяло отозвался с кровати Кузьма. — Уж и дед не помню когда помер.

— Вот, вишь, как оно... — Селиван растерянно замигал безволосыми веками. — Скоро на нас присохло. А уж и текло, текло там красной юшки. У яво, у японца, уже тади пулеметы были. А у наших одни трехлинейки. Ну-тко потягайся супротив пулемета. Ох и полегло там нашей головушки! Вороха несметные. Ну дак и песня есть про то.

Старик остановился лицом, согнал с него все ненужное, обыденное, оставив лишь скорбную суровость, и, опустив руки по швам, повел ломким заклеклым голоском:

Белеют кресты — это герои спят,
Прошлого тени кружатся вновь,
О жертвах в бою твердят...

Но сил хватило на одну лишь эту запевку, и глаза его вновь заволоклись и повлажнели.

— Такая вот, ребята, песня. Язви тя, голосу не хватает... Я как услышу где, сразу и являются передо мной теи дальние места. И до си помнятся.

Он утерся тряпицей, в которой хранил свой Георгий, и опять просиял добродушно и умиротворенно.

— А крест тебе за чево, батя? — спросил Леха Махотин.

— Энтот-то? Ну дак ево мне уже за германскую. За Карпаты. Да и про теи места откудова вам знать, ежели не бывали. Тоже вот кампания была, галицейская. Пожгли-попалили порохов. Да, соколики, все уходит, ничем не удержать. Прах-пепел заносит. Вот и Егорий побрякушкой стал. Ехал с войны, думал, поношу, покрасуюсь, а приехал — ни разу и не надел. На всю жизнь эта на мне отметина, будто я лихоманец какой. Я б, может, сичас не таким лохматом был бы. Небось не ниже нашего Прохора... А то, говорят, больно за царя перестарался. А хрена мне царь! Я ево в трактире на потрете токмо и видал. Нешто я за царя «ура» кричал? Я ж за вас, сопатых, за все вот это нашенское старался. — Старик указал пальцем в окошко. — Как же было землю неприятелю уступать? Ворога токмо впусти, токмо попяться, он ни на что на твое не поглядит, перед самим алтарем штаны спустит... Вон опять на Россию идут, чего, ироды, делают, ни старых, ни малых не разбирают.

При всеобщем раздумье дедушко Селиван принялся опять укладывать орден в жестянку, бережно укрыл его овечьими кудельками, притворил крышку и, обертывая прежней пожелтевшей и квелой бумагой, а потом и тряпицей, заговорил укоризненным бормотком:

— Приспел и ваш черед «ура» кричать. Теперича выкрикивайте свои ордена-медали.

Мужики молча переглянулись, словно бы оценивая, примеряя каждого к грядущему. Для старика были они сейчас как серые горшки перед обжигом: никому из них еще не дано было знать, кто выйдет из этого огня прокаленным до звона, а кто при первом же полыме треснет до самого донца.

8

Не умел дедушко Селиван долго тяготиться обидой и, видя, как присмирели от его слов новобранцы, уловив этот их перегляд, весело повернул разговор:

— Э-э, робятки, негоже наперед робеть! Поначалу оно завсегда: не сам гром стращает, а страховит неприятельский барабан. А уж коли загремит взаправду, то за громом и барабана не слыхать. Сколько кампаней перебывало — усвятцы во все хаживали и николь сраму домой не приносили. Вам-то уж не упомнить, а я еще старых дедов захватил, которые в Севастополе по-

бывали и на турок сподабливались. Оно ить глядеть на нашего брата — вроде и никуда больше негожи, окромя как землю пластать. А пошли — дак, оказывается, иньше чего пластать горазды.

И опять, засмеявшись, крутанул крепко:

— Гибали мы дугу ветлову, согнем и вязову... А щас пока гуляйте! Давыдушка, улей, улей, попотчевай чем-нито.

И сам тоже выпивши на равных, посопев сморщенным носом, похватав воздуху, хлопнул Касьяна по плечу:

— Все мы тут не таковские, а уж кто середь нас природный воитель, дак это Касьянка. Не глядите, что помалкивает, попусту не кобенится.

— Ты уж сказанешь, Селиван Степаныч, — зарделся Касьян и непроизвольно подобрал под скамью галоши. — С чего выдумал-то?

— А с того, что знаю.

— Я дак из ружья птахи и то не стрелил...

— Это пустое, что не стрелил, — несогласно мотнул головой Селиван.

— Дак тади откуда быть-то мне?

— А вот быть, Касьянка, быть. Нареченье твое такое, браток. Указание к воинскому делу.

— Какое такое указание? — и вовсе смешался Касьян.

— А вот сичас, сичас я тебе все как есть раскрою...

Дедушко Селиван, и вовсе развеселясь, опять полез в свой шкафчик и, оживленно покхекивая, воротился к столу с толстой и тяжелой книгой, обтянутой порыжелой кожей.

— Сичас, сичас, голубь, про то почитаем. Про твое назначение.

При виде книги мужики подтянули поближе скамейки, с нетерпеливым интересом, как малые дети, изготовились слушать неслыханное. Всякая книжица, даже школьный букварь, вызывала к себе в Усвятах почтение, а эта, обряженная медными бляхами и застежками, ненашенских времен и мыслей, уже одним своим обликом заставила всех подобраться, а сбитый с толку Касьян даже пригладил волосы, как делал это всегда при встрече пришлого человека, перед неведомым.

В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое книгу, опахнувшую лица сидевших слежалым погребным ветерком старины, и, отвалив несколько ветхо-кофейных страниц, нацелил палец в середину листа.

— Ага! Вот оно! — объявил он, обретя и сам подобающую благостность.

— А ну-ка... — заерзали мужики.

Отстранясь и подслеповато сощурясь, дедушко Селиван начал ощупью лепить слова по частям, и от этой их разъятости звучали они торжественно и значительно, будто произнесенные свыше:

— Наре... нареченный Касияном да воз... возгордится именем своим... ибо несет оно в себе... освя... щение и благо... словение Божие кы... подвигам бран... ным и славным...

Старик остановил палец и вопрошающе взглянул на Касьяна: усвоил ли тот сказанное?

— А исходит оно... из пределов гре... греческих... из царств... осиянных великими победами... где многия мужи почи... почитали за честь и обозначение Пла... Планиды, называть себя и сынов своих Касиянами... ибо взято наречение сие от слова... кас... кас... сис... кассис... разумеющего шелом воина... воина великаго и досто... славнаго императора Александра Маке... донскаго... и всякий носящий имя сие суть есмь непобедимый и храбрый шле... мо... носец.

Дедушко Селиван отнял от книги палец и ликующе вознес его кверху:

— Уразумел? Шлемоносец! Во как толкуется имя твое! Выходит, сызмальству тебе это уготовано — шлем носить.

— Чего напишут-то... — растерянно усмехнулся Касьян. — Сызмальства я гусей с теленками пас. Да и теперь за лошадьми хожу.

— Теленков-то ты пас, а шелом тебя, стало быть, еще с той поры дожидался.

— Ну дак все правильно! — хохотнул Давыдко. — Пойдешь днями, наденут железну каску — вот тебе и шлемоносец! Все как есть сходится.

Мужики посмеялись такому простому резону.

— Погодите, погодите! — остановил их дедушко Селиван. — Каску на кого хошь можно напялить. И на козла, и на барана. Не в каске суть. Ты вот думал, что ты Касьян да и Касьян, ан ты, вишь, какой Касьян. Вон как об твоем имени сказано: «Ибо несет оно в себе освящение... — понял? — ...и благословение к подвигам». Во как! Это не важно, что ты птахи не стрелил. Наука невелика, обучишься. Но ежели тебе уготовано, ты и не стре-

лямши ни в ково можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий.

Касьян уже не перечил, а только сидел, нагнув голову, в усмешке терпеливо снося свалившееся на него стариковское празднословие.

— Вижу, парень, не веришь ты этому, — продолжал свое дедушко Селиван. — Дескать, пустое мелется. Ась? Тади давай зайдем с другого конца. Вот скажи, кто есть Прошка наш, Прохор Иваныч?

— Как кто? — пожал плечами Касьян. — Ну, председатель.

— Так, председатель. Верно. А мог ли он об этом знать, что будет председателем, когда вот так, вроде тебя, теленков мальчишкой пас?

— Дак откуда ж ему...

— Тоже правильно. Не мог он этого знать. Нарекли его мать с отцом Прохором, бегал по Усвятам этакий конопатенький ушастый пащенок, ничего не знавший о себе, тем паче наперед. Так?

— Ну так, ясное дело.

— А теперича давай заглянем в книгу... — Дедушко Селиван полистал, пришептывая: — Прохор... Прохор... отыщем Прохора... Ага! Вот он! Ну-кось, как тут про него? — И снова, перестроив голос на высокий лад, зачитал: — Смысл нареченья зело пригож... ибо разумеет собой... песно... песноводи... теля... во славу Господню. А составлено сие имя... как всякое зерно... из двух равно... равновеликих долей благозвучнаго грецкаго речения... в коем одна доля «хор» означает совместное песнопение... тогда как другая доля «про»... на оном наречии понимается как старший... А совместно сии доли... воссоединясь в оное имя... означают старшаго над хором, запевнаго человека... сиречь запевалу.

И опять дедушко Селиван поучительно воздел палец:

— Запевный человек? Ну дак ясно, Прошка наш во славу Божию песен не поет, он партейный, книга-то не нонешняя, не теперь писанная. Но суть совпадает — запевала! Всей усвятской жизни голова!

— Н-да! — удивились мужики. — А гляди ты, верно ведь!

— А ну-ка, Селиван Степаныч, — заинтересовался Леха, — читани-кось, чего там про меня сказано?

— Дак и про тебя пошукаю. Сичас и про Лексея...

Дедушко Селиван снова потеребил страницы, поперекладывал их туда-сюда и, отыскав нужное место, сперва побубнил про себя, а потом уж дал короткое разъяснение:

— Про тебя, милок, тут такое сказано, што Алексей — это вроде как защитник. Так вот и написано: заступник отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей Божиих.

— Ишь ты! — Никола Зяблов восхищенно посмотрел на Махотина. — И Леха наш, оказывается, в большом звании. Гляди-кось: защитник отечества! Высо-о-окая, Лексей, у тебя должность!

Махотин остался доволен таким истолкованием.

— Дак теперь давай и про Зяблова, — засмеялся он. — Кто есть таков? А то вместе пьем-курим, а что за прыщ — незнамо.

— Вот и про Николу... А Никола у нас... — готовно провозгласил дедушко Селиван. — Никола, стало быть, так: победитель! Во как!

Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без рубахи.

— Ух ты, едрит тя в кадушку с обручами! Вот это дак Никола! Вот это дак чин!

— Что ж ты, Николка, в Усвятах-то ошиваешься? — пуще всех хохотал Давыдко. — Тебе бы в портупеях ходить, а ты до си в одной майке бегаешь.

— Ладно вам, — конфузливо осерчал Зяблов. — Шутейное это все. Для смеху писано.

— А может, и не шутейное. Вон про нашего Прохор Ваныча в самую точку. Как влито. Поди, старые люди чегой-то да кумекали, когда писали.

Прочитали и про Афоню-кузнеца, и выходило по-писаному, что и Афоня не просто так, как ежели б какой лопух на огороде, а тоже назван куда с добром: не боящийся смерти! И уже как-то иначе поглядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмет...

— Не-е, братцы! Чтой-то в этой книжице есть! — блестя глазами, воскликнул Леха. — Видать, не с бухты-барахты писана. Дак и так рассудить: человек зачем-то да родится. Не токмо за сарай бегать. Небось потому и прозвище ему дается с понятием,

чтоб, стало быть, направить его на что-то такое, окромя пустого счета дням...

Мужики один за другим потянулись к невиданной книге. Обтерев о штаны лопатистые ладони, глянцевевшие мозольно-сухой кожей, в застарелых, набитых землей трещинах, от которых не могли распрямляться полностью, а лишь складывались пальцами в присогнутые ковши, они бережно и неловко брали книгу обеими руками под кожаный испод, как принимали по вечерам, придя с работы, грудного младенца, не научившегося еще держать головы. И так же бережно, с почтительной предосторожностью, опасаясь учинить поруху, сделать что-нибудь не так, перекладывали ее алтарно пахнущие листы, вглядываясь в причудливо-кружевные заглавные буквицы, расцвеченные киноварью и озеленевшей позолотой. И даже пытались сами разобрать и постичь мудреные строки, но, пошевелив сосредоточенно и напряженно губами и произнеся раздумчиво-протяжное «н-да-а...», охранно передавали ее другому. Было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афони и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию — к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной череде и незатейливым радостям, — оказывается, имели и другой, доселе незнаемый смысл. И был в этом втором их смысле намек на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность и негаданную докуку. Так бывало еще в детстве, когда матери, обрядив на праздник в новую рубаху, наказывали не мараться, блюсти себя в чистоте, и хотя на душе делалось радостно и приятно от этой обновы, но в то же время, бегая на народе, надо было все время помнить родительский наказ и часом не выпачкать рубаху. И теперь тоже мужики были негаданно озадачены этой обновой, иным значением своих расхожих имен, как будто все они были одеты в новые рубахи перед скорой дорогой и надо было там блюсти себя и не замараться.

— Ну дак а ты ж кто таков, дедко Селиван? — блестя глазами, поинтересовался Леха. — Интересно!

— Дак про себя я уже знаю, давно вычитал.

— А как же тебя?

— А про меня тут, робятки, нехорошо...

— Не-е, давай уж читай. Ежли про всех, то и про себя давай.

— Оно про меня хоть и нехорошо, а тож верно сказано, — легко засмеялся дедушко Селиван. — Леший я. Лесной мохнарь.

— Ох ты! Это как же так?

— А вот эдак — лешачий я Селиванка. В книге так истолковано, кабудто по-греческому, по-римскому ли «сельва» лес обозначает, дремотну чащобу. А Селиван — по-ихнему и есть, стало быть, лешак. Ну да я и согласен. Потому, кто ж я есть иной, ежли жизня моя самая лешачья — брожу, блукаю, свово двора днями не знаю. Лешак я и есть козлоногий. Зеленомошник. Тоже и обо мне верно сказано. Значит, такова судьба.

— Дак что ж это получается? — подытожил Махотин. — Выходит, не один токмо Касьян, а и все мы тут шлемоносцы. Про кого ни зачитывали, всем быть под шлемом.

— Дак и я б заодно! — весело объявил дедушко Селиван. — Хучь я и леший, изгой непутевый, да на своей же земле. А чево? Учить меня строю не надобно, опеть же ружейному артикулу. Этова я и до си не забыл, могу хучь сичас показать. Правда, бежать швыдко не побегу, врать не стану. А остальное солдатское сполнять еще смогу, истинное слово!

Был подходящий шутейный момент снова выпить по маленькой, и Давыдко, унюшливый на такое, не упустил случая и тут же оделил всех из очередной сулейки.

— Ну, соколики, — Селиван поднял свою стопку, взмахнул ею сверху вниз, справа налево, окрестя застольную тайную вечерю. — За шеломы ваши! Чтоб стоять им крепким заслоном. Свята та сторона, где пупок резан! А ить было время, сынки, когда воинство, на брань идучи, брало с собой пуповинки. Как охранный, клятвенный знак. Ну да выпейте, выпейте, подоспела минутка.

Выпив под доброе слово, заговорили про всякое-разное, житейское, опять же про хлеб и сено, но Касьян, молчавший доселе, подал голос поперек общему разговору, спросил о том, что неотступно терзало его своей неизбежностью:

— А скажи, Селиван Степаныч... Все хочу спросить... Там ведь тово... убивать придется...

Дедушко Селиван перестал тискать деснами огуречное колечко, изумленно воскликнул:

— Вот те и на! Под шелом идет, а этова до си не знает. Да нешто там в бабки играются?

Касьян покраснел и опять пересунул под лавкой галошами.

— Да я тебя не про то хотел... Ты ж там бывал... Ну вот как... Самому доводилось ли? Чтоб саморучно?

Дедушко Селиван, силясь постичь суть невнятного вопроса, морщил лоб, сгонял с него складки к беззащитно-младенческому темени, подернутому редким ковыльным пушком, в то время как его бескровно-восковые пальцы машинально теребили хлебную корочку, и то, о чем спрашивал Касьян, никак не вязалось со всем его нынешним обликом: казалось, было нелепо спрашивать, мог ли дедушко Селиван когда-либо убить живого человека.

Но тот, взглянув ясно и безвинно, ответил без особого душевного усилия:

— Было, Касьянка, было... Было и саморучно. Там, братка, за себя Паленого не позовешь.... Самому надо... Вот пойдете — всем доведется.

Мужики враз принялись сосать свои цигарки, окутывать себя дымом: когда в Усвятках кому-либо приспевала пора завалить кабана или, случалось, прикончить захворавшую скотину, почти все посылали за Акимом Паленым, обитавшим аж за четыре версты в Верхних Ставцах.

— Ну и как ты его? Человек ведь...

— Ясно дело, с руками-ногами. Ну да оно токмо сперва думается, что человек.. А потом, как насмотришься всего, как покатится душа под гору, дак про то и не помнишь уже. И рук даже не вымоешь.

— Ужли не страшно?

— Правду сказать, то с почину токмо.

— И как же ты его? — теперь уже допытывался и Леха Махотин. — Самого первого?

— Эть, про чево завели! — не стерпел Никола Зяблов, но его тут же оборвали:

— Да погоди ты! Надо ж и про это знать. Не сено идешь косить. Дак как же, дедко, было то?

— Ну, как было...

И дедушко Селиван начал припоминать.

Оказывается, в японскую стрелять ему не довелось: числился он тогда по-плотницки, наводил мосты, строил укрытия, а

больше ладил гробы для господ офицеров. Вместе с артелью изготовил он этих домовин великое множество, навидался всякого, но самому замараться о человека не пришлось. А в первый раз случилось это уже в четырнадцатом, в Карпатах.

— Ну как было... Определили нас на первую позицию. Под Самбором. Еще и немца живого никто не видел, токо-токо с эшелону. И вот утречком начал он по нас метать шарапнели. Ну бабахает, ну бабахает! Накидал в небо баранов, напятнал черным, и вот пошел он на нас. Одна цепь да другая. Пока бил шарапнелью, сидели мы по блиндажам да по печуркам, а тут высыпали к брустеру, изготовились, тянемся, глядим через глину, каков он из себя, немец-то. Враг-то враг, а любопытно. А они идут, идут молча, одни ихние офицеры что-то непонятное курлыкают. Идут не густо, аршин этак на десять друг от дружки. Шинелки мышастые, за спинами вьюки, иные очками посверкивают. Покидали мы недокуренные цигарки, припали к прикладам, правим стволы навстречу. Надо бы уж и палять, а то вот они, близко, саженей на триста подошли. А ротмистр наш Войцехович все не велит, все травку кусает: нехай, дескать, подступятся поближче. Да куда ж еще-то? Их небось рота, а нас вполовину мене. Но дело не в роте, а то сказать, что незнамо по какой причине напал на меня колотун. Пот с меня градом, глаза выедает, а я зубом на зуб не попаду. Я уж и к земле жмусь, чтоб остановиться, и руки мои онемели винтовку тискать, в плечо давить — ничево не помогает. И не новичок я был, чтоб так-то пужаться, японскую повидал, а вот затрясло меня всево, хуже лихоманки. Не то чтобы немца боязно, не-е: пока я в окопе, он мне ничево не сделает, да и не один я сижу — и пулемет с нами, а было мне страшно самово себя, подступавшей минуты: как же я по живому человеку палить-то буду? Издаля еще б ладно: попал не попал, твоя ли пуля угодила али соседская — издаля не понять бы. А тут вот они — уж и пуговицы сосчитать можно. А командир все молчит, держит характер, не отдает команды — и вовсе казнит меня. И гляжу я, в самый раз на меня метит долгущий худобный немец. И вроде бы даже глядит в мое место. Шинелка на нем куцая, неладно так ремнем спеленутая, а голова маленькая, гусячья, и камилавка на оттопыренных ушах — большой вроде бы немец, а какой-то нестрашный. Кто там идет справа, кто слева — не вижу, не гляжу, а приковало ме-

ня токмо к одному этому немчину. Лицо бледное, губы зажал, поди, сам в испуге. Ну дак ясно дело, на окоп в рост итить как не бояться? И тут они побежали на нас. Войцехович выхватил леворвер, закричал «пли», харкнули встречь немцам винтовки, зататакал на краю наш пулемет. А я как окаменел, все не стреляю, тяну минуту, а минуты этой уж и ничево не осталось. Да упади ж ты, проклятущий, молю я ево, али отверни в сторону, не беги на меня. Вот же щас, щас по тебе вдарю! А тут уж кругом крик, пальба, гранаты фукают... Велики были впереди Карпатские горы, полнеба застили, а немец набежал — и того выше, загородил собой все поднебесье. Восстал он надо мной и замахнулся по мне прикладом. «Господи Иисусе, видишь сам...» — только и помолился, да и даванул на крючок, ударил в самые ево пуговицы... Открыл глаза, немца как не бывало, токмо камилавка ево в окопе моем под сапогами... Тут наши начали выскакивать наверх, зашумели «ура», а я хоть и полез вместе со всеми, а ничего не соображаю, кто тут и что. Бей меня, коли в эту пору — бесчувствен я, вот как все во мне запеклось. Нуте: вылез я на брустер, еще не встал даже, еще руками опираюсь, гляжу — а он вот он, навзничь лежит за окопной глиной. Без шапки, голова подломилася, припала ухом к погону. А глаза настежь, стылым оловом... Бегу потом, догоняю своих, а в голове бухает: мой это лежит, моя работа...

Дедушко Селиван пристально поглядел на свои руки и убрал их со стола.

— Я дак три дня опосля ничего не мог исты. Все старался подальше от людей держаться. Али работать напрашивался, чтоб поумористей. Ну а потом обтерпелся, потвердел духом, да и пошло, наладилось дело. Особливо когда сам раз да другой в атаку сходил. Самое главное, робятки, это поле перебежать, до ихних окопов добраться. В поле немец дюже жарко палит. А перебег — тут уж наш верх. В лютости, в рукопашной, ежли сам не свой, дак и убьешь — не почуется. Все одно, что в драке улица на улицу. Огрел ево, а куда угодил, чево раскроил — разглядывать некогда. Гадко токмо, когда штыком повыше брюха в грудную кость гвозданешь. Потом дергать приходится, сам не сымается. Это гадко.

— Ох, братцы! — невольно содрогнулся Никола Зяблов. — А ну как и мы в пехоту? Да так-то вот тоже...

— А куда ж еще? — обернулся Давыдко.

— Да хоть бы в кавалерию. И то получше. Там хоть штыком пырять не придется.

— Не пырять, дак зато напополам рубить. Шашку дают небось не кашу ковырять.

— Послушать, — Афоня-кузнец кашлянул в черную пятерню, — дак вам такую б войну, чтоб и курицу не ушибить.

— А тебе-то самому какову надобно? — удивленно обернулся Никола. — По мне не умирать — убивать страшно. Али сам не такой?

Афоня-кузнец тяжело повел опущенной головой и, не глядя на Николу, глухо проговорил:

— Россия вон гибнет. Немец идет, душегубничает, малых детей и тех не щадит...

— Ну дак кто ж про то не думает? — потупился Зяблов. — Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберемся и пойдем...

И опять воцарилась затяжная немота. Низкое, уже завечеревшее солнце ударило в дворовое окно, высветило застолье, махорочные разводы над кудлатыми головами, не раз ерошенными и скороженными за долгий день. И, как давеча, в смутную минуту, дедушко Селиван, встряхнувшись, попытался отвлечь мужиков песней, затеяв ее с тем умыслом, что остальные подхватят и подпоют:

Собирался Васильюшко,
Ой да собирался в охотушку-у,
Ой да в охоту-охотушку,
Тяжелую работушку-у...

Мужики, однако, оставили песню без внимания: хоть и было выпито довольно, но хмель нынче не брал, не доходил до души так, чтобы позвать на песню. И хозяин, погасив затею, конфузливо обронил:

— Нет, дак и нет. Не поется, дак и не свищется. Беду-горе не обманешь... Да и то сказать: боялся серп о бодяк зубья сломать, не пробовавши... И испробовал, дак и бодяк — трава.

9

Домой Касьян возвращался уже потемну. Как всегда, Давыдко потом взгоношился еще бежать за выпивкой, долго блу-

кал по деревне, однако водкой не разжился, а добыл у кого-то полведра теплой, еще бурливой бражки. Проснувшийся Кузьма, мятый, с похмельно заплывшими глазами, завидев ведро, молча облапил его и, тяжко кряхтя и постанывая, принялся сосать прямо через край. Мужики остались досиживать, дожидаться дна у ведерка, а Касьян, опростав пару стаканов этого ласково-вкрадчивого снадобья, вскоре как-то сразу огруз и, выйдя во двор до ветру, больше не вернулся к столу. Запоздалое чувство виноватости перед Натахой оттого, что из двух оставшихся вольных дней один уже без толку извел на стороне, накатило на него, пока он слепо тыкался в чужом, незнакомом дворе, ища выход на улицу. От всего, что было там, в прокуренной Селивановой избе, в голове тупо погудывало и на душе не было лада. Больше всего из говоренного и услышанного прикипело к нему это несуразное слово «шлемоносец», давившее его почти осязаемой тяжестью, будто и на самом деле нес он на себе тесный стальной колпак, туго стиснувший виски.

— Напишут тоже... — бормотал он, досадливо сплевывая, отмахиваясь от навязчивого прозвища, как бы пытаясь сбросить с себя эту неприязненную ношу. — Ни к чему это... Детей токмо стращать.

Он свернул в какой-то редко им хоженый переулок, соединявший обе улицы. Под нависшими ракитами сделалось кромешно темно, как в набитом овине. Разросшийся вдоль изгороди брезентово-жесткий чертополох по-осиному жалил сквозь штаны и рубаху, и он ступал ощупью, будто слепой, простерев вперед руки, ограждая глаза от колюк и случайного древесного сучка. Где-то на середине проулка Касьян запнулся о спекшиеся колчи, натоптанные скотиной, постыдно рухнул, распорол на спине рубаху, потерял галошу и потом, чертыхаясь, долго елозил на четвереньках, лапал вокруг себя, хватая комья и обстрекиваясь о крапиву. И тут он, враз обдавшись жаром, вспомнил о повестке и с озабоченным испугом сунул руки за пагольник: цела ли? Нога привыкла к колкой поначалу бумажке, свернутой вчетверо, да и сама бумажка обмякла, пригрелась за чулком, так что Касьян совсем было забыл о ней. Повестка, однако, оказалась на месте и по-прежнему облегала лодыжку повыше щиколотки. Пальцы сторожко коснулись и ощупали ее, как недавно притихшую болячку. Касьян хотел было переложить извещение в карман штанов, но хранить в кармане по-

казалось ненадежным, и он только пересунул поладнее, чтобы ощущать присутствие бумаги новым, необтерпевшимся местом. Повестка, и верно, теперь хорошо чуялась, и он, отыскав галошу, побрел дальше сквозь колючник и лопушье, ступая той ногой с охранной бережливостью, даже невольно приволакивая ее, будто намуленную водянкой.

С облегчением наконец Касьян выбрался из пыльной духоты проулка на вольный простор староусвятского посада. Улица была уже безлюдна, и он прошел до самого дома, не встретив ни души. Чувствуя, что нехорошо пьян, Касьян не осмелился сразу явиться в избу, а, давая себе остыть, прибраться душой, присел под окнами на угол колодца, откуда из черного нутра земли по замшелому стволу тянуло ознобливым холодком.

В заречье проступила иссиня-красная, в каких-то червоточинах и прожилках ущербная луна, клочковато оборванная, окромсанная с одного края. Касьян, забывшись, исподлобья глядел, как она натужно выпутывалась из сизой наволочи, скопившейся за долгий знойный день на краю неба, подобно тому, как сбивается под ветром ряска в дальний угол зацвелой калюжины. Пробив эту хмарь, луна багрово зависла в лугах, и она почему-то казалась Касьяну куском парного легкого, с которого, сочась, по каплям натекла под ним красноватая лужа речной излучины. Сквозь застойную духоту, без звезд и светлого разлива, сопутствующих прохладным росным ночам, луна цедила на деревню какой-то хворый, немощный свет. С ее появлением в угомонившихся было дворах собаки, будто и впрямь на лакомый кусок, подняли заливистый тявк и брех, тоскливо отдававшийся в безголосой и беспредельной ночи. И в этот брех глухо, словно со дна глубокого погреба, временами вплетался низкий, с оборванно-сиплым концом вой какой-то большой и старой собаки. Должно быть, выл на цепи махотинский кобель...

Колодезное ведро черным колпаком висело над Касьяновой головой, он даже вздрогнул, увидев его сызновеси, но, сообразив, что это обыкновенная бадейка, устыженно сплюнул и мотнул головой, как бы стряхивая дурноту:

— Пьян, пьян ты, Касьяшка... Ох и пьян, шлемоносец!

Приподнявшись, он изловил болтавшийся поводок, притянул к себе ведерко и, остерегаясь греметь им под окнами, опустил в глухую, без проблесков, дыру колодца. Вода была ледяная, отдавала сладцой, словно бы ее подсахарили, и он долго

похмельно глотал через край, испепеляя нутро отрезвляющим холодом, а потом сунулся головой в бадью и выдержал себя так, сколько терпелось. Отпустив ведро, неслышно отлетевшее в небо, он постоял, накренясь, выжидая, пока сбежит с головы вода, затем крепко вытерся подолом рубахи и самодельным кленовым гребешком старательно прибрал волосы. Касьяну заметно полегчало, и даже непроизвольно вырвался глубокий вздох, будто он вынырнул из какого-то удушливого сна. Он достал опустевший кисет, наскреб на тощую цигарку и бережливо закурил, жалея истраченный день и думая, что лучше бы он нарубил себе свежего табаку в дорогу.

Тем временем луна заметно отбежала от горизонта, очистилась и, ровно бы тоже умывшись, ясно позолотела. Собаки както сами собой незаметно попримолкли, залегли по дворам, и в самой деревне и окрест нее обрелась чуткая полуночная тишина.

Умиротворенно покуривая, приходя в себя, Касьян слушал луга, привычно ловя табун: тяжелый ли переступ стреноженных маток, звякавших цепным путом, бубенчатые ли голоса сосунков, шершаво ли хриплые окрики напарника Матвея Лобова, которые по обыкновению в его ночной черед вместе с дурными матерками и ружейным бабаханьем кнута долетали аж до Усвят. Но луга были опустошело немы, не виделось и привычного костерка на берегу Остомли, и Касьян затревожился, не понимая, в чем дело, куда девались кони: ужли не выгнал, шельмец? Утром Лобов пришел на дежурство ко времени, был, как говорится, свят и умыт, сразу забрал дегтярку и отправился готовить телеги к наряду, все шло, как обычно, и вот, оказывается, не выгнал... Мелькнула мысль сходить на конюшню, узнать, как там и что, какого дьявола Матюха оставил лошадей томиться об эту пору без пастьбы. Небось не дождь, не осень, чтоб держать их взаперти. Но на конюшню надо было идти опять через всю деревню, и он, редко бывавший так пьян, устыдился порванной рубахи и всей этой своей расхристанности.

— Ладно, теперь не набегаешься. Завтра последний денек, — остановил он себя, но тут же вспомнил, что как раз завтра ему бы и заступать, а вечером гнать в ночное. И оттого, что завтра он уже не пойдет — когда ж идти, если сумку укладывать надо, — его проняло тоскливым ощущением близкого исхода: рвались последние ниточки, привязывавшие к деревне, к привычным делам. Все, отходился, отконюховал. Дак и Лобов, по-

ди, тоже получил повестку. Это ж наверняка получил, раз не выгнал в ночное. Как же оно тут будет, если так вот все бросим? Война с ее огнем далеко, но уже здесь, в Усвятах, от ее громыхания сотрясалась и отваливалась целыми пластами отлаженная жизнь; невесть на кого оставлялась скотина, бросалась неприбранная земля, хлеба только завосковели, а уже располовинили трактора, угнали самую главную гусеничную силу. И Афоня-кузнец тоже вон загасил свое горнило... Беда-а!

Все еще колеблясь, сходить или не сходить на конный двор, — одна минута заскочить домой, набросить пиджак, обуть сапоги, — Касьян покосился на окна своей избы и только теперь прозрело уловил в крайнем оконце тусклый прожелтень каганца, доходивший из кухни. По этому терпеливому, как лампада, язычку пламени Касьян понял, что его уже давно заждались дома. Может, уже спят и мать, и Натаха, и тем паче Сергунок с Митюнькой, но фитилек этот, оставленный на припечке, зажжен был караулить и освещать его возвращение.

«Знает или не знает Натаха?» — подумал он о повестке и, озираясь на окна, неслышно приоткрыл калитку.

Всего день не побывал дома Касьян, но, войдя, не узнал своего двора и, как чужой, замер у порога, даже не притворив за собой дверь, а так и удерживая в руке скобу: двор остановил его неожиданной белизной, будто был завален по самые застрехи снежными сугробами. Но, оборов эту внезапность, сообразил, что путь ему перегородили заборы выстиранного белья.

— Поразвесили... — неприязненно буркнул Касьян. — Дней, што ли, не будет? Вот уйду, дак и стирали б...

Он и прежде не любил вот таких повальных стирок, когда вдоль и поперек опутывали двор, запирали скотину и птицу и нельзя было лишний раз шагнуть ни к верстаку, ни к амбару. Касьян не терпел попусту околачиваться в избе и — погода, непогода — всегда находил себе дело по двору. Но то случалось перед большими праздниками, бабы сновали туда-сюда радостно-озабоченные, и он, чтобы не мешаться, сам, в предвкушении стола, терпеливо перемогал бабью затею в городчике: поливал гряды, подправлял плетень, обновлял колья, оплетку — чем-нибудь да убивал время.

Облитое мертвенным светом луны, глядевшей через ворота, нынешнее белье в безлюдном ночном дворе полоснуло его догадкой, и он, так и оставшись у калитки, принялся обшари-

вать глазами веревки, простертые от сеней к амбару и от амбара к сеням, перебирая все эти скатерки, рушники, ряднушки, наволочки, простыни и прочее добро, — хотел и не хотел найти то главное белье, ради которого, наверно, и было все это затеяно. Неловко поднырнув под первую веревку, он все-таки отыскал его, как давеча в темном проулке, шарясь с озабоченной боязнью за чулком, нашел военкоматское извещение. То главное белье вперемежку с еще какими-то постирушками висело как раз посередине второго ряда в самом центре двора, будто для него специально отвели это лучшее место: три нательные рубахи, трое подштанников и несколько лоскутов домотканых портянок...

Противясь всему этому, Касьян понуро уставился на свои уже просохшие, олубеневшие, словно распятые, бязевые нательники, которым отныне предназначалось невесть где и сколько сопутствовать ему в незнаемом. Все, конечно, было сделано правильно, как и следовало, завтра Натахе некогда будет с этим возиться, и все же Касьяна неприятно кольнуло от этой Натахиной расторопности, будто она заведомо, еще не зная, возьмут его или не возьмут, не видя еще повестки, выпроваживала его из дому.

— Куда столько портянок? — скользнул он взглядом по замашковым кустам. — Ладно б и пару.

Он еще раз оглядел свое белье и вдруг распознал висевшие меж ним детские вещицы. Это были Митюнькины и Сергунковы штанишки, те самые, которые Натаха сшила к покосному празднику. Крошечные, жалкие от своей стираной измятости и ссохлости, с лопоухо вывороченными карманами, с немастными пуговицами на ширинках, они теснились и беззащитно льнули к его аршинной рубахе: Сергунковы — к левому рукаву, Митюнькины — к правому, словно бы хотели в последний раз побыть рядом с отцовской одежей. Для стороннего глаза не было в том ничего особенного — висят тряпки, ну и ладно, какая разница, как их ни развесь. Но Касьяну давно известны все эти Натахины дотошности. Все-то она старается сделать со своим распорядком: щей в обед и тех не нальет как попало, а сперва обязательно Касьяну, потом непременно старшенькому, после него Митюньке, затем свекрови, а тогда уж себе плеснет, что останется. И в том, как нынче было определено каждой вещи свое место на веревке — его, Касьяново, вместе с детским, —

он, теплея душой и полнясь щемящей жалостью к Натахе и особенно к ребятишкам, теперь уловил этот ее тайный умысел и понимание предопределенного часа: посчитала бы дурной приметой развесить все это по разным местам, разлучить отца с ребятишками...

— Ужли, сказывают, и детей не щадят? — вспомнил Касьян разговор, обдергивая и расправляя Митюнькины штанишки. — Детишек-то за што? За такое, конешно... Сволочи.

Каганец испуганно отпрянул и заметался на припечке, когда Касьян приоткрыл дверь. Кухня всколыхнулась и заходила зыбкими сумеречными тенями, но вскоре светильце, будто признав хозяина, опять успокоилось, выстоялось ровным желтым огоньком, похожим на тыквенное семечко. И здесь, как и во дворе, пока Касьян отсутствовал, нагромоздились перемены. Даже по одному кухонному духу чуялось, какие тут нынче раскручивались и вертелись жернова: густо, непарно отдавало хмельной кислотцой ржаного теста, мокрыми куриными перьями, толченым горохом, каленым подом простывающей печи, на которую все еще не отваживались садиться налетевшие за день мухи. Стол и лавки были захламлены чугунками и полумисками, свекольной ботвой, надерганной прозрачно-желтой незрелой морквушкой и невесть еще чем. На посудном сундуке у окна громоздилась дежа, укрытая старым ватником, а рядом с ней на лопушках зябко ежились два раздетых и обезглавленных куриных тельца, тогда как сами головки, еще в пере, в малиновых гребнях, с темными карандашиками обрубленных шей, торчавших из белых воротничков, лежали на подоконнике. Все это, содеянное без него, мимолетно было увидено Касьяном, когда он первым делом сунулся поискать в висевшей одежке чего-нибудь закурить. И как часто это бывает, когда хочешь сделать неслышно, непременно что-нибудь заденешь и нашумишь, так и тут вышло: потянувшись в карман пиджака, Касьян уронил колодчик рубленых дров, и те посыпались и раскатились гулко по половицам.

— Ты, што ли? — послышался из темноты запечья материн слабый слипшийся голос.

— Я, а то кто ж, — отозвался Касьян, подбирая полешки. Лозовые дровца были сечены неумело, не в один взмах топора, как делал это сам Касьян, и опять, устыдясь своей праздной от-

лучи, по этим жеваным, намученным дровяным концам узнал Сергунково неловкое радение.

— Там, на загнетке, щи, поешь.

— Не хочу, мать, — отказался Касьян.

В запечье заскрипели пересохшие доски, донесся горестный вздох старого, натруженного человека, и во сне томившегося какой-то одной неусыпной думой:

— Ох ты, осподи. Защити и помилуй.

Табаку нигде не сыскалось, за ним надо было идти в амбар, потрусить торбу или же лезть на чердак за сухим листом, и Касьян, пошарив по посуде и набредя на остатки кваса в каком-то глечике, утешился этой нагревшейся осадной жижей. Потом, оставив и сбросив подранную рубаху, в одной майке прошел в горницу.

Луна выстлала голубой холодный квадрат на полу, прихватила светом кусок ситцевой занавески, делившей горницу на две половинки. В той, занавешенной ее части, в кутнике, стояла его с Натахой самодельная деревянная кровать с резаной одоленью на головных досках, а минуя ее, в глубине, за печным выступом, были сооружены просторные полати для ребятишек.

Касьян легонько, неслышно отстранил занавеску; лунный свет выбелил за ней Натахино лицо, повернутое к нему, обездвиженное первым изморным забытьем, с безвольно разомкнутыми губами.

В топленой избяной заперти было душно, и она, скинув с себя во сне холстинковую простыню, лежала на боку, подобрав колени, оберегая ими живот, мягко оплывший, как сырой неиспеченный хлебный колоб, обтянутый тесной сорочкой. Касьян, кинув взгляд на детские полати, где, сраженно пав, разметав руки, спали голопопые ребятишки, широко раскатившиеся друг от друга, подсел на край Натахиной кровати.

— Нат, а Нат... — покликал он сторожким шепотом. — Слышь-ка.

Натаха дрогнула надбровьем, подобрала губы.

— Это я... — прошептал он, следя за ее оживающими, но все еще притворенными глазами.

Разняв веки, она молча отмаргивалась от лунного света, наверно, еще не видя Касьяна, а только чувствуя его где-то поблизости.

— Окна бы открыла. Жарко в избе, — проговорил он, наводя подход к разговору. — А то шла бы в сани, на свежий воздушок...

Та промолчала, безучастно глядя мимо него в окно, на луну, и Касьян по одному этому ее взгляду понял, что не принят, что виноват, придирчиво усмехнулся:

— Али радость какая — приборку устроили? По двору не пройтить.

Натахины губы вздрогнули, она бегло, замкнуто стрельнула в Касьяна сузившимися зрачками и, опять ничего не ответив, натянула на себя простыню, как перед чужим.

Касьян, тоже обидевшись, замолчал.

Было отступивший хмель, когда он сидел у колодца, здесь, в жарко натопленной избе, вновь взыграл тошнотной мутью, и он прикрыл глаза и даже ухватился за край кровати, когда его вдруг куда-то повело вкрадчивым, все убыстряющимся кружевом, будто он сидел на плоско вращающемся колесе.

Мокрые волосы, принесшие ему облегчение, теперь теплой слипшейся обмазкой неприятно обволакивали голову.

— А я тово... вишь, выпил, — повинился он, когда колесо отпустило его своим вращением.

Он опять помолчал, ожидая, что скажет на это Натаха, но та лишь оглядела его, смигивая неведомые ему мысли припухшими веками.

— Пьяный я, Наталья... Водку пил, бражку... что попадя. Дак а куда было деться? Вот, погляди...

Касьян, неловко кренясь, нагнулся к чулку, поискав бумажку.

— Вот она! Клавка безносая! — усмехнулся он и старательно расправил бумажку на коленке. — Хошь поглядеть? Ранняя дорога, казенный дом... Все тут прописано. Послезавтра явиться с ложкой и котелком. Ну дак ложка у меня имеется, а котелка нема... Что будем делать?

И опять, не получив ответа, осторожно, опасливо покосился на жену. Взглянул — и прикусил разбухший, непослушный язык: Натаха, закрывшись ладонью, тихо, беззвучно плакала, всколыхиваясь большим размягченным телом.

— Плачь не плачь теперь, не поможешь, — проговорил он, силясь разглядеть при лунном свете чернильную военкоматскую печать. — Во, вишь припечатано! Все как следует.

Ему было муторно слышать, как Натаха вгоняла в себя плач, не пускала наружу, и тот гулькал в ней давкой икотой.

— А мне еще утром прислали. На, говорит, распишись в получении. Да все не хотел тебе говорить. Реветь возьмешься. Не люблю я этого... А ты, вишь, все одно ревешь...

— Ох! — отпустила себя Натаха тяжким смиряющим вздохом.

— Али знала уже? Гляжу, курицы порубаны.

— Да что ж тут знать? — давя всхлип, выговорила она. — Загодя знато.

— Ну, будя реветь. Не один я. Поди, из каждого двора. Афоня уж на што нужон, могли б и погодить с ним, а тоже идет.

— Ты-то пойдешь не один, да ты-то у нас один.

— Ну да что толковать? Жил? Жил! Семью, детей нажил? Нажил! Вон они лежат, кашееды. Да с тобой третий. Нажил — стало быть, иди обороняй. А кто же за тебя станет? Не скажешь же Лехе: на тебе трояк або пятерку, пойди повоюй за меня? Не скажешь.

Касьян, тяжело ворочая мыслью, говорил это не только Натахе, но и самому себе, в чем и сам тоже нуждался в эту минуту.

Они помолчали, и Касьян уже сам про себя думал, вспоминая о том, что говорили за Селивановым столом, — как походя лютует немец, палит все огнем, не щадит ни малого, ни старого.

— Оно ить как, — сказал он то ли себе, то ли Натахе. — Хоть червяка взять, который на дерева нападает. Ко времени не устерег, не сдержал, гадость эта вон уже где, новые ветки кутляет...

— Кабы б червь беспонятный, — уже ровнее выговорила Натаха. — А то и люди на людей идут. Им-то чего бы? Вон какие страсти друг против друга понавыдумывали — аропланы да бомбы.

— Бомбы не бомбы, а итить все одно надо, раз уж такое взнялось.

— Ну дак али я беды не понимаю? А токмо... Ох, Кося, небось не жалезные вы супротив-то бомб да снарядов. Одной рубахой прикрытые.

— А то не жалезный! — безголосо посмеялся Касьян, переводя разговор на шутку. — Еще какой жалезный! Ну-кось, подвинься, скажу, чего про меня дедко-то Селиван вычитал...

Натаха тяжело отползла к стене, и Касьян, обрадовавшись примирению, прилег рядом. От этого его, однако, опять закружило, и он, крепясь, сцепив зубы, притих.

— Отчего мокрый-то? — спросила Натаха, оглядывая его сбоку, против луны.

— А-а... пустое... Голову мочил... Дак слышь чего... — уже через силу, преодолевая тошноту, выдавил Касьян. — Читал дедко, будто у меня два прозвища.

— Как это?

— Не то чтобы два. Одно и есть... Вроде как на монете. На одной стороне — пятак, на другой — решка.

— Кто ж тебе такую цену положил — пятак?

— Ну, это я к слову, чтоб поняла.

— Так уж и поняла.

— По-простому я, стало быть, Касьян, да?

— А кто ж ты еще?

— ...а по-писаному вовсе не Касьян.

— А и правда, много нынче выпил, — первый раз усмехнулась Натаха. — Я, поди, за Касьяна выходила. Иди-ка ты, Кося, к себе. Ты совсем спишь. Вот и глаза не глядят.

— Это я так... Полежу маленько.

— Да и кто ж ты по-писаному-то?

— А-а! — протянул Касьян, не размыкая глаз. — Дак вот пишут — шлемоносец я! Звание мое такое.

— Чего, чего?

— Шлемоносец!

— Господи! Чего еще на себя плетешь?

— Ну... — Касьян запнулся, не находя больше пояснения этому слову. — Ну... на голову такую жалезную шапку дают... Чтоб не ушибло. По ней саданут, а мне ничего.

— Ты его токмо слушай, балабола старого. Над тобой потешаются, а ты и рад.

— Книга у него такая, старинных письмен. Я сам про себя читал. Будто мне от самого рожденья та шапка заготовлена. Я, к примеру, родился, живу, землю пашу или там еще чего делаю, ничего не знаю, а она уже где-сь лежит.

— Дак и всякому мужику она заготована. Долго ли войну кликать?

— Не-е!.. Ну... как это тебе сказать! Моя не такая. В ней я буду вроде как заговоренный.

Врал через силу, через тошноту Касьян, утешал Натаху, уводил ее от ненужных мыслей, как куропач уводит из гнезда опас-

ность, но и сам хотел верить в такую свою чудодейственную шапку. Однако Натаха на все это только грустно вздохнула:

— Ох, Касьян, Касьян. Ровно бы младенец. И как-то ты там, на войне, будешь... Уж чего тебе заготовано, так вот оно...

Привстав на локоть, Натаха запустила руку под подушку, вытащила белый сверток.

— Может, что не так, — скажешь: завтра переделаю.

Раскрыв отяжелевшие веки и все еще не догадываясь, Касьян принялся расправлять на груди сверток, и тот развернулся холщовой сумкой, к углам которой была пришита обоими концами долгая коломянковая лямка. Смутясь так, что жаром налились уши, он молча вертел перед собой и теребил свой подорожный пещур, простерев его в лунном свете на вытянутых руках к потолку. И Натаха, прижавшись виском к его плечу, подспудно двигавшемуся жесткими желваками, шепотом пояснила:

— Сама, грешная, шила. Не след было шить своими руками. Поди, не положено?

— Почему — не след? Я ж не покойник...

— А мать и вовсе нитки не видит. Да и того пуще от слез потухла б... Я и то от нее украдкой, чтоб не видела.

— Ну-к что ж... — собравшись, как можно спокойнее проговорил Касьян. — Это дело. Без сумки не обойтись.

— Постромка не коротка ли?

— Сгодится. В самый раз... Ладный сидорок! Гляди ты: и буквы вышила! А их-то зачем?

— А так просто... Чтоб вспоминал...

— Вот, вишь, опять все руками. Так и не купили тебе машинки...

Чувство вины снова полоснуло Касьяна. Он отшвырнул, не глядя куда, сумку и потянул к себе Натаху, ища ее губы. Та отстранилась, загородилась от него ладонью.

— Не надо, Кось.

— Чего ты...

— Отпусти, не надо.

— Ну Натах... — душно, пьяно зашептал он.

— Угомонись. Маленький у нас.

— Ну да и что... — бормотал он, сам себя не слыша.

— Боюсь я. Глянь ты какой дурной. Да и мать не спит.

— Ну пошли в сарайку.

— Нет, Касьян, нет... Боюсь.

— Ухожу ведь, — обиделся Касьян.

— Нельзя так... Надо бы тебе не пить. За водкой и про меня забыл.

— Как же я помнить тебя буду? Там-то? На полгода, не меньше, а то и на весь год ухожу.

— Знаю, Кося, знаю. Да разве одним этим дом помнится? Вон дети твои спят. Их и помни. Тебя весь день не было, а они намотались, напомогались. И бураков надергали, и в погреб раз пять бегали, и куриц ловили. Сережа дак и дрова брался сечь, хекал-хекал, как старичок, самого топор перевешивает. А ему сколь еще всего без отца достанется. Мы-то с матерью теперь и куру не споймаем: одна обезножела, а я — квашня квашней.

— Табачку нигде близко нету? — отвернувшись, сказал Касьян.

— А еще и земля вон ляжет на бабьи руки, — продолжала свое Натаха. — Шутка ли, поле неоглядное. Хлеб, да бурак, да чертова уйма всего. Родится маленький и вовсе руки свяжет.

— Как назовешь-то? — спросил Касьян, опять нашарив отброшенную сумку. — Не надумала?

— Надумала... Касьяном и назову.

— Чегой-то? — удивился он и не сдержал смешка. — Опять шлемоносец?

— Не мели. Не знаю я ничего этого.

— Дак зачем еще Касьян-то?

— А чтоб слово в доме было. Ты уйдешь — и позвать так некого будет. А то вроде как ты опять с нами. Как и не уходил. А чем плохо: Косечка? А мне нравится. Пусть с этим растет.

— Под нову каску.

— Чего?

— Да это я так... Касьян дак Касьян. Может, и пригодится... У тебя нечего выпить? — спросил он, вставая.

— Куда ж тебе еще?

— Жалко, что ли? — сказал он, как-то отчуждаясь.

— Да мне не жалко. Вон у матери есть маленько на растирку. Выпей, если охота. Под печкою стоит.

— Ну ладно... На нет и суда нет... Пошел я, раз такое дело. Натопили-то как.

10

Назначил себе Касьян встать в тот последний день пораньше, да не исполнилось: в сенной прохладе незаметно когда и

как мертвецки провалился в небытие и проснулся, аж когда все щели уже сочились дымными, напористыми лучами позднего утра.

Мир уже давно жил без него, и Касьян слышал, как глухо, будто мельничный жернов, погромыхивал в избе рубель: должно быть, Натаха прокатывала вчерашнее белье; как отчего-то обиженно всхлипывал в сенях Митюнька, а под сарайным плетнем с озабоченной истомой квохтала клуша, сопровождаемая бисерным писком цыплят. И в неуемном кружении над подворьем ликующе чиликали, чиликали ласточки. От самого их прилета Касьян не затворял и наказывал другим не затворять сенника, дабы не препятствовать касаткам селиться под стропильной латвиной. Он любил прежде, вот так замерев, наблюдать, как с легким шелестом, доверчиво, будто в самую его душу, влетали птахи в дверной проем и повисали вильчатыми хвостами над головой, припав на мгновенье к отверстиям своих серых земляных жилищ. Гнезда тотчас откликались приглушенным звоном птенцов, ровно бы кто потряхивал над Касьяном глиняную кубышку с серебряными денежками. А когда мать-отец отлетали прочь, птенцы, уже пепельно-оперенные, с улыбчивым ярко-желтым обводом рта, поочередно высовывались из летка и с любопытством оглядывали подкрышную сутемь, еще не ведая, но уже предчувствуя, что где-то совсем близко есть воля, небо и солнце. Это рассветное снование ласточек в прежние дни всегда зарождало в Касьяне легкое и радостное ощущение начала дня и потребность какого-нибудь дела.

Спал он от самых майских праздников в сеннике, на старых розвальнях. Сани эти, уже давно без оглобель, с выпавшими через один копыльями, остались дома еще от коллективизации, и за ветхой ненадобностью он приспособил их под летнее спанье, глубокое и уютное, как большое гнездовье, где, укрывшись попоной, а ближе к осени — и полушубком, вольготно было почти до самых зазимков. В череде таких ночей, уже после того, как все угомонятся в избе, несчетно раз наведывалась к нему Натаха пошептаться наедине от чуткой свекрови, и в этом гнезде, как в касаткиной лепнине, зачали свою жизнь Сергунок с Митюнькой, родившиеся потом оба, как по заказу, в аккурат по первой капели.

Последний раз Натаха была у него уже недели три назад: то он стал отлучаться в ночное, то она крутилась с огородами, начала уставать, совсем отяжелела, и все бы ничего, как-то стерпелось бы в обыденности до лучшей минуты, не о том была главная думка на десятом совместном году, кабы не это внезапное, оставившее Касьяну считанные дни. Сено в санях обновлять уже было ни к чему, как делал он это всегда по Троице, но Касьян, готовясь к прощанью, еще третьего дня все же вытряхнул слежалое старье, накосил по усадебному обмежью свежей цветастой травки, просушил незаметно, щедро настелил пахучую обнову и даже подмел в сарайке земляной пол: собирался на воле, без домашних свидетелей не спеша и обстоятельно обо всем обговорить с Натахой. И вчера, осознавая край своему времени, уже борясь с навалившейся дремой, несмотря на ее несогласие, все же чаял прихода Натахи, как последнего причастия, из остатних сил еще долго прислушивался к избе и подворью, не скрипнет ли сенечная дверь, не объявится ли в лунном квадрате растворенных ворот неслышная тень, как бывало то прежде...

Когда изменил ему слух и когда отключились глаза и сознание, Касьян не помнил и проснулся уже другим, отрешенным, с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби, делавшей его нездешним, отошедшим куда-то, будто и на самом деле весь этот мир жил уже без него, а он, еще в нем присутствуя, все еще видя и слыша его, был вроде бы уже ничему не причастен. Лежа в санях, он отстраненно, какими-то чужими глазами глядел на залетавших касаток, уже не будивших в нем никакого чувства, кроме ненужности их суеты, и даже плач Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил узнать причину и подхватил бы на руки, — даже этот плач его любимца доходил до него как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться.

Его настоящим была теперь дорога, та, завтрашняя, с котомкой за плечами, о которой он все еще старался не думать, но острое чувство которой, пришедшее к нему уже во сне, что-то оборвавшее и переиначившее в нем, сонном, заполнило и подчинило себе все его существо.

И он, слушая это прошлое своего двора, мысленно уже шагая по дороге, узнавал и не узнавал голос Натахи, объявившейся на сенечном крыльце:

— Ты чего ревешь-то? Глянь-кось, чумазый какой! Погоди, дай сюда нос... Ревешь-то чего?

Митюнька, икая, пожаловался:

— Да-а... Селезка сум... сумку не дает...

— Какую такую сумку?

— Па... па-а-пкину.

— Ах он нехороший какой! Мы ему зададим. Сережа!

Сергунок, где-то затаясь, не отзывался.

— Сере-ежа!

— Мам, он за амбалом, — подсказал Митюнька.

— Ты чего ж прячешься? Не играешь с Митей?

— А чего он пыль в сумку насыпает, — отозвался Сергунок. — Я говорю, не смей сыпать, папке с ней на войну итить. А он, дурной, сыпит.

— Слушай, Сережа, — нетерпеливо перебила Натаха. — Ты знаешь, где дядя Никифор живет?

— Знаю. В Ситном он.

— Ага, в Ситном. А как туда идти — знаешь?

— Чего ж не знать. Сколь с папкой бывали.

— Ну дак как же туда?

— А мимо конторы...

— Ну, мимо конторы.

— А опосля лесок пройтить...

— Верно, лесок.

— А там лугом — и вот оно, Ситное.

— Слушай, сынка, сбегал бы ты к дяде Никифору, а?

— Один?

— Ну дак больше некому. Скажи, пусть к нам с тетей Катей приходят. Мол, папка на войну уходит. Пусть седни и придут. Запомнил? Мол, на войну...

— Ага.

— Не заплутаешься? — беспокоилась Натаха.

— А то!

— Оттуда с ними придешь.

— Ладно. Только можно я с папкиной сумкой?

— Не выдумывай!

— Ну, мам!

— Да на что тебе сумка-то?

— А так... По нашей деревне пройду.

— Нешто ты побирушка — с сумкой-то ходить?

— Прямо! Она ж солдатская.

— Ох ты горе мое — солдатская! Еще наносишься. Ее вон и укладывать пора. Папка хватится, а сумки не будет.

— А я швыдко.

— Ладно уж, бежи. Только давай я покороче ее подвяжу. Да хлебца с яичком положу. Бежать не близко.

— А я? — опять захныкал Митюнька.

— Нет, Митя, нет, маленький. Это ж вон как далеко. Не дойдешь ты.

— Дойду-у...

— Лучше я тебе куриную лапку дам. Хочешь лапку?

— Не-е! Не хоцю лапку. Хоцю папкину сумку-у...

— Ну, беда с вами. То ли с медом она, сумка-то? С горем, а не с медом... Вот Сережа сбегает, а тогда и ты поносишь. Папка тебе и ремень свой даст поносить. И картуз. Во как славно-то будет! Обрядится наш Митрий в ремень да в картуз — экий герой!

— Ну, мам, я побег! — готовно выкрикнул Сергунок. — Я — скоком!

— Стой же ты, дай хлебца-то положу.

Спустя время хлопнула калитка, и Касьян слышал, как поза плетнем дробно застучали Сергунковы пятки.

— Ох ты, горюшко, — передохнула Натаха. — Все-то вам игра да потеха.

Вот уже и без него живут, опять как-то сторонне подумал Касьян, будто поглядывал за своими из иного мира. Теперь достанется Сергунку: дров насеки, по воду сходи, корову пригони, за сеном слазь, в магазин сбегай... А там картошку копать. Кому ж копать, как не ему. Матери не в пору, а бабке невмочь. Ему бы сапоги хорошие б в осень, по работе и обувка должна бы... Эх, ничего не сделано, кругом неуправа...

Касьян встал, натянул штаны, ступил в галоши и, первым делом хватившись курева, вспомнил, что у него нет ни граммушки. Лаз на полати, где висел в пуках табак, шел из сеней, и он направился в избу. Во дворе уже не висело ни белья, ни веревок, но в кухне было по-прежнему ералашно, как всегда перед большой стряпней. Печь уже пылала, роняя красноватые пляшущие блики на сутемные стены, лари и кухонную утварь. В глубине горницы, невидимая из сеней, опять взялась грохотать рубелем Натаха, что-то наговаривая Митюньке.

Касьян задержался в дверях, глядя, как мать, засучив рукава под самые подмышки, обнажив иссохшие, сквозившие сине-

вой руки, низко повязанная платком, тискала кулаками тесто, и ее острые, шишковатые локти ходко мелькали по обе стороны узкой, сутуло выпиравшей спины, обтянутой посконной землисто-серой кофтой. Время от времени она заморенно выпрямлялась, но, так до конца и не выпрямившись согбенной спиной, поочередно снимала с кистей, как рукавицы, белые шматы теста, шлепала ими в дежу, оскребала о край ладони и, подцепив деревянный корец, подсыпала муки в медленно заплывавшие дыры, оставленные ее кулаками. Касьян давно не видел мать за хлебом, уже непосильна стала ей эта нелегкая справа — и обхаживать саму дежу, и тягать против себя пятнадцатифунтовые колоба, чтобы потом ссадить их с деревянной лопаты в огнедышащей глубине печи, — все это непроворотное дело она передоверила невестке. Но нынче и Натахе было такое не по плечу, и вот, оказывается, мать, переступив через свои немочи, снова стала к загнетке. Ночью она, разломленная в пояснице и во всех натруженных и намаянных суставах, будет тихо стонать в своем душном запечье, тщетно приноравливаться кострецами к немилосердному ложу, которое уже ничем нельзя умягчить, будет кое-как перемогать до света растревоженную хворь, вздыхать упавшей грудью и молить Бога прибрать ее поскорее. Но сейчас, понуждаемая неудержимо назревавшим тестом, пылающей печью, которые теперь уже не дадут ни роздыха, ни передышки, распалясь работой, разгоряченно, как в прежние свои годы, укрощала и техкала трехпудовую поставу, не думая, что будет с ней потом. И впалые ее щеки, иссеченные морщинами, пробил таившийся где-то прежде слабый румянец, а глаза заголубели, очистились от застаревшей наволочи, когда она обернулась к Касьяну, почуяв его присутствие. Сколько помнит себя Касьян, выпечка хлеба всегда была в их доме непреходящим событием, особенно перед сезонной страдой, а пуще — перед каким-нибудь праздником, когда затевался большой хлеб, сопровождаемый пирогами и ситниками. Встрепанная, выпачканная сажей, с уроненными меж колен вздувшимися руками, мать потом безвольно сидела на лавке рядом с бугрившимися на столе ковригами, укрытыми влажным рядном, источавшим парок и крепкий ржаной дух отдыхающего хлеба.

— К чему навела столько? — заметил Касьян, встретив возбужденный взгляд матери. — Будет тебе потом...

— Ну как же! — Мать запястьем пересунула платок повыше. — Идешь ведь...

— Махотиха, поди, тоже печет. Взяли бы взаймы покуда.

— Что ж с чужим-то хлебом? На такое со своим полагается идти. Свой в сумке полегче, попамятнее. Как же не испечь свеженького? Поешь в дороге моего хлебца. Спеку ли еще когда. Видать, последний это...

Она тихо, бесскорбно прослезилась, но тут же утерлась передником.

— Моя рука легкая была. Я ведь и отцу твоему пекла, когда еще на ту войну провожала. Ан цел пришел, невредимый.

И, приблизясь, с виноватой озабоченностью сказала:

— По-хорошему, дак надо бы хлебец-то в Ставцы сносить, окропить водицей. Да нести некому. Совсем обезножела я.

— Дак и не надо, — вяло сказал Касьян. — Не на всю войну хлеб. Покуда дойдем, весь и съестся.

— То-то, что не надо, — обиделась мать. — Вам, нонешним, ничего не надобно. Вон и Наталья без креста ходит, наперед не думает. Живете, кабудто век беде не бывать, непутевые. Ну да уж ладно: слез моих в этом хлебе довольно замешано. Мобудь, за святую водицу и сойдут материнские-то слезы.

Она опять всхлипнула и отвернулась от Касьяна к своим делам.

А он еще постоял, потоптался в дверях в неловкости, понимая, что нечем ему утешить старушку.

— ...А змей тот немецкий об трех головах, — доносился высокий распевный голос Натахи сквозь порывы деревянного рокота рубеля. — Из ноздрей огонь брызгает, из зеленых очей молоньи летят. Да только папка наш в железном шеломе, и рубаха на нем железная. Нипочем ему ни огонь, ни полымя. А тут вот они подоспели, и дядя Алексей Махотин, и дядя Николай Зяблов, и еще много наших. Кто с рогатиной, кто с вилами, а дядя Афоня дак и с молотом...

— А папка нас с рузьем! — ликовал Митюнька. — Как пальнет по змейским баскам, да, мам?

Касьян не стал мешать Натахиной сказке, отступил в сени. По жердяной стремянке поднялся на чердак за табаком. Махорка пересохла за зимнюю лежку, надо бы всю и помельчить до осени, да все недосуг было. Кто же знал, что так вот враз понадобится. Спустившись с беремком, Касьян нащипал на закур,

а остальное сунул в кадку с водой и подвесил под сараем отволгнуть, чтобы под топором не крошилось кострикам. И, жадно закурив из одного листа, укрылся на задах под вишенником подождать, пока подвешенный табак вберет в себя влагу и помягчает.

По солнышку было около десяти, но Усвяты — и старые, и новые — против обычного еще не оттопились, в безветрии дружно дымили почти каждой трубой: везде затевали большие подорожные хлебы, стряпали прощальные столы. По Полевой улице уже сновал какой-то люд, бабы и старушки в белых платках, выряженные, несмотря на теплынь, в плюшевые полусачки и поддевы, брели чинно вдоль посада, придерживая за руку зевавших по сторонам детишек: видать, сходились гости. Возле Кузькиного двора стояла подвода с пегой, в рыжих заплатах, нездешней лошаденкой. Касьян долго таился в тени вишенья, будто привязанный, и ему ничего и никого не хотелось.

Потом рубил он у себя под навесом табак в долбленом корытце, время от времени просевая крошево на самодельном жестяном сите. Рубил машинально, погрузясь в несвязные думы, в бесчувственное отсутствие, пока не подошла, не окликнула Натаха.

— Чего есть-то не идешь?

— Чтой-то не хочется, — буркнул Касьян.

Она подошла ближе, теплой ладонью взъерошила волосы. Касьян перестал тюкать, выжидал, не поднимая глаз. Ему были видны одни только Натахины босые ноги, заметно отекшие в щиколотках.

— Будя тебе, Сережа придет, досечет. Я его к Никифору послала. Ты бы, Кося, помылся, чистое надел, пока из Ситного придут. Мать воды нагрела.

— Ладно, успеется, — нехотя отозвался он.

— Да когда ж... Последний денек.

В Усвятах, как и во всем подстепье, бань не заводили и потому мылись скупо, в корытах и лоханях, зимой — дома, наплескивая на полы, летом — в сарайках, и все это еще с самого детства засело как докучливая обуза.

— Я лучше на реку схожу, — сказал Касьян, откладывая топор.

— Сходи, сходи, — одобрила Натаха. — Там повольнее. И белье возьми чистое. Только вот накатала. Будет ли вам баня, а ты уже чистый пойдешь, прибранный.

11

Из дальних веков, запредельных для человеческой памяти, течет Остомля-река. От начала и до конца дней пересекает она собой жизнь каждого усвятца, никогда не примелькиваясь, а так и оставаясь пожизненной радостью и утехой.

Свою последнюю зиму доброй памяти Тимофей Лукич, досточтимый Касьянов папаша, едва перемог и хвори, и немочи. Отлежал он аж до новой травы и уже было запросил причастия, как внял над избой первый предмайский гром. Дождь пролился недолгий, но спорый, и старику, должно, было слышно в незадвинутую печную вьюшку, как обмывал он кровлю и самую трубу, как прокатывалось по небу вешнее разгульное громыхание. Слабым голосом, однако же и настойчиво, Тимофей Лукич потребовал снять его с истертых печных кирпичей и проводить на улицу. Касьян и Натаха обрядили его потеплее, вздели спадавшие катанки и — легкого, утонувшего в шапке — снесли в палисад, на уличную завалинку. Натаха втемеже ушла хлопотать свои хлопоты, а Касьян, которому хотя и тоже было недосуг, остался с отцом, придерживая его за плечи, боясь, как бы старику не закружило голову после избяной спертости. Из глубины овчинного ворота и насунутого треуха заслезившимися от непривычного света и вольной свежести глазами, замерев, уставился он в умытые дали и просидел так немо, ни о чем не спрашивая Касьяна, у которого уже и рука затекла поддерживать старика и не терпелось вернуться к прерванному делу под навесом. Понимал Касьян, что никогда боле отцу не пересечь самому лугов, не посидеть на бережку Остомли, но и теперь, в последние свои деньки, старик тянулся туда неутоленной душой, все глядел и глядел в заветную речную сторону, хотя отсюда, с деревенской улицы, и не видать ему самой Остомли, кроме отрезка излучины в одном-разъедином месте. Уж казалось бы, что ему теперь эта излука, да и мало ли чего кроме нее видится в лугах, ан нет: время от времени туда-сюда повернет взглядом — на сбежавшую за лес нашумевшую тучу, на коров, на купы старых ив возле мельницы — и опять оборотится к дальнему взблеску воды и замрет, будто в дреме. Да и сам Касьян, бывало, ни на лес, ни даже на кормившее его хлебное поле не смотрел столь без устали, как гляделось ему на причудливые остомельские извивы, обозначенные где ивняком, где кудлатыми ветлами, а где полоской крутого обреза.

Вода сама по себе, даже если она в ведерке, — непознанное чудо. Когда же она и денно, и нощно бежит в берегах, то норовисто пластаясь тугой необоримой силой на перекатах, то степенясь и полнясь зеленоватой чернью у поворотных глин; когда то укрывается молочной наволочью тумана, под которой незримо и таинственно ухает вдруг взыгравшая рыбина, то кротко выстилается на вечернем предсонье чистейшим зеркалом, впитывая в себя все мироздание — от низко склонившейся тростинки камыша до замерших дремотно перистых облаков; когда в ночи окрест далеко слышно, как многозвучной звенью и наплеском срывается она с лотка на мельничное колесо, — тогда это уже не просто вода, а нечто еще более дивное и необъяснимое. И ни один остомельский житель не мог дать тому истолкованье, не находил, да и не пытался искать в себе никаких слов, а называл просто рекой, бессловесно и тихо нося в себе ощущение этого дива.

По весне взбухшая от талых снегов Остомля выплескивалась из берегов, подтопляла займище до самой суходольной дубравы, поднимала полой водой валежник, бурелом, старую зимнюю чащобную неразбериху, гнула и бодала уже набухший почками уремник, и бежало, и плыло оттуда застигнутое большое и малое зверье до надежной тверди — уцелевших островов и обмысков. В левобережной же, усвятской стороне воде и вовсе не было удержу, и она охватно разбегалась по всему лугу под самые огороды на великую радость ребятишек. С Касьянова мальчишества и по сию пору, а до Касьяна — сколь стоят на этом юру Усвяты, вешний разгул Остомли всегда собирал к себе детвору, и не было радостнее в природе события, чем краткая, но звонкая пора ледохода, преисполненная апрельской ярости солнца, вербяно-снежного настоя ветра, птичьего перелетного гама и крепкого духа отопревшей на взлобках земли. Касьян и сам когда-то, полубосой, полураздетый, в лаптишках, чавкающих грязными пузырями, с беспечной лихостью скакал по забредшим в огороды льдинам, не раз ошмыгивался под общий хохот мальцов, а потом тайком сушился по кустам у рьяно гудевшего на ветру костра. Мечущееся пламя сокрушало все, что удавалось изловить в бегучей воде, — вывороченные бревна мостов, опрокинутые плетни, унесенные кадки, корыта, детские салазки и прочий обиходный луб, смытый рекой по дальним и ближним остомельским деревням, и Касьян, нагой, с

опаленными бровями, приплясывал и увертывался бесом от порывов огня, стрелявшего раскаленными углями и осыпавшего пчелино-кусачими искрами. А теперь вот по весне и Сергунка не докликаться, не оттащить от полой воды, пока мать или бабка не налетят с хворостиной.

Неспешно шел Касьян луговой тропкой, в руке камышовая корзинка с нижним бельем, с чистой рубахой, кусок мыла завернут в рушник — не хотелось спешить, шел, оглядываясь, вроде как запоминая, и все такое разное всплывало из прошлого вперемежку с теперешним.

К майским праздникам Остомля, утомясь и иссякнув, скатывалась в берегах и, будто устыдясь своего недавнего буйства, смирела, тихо отцеживалась на чистых песках и отогревалась в затонах и заводинах. А луг, еще не просохший, еще в бесчисленных остатних блюдцах и калюжинах, уже буйно, безудержно зеленел, и на этой его молодой мураве, где еще ветру и качнуть нечего, не то чтобы развести травяную волну, словно на новой праздничной скатерти, были особенно приметны следы недавнего речного разгула. Белели языки намытого песка и россыпи пустых ракушек, маслено лоснились пробитые травой заилины, хрустели под ногами легкие сухие карандашины прошлогоднего ситника, широкими строчками обрамлявшего низины и береговые скаты, бугрились пласты корневищ, старой осоки, где-то выдранной и унесенной льдом, которая тут же, на новом месте, как ни в чем не бывало, принималась пускать свежие красноватые пики.

Отступала река, вслед за ней устремлялись шумные ребячьи ватажки, и было заманчиво шариться в лугах после ушедшей воды.

Чего тут только не удавалось найти: и еще хорошее, справное весло, и лодочный ковшик, и затянутый илом вентерь или кубарь, и точеное веретенце, а то и прялочное колесо. Еще мальчишкой Касьян отыскал даже гармонь, которая хотя и размокла и в подранные мехи набило песку, но зато планки оказались в сохранности, и он потом, приколотив их к старому голенищу, наигрывал всякие развеселые матани.

Но пуще всего было забавы, когда в какой-нибудь мочажине удавалось обнаружить щуку, не успевшую скатиться за ушедшей водой. Смельчаки разувались и, вооружившись палками, лезли в студено-прозрачную отстоявшуюся воду, где было ви-

дать каждую былку, каждый проросший стебелек калужницы. Щука черной молнией прошивала мелководье, успевала прошмыгивать между ребячьих ног, делала отчаянные «свечи», окатывая брызгами оторопевших ловцов. Под конец в азарте охоты все оказывались мокры по самые маковки, однако же кому-нибудь удавалось-таки, взбаламутив воду до кисельной гущины, сцапать морковными озябшими руками зубастую пройду и вышвырнуть ее далеко на сухое. То-то было ликования: «Ага, попалась, пакостная! Не вот-то тебе красноперок шерстить!»

И все это — под чибисиный выклик, под барашковый блекоток падавших из поднебесья разыгравшихся бекасов, которых сразу и не углядеть в парной притуманенной синеве.

А то бывает пора, которая люба Касьяну с детства, даже не пора, а всего лишь день один. Издавна заведено было в Усвятах и перешло это на нонешнее время — сразу же, как отсеются, выходить всем миром на подчистку выпасов. И называется этот день травником. Так и говорилось: «Эй, есть ли кто дома? Выходь все на травник! На травник пошли! Все на травник!» Да и скликать особо не надобно: на это совместное дело усвятцы сходились охотно. Кто с лопатой, кто с тяпкой, а кто и просто с ножиком выходили от мала до стара подсекать татарник, чтобы извести его до цвета. Работа — не работа, праздник — не праздник. И дитю не уморно срезать ножиком плоскую молодую колючку — перволистник, а уж девкам-бабам и вовсе вроде забавы: набредут да и подсекут тяпкой, набредут да и подсекут... Рассыплются по лугу, снуют туда-сюда, будто грибы ищут. А ребятишки друг перед дружкой: «Чур, моя! Чур, моя!» У мужиков тем временем свое: собирают валежины, хламье всякое, кромсают лопатами на куски натасканные половодьем осочные пласты, наваливают на подводу и отвозят прочь. После того стоит луг зелен до самой осени, лишь цветы переменяет: то зажелтеет одуваном, то сине пропрянет геранькой, а то закипит, разволнуется подмаренниками.

А уже к предлетью, когда выровняются деньки, на лугу наметятся первые тропки. Глядеть с деревенской высоты, так вон сколь их протянется к Остомле. Каждые три-четыре двора топчут свою тропу: у кого там лодка примкнута, у кого вентеря поставлены, кто по лозу, а кто с бельем и пральником. И только купалище на все Усвяты общее: есть один пригожий изворот, этакий крендель выписывает Остомля. Конечно, выку-

паться можно и в других местах, ребятишкам — тем везде пристань, и все же почему-то усвятцы больше сбивались на этот крендель, называемый Окунцами.

Вспоминалось все это Касьяну, пока шел он тропой, но уже не было в нем прежнего обнаженного и чуткого созвучия, а обнимало его некое обморное и теперь уж безбольное отрешение и отсутствие, с каким он проснулся нынче в санях: вроде бы все это было с ним, все помнил, все видел, но какой-то отдалившейся душой, чем-то застланным зрением. И ступал он словно не по знакомой тверди, каждой подошвой ощущая врожденное родство с ней, а вроде бы не касался земли, несомый обесчувственной скорбью, вызревшей готовностью к завтрашней дороге. И все же шел он не из простой потребности выкупаться и одеться в чистое перед дорогой, а что-то и еще позвало его в луга, к таившейся в них Остомле, без которой не мог он завтра покинуть дом с чувством исполненного отрешения.

Сначала надо было минуть узкий, саженей с десяток, песчаный перешеек; справа полукружьем загибалась сама Остомля, слева подступала долгая травяная заводина. Перешеек упирался в стену краснотала, а уже потом открывались и сами Окунцы — подкова чистых песков, полого уходивших под воду. Получалось что-то вроде всамделишной бани: с входом, зеленым тальниковым предбанником и самой парилкой, где за кустами, в затишье, песок прокалился до печного жара.

Думал Касьян побыть час-другой наедине, в очищающей тиши последнего безлюдья, которого потом уже не будет, но еще издали сквозь лозняки приметил он сложенную одежду, чей-то фанерный баульчик, а выйдя на открытое, увидел и хозяев этой поклажи: Афоню-кузнеца и своего напарника по конюшне Матвея Лобова. Афоня, упершись руками в колени, стоял на мелком, белея крупным незагорелым телом, напрягшимися бугристыми мышцами, тогда как Матюха, орехово пропеченный, ребрастый, с пустым сморщенным животом и намыленной головой, пучком куги размашисто натирал Афонину спину, будто состругивал рубанком. На груди Лобова болтался большой кусок мыла, подвязанный на бечевке. Афоня, выставив разлатую спину, и впрямь походившую на верстак, побагровев, терпеливо сопел и покряхтывал.

— А и копоти на тебе, Афонасей! — наговаривал жилистый и легкий Матюха, обегая Афоню то справа, то слева. — Ей-бо,

как на паровозе. Накопил, накопил! Тебя бы впору кирпичом пошоркать. На шее, гляжу, дак и уголь в трешшинах, не выскребается. Под кожей он, что ли? У тебя небось и все внутренности такие копченые.

— Ты бреши помене, а нажимай поболе, — гудел Афоня. — Давай, давай, поусердствуй.

— Да я и так стараюсь, уж куда боле. Опосля бабам трое ден нельзя будет белья полоскать. Пока смагу не пронесет.

Касьян, поставив кошелку в тенек, молча принялся стаскивать рубаху.

— Глянь-кось! — выпрямился Матюха. — И Касьян Тимофеич вот он! Как есть все Усвяты. Здорово, служивый! И ты грехи смывать?

— На мне грехов нету, — сдержанно ответил Касьян. Раздевшись, уже нагой, он свернул цигарку и, обвыкаясь, закурил.

— С чего бы это — нету? Или напоследок не сполуношничал?.. — засмеялся Матюха. Сметанно-белая голова его странно уменьшилась, будто усохла, и оттого он выглядел состарившимся подростком с сиротски торчавшими ушами. Осклабясь заячьей губой, некогда разбитой лошадью, он с интересом разглядывал Касьяна ниже пояса. — Мужик как мужик. Кисет на месте.

— Давай три, свиристун, — нетерпеливо напомнил Афоня, стоявший по-прежнему согнуто.

— Да погоди. Дай передохнуть. Эка спинища — что десять соток выпахать.

Афоня-кузнец не стал больше ждать, шумно полез на глубину, раскинув руки и вздымая грудью крутую волну.

Касьян тоже не спеша, с цигаркой вошел в воду, забрел до пояса и остановился, докуривая и обвыкая. Вода, парная и ласковая, с тихим плеском обтекала тело, и было видно сквозь ее зеленоватую толщу, как уходил, дымился из-под ног потревоженный песок.

— А меня, братка, тоже забарабали, — все так же весело выкрикнул Матюха. — Во, глянь...

Заткнув пальцами уши, Лобов присел, макнулся с головой, и на том месте, где он ушел под воду, остались, завертелись в воронке мыльные хлопья. А когда вынырнул — оказался наголо обритым и еще больше неузнаваемым.

— Вишь? — выдохнул он, сплевывая воду. — Давеча попросил шуряка: сбрей, говорю, купаться пойду. Чтоб под яичко.

Все одно там сымут. А теперь я вовсе готовый: и побрит, и помыт. Миленькое дело — без волос! Одна легкость.

Матюха туда-сюда провел ладонью по синей балбешке, зачем-то подвигал кожей надбровья: должно, хотел показать, как полегчало голове.

— Вошь теперь не цепится, — задрал он в смешке рассеченную губу. — Нет ей теперь державы. Не бросай, дай-кось докурю. А ты пока на мыльца.

— У меня свое в кошелке, — ответил Касьян, не настроенный на легкий разговор.

— Ну, будешь за своим бегать. На, мылься! Теперь вместе идем, твое-мое дома оставляй. — Лобов снял с шеи бечевку и протянул кусок. — Ты где двестительную служил?

— В кавалерии, — сказал Касьян, отдавая чинарик и принимая мыло.

— Нет, я в пехоте! — Матюха сообщил это с оттенком приятного воспоминания в голосе. — Соловей, соловей, пташечка! Это я в нашей роте запевалой был. Выйдем, бывало, возьмем ногу, а ротный: ну-ка, Лобов, давай, три-четыре... Дак я и теперь в пехоту согласен. Миленькое дело: кобылу не чистить, об сене не думать. Лопаткой копнул, залез в норку — и хай палят. А на коне — не-е! Дюже мишень большая.

— Лошадей на кого оставил? — перебил Касьян, тоже намыливая голову.

— Каких лошадей? А-а! Да одного старичка приставили. Деда Симаку. Он еще ничего, колтыхает. А к нему вдобавок Пашку-Гыгу. Гыгочет во весь рот: довольный. Жеребят в морду целует. А так ничего, нормально: сено раздает, навоз подчищает. А кому еще? Больше некому.

Касьян не ответил, сосредоточенно возил по голове мыльным куском, глядя в воду.

— Скоро и лошадей брать начнут, так что... Давай-ка и тебе шоркану спину.

Все еще чему-то противясь, должно быть, Матюхиной готовности тараторить по любому поводу, Касьян нехотя пригнулся, расправил плечи, и Лобов, будто себе в удовольствие, принялся громыхать по позвонкам жестким, еще не замыленным, не округлившимся кирпичом серого мыла.

— Я тут уже человек шесть выкупал, — говорил он над ухом, и Касьян уловил шедший от него винный душок. — С самого

утра идут мужички. Моются, рубахи новые надевают. Причащаются, можно сказать. Это верно: что в гроб, что на войну — в чистом надо. Не нами такое заведено, потому и нам блюсти. Ты сумку собрал?

— Пока нет...

— А я уже уложился. Я вчерась еще сготовился, как бумажку получил. А чего долго раздумывать — хлебца, сальца да смены пару. Вот тебе и весь сбор. Еще седни стопку выпью — и прощай, Маня. Ты в чем идешь? В сапогах али как?

— Еще не надумал.

— Это б сказать — осень, грязь, а то ж лето. Эвон какая погодка стоит. Миленькое дело — в лаптешках! Мягко, ног не собьешь. Верно я говорю?

— Ну-к ясное дело, не осень...

— Вот и я так думаю. По такой-то жаре. Дак там все одно переобувать будут в казенное, в чем ни явись. Сапоги и пропадут зазря. А то бабе останутся, хай донашивает с пользой. Погоди, ситничка принесу.

Матюха, повесив на шею мыло, голенасто, высоко задирая ноги, запрыгал по мелководью к ситной куртинке. Надергав темно-зеленых стеблей с беловатыми комлями, он заломил их в пучок и, воротясь, пустился обхаживать Касьяна.

— У Кузьмы уже шумят, — докладывал он возбужденно, на всю реку. — Двери-окна нараспах, гармошка грает. Давеча мимо шел — вылетел сам Кузьма в начищенных сапогах, ухватил меня за рукав, не отпущает. Пошли, мол, попрощаемся. Нечего, говорю, прощаться — вместе идем. А ежели вместе, тади, говорит, давай вместе и выпьем.

— Ну чего ж, раз подносят... — сказал Касьян, думая о своем: приедет Никифор, а он еще и в лавку не сходил, угостить будет нечем.

— А я и выпил стакашку. В дом, правда, не пошел, дак Кузьма не отстал, в окно бутылку потребовал. А сам уже языком еле-еле.

— Со вчерашнего, поди, не обсох.

— Кой со вчерашнего! Еще до повестки начал. Я ему: пошли, мол, на реку купаться, ополоснемся напоследок. А он: я нынче в вине купаюсь. Грязь на человеке не снаружи, она в ем внутри сидит. Так что, говорит, пошли ко мне отмываться.

Да-а, к вечеру расшумится народ: почитай, в каждой избе стряпали. Завтра тяжело будет вставать.

Лобов запаленно остановился, отшвырнул измятый пучок.

— Ну, все! — объявил он. — Начистил — хоть смотрись. Остальное сам. Давай пока перекурим.

Поплавав на вольной глуби, все трое вышли на берег и, закурив с купанья, улегшись на прокаленный песок, сосредоточенно отогреваясь, поглядывали на реку.

Солнце било в глиняный обрез на той стороне, рябой от нор береговушек. Глина знойно пламенела и, отражаясь в воде, струилась там расплавленной медью. В безветрии размеренно обникли листвой уремные ветлы, и где-то в этой зеленой кипени тоже размеренно и вяло бормотала горлица. Лишь ласточки, выпархивая из нор, оживленно носились парами над речной гладью, то и дело чиркая по поверхности белыми грудками. От их прикосновения река пятналась округлыми ранками, но тут же снова изглаживалась, сама по себе залечивая всякие царапины. И бежала, бежала, завораживая, вода невесть куда, растворив в себе время, не ведая ни о днях, ни о быстротечных минутах...

— Да-а, — протянул Лобов в продолжение какой-то своей невысказанной мысли. Верхняя его губа, стянутая сизым рубцом, полностью не прикрывала рта, и оттого Матюхино лицо, когда он молчал, всегда обретало изумленное выражение, как будто он впервые видел мир Божий. — Благодать! Как и нет ничего...

Афоня-кузнец, должно, за все лето не снимавший рубахи, курино-белый, пупырчатый от речной остуды, молча обвел взглядом ту сторону.

— Мы вот тут лежим, покуриваем, — все так же задумчиво проговорил Лобов с растяжкой. — А он идет, иде-е-ет...

Кто это «он» и куда идет — было всем понятно, и Афоня-кузнец лишь углубленно принялся колупать ногтем запекшуюся ссадину на волосатом запястье.

— И вчера шел, и позавчера...

На самую береговую кромку опустился кулик-песочник, шустрая птаха, глянув на недвижных мужиков, но не убоялся, не отлетел подальше, а, тонко пискнув, принялся сновать по песчаной сыри, дергаясь головкой при каждом шажке.

И опять, не получив ответа, Матюха, вдруг оживясь, перескочил на другое:

— А верно ли, будто немец по часам воюет?

— Как это — по часам? — покосился на него Афоня-кузнец.

— Ну как... Сказывают: сперва побреется, надеколонится, кофею попьет. А тади уж разбирает ружья и начинает палять в нашу сторону. Пополдничает, снимет сапоги и — на раскладушку. Мертвый час, стало быть. Ну а потом еще сколько-то повоюет. Аккурат восемь часов получается. Вроде как в одну смену.

Афоня-кузнец, с интересом было начавший слушать, досадливо отвернулся:

— Мели, Емеля.

— Что намолото, то и просевай.

— И сеять нечего, так видно: брехня. Как это — в одну смену? Война — это тебе не фабрика какая.

— Немцу, можа, и хвабрика. Небось для того им всем часы дадены, чтоб глядеть. Сказывают, все, как есть, при часах.

Афоня пыхнул дымом, хмуро задумался, и по грубому крупнопористому лицу его было видно, как бродила под спутанными волосами какая-то упрямая мысль, какое-то несогласие.

— Ну ладно, по часам. А опосля чего делает?

— Как — чего? — легко удивился Матюха. — Руки моет, ужинает. А потом — спать. Ночью они — ни Боже мой, чтоб идти куда. Ни за что не пойдет. Все до одного дрыхнут. Токо часовых выставляют. А остальные — храпака. Во, гады, культурные какие, а!

Матюха и сам посмеялся такой несуразной аккуратности и тут же, пришлепнув пяткой по голому заду, спугнув присевшего было овода, сообразил:

— Тут бы на них и навалиться, когда улягутся. Тарараму б наделать, шухеру! А то тыкву из кустов высунуть. С глазами. А внутри свечку зажечь. Я еще малым так-то у дороги тыковку пристроил, возле кладбища, дак урядник как хватанул, чуть с коня не слетел.

— Ну и брехать ты здоров, — покрутил головой Афоня. — Сколько тебя знаю, одной брехней жив. Кабы б немец ночью спал, дак не токмо тыкву, а и фитиль пеньковый куда надо вставили б. Хороша брехенька, да, как пуп, коротенька.

— Я-то тут при чем? За что купил, за то и продаю.

— У кого куплено-то, спросить.

— Дак я ж говорил, шуряк ко мне приехал. На проводы. Это уж он меня постриг. А самого его не берут. На него броня наложена. Потому как на железной дороге он. Сцепщиком работает.

— Ну?

— Говорит, поездов, эшелонов на станции — пропасть! Все путя забиты, никак не разъедутся. Бабы, детишки — эуи... куированные называются. Из теих, стало быть, мест, из опасных...

— При чем тут поезда? Ох и талдон!

— Да ты слухай! Я — Емеля, а ты дак и весь Хвома поперечный. Не даст досказать. Чего люди, то и я. Народ бает, может, чего и правда. Не все ж сплошь брехня. Я мелю, а ты сей...

— Ну, ну, валяй.

— Дак шуряку один старичок про то и рассказывал. Потерялся он, отстал от своего поезда, ночь, деться некуда, его и подобрали, привели в служебку.

— Поди, шпиен подосланный, такое брешет.

— Кой там шпиен! Наварили ему картох, поел, пошамкал, а потом под окнами из крана вставленную челюсть споласкивал. А шуряку-то в окно и видно. Доходяга. А так башковитый, про немца долго сказывал. Он еще из самой этой... как ее... Мне шуряк и город называл, да... А! Из Львова! Вот откуда! Будто часовым мастером тамотка был. Он и часы отдавал, только не за деньги, а чтоб за хлеб або за крупу. Кабы знато, дак я б и пшенца подослал. Ну да не об этом... Дак энтот старичок повидал их вдосталь, вот как я тебя. Сказывал, страховитые, и будто каски на них глубокие, по самые плечи. Чтобы, значит, никакая пуля не задела.

— Погоди, погоди, — остановил Лобова Афоня-кузнец. — Ежли по самые плечи, дак это ж вроде ведра должно. Ну-ка, надень на себя ведро — куда глядеть-то будешь?

— Дак, можа, там дырки прорезаны.

— Ну-ну...

— И на касках по бокам вроде бы рожки.

— А рожки для чего?

— Энтого я тебе не скажу, не знаю. Они ж не нашенской веры, а может, и вовсе без никакой, потому, должно, и рога. Дак вроде как я уже таких где-сь видал, на картинках. У моей Верки, в букварях, кажись... Тоже с ведром на голове и с рогами.

Матюха озадаченно поскреб в стриженом затылке.

— Во, братки, какую козюлю нам бить придется, — сказал он. — Боись не боись, а куда денешься? А сапоги у него, сказывают, кованые — не то чтобы одни каблуки, а и вся подошва...

— Ну уж это точно враки, — не согласился Афоня.

— Это ж почему?

— А ходит-то он как, ежли вся подошва? Ну вот давай я тебе на подметку сплошную железку накую — далеко ли пойдешь?

— А черт его знает, как он ходит. Это ж немец! У него вон и штык не как наш — чтоб и человека колоть, и колбасу резать. Все продумано. Дак, может, и ноги у него как у коня...

— Понес, понес неоколесную! Поди макнись вон трохи.

— А чего? Глянь-кось, сколь за десять-то ден прошел. Беги бегом — столь не пробежишь.

— Дак на машинах — чего б не пробечь. Что ж у него, пехоты нету, что ли?

— И пехота на машинах.

— Ох ты! Какая ж это пехота, ежли пешки не ходит. Чудно!

— Тебе, вишь, и чудно. Села баба на чудно, наступила на рядно.

Афоня-кузнец сердито заплевал окурок и договорил:

— Подол оборвала, чудно бабе стало.

Матюха умолк и, сунув свой чинарик в песок, стал засыпать его из горсти, хороня под медленно нараставшим ворошком.

Кулик-песочник все еще бегал вдоль кромки, тыкал шильцем в человечьи следы, налитые водой. Время от времени он останавливался и косил черный глазок на мужиков, будто спрашивал: я не мешаю? Но вот по чистым пескам Окунцов пронеслась расплывчатая тень. Кулик замер, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку. Все трое подняли головы и увидели в ясной полуденной синеве черную букву «Т». Она кружила над плесом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывала на солнце, по пескам проносилась быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружил над мирными берегами...

Кулик больше не суетился, не тыкался в следы, а настороженно замер, вглядываясь в небо то одним, то другим глазом. Плес затих, затаился под этим неслышным скольжением черной птицы. Смолкла, больше не тенькала в куге камышевка, перестала ворковать в заречных ветлах горлица...

В другое время мужикам было бы наплевать на коршуна, но нынче и им почему-то сделалось неуютно и беспокойно от повисшего над головой молчаливого хищника.

— У, хвашист! — выругался Матюха. — Свежатины захотел.

Но вот коршун, должно быть все же убоявшись лежавших в песке людей, широким полукругом переместился в займище и повис там над уремной чащобой. Со стороны он еще больше походил на самолет, что-то разведывавший на земле.

— Ну что, братцы, — приподнялся Лобов. — Пошли еще ополоснемся. В последний разок.

Касьян достал из кошелки пеньковую мочалку и свое мыло и, зайдя в воду, еще раз прошелся по всему телу, не спеша и обстоятельно. Афоня-кузнец только поокунался, а Лобов, улегшись на спину, долго и неподвижно лежал так, сносимый вниз по течению, предавшись каким-то думам, а может, и блаженному бездумью.

Потом одевались в чистое, прыгая на одной ноге, продевая сполоснутые ступни в подштанники, напяливали на еще не обсохшее тело каляные, выкатанные рубахи. И уже одевшись, но еще босой, Матюха заскочил в реку и, зачерпнув пригоршню, припал к ней губами.

— Забыл попить на прощанье, — сказал он, вытираясь рукавом. — Доведется ли в другой раз...

А выйдя на береговую кромку, где еще недавно бегал кулик, — босой, в неладной большеватой рубахе, прикрывавшей подвязанные у щиколоток подштанники, будто приговоренный к исходу, — обернулся к реке и низко трижды поклонился лопоухой стриженой головой.

— Ну, матушка Остомля, — проговорил он виноватой скороговоркой. — Прости-прощай. Какие будем пить воды-реки, в какой стороне — пока незнамо. Пошли мы...

Афоня-кузнец, тоже весь еще в белом, сутулясь крутой спиной, насупленно, быковато уставился на реку.

— Ну все, — говорил Матюха, отступая от берега и все еще оглядываясь. — Пошли.

Они надели верхнее, сложенное на траве под красноталом, обулись, еще раз поглядели окрест и молчаливой цепкой прошли по узкому перешейку. И тут, уже на лугу, распрощавшись, пожав друг другу руки до завтрашнего дня, разбрелись по своим тропам.

Шагая выгоном, дрожавшим у краев полуденной марью, Касьян видел, как встречь, то справа, то далеко слева, кто с кошелками, кто с белыми свертками под мышкой, спешили к Остомле еще несколько мужиков.

12

Еще у калитки изба повеяла на Касьяна житным теплом, как бывало на большие праздники. В кухне было уже прибрано, печное устье задернуто занавеской, а на столе под волглой дерюжкой парили выставленные хлебы.

В детстве Касьян всегда старался не пропустить этого радостного момента. Мать, возясь в межхлебье по дому, время от времени подходила к таинственно молчаливой печи, в черной выметенной утробе которой свершалось нечто необыкновенное, томительно-долгое, приоткрывала на пол-устья жестяную заслонку и легкой осиновой лопатой поддевала ближайшую ковригу, разрумянившуюся, глянцево мерцавшую округлой коркой. Она брала хлебину в руки, от жаркости подбрасывала ее, тетешкала, перекидывала с ладони на ладонь, после чего, дав поостыть маленько обверху, подносила к лицу и, будто кланяясь хлебу, осторожно прикасалась кончиком носа. Невольно прослезясь, мать тотчас отдергивала лицо, и это означало, что хлеб еще не в поре, полон внутреннего сырого жара и надо его снова досылать в печь. Но вот приходило, когда мать, сначала робко, а потом все смелее прижималась носом к ковриге, наконец и вовсе расплющивала его, терпя, не уступая внутреннему ржаному пылу. В такую минуту лицо ее радостно расцветало, и она, то ли самой себе, то ли всему дому, кто был тут и не был, объявляла: «Слава тебе...» С легким шуршанием хлебы один за другим слетали с лопаты на выскобленную столешницу, и сначала кухня, затем горница и все закутки в избе начинали полниться теплой житной сытостью, которая потом проливалась в сени, заполняла собой двор и волнами катилась по улице. Возбужденные хлебным запахом воробьи облепляли крышу, к сеням сбивались куры, топтались у порога, пытливо заглядывая в дверь, и все тянула воздух влажно вздымавшимися ноздрями, принюхивалась сквозь воротние щели запертая в хлеву корова.

А тем временем мать, омочив в свежей, только что зачерпнутой колодезной воде гусиный окрылок, взмахивала им над хле-

бами, кропила широким крестом, и те, без остатка вбирая в себя влагу, раздобрело вздыхали побархатевшими округлостями и начинали ответно благоухать, как бы дыша в расслабляющей истоме и успокоении. Потом караваи задергивали чистым суровьем и оставляли так до конца дня остывать и тем дозревать каждой порой до потребной готовности. И не было у тогдашнего Касьянки терпения, чтобы, улучив минутку, не подкрасться и не выломать исподтишка где-нибудь в незаметном месте теплый окраек, еще в печи порванный жаром и так и запекшийся хрустким дерябистым разломом. Да мать и сама догадывалась, отрезала, где он указывал, наливала в блюдце конопляного масла, посыпала солью, и он, подсев к кухонному оконцу, оглаженный по голове теплой материнской рукой, счастливо лакомился первохлебом, роняя зеленые масляные капли в посудинку. Вот и вырос давно Касьян, и уже за него Сергунок с Митюнькой, боясь отцовского ремня, тайком обламывали на все том же столе коврижные корки, но и до сих пор памятно и радостно ему это, да и теперь иной раз не отказался бы он от прежнего озорства, не будь самому стыдно перед мальцами долить хлеб раньше времени.

Но нынче Касьян даже не приподнял покрывала, чтобы взглянуть, удался ли хлеб, как делал и радовался он прежде, а лишь вскользь покосился в ту сторону, уведенный от самого себя своим новым и непривычным отрешенным состоянием.

Следовало бы уже вернуться посланному Сергунку вместе с Никифором, Касьяновым братом. С этим ожиданием встречи Касьян и вошел в дом. Но изба встретила его безмолвием, было лишь слышно, как со скрипучей хромотой тикали на простенке ходики, да иногда глухо постанывала мать, прикорнувшая после ранней колготы у себя на полатях.

В горнице тоже было прибрано и торжественно-тихо. Просыхая в тепле по-зимнему натопленной избы, влажно дышали сосной вымытые половицы, стол белел чистой свежей скатеркой, повешенные занавески притемняли оконный свет, и в полутьме красного угла перед ликом Николы-угодника ровно светилась лампадка. Поддерживаемая тремя тонкими цепочками, она процеживала свой свет сквозь тигелек из синего стекла, окрашивая беленый угол и рушник, свисавший концами по обе стороны иконы, в голубоватый зимний тон. И было здесь все по-рождественски умиротворенно, будто за стенами и не вы-

зревал еще один знойный томительно-тревожный день в самой вершине лета.

Касьян в свой тридцатишестилетний зенит, когда еще кажется далеким исходный житейский край, а дни полны насущных хлопот, особо не занимал себя душеспасительными раздумьями, давно уже перезабыл те немногие молитвы, которым некогда наставляла покойница бабка, и редко теперь обращался в ту сторону, да и то когда отыскивал какой-нибудь налоговый квиток за божницей. Но нынче, войдя в горницу, нехожено-прибранную, встретившую его алтарным отсветом лампады, он, будто посторонний захожий человек, тотчас уловил какое-то отчуждение от него своего же собственного дома и, все еще держа кошелку со сменным бельем, остановился в дверях и сумятно уставился в освещенный угол, неприятно догадываясь, что сегодня лампада зажжена для него, в его последний день, в знак прощального благословения. Ее бестрепетное остренькое пламьице размыто отражалось в потускневшей золоченой ризе старой иконы, видавшей поклоны еще Касьяновой прабабки, и из черноты писаной доски ныне проступал один лишь желтоватый лик с темнозапавшими глазами, которые, однако, более всего сохранились и еще до сих пор тайным неразгаданным укором озирали дом и все в нем сущее.

Стоя один на один, Касьян с невольной пристальностью впервые так долго вглядывался в болезненно-охристое обличье Николы, испытывая какую-то беспокойную неловкость от устремленного на него взгляда. Икона напоминала Касьяну ветхого подорожного старца, что иногда захаживал в Усвяты, робко стуча в раму через палисадную ограду концом орехового батожка. Словно такой вот старец забрел в дом в Касьяново отсутствие и, отложив суму и посох и сняв рубище, самовольно распалил в углу теплинку, чтоб передохнуть и просушиться с дороги. И как бы пришел он откуда-то оттуда, из тех опасных мест, и потому, казалось, глядел он на Касьяна с этой суровой неприязнью, будто с его тонких горестных губ, скованных напряженной немотой, вот-вот должны были сорваться скопившиеся слова упрека, что чудились в его осуждающем взгляде. Встретившись с Николой глазами, Касьян еще раз остро и неприютно ощутил тревожную виноватость и через то как бы вычитал эти его осудные слова, которые он так натужно силился вымолвить Касьяну: «А ворог-то идет, идет...»

И Касьян тихо вышел, почему-то не посмев оставить в горнице свою кошелку, и затворил за собой дверные половинки.

Во дворе он в раздумье постоял над корытцем с недорубленным табаком, но досекать не стал, а только зачерпнул на цигарку и закурил все с тем же саднящим чувством вынесенного упрека. Ему вдруг представилось, как те идут, идут густыми рядами по усвятскому неубранному полю, охваченному огнем, и сквозь дымную пелену и огненные хлопья зловеще маячат насунутые по самые плечи рогатые сатанинские каски.

Пора и на самом деле было начать собираться, заблаговременно уложить мешок, пока не подошел Никифор, а может, и еще кто. Тогда, на людях, некогда будет, а завтра чуть свет вставать, бежать на конюшню за лошадьми, которых обещался подать к конторе под поклажу. Но тут же вспомнил, что сумку унес с собой Сергунок, и, чертыхнувшись, а заодно подосадовав на Натаху, которая не ко времени забежала невесть куда, направился к амбару, где у него хранились сапоги.

В амбаре было, как всегда, сумеречно и прохладно, хорошо, домовито пахло зерном, и он невольно и глубоко вдохнул крепкий успокаивающий житный воздух, к которому едва уловимо подмешивалась сладковатая горечь сухой рябины, наломанной и развешанной по стенам Натахой еще прошлой осенью — от мышей. Рябина, подсыхая, роняла ягоды, и теперь их сморщенные бусины повсюду попадались глазам — и на полу, и на крышке закрома, и даже на тесовых полках. Из года в год амбар впитывал каждым бревном этот хлебный дух, и пахло здесь обманчиво и сытно даже в те памятные годы, когда закрома были пусты. И теперь Касьян, не веря этому духу, приподнял крышку и, не заглядывая, сунул руку в ларь. Рука ушла по самую подмышку, прежде чем пальцы торкнулись зерна: хлеба оставалось в обрез, едва прикрывалось днище. Правда, на полке кургузился располовиненный мешок помола, и этого с лихвой хватило бы до новины, а там за ним уже числилось полтораста заработанных ден. Да кто ж его знает, как оно обернется: хлеб в поле — душа в неволе... И опять ему навязчиво померещились те железные рога над неубранной рожью...

— Эх, не в руку, не в пору затеялось, — почесал он за воротом. — Что б малость повременилось-то...

Новые Касьяновы сапоги висели на деревянном штырьке, а старая расхожая пара вместе с распаявшимся самоваром валя-

лась в углу — каждому по своей чести. Касьян постоял, оглядывая те и другие, в чем ему идти завтра. Висевшие сапоги были еще совсем новые, на спиртовой подметке, прошпиленные в два ряда кленовыми гвоздями. Шил он их на заказ к прошлому Покрову в Верхних Ставцах за мешок жита и кабанью лопатку. Касьян берег их от будничной носки, всю зиму старался обходиться старыми, пока те окончательно не подбились, так что заказные остались, считай, нехожеными. Идти в таких было жалко, да он, по правде, и не собирался, а только так — взглянул, что за них можно взять при случае. Прежнего мешка, конечно, не вернешь, хлеб, ясное дело, будут придерживать, осторожничать с хлебом, но все же вещь и теперь стоящая, не про мякину. Пусть-ка себе висят, мало ли чего... А то и сама походит, у самой не во что ступить. Пару портянок навернуть, дак ей в самую пору. Небось не плясать.

И больше не раздумывая, подобрал старые, сунул под мышку и, выйдя, запер дверь на засов.

При свете Касьян еще раз оглядел обутку. Уходил он чоботы, что и говорить, донельзя: на задниках подпоролась дратва, да и гвоздочками бы подкрепить не мешало. Можно было загодя сносить к деду Акулу, да теперь когда ж чиниться, чиниться и нет времени. Ну да ладно, смазать теплым деготьком, авось к утру помягчают. Всего-то на один раз и нужны: дойти до призывного, а там — в эшелон, на железные колеса. Обойдется.

Касьян подлез под амбар, достал оттуда подвешенную под полом дегтярку и, пристроившись на каменном приступке, принялся деревянной лопаточкой расчищать загустевшую жижу, снимая с поверхности влипшие куриные перья. За тем и застала его Натаха. Она вошла в калитку, одной рукой ведя за собой Митюньку, тогда как другой придерживала что-то над животом, завернув в подол передника.

— Сережи еще нету? — спросила она, остановившись перед Касьяном.

Касьян со вчерашнего не мог побороть объявшего его отсутствия и, не отрывая глаз от дегтярки, глухо выдавил:

— Нету пока...

— Ох, что ж это он! Не заплутался ли где? Послала — сама не своя.

Касьян промолчал.

В растоптанных парусиновых башмаках, осоюженных кожицей, Натаха выжидательно стояла над ним, и Касьяну было не по себе от этого ее привязчивого стояния, шла бы уж занималась своим, что ли... Он ее ни в чем и не винил за вчерашнее, чего было спрашивать с такой никудышной. Но вот помимо воли захрясла в нем и не отпускала какая-то мужицкая поперечина.

— Где ходила-то? — спросил он, строжась. — Укладываться надо, а ты из дому.

— В лавку бегала. Никифор придет, а у нас и подать нечего.

Касьян вскинул бровь, одноглазо покосился на ее скомканный передник.

— Седни две подводы привезли, а уже нету. Мне Клавка последнюю отдала.

Касьяну хотелось сказать, что одной будет мало, может, Никифор с женой подойдет, да там кто заглянет, но промолчал. Ему бы след самому об том подумать, самому и в лавку сходить, но вот замешкался, запамятовал как-то. Да и не хотелось ничего нынче, вчера с мужиками перегорел, слил охоту.

— На-ка, сынок, отнеси в дом, — Натаха высвободила из передника бутылку. — Да смотри не урони.

Митюнька, держа бутылку обеими руками впереди себя, боязно, будто с завязанными глазами, поковылял к сеням.

— А ты чего затеял-то? — спросила Натаха, все еще тяжко пышкая после недавней ходьбы.

— Поди, видишь.

Она нагнулась, подняла правый сапог за голяшку, повертела его в руках. Под ее пальцами чебот ощерился черными подгнившими шпильками.

— Не рви! — потянулся к сапогу Касьян. — Чего насильно рвешь-то?

— А я и не рвала. Такой и был раззявленный.

— Дай, дай сюда! — осерчал Касьян.

Он отобрал сапог, поставил за себя на приступок.

— Ужили в этих пойдешь?

Касьян молчал, уставясь себе под ноги.

— Ох, Кося, не след бы в последний день так-то. Слова не вытянешь. В этих, что ли, надумал?

— А чего... И в этих ладно, — неохотно буркнул Касьян.

— Да куда уж ладней. Глянь, как спеклись, водянки набивать токмо. Куда ж в таких-то?

— Я с подводами. Поклажу повезу.

— Дак с подводами не до самого фронту. А ежели дальше пешки погонят? Да паче невзгода зайдет? Не на день, не на недель идешь. Мало ли чего...

— Лобов вон дак и вовсе в лаптях. Все равно менять будут, казенные дадут.

— Да уж когда их дадут-то. Не вдруг и дадут.

— Дадут! Босыми на немца не пойдем.

— Не дури, не дури, Касьян. Надевай новые.

— Чегой-то я буду попусту губить?

— Ну как же попусту? Разве на такое итить — попусту?

— А так и попусту: хорошие снимут, а кирзу дадут. А то продашь, ежели что...

— Как это — ежели что? — подступилась Натаха. — Ты об чем это? Ты что такое говоришь-то?

— Не к теще в гости иду, — обронил жесткий смешок Касьян.

— Ничего не знаю и знать не хочу этого! — запальчиво отмахнулась Натаха, и ее пегое лицо враз заиграло пятнами. — И ты про такое загодя не смей! Слышишь?! Не накликай, не обрекай себя заранее.

— Пуля, сказано, дура. Она не разбирает.

— Нехорошо это! — не слушала его Натаха. — Со смятой душой на такое не ходят. Не гнись загодя. Этак скорее до беды.

— Ты откуда знаешь, что у меня?

— А кто ж должон знать?

Касьян отложил лопатку, полез в карман за кисетом. Долго молча вертел-ладил неслушную самокрутку. И все это время Натаха тяжелой горой стояла над ним, ждала чего-то.

— Гляжу я, — лизнув языком по цигарке, сумрачно вымолвил Касьян, — вроде как не чаешь туда спровадить. Еще и повестки не видела, а уже сумку сшила.

— Ох, дурной! Ну, дурной! — Натахины глаза замокрели, она потянула к лицу край фартука. — Дак как же язык-то твой повертывается этакое сказать? Побойся совести! Господи...

Она отвернулась, угнула голову. Подол ее выцветшего платья мелко подрагивал. Отечные щиколотки взопревшей опарой наплыли на края запыленных башмаков.

Его полоснуло внезапной жалостью. Сболтнул, конечно, напрасное. Дак ведь и сапоги оставлял не из жадности, ей и оставлял, понимать бы надо.

— Ну, будя, будя, — виновато проговорил он. — Я не гнусь. Откуда это взяла?

Натаха не отвечала, утиралась передником.

— Не стану ж я песни кричать? А что выпало, то мое, на чердак не поглядываю. Мне, поди, тоже обидно такое слышать — не гнись.

— Ох, Кося... — выдохнула она давившую тяжесть.

— Ну, сказано, будя. Я и так казнюсь: они вон идут, а я еще до си тут...

— Вот и ладно, — обернулась она. — Так и держи себя, не послабляйся. И нам будет через то легче. А уж ежели что, дак сапоги твои нам не утеха.

— Так-то оно так. А все же не бросайся, девка, — пытался урезонить Касьян. — С чем остаетесь-то? Вон в закроме дно видать. А из колхоза то ли будет чево... А то пуда два за сапоги возьмешь — тоже не лишек.

— А мне мало за тебя два пуда! — Натаха снова всхлипнула, содрогнулась всем животом. — Мало! Слышь? Мало! Ма-ало!

— Да охолонь ты, не ерепенься! Не знай, как подопрет.

— И слушать не хочу! — Закусив губы, она вдруг схватила стоявший перед Касьяном сапог и что было сил швырнула его за плетень. — Пойдешь в рвани ноги бить, а я тут думай. Нечего! Иди человеком. Весь мой и сказ!

Касьян растерянно глядел на дегтярку, потом молча встал, пнул с приступка оставшийся сапог, открыл амбар и снял со стены новые.

Натаха тоже молча ушла, оставив выбежавшего во двор Митюньку, и, как только она скрылась в сенцах, оттуда с заполошным кудахтаньем, перепрыгивая одна через другую, посыпались куры, а вслед им вылетел березовый окомелок.

— Новые так новые, — передернул плечами Касьян.

Ожидая Никифора, он вместе с Митюнькой возился во дворе: смазал и подвесил сапоги в тенек под амбарной застрехой, досек табак и, заправив его тертым донником, набил добрую торбочку. Потом принялся за хворост, перерубил чуть ли не весь припас и сложил под навесом. Никифора все не было, и он, подвострив топор, взялся дорубливать остальное.

Время от времени Натаха, высовываясь из растворенного окна, уже ровно, примиренно выкрикивала:

— Кося! Табак готов ли? Давай-ка сюда, буду пока собирать.

Или:

— Митюня-я! Ты не брал ли карандашика? Папке надо. Письма нам будет писать папка. А я никак не найду карандашика.

13

Пришла с лугов, толкнув рогами калитку, корова Зозуля — в черном чепраке по спине, будто внапашку от духоты и зноя. Корова сытно взмыкнула и, покосившись на сапоги, повтягивав ноздрями расплывшийся дегтярный дух, протяжно выдула из себя негожее снадобье. Потом, сама источая парной запах переваренной зелени и накопленного молока, пощелкивая, будто новой обувью, начищенными травой, еще крепкими копытцами, не спеша, домовито побрела по двору, принюхиваясь и приглядываясь ко всякой мелочи.

Вскоре мимоходом набрел Леха Махотин — в новой синей рубахе с косым воротом, опоясанный узким кавказским ремешком, уснащенным, ровно выездная сбруя, мелкими бляшками. Чуб у Лехи вороными кольцами, черные глаза маслено щурятся — навеселе мужик. Леха размашисто, точно год не виделись, шлепнул по Касьяновой ладони.

— Ну как, шлемоносец? Снарядился?

— Да подь ты... Уже приклеили.

— Ладно тебе! И шуткануть нельзя. Чего делаешь-то?

— Да вот... — Касьян кивнул на выложенную стенку дров. — Хоть на первое время.

— Давай кончай, теперь уж не напасемся. Бери Наталью да айда ко мне, посидим напоследок.

Касьян оглянулся на недоприбранную порубку.

— Дак лучше ты ко мне. С Катериной и приходи.

— Чем же лучше? У тебя, гляжу, тоже никого. А я сейчас за теткой Апронькой да за Михеем сбегаю, да и сядем. Михей своих двух еще теми днями отправил, дак теперь все на задах стоит, мается один.

— Нет, Лексей, спасибо на добром. Сам гостей жду. Малого послал за Никифором, с минуты на минуту должны.

— И Никифора бери, всем хватит.

— Нет, Леха, нет. Ты уж прости. Не тот день, чтоб из дому ходить. Сам понимаешь. С тобой мы еще и завтра свидимся, и

потом. Глядишь, не разлучат, вместе будем. Последние часочки дома надо побыть. Может, зайдешь, выпьем моей?

— Да чего уж... Всю по дворам не перепьешь. Ну, раз так — бывай! Пойду к Зяблову заверну.

— Дак и он не пойдет. Не тот день, говорю...

— Вот черт, никого не докличешься. Э-эх, рраскувшин с пррростоквашей...

Сверкая сатиновой спиной, Леха шагнул к дворовому окну, боднул головой занавеску и шумливо гаркнул:

— Здорово, Натальюшка, душа любезная! Здравствуй, теть Фрось. Дайте на вас в последний разок погляжу. Ну, Наталья, ну, молодец! Эка рясна!.. Я-то? Спасибо, спасибо... А тебе благополучного третьего, богатыря-Селяниновича... Не-е, теть Фрось, ничего не бойся... Да уж постараемся, бабоньки, постараемся... Придем, теть Фрось, куда мы денемся... Ну, прощевайте! Не поминайте лихом, ежели что не так...

Кивнув еще раз Касьяну, Леха, возбужденный этим беглым разговором, вышел задней калиткой, и там, под вишенником, вырвалось у него растроганным всплеском:

Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали-и...

Раза два Касьян выходил за ворота и, слушая, как уже начала то здесь, то там пошумливать деревня, выглядывал в дальнем ее конце Сергунка. Но он, пострел, объявился аж под самый вечер, когда солнце, обойдя Усвяты, покатилось к своей летней обители где-то за ржаным полем. Перекрещенный белыми лямками, волоча за собой пыльную, в листьях лозовую хворостину, Сергунок заскочил во двор, один, без Никифора.

— Вот! — протянул он Касьяну сложенную бумажку. — Велели передать.

Касьян, недоумевая, развернул синий клочок от рафинадной пачки. Неровными полупечатными буквами там было накорябано: «Родной брат Касьян Тимофеич. Кланяется тебе твой родной брат Никифор Тимофеич и Катерина Лексевна. А притить мы не можем, со всем нашим удовольствием, а нельзя. Завтра я призываюсь, так что притить не могу, нету время. Сережка твой говорил, тебя тоже берут. Тогда пойдем вместе. Только возьми своего табачку и на меня. Твой табак добрый.

Одно жалею, не увижу матушку нашу Хросинью Илинишну. Пусть обо мне не убивается. А если пойдем шляхом мимо Усвят, то, может, наведаюсь попрощаться. А так у нас все хорошо, все живы-здоровы.

Твой родной брат Никифор Тимофеич».

Касьян так и этак повертел сахарную бумажку. До сей минуты ему и не мнилось, что Никифора тоже призовут. Он был на восемь годов старше Касьяна. Правда, после него народились еще два мальчика, а уж потом сам Касьян четверт. Но те умерли еще в младенчестве, и остались Касьян да Никифор, как две вереи, между которыми зияли никем не подпертые эти восьмилетние разверстые ворота. Никифор еще в первый год женитьбы отошел от двора, обжился в Ситном на тестевой земле, как раз к тому времени умершего, да и остался там за хозяина. И вот, оказывается, и его берут, старшого. Мать теперь и вовсе разгорюется. Обвыкаясь с этой новостью, Касьян устраненно смотрел на Сергунка, все еще стоявшего перед ним с холщовой сумкой и со своим ивовым пропыленным скакуном. Мальчонка отмерил на нем в оба конца верст двенадцать, даже немного осунулся лицом, но глаза его распахнуто голубели от исполненного поручения.

— Дак чего там дядя Никифор? Готовится?

— Куда готовится? — не понял Сергунок.

— На войну. Куда ж еще?

— Не-е! — зазвенел голоском Сергунок. — У них там никакой войны нету.

— Как это нету?

— Дядя Никифор с мужиками на речку ходил. Должно, рыбу ловить.

— Так... А тетка чего?

— А теть Кать хлеб пекла с маком. А потом чего-то шила. Она и нам колобок прислала. — Сергунок поддал сумку спиной.

— Ага... Ну ясно... А ты-то почему долго? Али забаловался? Мать вон истекалась: нету и нету.

— Ну дак дядя Никифор на речке был! — обиделся Сергунок. — А когда пришел, вот это написал и велел передать.

Касьян мазнул Сергунка по щеке ладонью.

— Молодец.

Старуха Ефросинья Ильинична, все эти дни горестно молчавшая, неслышная в своем топтании по дому, уже обряженная

в новый крапчато-белый платочек, выслушала известие о старшем сыне как-то равнодушно, словно до нее не доходили эти слова или вроде они сами собой разумелись.

— Ну-к што ш... — обронила она, помолчав. — Тади садитесь обедать.

И, ссутулясь, тенью побрела в катаных порках на кухню, оставив за собой тягостную тишину.

Касьян, сам не ведая для чего, аккуратно свернул синюю бумажку по прежним сгибам и, как налоговую квитанцию, бережно засунул за Николу, который спокон веку хранил все ихние счета с посюсторонней жизнью. Оказывается, вблизи Никола был напрочь лыс или, как Матюха Лобов, наголо обстрижен. «А они-то идут, идут...» — опять напомнил он одними глазами.

— Это твое, Кося, — почему-то шепотом сказала Натаха, указав на сундук, где высилась горка, прикрытая белым. — Проверь, что не так...

Касьян машинально приподнял край, увидел стопку нижнего белья, ковригу хлеба, кучку яиц, кружку, резную ложку и еще какие-то узелки и свертки.

— Табак там? — спросил он о самом главном.

— И табак, и спички — десять коробок. Хватит десятка? А это вот соль в мешочке. Тут мыло. В этом чулке, запомни, тетрадка с карандашом. А в другом чулке — нитки с иголками и пуговками. Курицу ешь сразу, не держи...

— А в сумке что?

— Сухари. Про всякий случай.

— Куда столько всего? Благо ли носить?

— Носить — не просить, Кося. Лишком и поделиться можно.

— Пап! — Сергунок дернул Касьяна за брюки. — Пап, а ножик не забыл?

— Какой ножик? — не сообразил Касьян.

— Складничек который.

— А-а...

Касьян сунулся в карман: нож был на месте. Он достал его, повертел в руках и протянул Сергунку.

— Так уж и быть, это тебе.

— А ты? — не решился принимать Сергунок. — Как же на войне-то без ножика?

— Бери, бери. Отца вспоминать будешь.

Сергунок, не веря себе, схватил складник и закраснелся по самые уши. Оглянувшись на Митюньку, который зазевался, упустил этот момент, он юркнул в кутник за полог.

— А бритву я пока не клала, — напомнила Натаха. — Ты сперва побрейся, покуда соберем обедать. И на-ка надень вот это.

Она вложила в Касьяновы руки новую рубаху, которую купила еще к маю, — черную с частым рядом белых пуговиц.

Касьян послушно достал из-за ходиков завернутую в тряпицу бритву, нацедил кружку кипятка и, прихватив рубаху, рушник и кругляшок зеркальца, уединился во дворе под навесом. Там он неспешно старательно выбрился, чтобы хватило дня на три, ополоснул из кружки лицо и надел рубаху, еще пахнущую лавкой. И пока он собирался к столу, Натаха тоже успела переменить кофту, умыть и причесать ребятишек. Оба они уже сидели рядышком на своих местах и, разобрав ложки, смиренно и нетерпеливо поглядывали, как бабка носила из кухни съестное. На середине стола в глиняной черепушке дразняще парила сваренная целиком курица, потом появились свежие, едва только двинувшие в рост огурцы-опупки, томленная на сковороде картошка, желто заправленная яйцом миска с творогом, блюдо ситных пирогов, распираемых гороховой начинкой с луком, и под конец бабушка подала лапшу: одну посудину поставила на двоих Сергунку с Митюнькой, другую — отцу с матерью, а третью, маленькую, поставила на угол себе. Не каждый день на стол выставлялось сразу столько всего хорошего. Война войной, не всякую минуту о ней помнилось, как о любой игре, еда же была — вот она, и это обилие пищи невольно настраивало ребятишек на предвкушение нежданного празднества. И было слышно, как они возбужденно перешептывались:

— Ух ты! Глянь-кось, пироги! Я вон тот себе возьму.

— Какой?

— А вона. Который самый зажаристый.

— Ага-а, хитленький!

— А кто в Ситное ходил?

— Ну и сто? А я в магазин зато.

— Ох, даль какая. Небось мамка несла?

— Как дам...

— А во — нюха?

— А ты... а ты Селгей — волобей. Селый! Селый!

— А ты Митя-титя.

— А зато мне кулиную лапку, ага!

— Прямо, тебе!

— А сто, тебе, сто ли ча? Все тебе да тебе.

— И не мне.

— А кому за?

— Это папке курицу. Папка на войну идет, понял? Когда вырастешь большой, пойдешь на войну, тади и тебе дадут.

Вошла бабушка с ковригой хлеба и, отерев ей ладонью донце, протянула через стол Касьяну.

— На-ка, кормилец, почни, — сказала она слабым, усталым голосом, перекрестясь в угол. — Не знаю, удался ли...

Ребятишки притихли, оборвали свои пререкания.

Бессчетно хлебов пеклось на Касьяновом веку, но всякий раз взрезать первую ковригу было радостно, будто вскрывалась копилка сообща затраченного недельного труда, в которую от каждого, мал или стар, была вложена посильная лепта, и всегда это делалось при полном семейном сборе.

Некогда этот же стол, нехитро затеянный, но прочный, из вершковых плах, рассчитанный на дюжину едоков, возглавлял дед Лукаша, от которого в Касьяновой памяти уцелели его бело-дымная борода до третьей пуговицы на рубахе да грабастые жесткие руки, измозоленные веревками и лапотным лыком. И помнилось, как он, перекрестясь и прижав ковригу ребром к сивой посконной груди, осыпав ее белым волосом бороды, надрезал первый закраек, разглядывал и нюхал, а бабушка, стоя за его спиной, трепетно ждала своего суда. Потом дед Лукаша, ослабев и избыв, уступил суд Касьянову отцу, а отец вот уж и самому Касьяну. Так и менялись за этим столом местами — по ходу солнца. На утренней стороне, как и теперь, всегда теснились ребятишки, на вечерней — женщины, а в красном углу, в застольном зените, всегда сидел главный резальщик хлеба, пока не приходило время уступить нож другому.

Касьян, держа большой самодельный нож из стального окоска, принял из материных рук ковригу, отдававшую еще не иссякшим теплом, и только чуть дрогнул уголками рта при мысли, что это его последний хлеб, которым ему нынче предстояло оделить семью. Наверное, это осознавали и все остальные, потому что, пока он примерялся, с какого края начать, и Натаха, и бабушка, и Сергунок, и даже Митюнька прикованно молча глядели на его руки. И оттого сделалось так тихо, что

было слышно, как поворачиваемый хлеб мягко шуршал в грубых Касьяновых ладонях.

Но Касьян вдруг опустил хлеб на стол и сказал:

— А ну-ка, сынок, давай ты.

— Я? — встрепенулся Сергунок. — Как — я?

— Давай привыкай, — сказал Касьян и положил перед ним ковригу.

От этих отцовых слов мальчик опять пунцово пыхнул и, все еще не веря, не шутит ли тот, смущенно посмотрел на хлебный кругляш, над которым он, сидя на лавке, едва возвышался маковкой.

— Давай, хозяин, давай, — подбодрил его Касьян.

Сергунок, оглядываясь то на мать, то на бабушку, обеими руками подтянул к себе тяжелую хлебину и робко принял от отца старый источенный нож.

— А как... как резать? — нерешительно спросил он.

— Ну как... По едокам и режь.

Сергунок привстал на лавке на колени. Посерьезнев и както повзрослев лицом, но все еще полный робости, словно перед ним лежало нечто живое и трепетное, он первый раз в своей жизни приставил кончик ножа к горбатой спине каравая. Корка сперва пружинисто прогнулась, но тут же с легким хрустом охотно, переспело раздалась под ножом, и Сергунок, бегло взглянув на отца, так ли он делает, обеими руками надавил на рукоятку, так что проступили и побелели остренькие косточки на стиснутых кулаках. В ревностном старании высунув кончик языка, он кое-как, хотя и не совсем ровно, откромсал-таки третью часть ковриги и, оглядев всех, сосчитав едоков, старательно поделил краюху на пять частей. Выбрав самый большой серединный кусок и взглядывая то на отца с матерью, то на бабушку, не решаясь, кому вручить первому, он наконец робко протянул хлеб отцу.

— Это тебе, пап.

— Сначала матери следовало б, — поправил его Касьян. — Учись сперва мать кормить.

— Тогда уж первой бабушке, — сказала Натаха. — Бабушка пекла, ей за это и хлеб первый.

В разверстых глазах Сергунка отразилась недоуменная растерянность, но бабушка перевесила:

— Отцу, отцу отдай. Нам еще успеется, мы — дома.

— Ничего, — сказала Натаха, — всему научится. Давайте ешьте, а то лапша простынет. Нате-ка вам с Митей по куриной ножке. Ох, что ж это я! А про главное и забыла...

Оделив ребятишек, Натаха принесла из кухни бутылку и поставила ее перед Касьяном.

— Что ж это Никифор-то? — сказала она. — А то и выпить вот не с кем...

— Ох ты, осподи... — вздохнула бабушка и уставилась на лежавший перед ней ломоть хлеба, забылась над ним.

Натаха, взглянув на свекровь, тихо обмолвила:

— Ну да что теперь делать? И нам к нему не бежать. Оно и всегда: радость — вместе, беда — в одиночку. А ты, Кося, выпей. Авось умягчит маленько.

Между тем, пока обедали, а заодно и ужинали, подкрались сумерки. Долог был для всех нынче день, а и он прошел, и бабушка, внеся самовар, запалила лампу.

Сразу же после чая Митюнька забрался к бабушке на колени и, не доев пирога, прижимая его к щеке, обмяк в скором ребячьем сне. Перебрался, прикорнул к бабушкиному плечу и засмиревший, набегавшийся Сергунок, и та недвижно сидела, терпеливо оберегая сон своих внуков.

Еще перед обедом выпив полстакана водки, Касьян заткнул остальное и составил бутылку со стола. Пить больше некому было, а одному не хотелось, не любил он прикладываться в одиночку. Но и та малость как-то сразу нехорошо ударила в голову, заклубила прежнее, уже передуманное, переворошенное. Со вчерашнего Селиванова застолья он больше ничего не ел ни утром, ни днем, но и теперь, едва схлебнув малость горячего, отложил ложку и закурил.

— Да ты выпей, выпей-то как следует, — сама понуждала Натаха. — Глядишь, клин клином и вышибешь. Да, может, и поешь тади.

— Не тот это клин, — отмахнулся он. — Да и завтра вставать рано.

Так и сидел он, подпершись рукой, одну вслед за другой зажигая цигарки, лишь иногда словами обнажая непроходящие думы:

— Слышь, а корову, что б там ни стало, а побереги. Без коровы вам край.

— Да уж как не понять, — кивала Натаха.

— Родишь, а то мать прихворнет, — ежли трудно будет на первый раз обходиться с коровой, к Катерине сведите. Опосля пригоните.

— Ладно, поглядим.

И еще через цигарку:

— А паче с сеном заминка выйдет, лучше амбар продать, а сена купить.

Уже при сонных ребятишках Натаха принесла сумку и молча принялась перекладывать в нее приготовленное на сундуке. Касьян глядел, как она сперва затолкала белье, всякую нескорую поклажу, сверху положила съестное, а саму ковригу приспособила плоским поддоном к спине — чтоб ловчее было нести.

— Не забыть бы чего, — проговорила она, оглядываясь. — Табак... бритва... Кружку я положила... Должно, все.

— Про то в дороге узнается, — отозвалась бабушка.

Встряхнув раздавшуюся сумку, Натаха затянула шнурок и набросила лямочную петлю. И, завязав, безвольно опустила руки, притихла перед белым мешком с вышитыми на уголке буквами.

— Да! Вот что! — вскинул голову Касьян. — Возьми-ка ножницы, состриги мне с ребят волосков.

Натаха выжидательно обернулась.

— Карточек-то с них нету, с собой взять. Сколь говорено: давай в город свезем, карточки сделаем. И твоей вон нема.

— Дак кто ж знал... — повинилась Натаха. — Разве думалось.

— Дак состриги, пока спят. С каждого по вихорчику.

Она принесла из кутника ножницы и расстелила на столе лоскут. Сергунок и не почуял даже, как щелкнуло у него за ухом... Сероватая прядка ржаным колоском легла на тряпочку. Митюнька же лежал неудобно, зарылся головенкой в бабушкину подмышку, его пришлось повернуть, и он, на миг разлепив глаза и увидев перед собой ножницы, испуганно захныкал.

— Не бойся, маленький, — заприговаривала Натаха. — Я не буду, не буду стричь. Я только одну былочку. Одну-разъединую травиночку. Папке надо. Чтоб помнил нас папка. Пойдет на войну, соскучится там, посмотрит на волосики и скажет: а это Митины! Как он там, мой Митюнька? Слушается ли мамку? Ну вот и все! Вот и готово! Спи, золотце мое. Спи, маленький.

И еще один колосок, светлый, пшеничный, лег на тряпочку с другого конца.

— Не попутаешь, где чей? Запомни: вот этот, пряменький, — Сережин. А который посветлей, колечком — Митин.

— Не спутаю.

— Я их заверну по отдельности, каждый в свой уголок. Может, подписать, какой Митин, а какой Сережин?

— Да не забуду я. Еще чего!

Натаха долго, вопрошающе посмотрела на Касьяна.

— А меня?

Касьян глянул, ответно вспахал лоб складками, не поняв, о чем она.

В своей новой, просторно и наскоро сшитой кофте цветочками-повителью, нисколько не сокрывшей ее несоразмерной и некрасивой грузности, а лишь еще больше оказавшей нынешнюю беспомощность, с маленькой для такого тела округлой головкой, к тому же еще и простовато причесанной, туго зашпиленной позади роговым гребнем, она в эту минуту показалась Касьяну особенно жалкой и беззащитной, будто сиротская безродная девочка.

— На и меня, — повторила она, засматривая Касьяну в глаза.

— Что — тебя? — переспросил тот, все еще не понимая.

— Отрежь... — понизив голос, моляще шепнула Натаха и, выдернув гребень, тряхнула рассыпавшимися волосами. — Или тебе не надо?

— Дак почему ж... — проговорил он и, вставая, не сразу выходя из застольного оцепенения, смущенно покосился на мать: содеять такое при ней ему было не совсем ловко. Но та сидела по-стариковски застыло, склонившись над Митюнькой, в рябеньком платке; темные руки, опутанные взбухшими венами, сцепленно обнимали приникшее ребячье тельце, и он сдержанно прибавил:

— Давай и тебя заодно.

Натаха протянула ему ножницы и, будто на добровольное отсечение, покорно склонила голову.

— Погоди... Так вот и сразу...

— А чего ж еще?

— Дак где стричь-то? — Неловко распяленными пальцами, скованными грубой силой, он боязно разгорнул мягкие, еще совсем детские подволоски над шейными позвонками. — Тут, что ли?

— А где хочешь, — нетерпеливо отозвалась она.

— Ну дак как... Ты ж не дите. Остригу, да не там...

— А ты не бойся, — пробился ее жаркий шепоток сквозь завесу ниспадавших волос. — Где понравится. Везде можно.

Касьян осторожно, подкрадливо поддел под одну из прядок ножничное лезвие и сам весь стянуто напрягся, почувствовав, как Натаха от неловкого-таки щипка вздрогнула нежной не загорелой на шее кожей.

— Дак и хватит, — сказал он, взопрев, словно выкосил целую делянку.

— А хоть бы и всю остриг. — Выпрямившись, она обеими руками отбросила волосы за спину и, словно вынырнув из воды, встряхнула головой, через силу засмеявшись. — Все и забери. Я и в платке до тебя похожу, монашкой.

— Буробь, — Касьян положил выстриженный завиток на середину тряпочки — между Митюнькиным и Сергунковым.

Натаха потом удивлялась своему хвостику, сохранившемуся в этом ее тайничке от прежней детскости, который и сама отродясь никогда не видела и который, оказывается, почти ничем не отличался от Митюнькиного, разве что был поспелее цветом.

— Теперь и не спутай, — сказала она. — Дай-ка я свои узелком завяжу. Как глянешь — узелок, стало быть, я это...

Касьян не ответил, потянулся под стол за бутылкой и, налив себе еще с полстакана, не присаживаясь, отвернувшись, выпил.

— Ну ладно, — объявил он, утершись ладонью, и забрал со стола кисет. — Кажись, все...

Холодно обомлев, поняв, что приспел конец ихнему сидению, конец прошедшему дню и всему совместному бытию, Натаха робко попросила, хватаясь за последнее:

— Поешь, поешь. Что ж ты ее, как воду...

— Чегой-то ничего не идет.

— Ну хоть чаю. Ты и пирожка не испробовал. Твои любимые, с горохом.

— Да чего сидеть. Сиди не сиди... Пошел я.

Потоптавшись у стола, оглядев растревоженную, но так и не съеденную ни старыми, ни малыми прощальную еду, он нерешительно, будто забыл что-то тут, в горнице, вышел.

Натаха, как была, с распущенными волосами, не успев прихватить их гребнем, проводила его померкнувшим взглядом, не найдясь, что сказать, чем остановить неумолимое время.

Поздняя летняя заря погасла без долгих раздумий, со света двор показался кромешно темным, и глаза не сразу обвыклись,

не сразу отделили от земли белые груды притихших гусей и неясное пятно беспокойно вздыхавшей под плетнем, должно еще не доенной коровы. Но сразу, еще с порога учуялось, как в паркой ночи размеренно, на весь двор дышали дегтем подвешенные сапоги.

Не зажигая спичек, Касьян ощупью пробрался к саням, разделся и залег в свое опрохладневшее ложе. Но сразу уснуть не смог, а еще долго курил от какого-то внутреннего неуюта, немо слушая, как само по себе шуршало сено и похрустывал, покрякивал перестоялыми на дневной жаре стропилами сарай, как разноголосо встявкивали собаки, наверно, в предчувствии скорой луны. И, как сквозь собачий брех, где-то на задах, скорее всего на Кузькином подворье, ржавыми замученными голосами орали:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Уже забываясь, он безвременно глядел в глухую темень нависшего сенника, и в ожидании окончательного забытья, когда уже ни о чем не думалось, а только пусто, отключенно стучало в висках, ему вдруг почудился, будто из давно минувших дней, из далекого детства, и не сразу осознался явью знакомый и убаюкивающий звон ведерка под нетерпеливыми молочными струями. И то ли уже тогда же, ночью, то ли на самой утренней заре внял сторожкий Натахин шепот:

— Это я, Кося...

14

Он потом не слышал, как за сарайной перегородкой, забив крыльями, горласто, почти в самое ухо взыграл петух, которого прежде, в ночном, узнавал от самой Остомли, — так тяжек и провален был сон, простершийся б до полудня, если не вставать, никуда не идти. Но так и не спавшая, кое-как приткнувшаяся в розвальнях Натаха, уже в который раз привстав на локоть, принималась расталкивать его, трепать по щекам, озабоченно окликая:

— Пора, Кося, пора, родненький.

— Ага, ага... — бормотал он одеревенелыми губами, жадно, всей грудью вдыхая, впитывая в себя последние минутки сна, бессильный пошевелиться.

— Вставай! Глянь-ка, уже и видно.

— Счас, счас...

— Тебе ж к лошадям надо, — шептала она, чувствуя свою скорбно-счастливую вину: не приди она сюда после дойки, не отними тогда своими поздними ласками и без того недолгую летнюю ночь, теперь он не мучился б этим сморенным, все забывающим сном. — Слышь, Кося, ты ж к лошадям хотел...

— Ага, к лошадям...

Она послюнила палец и мокрым провела по Касьяновым тяжелым, взбухшим векам. Тот замигал, разлепил ничего не видящие, ничего не понимающие, младенчески-отсутствующие глаза. И лишь спустя в них проголубела какая-то живинка, еще не вспугнутая осознанием предстоящего, еще теплившая в себе одно только минувшее — ее, Натахино, умиротворяющее в нем присутствие.

— Уже? — удивился он свету, не понимая, как же так, куда девалась ночь.

— Уже, Кося, уже, голубчик, — проговорила она, спуская босые ноги с саней.

И он, наконец осмыслив и бивший в чуть приоткрытые ворота теплый утренний свет, и Натахин тревожный шепот, приподнялся в санях.

— Сколько время?

— Да уж солнце. Седьмой, поди.

— Ох ты! Заспался я. — Он цапнул в головах брюки, отыскивая курево.

— Сразу и курить. Выпей вон молока.

— Ага, давай, — послушно кивнул Касьян, смутно припоминая вчерашний ночной звон подойника.

Он принял от Натахи ведро и через край долго, ненасытно попил прямо в санях.

— Ва! — крякнул он, оживая голосом. И хотя не успел проспаться и все в нем свинцовело от прерванного сна, на душе, однако, уже не было прежней тошнотной мути, и он попросил озабоченно, будто собирался в бригадный наряд: — Подай-ка, Ната, сапоги.

Потом, поочередно засовывая ладно обмотанные мягкими, хорошо выкатанными портянками ноги в пахучие голенища, сонно покряхтывая, сам еще в одних только брюках и нижней рубахе, урывками говорил:

— Я с тобой не прощаюсь... Еще свидимся...

Натаха присмирело глядела, как он обувался.

— И детишек не колготи... Пусть пока поспят.

— Ладно...

— Потом приведешь их к правлению... Поняла?

— Ладно, Кося, ладно...

— Часам к девяти. Мать тоже пусть придет...

Он встал, притопнул сапогами: ноги почувствовали прочную домовитость обужи.

— А вдруг там больше не свидимся? — думая над прежним, сказала она поникшим голосом.

— Куда я денусь? — кинул он и вышагнул из сарая, на ходу набрасывая вчерашнюю черную рубаху. — Подай-ка пиджак с картузом. А то я в сапогах, нашумлю. И сумку.

— Дак что ж в дом не зайдешь? — Натаха следовала за ним, держа под шеей стиснутые ладони, будто ей было холодно. — Больше ведь не вернешься... И не поел на дорогу.

— Когда теперь есть... — проговорил он, торопко застегивая на рубахе мелкие непослушные пуговицы. — Покуда туда добегу, да там...

— Ну как же... С домом хоть простись...

— Дак еще ж, говорю, свидимся.

В дом ему не хотелось: не сознавая того, невольно оберегал он в себе ту пришедшую к нему ровность, с какой сейчас, не тратя себя, лучше бы за калитку, — и все, как обрезал. Приглаживая неприбранные волосы, Касьян на носках переступил порог еще по-утреннему тихой избы, заведомо томясь горечью увидеть в эту последнюю трудную для него минуту не столько самих мальчишек, сколько старую мать. Ребятишки — ладно: поцеловал бы сонных да и пошел, но мать, поди, уже давно топчется, вон и гусей с коровой нет во дворе, и он вошел в дом, весь внутренне напряженный и стянутый.

Мать он увидел в горнице перед распахнутым сундуком. Не замечая его, она копалась внутри, вытаскивая из бокового ящичка для мелочи какие-то узелки и свертки. И Касьян, глядя на ее согбенную спину, не посмел окликнуть, пока она сама, почуяв чье-то присутствие, не повела взглядом в его сторону. И взгляд этот, оторванный от сундука, был какой-то чужой, не признававший Касьяна.

— Ну, мать, пошел я, — негромко, с заведомой бодрецой объявил он, рассчитывая и тоном, и видом смягчить и облегчить ей это прощание.

Нынешней ночью она, наверно, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо ее еще больше обрезалось, жидкие изношенные волосы, сумеречные впалости глаз и беззубого рта скорбно обозначали очертания проступившего праха, и Касьян только теперь неутешно осознал, как враз состарилась его мать, как близка она к своему краю. А она, озабоченная чем-то своим, то ли вовсе не слыхала, то ли не поняла Касьяновых слов, сказала ему свое:

— Хотела найтить... Да вот, вишь, не найду, запамятовала. Наталья, ты, часом, не видела, был тут у меня обвязочек...

— Потом, мать, потом... — перебил Касьян. — Идти надо. Побег я.

— Побег? — повторила она за Касьяном, все еще странно отсутствуя, дознаваясь взглядом какой-то своей пропажи. — Уже и пошел? Ох ты, осподи! А я-то хотела тебе найтить. Взял бы с собою... Сколь берегла, от самого твоего рождения. Про такой-то случай. Да, вишь, не уберегла. Памяти совсем не стало. Да как же это пошел? Деток не повидавши... Сичас, сичас побужу. Ох, горе, вот горе...

— Не надо бы их, — попробовал отговорить Касьян, проследовав с ней за полог. — Я пока на конюшню токмо. Опосля еще свидимся.

— Как же не надо, как же это не надо? Уходишь ведь! Наталья, поднимай дитев, чего ж ты как не своя. Проснись, Митрий. И ты, Сергий, не спи. Будя, будя вам. Проспите отца-то. Ой, лихо! — Она подхватила на руки младшего, все еще никак не хотевшего держать голову, безвольно ронявшего ее на бабушкино плечо. — Да что ж вы, как маку опились. Опамятуйтеся, сказано. Батька вон уходит, а вам бай дюже. Придет ли опять...

И только теперь, будто ударившись об это «опять», бессильная высказать боль свою и смятение, молча заплакала, смяв ветхие морщинистые губы. Пришел в себя и, еще ничего не поняв, сразу же заревел и Митюнька.

— Ох да голубчики мои белы-ы... — наконец вырвался на волю бабушкин взрыд. — Да сыночки ж вы мои послед-нии-и...

Глядя на нее, крепившаяся все эти дни Натаха подшибленно ойкнула, надломилась, пала, не блюдя живота, в Сергунковы ноги, беззвучно затряслась, задвигала скрипучим топчаном. Растревоженный Сергунок испуганно отобрал у матери ноги,

подскочил, присел на постели и теперь, заспанный и сумной, понуро молчал, ни на кого не глядя.

— Ох да на то ли я вас, сыночки, лелеяла-а, — раскачивалась вместе с Митюнькой бабушка. — На то ль берегла-а... на черну да на бяду-у... — И, заметив насупленно молчавшего Сергунка, вдруг, в плаче же, запросила-запричетывала: — Плачь, плачь, Сергеюшко-о... Не молчи, не томись, каса-а-тик... Да нешто не видишь, горя какая наша-а...

Она потянулась к Сергунку незрячей, слепо искавшей рукой, но тот уклонил свою голову, нелюдимо отшатнулся от непонятно кричавшей бабки.

— Да что ж ты не плачешь, упорна-ай... Пожалей, пожалей свово батюшку-у... Ох, да на што сиротит он нас, на што спокида-а-ить...

Не хотел ничего этого Касьян, надо бы уйти сразу, да вот стой теперь, слушай, и он, чувствуя, как опахнуло его изнутри каким-то тоскливым сквозняком, вышагнул в кухню и сдернул с гвоздя пиджак. И, уже одетый, не таясь пробуженной избы, гулко топая сапогами, вернулся в горницу за мешком.

— Ну все, все! — оповестил он, засовывая рукава в мешочные лямки. — Наталья! Будя, сказано! Бежать надо.

Перетянутый лямками по черному пиджаку и черной рубахе, уже какой-то не свой, непривычный, Касьян взял у матери Митюньку, присел с ним на сундуке. Сергунок соскользнул с топчана и, босоного прострочив горницу, прилепился рядом.

— Сядьте, посидим, — объявил Касьян.

Мать и Натаха, всхлипывая, послушно присели.

И стало слышно, как в едва державшейся, насильной тишине стенные ходики хромоного, неправедно перебирали зубчики-секунды...

Пытаясь все закруглить по-доброму, не дразнить больше слез, Касьян наконец первый нарушил эту немую истому, воскликнув с шутейной бодрецой:

— Ну, Сергей Касьянович! Прощевай! Чегой-то штанов не надеваешь? Пупком на всех светишь? А? Давай-ка, хозяин, руку, досвиданькаться будем.

Сергунок, хмуря белоперые отметины бровей, замешкался, не сразу подал руку и не шлепнул ответно, как Касьяну хотелось, а вяло, чем-то неволясь, положил ладошку на поджидавший его широкий плот отцовской пятерни.

— Эвон какая ручища-то! — продолжал бодро играть Касьян. — Ну прямо мужицкая! Топором токмо махать або косой. Ну дак и уступлю тебе все свое. Избу вот... Струмент всякий... Поле — сам знаешь где. Хозяйствуй знай! А?

Пока Касьян говорил, удерживая сынову руку, тот все ник и ник взъерошенной головой, и никак не удавалось Касьяну заглянуть ему в глаза, чтоб их запомнить и унести в памяти.

— Подойдет время — учись, старайся. Ага? Постигай, наматывай. Где, к примеру, немец обретается, что это за земля такая? Чтоб знать наперед, понял? — Он говорил случайное, не зная, что еще наказать непонятно затворившемуся мальцу. — Ну дак, ясное дело, перво-наперво мать слушайся. И бабушку. Это уже само собой...

Сергунок, не убирая руку с отцовской ладони, молчал, вздув наспанные губы.

— Да чего с ним сдеялось-то? — охнула бабушка. — Как окаменел малый. Ты скажи, скажи слово-то отцу. Нешто гоже эдак-то немтырем молчать. Экой упорной! Хватишься потом, да некому будет...

— Ладно, мать, ладно. Не замай его. Это со сна он... И ты, Митрий, тож слушайся тут, не докучай. — Касьян притянул на грудь младшенького, потрепал, потискал и, поцеловав трижды в непросохшие глаза, опустил на пол. — Ну, ступай к мамке, ступай!

Бабушка снова украдкой прослезилась какой-то остатней слезой, не одолевшей морщинок: главные свои слезы, никем не слышанные, никем не виданные, она выплакала еще до этого дня в одиноком своем запечье.

— Ну, дак пора мне, — опять объявил Касьян, вставая с сундука и озирая напоследок углы и стены. — Миром живите.

Поочередно пообнимавшись с женой и матерью, которые снова ударились в голос, оделив их, не слушавших, торопливыми утешными словами, какие нашлись, какие попадя подвернулись, Касьян с перхотой в горле, стиснув зубы, нырнул в горничную дверь, схватил по пути картуз с кухонного простенка и вылетел во двор. Вслед на крыльце засумятились, запричитали, но он, кургузясь под тяжестью сумы, крепясь не обернуться, через силу порывая липучие тенета отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалость к оставшимся в нем, топча ее сапогами, крупно, неистово пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке.

И вдруг, уже ухватясь за спасительную щеколду, услышал звеняще-отчаянный голосок, пробившийся сквозь бабьи вопли:

— Папка! Папка-а!.. Я с тобой!.. Я с тобой, пап-ка-а-а!

Остановился Касьян, похолодел, сжался нутром, будто левым соском напоролся на вилы: перед сенечным крыльцом, отбиваясь от бабкиных и материных рук, барахтался на земле Сергунок, так и не успевший в суматохе натянуть своих покосных штанов, — крутился вертким вьюном, бил-колотил ногами, тянул к нему руки.

— Папка-а! Я с тобой!

Касьян хотел уже было вернуться, как-то успокоить мальца, но на него замахали сразу и мать и Натаха, закричав: «Нельзя, Касьян! Не вертайся, ради Бога!» И он поспешно рванул калитку.

И когда, не обращая внимания на ветки, обдираясь вишеньем, уходил садом, и когда потом косил напрямки по чужой картошке, его долго еще настигал и больно низал этот тоненький вскрик, долетавший с подворья:

— А-а-а...

15

Все это время, готовясь к последнему дню, наперед казнясь его неизбежной надсадой, Касьян все же мыслил себе, как пройдет он по Усвятам, оглядывая, запоминая и прощаясь с деревней, торжественно печалясь про себя оттого, что каждый его шаг будет необратим, а путь его неведом; как выйдут за калитки остающиеся тут старики, почтительно обнажат перед ним головы, наговаривая разное, вроде: «Час добрый тебе, час добрый! Не сплошай там, вертайся!»; как будут вослед торопливыми жменьками сыпать кресты на его заплечную суму глядящие в окна старушки, а деревенская детвора молчаливым поглядом проводит его, ступающего в последний раз мимо изб, ворот и палисадов.

С тем бы и уйти, переступить усвятскую черту...

Но пришел этот день, и бежал Касьян задворьями, обрывая сапогами ботву, сшибая сиреневые соцветия июльской картошки, не замечая, что бежит, мелькая далеко видным белым мешком. На Полевой улице, против Кузькиной избы, оглядываясь назад, на Сергунков крик, едва не угодил в какую-то ямину, вырытую рядом с тропой, и не сразу понял, к чему она тут,

для чего она Кузьке. И лишь когда попалась и другая, и третья, вспомнил, что и сам вырыл такую же под своими окнами, когда собирались столбить радио. Ненужные теперь ямы желтели взрытой глиной почти против каждой избы, и он, обегая их, с неприятным чувством подумал, что следовало бы опять засыпать, заровнять перед уходом, негоже, нехорошо оставлять заготовленную яму, зиявшую против двора. Все равно теперь некому будет ни ставить столбы, ни тянуть проволоку.

На Селивановом свертке, одолев предел цепенящего тяготения, Касьян обессиленно и в то же время облегченно перевел дух. Под потным обручем картуза запаленно бухали виски, тело колотило мелким ознобом. В последний раз оглянулся назад, не нашел своего двора за сокрывшими его соседними садами, да особенно и не вглядывался туда, даже как-то рад был, что уже не видно, что наконец обрезалась пуповина и он теперь сам по себе с одной только своей ношей.

Деревня в этот уже неранний час была затаенно нема и безлюдна: все, кому предназначалось идти, еще досиживали свое по домам, обряжались в походное, завтракали, давали последние заветы, еще только подходили к прощальной маете, бабьему крику, и Касьян, окинув в последний раз пустую, будто выморочную улицу, свернул в заулок.

На все том же конторском выгоне, в полуверсте от деревни, вставала ровной соломенной крышей новая конюшня, затеянная там по генеральному Прошкиному плану. Рядом с ней желтела выведенными стропилами другая такая же хоромина — под молодняк. Оттуда натягивало радостным духом лошадиных стойл, к которому подмешивался запах уже обсохшего и засочившегося степной горечью низкорослого полынка, и Касьян, вольно расслабясь, распустив давивший его ворот, пошел уже ровнее, успокаиваясь и обретая себя.

На выбитом выгоне возле конюшни сгрудились бригадные телеги, нынче их еще никто не разбирал и, видно, теперь уж не тронут за весь день. Возле телег Касьян увидел дедушку Селивана, долговязого и молчаливого деда Симаку и босого, в коротковатых штанах Пашку-Гыгу. Дед Симака, подважив плечом бок бестарки, сдвинул с оси заднее колесо, давая Селивану промазать квачом ступицу. Пашка-Гыга, присев на корточки, с детским любопытством заглядывал в черную дегтярную дыру колеса. За его спиной поверх выпущенной рубахи висело на бечевке вытесанное из доски аляповатое подобие ружья.

Пашка-Гыга первым уловил шаги и, недобро остановив на Касьяне вытаращенные глаза, должно быть, не узнавая, цапнул было с плеча ружье, но, распознав-таки прежнего конюха, подскочил, миролюбиво и заискивающе протянул пухлую бескостную ладонь.

— А мы тут мажем... Чтоб немец не услыхал, — доложил он и, широко распустив сырой губастый рот, неприятно, всеми внутренностями гыгыкнул.

— О, глянь-кось! Вот он, воитель! В полном соборе! — обрадовался дедушко Селиван, любовно осматривая Касьяна. — На вот дегтярочку, подмажь, подбодри ходки.

— Уже смазаны, — сдержанно ответил Касьян, мельком взглянув на свои успевшие запылиться, потерявшие вид сапоги.

— Тади ладно, ежли так. Догорела свеча до огарочка, пора и выступать. Дожжа вроде не будет.

Дедушко Селиван и сам вырядился в невесть откуда взявшиеся у него чеботы — пустоносые, с заплатами на обоих скульях, но вволю смазанные и расчищенные суконкой. И рубаха на нем была не та — мелким пшенцом по блекло-синему застиранному ситцу, неглаженая, но чистая.

— А Ванюшка-то Дронов еще вчерась надвечер улепетнул, — сообщил он со свежей утренней бодростью. — Один да пеший. Да-а... Побег, побег, соколик... Заглянул я к ему перед тем — молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся, исхудал бедой. Вот как запекло-то мужика! Погоди, говорю, завтра подводой доставим. Ни в какую! Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж, поди, и тамотка, тридцать верст отсчитал по прохладцу. А то небось уж и в ашалоне едет.

— Моя бабка говорит, это его смертушка к себе кличет, — сказал Пашка-Гыга. — Иди сюды, иди сюды — пальцем, гы-гы-гы.

— А ну! — повел бровью дед Симака, и Пашка опасливо отскочил, продолжая мокророто лыбиться. — Выправь-ка лучше телегу на выезд.

Пашка готовно облапил дышло и поволок бестарку на свободное место.

— Двух извозов хватит ли? — спросил дедушко Селиван. — С полста мужиков ежли?

— Хватит, — дед Симака кивнул-клюнул крупным вороньим носом, зачинавшимся безо всякого перехода прямо в самой пуще жестких бровей. — Хватит и двух — не на Азов поход.

— Тебе, Касьянушко, каких прикажешь запречь? — весело поинтересовался дедушко Селиван. — Выбирай любых, напоследок проедешь.

— Все едино. Не с бубенцами скакать. Коней-то покормили?

— А то как же, — степенно кивнул дед Симака, принявший конюшенные бразды.

— Засыпали, засыпали овсеца, — уточнил дедушко Селиван. — Жую-ют! Я ить сюда чуть свет прискакал. А топчан сладим, дак и ночевать тутотка стану.

— Овес бы поберегли. Не зима — всем овес травить, — заметил Касьян. — Теперь сыпь, да оглядывайся.

— Всего по картузу и плеснули. Нехай разговеются. В такой-то день! С маю небось на одной траве. Как посевную пошабашили, с той поры, поди, и не перепадало. А два дни дак и вовсе в ночном не бывали, незнамо чем и сыты.

— Это наладится, — покашлял дед Симака. — Нынче с Павлом и сгоняем. Некому ж было. Пришел, а кони брошены, доски грызут. Лобов на дежурство не вышел, его день был. И хвуражиров призывают. Сказать, дак люди не виноваты. Им тож собраться надо. Благо хоть вон Павел попить привез.

Его жидкие восковые щеки, беспорядочно иссеченные годами, непроизвольно вздрагивали от какого-то тика, будто держал он во рту зубное полоскание и гонял туда-сюда днем и ночью, — прихварывал старик, маялся грудью.

— Позавчоры стучит в окно Дронов, — сказал он, откашлявшись. — Иди, говорит, побудь на конюшне. Пока, мол, кого подыщем. Ну дак чего ж пока? Пороблю, раз надо. Ишшо ноги носють. А ногам все одно где топать — дома ли, тут ли. Мне б, конешно, стариков в подмогу. Ну да я сам и поговорю с которыми.

— Дак и я пособлю чего-нито, — отозвался дедушко Селиван. — Вот солдатиков провожу, свезу торбы да и переберусь к тебе насовсем. Э-э, Серафим, не журись. Кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрим. — И распорядительно крикнул: — Павел! Слазь-ка, голубь, на сеновал, погляди, нет ли сенца на повозки постлать.

Пашка, сняв ружье и приставив его к конюшенной стене, ловко взбежал по стремянке.

— С сеном нонче разор, — проговорил дед Симака, уставясь в землю. — Ладно ишшо дожжей нет...

Пока старики возились со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошел не сразу, а сперва постоял у порога, всматриваясь вовнутрь с чувством недавнего хозяина, невольно примечая, какая поруха успела завестись в его отсутствие. Со света в конюшне было сумеречно и терпко. Солнечные лучи, бившие слева в узкие оконца, сизо дымились испариной над кучками вычищенного навоза, сваленного в главном проходе. Во время чистки Касьян всегда распахивал и те и другие ворота настежь, давал погулять свежему ветерку, но нынче дальние двери были заперты, видно, дед Симака остерегался сквозняков. Войдя, Касьян заглянул в шорницкую, отгороженную при входе. Там тоже наметились перемены. Деревянный ларь с инструментами, седельным войлоком и всякой починочной обрезью, на котором зимой конюха коротали дежурства, был отодвинут, а на его месте стоял еще не доделанный топчан, тогда как вокруг на полу валялись обрезки брусков и теса и было насорено щепой и опилками. На столе вперемешку с рубанком и долотами стояли чужой незнакомый чайник и глиняная черепушка, прикрытая лопухом. Надо всем этим под узким, таким же, как и у лошадей, оконцем торопко мельтешили жестяные ходики, должно, принесенные дедом Симакой из дому. Дед Симака утверждался в шорном кутке прочно и основательно, будто въезжал в новое жилье, но пока здесь было мусорно и неуютно, и все это кольнуло Касьяна, подчеркнув его окончательную отторженность и непричастность к конюшенному бытию. И было странно и неприятно слушать, как где-то на чердаке топал, стучал пятками разговаривавший сам с собой Пашка-Гыга.

За высокими перегородками, так, что были видны одни только стегна и холки, наголодавшиеся кони шумно мололи сразу множеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьян тихо, будто чужой, прошелся вдоль стойл, заглядывая через прясла. Занятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечали его. Касьян переходил от одной к другой все с тем чувством своей отторженности, и когда впереди мелькнула молочная спина его собственной кобылы, он родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошел к ней поглядеть напоследок и попрощаться.

— Данька! Данька! — позвал он еще издали.

Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прибавив подкопленных деньжат, заимел он некрупную, но броскую молодую кобылку. Была она редкой буланой масти, с белыми аккуратными копытцами, что и перевесило все его раздумья и колебания, и за этот ее теплый молочный окрас, за всю ее девичью игрушечность назвал он кобылу Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощей и необихоженной, но худоба была нестарушечья, поправимая в хороших руках, и он весь ушел в заботы о новой скотине. Увел ее в безлюдный угол займища, сплел себе там шалаш и жил чуть ли не пол-лета, выгуливал свою Даньку на вольной траве, не докучая работой. Только знай гуляй себе, ешь чего хочется. И Данька на глазах стала выладниваться, хорошеть, заволнилась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал ее в Остомле, отчистил белым речным песком и еще раз выкупал и, неузнаваемую, сам в душе с праздником привел во двор. Собрал стол, позвал мужиков, те нахваливали: «Хороша, хороша, но да вить корова — молоком, а конь — работой. Опробовать бы надо...» — «Спробуем, как не спробовать, — радовался Касьян. — Для того и куплена». На другой день съездил к Афониному отцу, подковал на все четыре высоконьких, стаканчиками, копытца. После того разобрал старую телегу и на прежних осях и железной оснастке принялся мастерить новый полок. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спицу в колесе, чтобы возок был и крепок, и не громоздок, — ладил в самый раз по кобылке.

Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах, но вот завелся в Усвятах колхозец и стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да и кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полок ос-

тавались при нем, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общий котел. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавши, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо: вступать так вступать, а не вступать — так и нечего голову морочить... Хорошо ему, Прошке, фигу показывать — сам-то он безлошадно, налегке вступил, и Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, заорет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И, подавая наконец заявление, поставил колхозу новое условие: вступить он не возражает с конем и с телегой, даже прибавит к тому соху, хорошую железную борону и пару полотен кос, но чтоб непременно назначили его конюхом. «Да что ты все ультиматумы ставишь? — вскинулся тогда Прошка-председатель. — Пан-барон нашелся, понимаешь!» Но, вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, «каприс» и назначил на должность временно, до общего собрания — как оно скажет. С той поры так и пошло: конюхом да конюхом — вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес и на общественное добро: терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы, и не дай Бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой...

За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям, иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже донцов, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: «Иди, иди, не дурей! За такие деньги два трактора можно купить». Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу Челку и, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье на конный завод. За хороший магарыч, так что и сам вернулся без шапки, поставил ее с записным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха.

Вон она стоит в шестом стойле — подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводским правилам: от клички отца взял первую букву «П», приставил к имени матери, и получилось, как влилось, — Пчелка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка — красота с огнем пополам! Прошка-председатель присматривался, удивлялся: «Что за краля? Откуда такая?» Должно, метил в свои бегунки. То-то что и оно — откуда... Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчелке, чтоб еще больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того гляди, и самую Пчелку вот-вот заберут...

Были у него и еще коньки хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне, что в колоде, есть и козыри, есть и шестерки — всякие, но Данька шла по особой статье: своя лошадь.

Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька — три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной, — от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит — видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от нее редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочнотопленого конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное — получались они и самой мельче. Какие-то нелады у нее с племем, не способная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезь в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме — лишнего не положи, в паре без кнута валек не натянет, а чуть что — и куснуть горазда. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал!

Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету... И все ж любил ее Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только ходил, да чистил, да глядел на буланую шерстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут — молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернется кобыла на конный двор, а на пыльном гузье — свежие полосы, следы осерженного кнута. Может, и за дело бита, да и как не за дело, но Касьян сострoит вид, будто не заметил, замкнет рот, а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И, жалея, потом в ночи украдкой подсыплет хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче...

Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.

— Данька, Данька! — позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади.

Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.

— Это я! Али не видишь? — поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик. — Эк поспешает! — обиделся Касьян. — Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.

Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы — «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «а», а сверху написал «у», и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву.

— Ну дак чего... Пошел я... — растерянно проговорил он,

оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена. — Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется. Овсеца-то. Без меня теперь будешь.

Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепнула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня.

— Ну не буду, не буду... Твое теперь дело: кто дал — у того бери, кто ударил — тому беги, — проговорил он, неудовлетворенно, с обидой отступая от лошади. — Ну, бывай! Пошел я...

Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней застарелой болячкой, и, отступая от стойла, вдруг в конце прохода, среди ровного ряда хомутов, развешанных на столбах, — каждый против своей лошади, — подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого Кречета. Положив тяжелую, сумеречно-серую голову на прясло, он затаенно следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз.

— А-а, это ты! — обрадовался Касьян внимательному взгляду мерина, о котором как-то и не вспомнил и, наверно, не подошел бы, не попадись тот ему на глаза. — Ну как ты тут, а? Живой?

Касьян шел к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия, и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и безголосо заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок.

— Узнал, а? Узна-ал! — растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь.

Он подошел и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно.

— Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овес рушат. За ухи не оторвешь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать... Сколь болячек повымазал...

Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну.

— А я, вишь, ухожу. Война, браток, война! Негожее дело затеялось. Сена не запасли, овес вон подчистили... Вот беда: и дать-то тебе нечего, нету гостинчика. Забыл я про тебя, запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости... Заморочили бабы голову, ревут да голосят. Насилу из дому вырвался... А ты дак не забыл — помнишь! Вот, видишь, как оно...

Наговаривая все это, Касьян в который раз сокрушенно шарился по карманам, ища хоть какую случайную корку, хотя бы зернышко для прощальной утехи коню, ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожний. Но карманы, как назло, были пусты, должно, Натаха, сбирая одежу, все повытрусила оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно.

— Как же я, а? Нету, нету ничего... Забыл начисто.

И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер.

— Постой! Как же нету? Как же это нету? Е-есть! Сичас, сичас, браток...

Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку.

— Ну как же нет? Вот же... — бормотал Касьян и, выхватив ковригу, ломанул от нее закраек. — На-ка, друг, испробуй солдатского!

Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивал ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом робко, стеснительно, как бы не веря — не по чести, — заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истертыми до десен негодными резцами. И так и не откусив, вобрал все в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело туркающую челюсть в одну сторону, в другую...

— Ешь! — подбадривал Касьян и, жалея лошадь, обломил о колено еще кусок. — Худо твое дело. Кабы не война, дак, может, еще б пожил промеж других. А то, вишь, война...

Когда Касьян впервые принял конюшню, Кречет уже и тогда в годах был, но еще выглядел крепким, богатым конем в серых морозных яблоках. Привел его с собой в колхоз ныне покойный Устин Подпряхин, а сколь жил до Устина и где обитал, где его настоящая родина, никто в Усвятах не знал. А нашел его

Подпряхин аж в девятнадцатом году в Ключевском яру в полной сбруе, под боевым седлом. По-за тем яром по Муравскому шляху — Касьян тогда мальчишкой был — ходили конные сотни, секли друг дружку — то белые налетят, то красные, — и неведомо было, чей это конь, кому служил, за что бился. Коню ведь все едино, куда скакать, чьей рукой направят. За эту его темность Прошка недолюбливал Кречета, называл его в шутку контрой. Ну да, может, и был за конем грех какой, дак после того с лихвой изгладил вину: годов двенадцать на Устина робил, пятерых ребятишек таким вот хлебом на ноги поднял, да потом в колхозе, пока не избил копыта, пока не подошел край.

— Да, братка, не станут тебя больше держать. Хватит, скажут. Что поделаешь? Не до тебя теперь. Не помогальщик ты больше. Рази тем токмо пособишь, что шкуру отдашь на солдатские ремни... Так что ешь. Последний твой хлебушко. Не увидимся больше...

Касьян поддавал ладонью, помогал Кречету взять остро растопыренные корки, сминал кулаком потуже мякиш, уже не замечая за словами, сколько раз ломал от ковриги.

Неожиданно кто-то поддал его в спину, и Касьян увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжелая челка рассыпалась по ее шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув с густой сдержанной мощью, ревниво скосила на Кречета темно-сливовый зрак с отраженными в нем квадратиками противоположного окошка. Под ее боком толокся такой же шоколадный и тоже с белым переносьем сосунок, дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, еще не ведая, что это такое, беспонятно волнуясь, перебирая копытцами.

— А-а, Варвара! — обернулся к ней Касьян, всегда уважавший эту сильную, безотказную и добрую лошадь с самым большим хомутом во всех Усвятах. — И тебе хлебца? Дам и тебе. А как же... На, на, матушка. Тебе да не дать...

Он и ей обрадованно отщипнул кусок и еще поменьше протянул жеребенку. Тот, однако, не знал, что делать с хлебом, бестолково тыкался в Касьянову руку, потом потянулся к материным губам, любопытствуя, что она такое жует.

— Экий дурак! — опять растрогался Касьян, ловчась погладить, поласкать несмышленыша, и был он в эти минутки прощального избывания как во хмелю: обостренный ко всему, то

горестный, то невесть отчего счастливый. И, снова обращаясь к Варе, говорил: — Тебя с дитем на войну не возьмут, не должны б взять. Так что тут останешься. Это вон Ласточку с Вегой, Ясеня, к примеру, — тех подберут. Дак и Пчелку, само собой... Ласточка с Вегой в извоз патроны возить або пушку. Куда ни назначь — добрая пара. Дак и Ясень... А Пчелку, ясное дело, под седло, под командира. Увидит — не расстанется командир. Многих пошерстят. Может, какой десяток-полтора и останется. Так что тут тоже не мед. Хомуту не просыхать. Вон сколь хлебушка в поле. Тебе, Варвара, жать да возить. Ты уж, матушка, выручай тут. Сколь малых ребятишек на тебе, на твоей хребтине остается. Эх, кругом разор!

То ли запахом свежего хлеба, то ли голосом своим растревожил, расшевелил Касьян чуть ли не всю конюшню, и то рядом, то за проходом напротив кони загукали полом, застригли навостренными ушами. Принюхиваясь издали, высунулись за входные барьерки стоявшие рядом Вега и Ласточка, с тихой волнистой протяжцей подал молодой голос Касьянов ездовой Ясень... Кто-то там дальше уже зассорился с соседом, взвизгнул зверино, саданул в доски — не иначе Данька, ни с кем не уживается, подлая. Уже два станка сменил ей Касьян, а все то же...

На виду у коней Касьяну было неловко прятать остаток ковриги в мешок, заела б, замучила совесть, и он пошел по рядам, отламывая и раздавая последнее, сам облегчаясь намученной душой.

— Дядька Кося! — встал в солнечном проеме ворот Пашка-Гыга. — Каких выводить? Которых?

Но увидав, как тот ходил по станкам с искромсанным ломтем, поумолк, вырисовываясь деревянным ружьецом за плечами.

16

Лошади были поданы к конторе за полчаса до объявленного срока.

Распрощавшись с дедом Симакой, который, выкликнув вслед: «Ну, с Богом! С Богом!» — остался маячить посеред конюшенного двора с непокрытой головой, Касьян на Ласточке с Вегой, дедушко Селиван на Ясене с Мальчиком на рысях подкатили к правленческому майдану.

Но еще издали, трясясь в задней телеге, Селиван окликнул

непонятно за колесным грохотом, ткнул кнутом в сторону конторы, и Касьян увидел, как в утренней синеве над соломенной кровлей свежо и беспокойно полоскался новый кумачовый флаг, вывешенный, должно быть, только что, в самое утро, заместо старого, истратившегося до блеклой непотребности.

На пустыре уже набрался усвятский люд: подорожно, не по погоде тепло, с запасом одетые мужики с разномастными самодельными сумками, и с каждым пришли его домашние, провожатые. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке. Мелькнул широкой спиной с полотняным мешком Афоня-кузнец, по старой Махотихе, сидевшей с ребятней на порожках, Касьян догадался, что и Леха был где-то тут. Под кустиками в большом кругу Матюха Лобов перебирал, пробовал на частушечных коленцах свою старую, никому теперь не нужную дома ливенку. Но, несмотря на всплески гармошки, празднично-яркий флаг над конторой и безмятежную синь утреннего неба, во всем: и в том, как неулыбчивы, с припухшими глазами были лики провожавших женщин, как, скорбно понурясь, сидели на крыльце и по завалинке старушки и как непривычно смирны были дети, — чувствовалось сокрыто копившееся напряжение, выжидание чего-то главного. И как знак этого главного, у коновязи одиноко и настораживающе стоял нездешний и обликом, и мастью, и крепким воинским седлом пропыленный конь в темных, еще не просохших подпотинах: кого-то он доставил казенным посылом, кто-то поспешно прискакал по ранним безлюдным верстам... Впрочем, сразу же и узналось, что приехал райвоенкоматский лейтенант по мобилизационному делу, чтобы на месте отобрать намеченных людей и доставить их в организованном порядке.

А из усвятских проулков, выбираясь на полевую, околичную дорогу, по которой еще недавно бежал и сам Касьян, все шли, поспешали, мелькая головами по-над хлебами, новые и новые куртины людей. Кто-то недокричал своего, недовыголосил дома, и теперь из-за пшеничного окрайка, где колыхались платки и картузы и мелькали все те же заплечные сумки, долетал обессиленно-вскидливый голос какой-то женки.

Касьян, поискав и не найдя своих, Натахи с матерью, подошел к мужикам, окружившим Лобова, здороваясь и всем пожимая руку с той облегчающей братской потребностью, с какой

деревенский общинный житель всегда стремится к ближнему в минуты разлада и потревоженной жизни. И те, тоже откликаясь приветно, потеснились и дали место в кругу, где Лобов, охватив гармонь, подвыпивши, красноязычил:

— А все ж должны мы ево уделать, курву рогатую. Хоть он и надеколоненный и колбасу с кофеем лопает, а — должны.

— Ужо не ты ль? — подзадорил кто-то.

— А хоть бы и я! Ежли один на один? Подавай сюда любого. Давай его, б...дю! Окопы рыть? Давай окопы! Дело знакомое, земляное. Неси мне лопату и ему лопату. Да не ево, а нашу, на суковатой палке, чтоб плясала на загнутом гвозде. Нехай такой поковыряет. Я вон на торфу по самую мотню в воде девять кубованцев махал. Пусть попробует, падла!

Лобов сдержал обещанное, пришел-таки в лаптях, вздетых на высоко и плотно обернутые онучи, казавшие кривулистые, имками, ноги. Картуз он подсунул под гармонь и теперь больнично голубел наголо остриженной шишковатой головой, отчего вид у него был занозливый, под стать и самому разговору. Однако мужики слушали его с готовным интересом: коротали время.

— Али пешки итить. Нате, мол, вам по полста верст. Ему полста и мне полста: кто поперед добежит. Токмо чтоб без колбасы, такое условие. Мне в котелок кулешику и ему кулешику. А мы тади поглядим. Дак я и без кулеша согласен. Пустобрюхом не раз бегано. Но чтоб и он пустобрюхом! На равных дак на равных.

В трудный тридцать третий год Лобов вербовался куда-то один, без семьи, обещал потом вызвать свою Марью с младенцами, но что-то там не то нашкодил, не то еще чего и отбыл за то три года сверх договора. Домой вернулся вот так же без волос, но зато с гармонью и среди усвятцев слыл хотя и балаболом, но бывалым мужиком. В общем-то по обыденности, несмотря на причуды, был он человеком сходным, но, подвыпивши, любил похвастать, или, как говаривал о нем Прошка-председатель, заголить рубаху и показать пуп.

Касьян не все слышал, что там еще загибал Матюха, отходил, глядел по сторонам, искал своих, не подошли бы, и, когда вернулся снова, тот продолжал потешать новобранцев.

— Я солдат недорогой, — говорил он, оглаживая стриженую макушку. — Много за себя не спрошу, кофею не затребую: ши-

нелку, опояску, махорки жменю, а нет, дак и моху покурю. Спробовал уже: курить можно. Хоть вонливо, зато комар не ест... Три дня кухню не подвезут — ладно, сухарика из рукава поточу або гороху за окопом пощиплю. И в болоте без раскладухи заночую, леший не нанюхает. Вша, сказать, — тыю тож за жисть повидали. Так что немцу неча со мной тягаться. Нечем ему меня напужать — пужанный всяко. Не на того наскочил, халява.

Лобов сплюнул, задел плевком гармонь и поспешно вытер ладонью.

— Один на один да без ничего — это и я согласный, — отозвался Никола Зяблов, подбрасывая спиной неловко сидевший мешок. — А то ведь, сказывают, на машинах он да с автоматами. Тут одним живучим брюхом не посрамишь. А ну как да и Россию-то б на машины...

Тем временем дедушко Селиван, встав в телеге, шумел свое:

— Робятки! Слышите ль? Давайте пехтеря-то свои. Чего ж их за собой таскать? Афанасей! Лексеюшка! Давайте складывайте.

Мужики зашевелились, начали обступать повозки, и дедушко Селиван, принимая и укладывая сидора́, весело приговаривал:

— Не всегда ходоку сума барыня, надоть и плечи поберечи. Уложимся загодя — и вся недолга. Вали, робятки, облегчайся! Все как есть к месту доставим.

Лобов, послушав, чего кричит Селиван, заперебирал пуговицы на ладах, гармошка, будто вспорхнувшая бабочка, замелькала рисунчатым коленкором своих мехов, и ее хозяин выдал скороговорицу:

Ты, телега, ты, телега,
Ты куда торопишьси-и-и?
На тебя, телега, сядешь —
Скоро ли воротишьси-и-и...

На гармонь, на лобовскую запевку откуда-то из-за толпившегося народа внезапно отозвался жестяной надсадный выкрик, вырвавшийся из охрипшего и ободранного горла:

Ох, д'кричу песни-и-и...

И через промежуток:

Кричу вволю-ю...

И еще через паузу:

Ох, д'напоюсь на всю недолю-ю-ю...

Все обернулись на эту охрипшую частушку: по выгону к правлению двигалась толпа, человек двенадцать Кузькиных родичей и гостей, в основном баб, наехавших из окрестных околотков, и в середине сам Кузьма, поддерживаемый под левый закрылок Давыдкой, а под правый — своей бабой Степанидой. На Степаниде так же, как и на Давыдке, белели лямки холстинного мешка, туго, до желваков набитого снедью. Кузьма, ведомый под руки, сморенно волокся, загребая пыль форсисто осаженными сапогами, обвисая головой со сбитой набок кепкой. Выглядывая одним глазом в расселину свалившегося чуба, словно в заборный пролом, он искал игравшего, пытался пристроиться к ладу:

Голосок мой д'хриповата-а-ай...
Ох, тут никто... не виновата-а-ай...

Кузька потряс головой, сбросил в пыль кепку, и Степанида, подхватив ее, обтрусив о колено, надела на себя поверх косынки. Было похоже, будто не она провожала Кузьму, а Кузьма заместо себя отправлял на немца свою жену, облаченную по-походному — в мешок и кепку.

Подступившие бабы, встав коридором, молча глядели, не ввязывались, но старая Махотиха не вытерпела, вскинулась руками:

— Да куда ж ты его такого-то? Степанидка!

— А чего с ним теперь! — отозвалась бледная, намучившаяся тащить Степанидка, озираясь по обе стороны. — Знал, паразит, чего делал? Нехай теперь срамотится. Я уж и язык об него излаяла.

— Может, его водицей полить, охолонуть? К колодезю б сперва...

— К-каво? — вскинулся Кузька. — Мне к колодезю? Ха!.. Н-на дворе большой колодезь... упаду — не вылезу... Ежли выпить не дадите... я помру — не вынесу...

— Иди, горла! — дернула его Степанида под руку. — Токмо

бы хлебал... Разинь пузыри: все люди как люди, а ты аггел беспамятный.

Позади Кузькиной свиты, чуть поотстав, давая ветру отнести на сторону поднятую ногами пыль, шла, шамкая юбкой, тыча дорогу клюкой, долгая сухая старуха в черной суконной шали — Кузькина мать. Она шла, ни на кого не глядя, не слушая, а может, никого и ничего не слыша...

Кто-то, однако, сбегал до правленческого колодца, отцепил ведро, и Кузьку окатили-таки, намыли голову, а потом положили за конторой в тенек, не давая ему шутоломить, появляться перед окнами.

Между тем народ подобрался, подошли последние, кому должно тут быть, и Касьян отвертел шею, высматривая, пока наконец на конторском въезде не объявилась Натаха с обоими ребятишками. Касьян еще издали узнал ее не столько по голубой просторной кофте в розовую повитель, сколько по тому, как двигала-совала она ногами, широко ставя их от себя и переваливаясь с боку на бок, как зобастая утица. Митюнька, взлетывая на встречном ветру белыми волосенками, скакал бочком, будто пристяжной, об руку с матерью, Серенька шмыгал новыми штанами сам по себе.

Давно ли из дому, но вздрогнуло все в Касьяне при виде своих на этом куске дороги, как если бы глядел он из дверей эшелона, что уже стоял под парами, вот-вот должен был лязгнуть крюками и отойти. Он торопил Натаху глазами и даже помахал кепкой, но, не выдержав, сам поспешил навстречу.

— Папка-а! — звеня голосом, ликуя, не веря, закричал Сергунок, выплескивая все разом в своем восклицании, в одном только слове, которое в эту минуту сделалось главным, единственным, заменившим все остальные ненужные слова, ровно бы забытые начисто, и, как тогда, на сенокосе, первым сорвался бежать и, добежав, повис на руке, засматривая в лицо Касьяна, повторяя уже умиротворенней, со счастливым, облегчающим всхлипом:

— Папка...

— А я жду, а вас нету и нету, — сквозь терпкую горечь проговорил Касьян. — Нету и нету...

Тут же налетел Митюнька, молча, должно быть в подражание старшему, обхватил и повис на другой отцовской руке, и Касьян, связанный, распятый ребятишками, так и стоял посе-

редь дороги, пока не подошла Натаха.

— А где же мать? Мать-то чего?

— Ох, да ну ее! — перевела она дух. — Сичас да сичас... Чегой-то ищет... Говорит, идите пока... Ну чего тут у вас? Скоро ли?

— Да вот ждем... Уже небось десять, а пока ничего.

На выгоне Касьян определил их в сторонке на непримятой траве, но не успел, присев рядом, искурить папироску, как на крыльце появился Прошка-председатель вместе с прибывшим лейтенантом. Тут и там толпившиеся люди ожили, повалили к конторе, и Касьян, предупредив: «Пока тут будьте», направился к крыльцу и сам, тянясь шеей, заглядывая поверх голов.

Прошка-председатель был в своей низко насунутой кепочке, все в том же куропатчатом обвислом пиджаке, но в свежей белой рубахе, наивно, по-детски застегнутой под самый выбритый подбородок.

Рядом с ним у перил остановился непривычный для здешнего глазу, никогда дотоль не бывавший в Усвятах военный, опоясанный по темно-зеленой груди новыми ремнями, в круглой, сиявшей козырьком фуражке и крепких высоких сапогах, казавшийся каким-то странным, пугающим пришельцем из неведомых обиталищ, подобно большой и непонятной птице, вдруг увиденной вот так вблизи на деревенском прясле. Смугло выдубленное лицо его было сурово и замкнуто, будто он ничего не понимал по-здешнему, и Прошка был при нем за переводчика.

Прошка-председатель пошатал руками перило, взад-вперед покачался сам, выжидая, пока подойдут остальные, и, когда воцарилась тишина, сказал:

— Значит, так, товарищи... Ну, зачем вы тут — все знаете. Так что говорить лишнее не стану. На прошлой неделе мы проводили в армию первых семнадцать человек. Я и сам тади думал, что этого, может, и хватит и мы с вами будем по-прежнему работать и жить за минусом тех семнадцати. Но дело заварилось нешутейное, тут таить нечего, понимаешь... Приходится, стало быть, нам еще пособлять...

Прошка-председатель достал из-за края пиджака какие-то листки, заглянул в них.

— Повестки уже розданы, но мы тут с представителем военкомата еще раз поуточняли, чтобы, значит, никакой путаницы...

Говорил он каким-то серым голосом, пересовывая листки бумаги, будто они жгли ему пальцы, — нижние наперед, верх-

ние под низ, потом опять все сначала.

— Пойдете отсюда организованно, чтоб не тащиться одним по одному, не затягивать время. Так что слушайте теперь вот его, вашего командира, и все его исполняйте. У меня пока все.

Он сунул листки в руки лейтенанта, нетерпеливо прошелся у него за спиной, остановился, передвинул кепку, еще раз прошелся и, подойдя к перилам, опять пошатал их обеими руками.

Листки, должно, были сложены неправильно, потому что молчаливый лейтенант взялся неспешно, с давящей обстоятельностью наводить в них какой-то свой порядок: опять положил верхнюю бумажку под низ, нижнюю — сверху, а ту, что была до того наверху, заложил в середину. После чего без всяких предварительных слов и пояснений сразу же выкрикнул:

— Азарин!

С ответом почему-то не поспешили, возможно, потому, что уж слишком вдруг было выкликнуто, — по пальцу ударь — и то не сразу больно, а сперва лишь удивительно, — и лейтенант, оторвавшись от бумаги, переспросил:

— Есть такой? Эм... Вэ?

— Е-есть! — послышался встревоженно-оробелый отклик.

— Азарин! — повторил опять лейтенант и прицелисто поводил по площади строгими глазами.

— Я! Я! — поспешил объявиться вызванный. — Тут я.

— Азарин, три ш-шига вперед!

Из толпы, весь в смущении, с растерянно-виноватой улыбкой на опаленно-красном дробном лице, бормоча сам себе «иду, иду», протолкался невеликий мужичонка, по-уличному Митичка, числившийся скотником на усвятской молочной ферме.

— Тэ-эк... — протянул лейтенант, помечая что-то в листке карандашом.

Митичка, стоя перед крыльцом, стесняясь своего на виду у всех одиночества, продолжал улыбчиво озираться, перебирать парусиновыми туфлишками — вертелся, будто червяк, выковырнутый из земли.

— Азарин, смир-р-но! — вдруг резко скомандовал лейтенант, которому, видимо, была неприятна и оскорбительна этакая разболтанность, и вздрогнувший Митичка враз замер навостренным коростелем — крылья по швам, клюв кверху.

Лейтенант внимательно-изучающе посмотрел на Митичку,

как бы оценивая материал, с которым придется работать, и, опять сказав «тэк», уткнулся в бумагу.

— Витой!

— Я Витой! — готово отозвался Давыдко.

— Три ш-шига вперед! В одну ширенгу стынови-и-ись!

Давыдко провористо выбежал, пристроился к Азарину и поровнял по его парусиновым туфлям с коричневыми, как у жуков, нососпинками свои юфтовые ботинки.

— Горбов!

— Есть Горбов, — раздался сдержанный бас с покашливанием. Крупным тяжелым шагом выступил Афоня-кузнец в своей особой, афонинской одеже: старом, жужелично лоснящемся пиджаке, негнуче вздутых штанах, тускло поблескивающих на коленках, заправленных в разлатые сапожищи. Свою белую сумку из подушечной наволочки он никуда не сдавал, словно бы позабыл о ее существовании за широченной сутулой спиной, и та уже успела вымараться пиджачной смагой.

Лейтенант дольше, чем предыдущих, осматривал Афоню, даже обернулся с каким-то вопросом к ходившему позади него Прошке-председателю и, ставя против Афониной фамилии энергичный отчерк, дважды повторил свое «тэк».

Вскоре подобрали Николу Зяблова, который тетешкал, успокаивал раскапризничавшегося неходячего младенца, мешавшего ему слушать фамилии. Намаявшись и от мальчонки, и от ожидания своего вызова, Никола, когда его наконец окликнули, даже позабыл отдать жене пацана, а так и шагнул было в строй вместе с дитем, отчего народ маленько развеселился, посмеялся этому курьезу. Потом через несколько человек вызвали Матюху Лобова, ожидавшего череда с перекинутой через плечо гармошкой. И сразу за его спиной завыла Матюхина Манька — с таким же, как и у Матюхи, носом розовой редисочкой, с упавшим на плечи платком, — замахала обеими руками, будто отбивалась от налетевших оводов.

— Да Матвеюшка мой единa-а-ай...

— А ну цыть! — огрызнулся Матюха, безброво насупясь, отдергивая рукав, не даваясь жене ухватиться. — На-ка, подержи гармонь.

— Да че мне гармонь! Че гармонь... — голосила Манька, невидяще цапая протянутую ливенку, и та, расщеперясь мехами, подвыла ей какой-то распоследней пронзительной пуговицей.

Лобов беззвучно, как кот, вышагнул вперед в своих обмятых

покосных лапотках и, перемогая бабий позорливый плач, досадно погуркав пересохшим горлом, проговорил, преданно глядя на лейтенанта:

— Развылась тут... Небось не в гроб заколачивают, реветь мне.

Однако лейтенант не обратил внимания на Матюхины слова, а лишь со вниманием поглядел на его лапти, продолжил чтение списка.

Шеренга все увеличивалась, от тесноты и скученности обступавших людей строй начал кривиться левым наращиваемым концом, и Прошка-председатель уже раза два обращался к собравшимся:

— Товарищи, попрошу дать место. Отойдите лишние. Сколько говорить, понимаешь!

Лехой Махотиным закрыли первый ряд человек в двадцать. Солнце начало припекать, становилось жарковато, и Леха, оставив жене пиджак и кепку, занял свое место во вчерашней небесно-синей блескучей косоворотке, перехваченной наборным кавказским ремешком. Выполосканный в Остомле чуб играл на ветру и солнце крупными смоляными завитками, да и сам Леха был какой-то весь выполосканный, прибранный и ясный, каким бывал он, пожалуй, раз в году, после своей пыльной комбайновой работы. Лейтенант откровенно засмотрелся на него и тоже с нажимом отчеркнул в бумагах, после чего выкликнул Недригайлова.

На эту фамилию никто не откликнулся, и лейтенант, тоже порядком упревший в своих ремнях, нетерпеливо повторил, добавив для ясности инициалы — «Кэ... Вэ».

— Есть такой?

— Пишите — есть! — подала голос за мужа Степанида, так и не снявшая Кузькиной кепки.

— Тут, тут он! — подтвердили и мужики.

— Недригайлов, три ш-шига вперред! — наддал осерженным голосом лейтенант.

Кузьма по-прежнему не выходил, и пришлось вмешаться Прошке-председателю:

— Кузьма! Кова ляда? Шуточки тебе, что ли? Степанида, чей картуз на тебе? Где мужик, понимаешь?

Бледная Степанида виновато молчала, убрав вовнутрь рта покусанные губы.

— Да тут он, Прохор Ваныч, — пытались разъяснить из тол-

пы. — Токмо он тово... маленько не рассчитал... А так — тута, за конторой находится.

— Эть, понимаешь... — сдавил челюсти Прошка-председатель. — Позорить мне ополчение! Макнуть его, подлеца!

— Да уже макали. Щас ничего уже. В телегу, дак за дорогу оклемается. За это похлопочем. К месту как есть выправим.

— Меру надо знать... — буркнул Прошка и отвалил от перил.

К Касьяну тихо подошла Натаха, тронула за рукав, но он, прикованный вызовами, не сразу осознал ее присутствие.

— Сейчас тебя, Кося, — сказала она, стиснув его руку. — Ох...

— Ага, скоро должны, — не отрывая взгляда от крыльца, вытягивая шею, отозвался Касьян.

Ожидая этого момента, он присмаливал одну цигарку за другой и, когда его назвали, не сразу признал свою фамилию. Касьяну показалось, будто вызвали не его, но кровь уже сама откликнулась, ударила напором в шею, и он, услышав, как выкликнули его вторично, подтолкнутый Натахой: «Тебя, тебя кличут», — так и вышел оглохший, с липким звоном в ушах, будто саданулся о невидимую притолоку. Стоявший в первом ряду Матюха, обернувшись, что-то сказал ему, приветно заулыбался, но Касьян ничего не понял и, как бы не узнав Матюху, уставился на лейтенанта, делавшего очередную пометку.

Кого еще выкликали, он долго не слышал, пока не рассосало этот застойный гул в ушах, пока не отпустило плечи, онемело скованные какой-то неподвластной силой.

— Разиньков! — продолжал выкликать лейтенант.

— Я!

— Рукавицын...

Отсюда, из строя, разила глаза всякая мелочь и ерунда, на которую прежде и не глядел бы, не видел этого: ненужно раздумывал, откуда взялся под конторским окном куст крыжовника. Сто раз бывал здесь и ни разу не видел. То ли Дуська-счетовод когда посадила, то ли так, сам по себе, самосевка. Та же Дуська, небось, сплевывала в окно кожурки, они и занялись расти... Потом углядел под крыжовником пестрявую курицу с упавшим на глаз красно-тряпичным гребнем. Странно, что она не боялась всей этой толкотни, будто здесь никого и не было, она одна-разъединая со своим делом. Курица, лежа на боку, словно кайлом, долбила край ямки, обрушивала комья под себя, после чего, мелко суча свободным крылом, нагребала на спину накле-

ванную землю, топорщилась всеми перьями, блаженно задергивая веком единственный глаз. За такое дело курицу следовало бы потурить, потому как оголяет, подлая, корни. Но куст был уже без ягод, должно, еще зеленцой обнесли пацаны, и теперь стоял никому не нужный, разве что этой заблудшей птице.

— Сучилин Вэ Пэ!

— Так точно, я!

— Сучилин А Мэ!

— Иду!

Солнце жгло спину сквозь пиджак, калило суконный картуз, и было странно Касьяну стоять вот так стреноженно, самому не своим в виду своей же деревни, в трех шагах от жены и детишек. Он заискивающе обернулся, и Натаха, прижимая к себе, к животу своему обоих ребят, растерянно, принужденно улыбнулась, дескать, здесь мы, здесь...

— Сучилин Лэ Фэ!

— Я-а!

— Сучков!

— Есть Сучков!

Оставшиеся на воле немногие мужики, стомясь ожиданием, выходили на оклик с поспешной согласностью, будто опасаясь, что им, последним, уже не найдется места. Но место находилось всем, и уже начали лепить четвертую шеренгу. Набиралось не, как думалось раньше, пятьдесят ходоков, а, поди, все восемьдесят! И сразу стало видно, с чем остаются Усвяты — с белыми платками, седыми бородами да с белоголовыми малолетками.

Лейтенант сложил бумажки пополам, затолкал их в планшетку и, оглядев строй, спросил:

— Вопросы есть?

Вопросов не было.

— Больные? С потертостями?

Не нашлось и таких.

Лейтенант вынул из брючного кармана часы и посмотрел с ладони на их время.

— Так, товарищи... — сказал Прошка-председатель, оглядывая пустырь перед конторой — молчавших мужиков в строю, присмиревших женщин вокруг ополчения. — Если кто хочет чего сказать — выходи сюда, на крыльцо, и скажи.

Люди молчали.

— Дак будет чье слово?

— Ясно! — выкрикнул за всех из строя Матюха Лобов, белевший новыми веревочноперекрещенными онучами.

— Ну тогда дайте мне...

— Давай, Прохор Ваныч! — опять выкрикнул Лобов.

— Ну дак вот...

Председатель кинул взгляд в ветреное поле, потом, пройдясь туда-сюда по крыльцу, поперебирал чего-то в карманах и снова вернулся к перилам.

— Я вон хоть и велел повесить новый флаг, но нынче у нас не праздник. Не до веселья нам. Война — тут объяснять нечего. А повесил я флаг за той надобностью, чтобы каженный видел, чего вы идете оборонять.

Все, стоявшие перед конторой, невольно подняли глаза на крышу. Там, над коньком, билось и хлопало, гнуло и шатало на ветру долгий оструганный шест свежее кумачовое полотнище. И многие за сутолокой утра видели его впервые, в первый раз подняли взгляд выше конторских окон.

— Но, — продолжал Прошка, — оборонять вы идете не просто вот этот флаг, который на нашей конторе. Не только этот, не только тот, что в Верхних Ставцах либо еще где. А главное — тот, который над всеми нами. Где бы мы ни были. Он у нас один на всех, и мы не дадим его уронить и залапать.

Прошка постоял, скосив голову набок, будто прислушиваясь к трепетному биению флага над головой, и добавил, уточняя сказанное:

— Дак тот, который один на всех, он, понимаешь, не флаг, а знамя. Потому что вовсе не из материялу, не из сатину или там еще из чего. А из нашего дела, работы, пота и крови, из нашего понимания, кто мы есть...

Прошка окинул взглядом присутствующих, проверяя по лицам, понятно ли он сказал, и продолжил:

— Конечно, кличут вас, ребята, не на сладок пир. Об этом и говорить нечего. Идешь драть чужую бороду — не во всяк час убережешь и свою. Тут уж не плошай. Ну да, как сказывали наши деды, в бранном поле не одна токмо вражья воля, а и наша тож. А с нами еще и справедливое дело. Потому как не мы, понимаешь, на него, а он посягнул на нашу землю. А своя земля, ребята, и в горсти дорога, и в щепоти родина.

В эту тихую на площади минуту кто-то опять тронул сзади Касьяна. Он обернулся и, враз ватно обмякнув, увидел мать. Серая в своей сарпинковой одежке, в сероклетчатом бумажном

платке, она пробралась через ряды и мышью потеребила Касьяна.

— Дак нашла, нашла я! — радостно шептала она, торопливо вкладывая в его ладонь тряпичный комок. — Тут пуповинка твоя. Пуповинка. От рождения твово. На случай берегла. Дак вот и случай. Бери, бери, милай. Так надо, так надо...

Касьян пытался заслонить мать спиной, уберечь ее от лейтенанта, но тот, заметив какой-то непорядок в строю, уже строго нацелился в его сторону, и Касьян отстранил от себя мать:

— Ступай, мама. Нельзя...

— Иду, иду... — поспешно, согласно закивала она и, воздев руки, — маленькая, едва по Касьяново плечо, — немощно потянулась к нему с лихорадочно-поспешным поцелуем.

— Ну, час добрый! Час добрый, сынок. Смотри там... Храни тебя господь.

17

По тому, как уходило усвятское ополчение, пыля знойным проселком меж еще не завосковевших хлебов, старики угадывали, как лют был нынешний враг, как подло он преднамерил свое необъявленное нападение, рассчитывая вместе со всем прочим не дать управиться со жнитвой, лишить супротивное войско его главной опоры — хлеба. Прежде, сказывали старики, будто бы перед тем, как сойтись, дожидались страды, очищали поле и бились на убранной, не столь ранимой земле.

Дорога в ту военную сторону уходила как раз хлебным наделом, обступившим деревню с заката от самой околицы. Нынче, как ни в какой день, расшумевшееся на ветру, ходившее косыми перевалами, то заплескивая дорогу, то отшатываясь от нее обрывистым краем, поле словно бы перечило этому уходу, металось и гневалось, бессильное остановить, удержать от безвременья.

Версту, а то и две провожали отряд бабы и ребятишки, толпой волоклись позади, глотали дорожную пыль, иногда забегая вперед по тесной, заросшей полыном и осотом обочине, запинаясь о пашенные окраинные комья, прикрытые пустотравьем, чтобы сказать что-нибудь еще или хотя бы взглянуть на своего суженого, отца или брата. Было душно и жарко идти рядом с колонной, занявшей собой весь узкий проселочный коридор, тяжело топавшей и густо, непродыхаемо пылившей даже на этом вольном степном ветру. И только лейтенант, качавшийся в сед-

ле над мужицкими головами, обдуваемый этим ветром, еще не успел пропылиться и тем смешаться со всеми.

За ветряком, стоявшим на древнем могильном кургане, бабы, надорванные внутренней безголосой скорбью, начали отставать одна по одной, останавливались, махали сорванными с головы платками, что-то еще докрикивая издали, или же молчаливыми изваяниями замирали среди поля. Лишь Лобова Манька долго еще не поворачивала вспять. С гармошкой через плечо, которую она, облегчая Матюху, не хотела отдавать, сопровождаемая тремя босоногими девочками с испуганно-строгими личиками, безмолвно бежавшими за матерью растянувшимся выводком, она время от времени появлялась то справа, то слева от третьего ряда, где шагал, снявши картуз, Матюха, размашисто вышлепывая своими лаптешками.

— Давай гармонь! — завидев жену, всякий раз кричал ей Матюха, пытаясь спровадить ее домой, и, когда та опять не отдавала, поддерживая тем самым свою причастность к строю, он строго отворачивался, не хотел больше ни о чем говорить.

— Ты иди, иди знай, — шурша по краю колосьями, выкрикивала она. — Али мы тебе мешаем?

И снова молча шли, дружно, охотно по первым верстам, храня торжественность начатого дела, гукали и шлепали сапогами, лаптями, ботинками, веревочными чунями.

— Ну ладно, прощай, Мотя! — наконец выдохнула Манька. — Глаза видят, а уже все одно не наш. Прощай!

Она на ходу сняла гармошку, передала крайнему новобранцу и, остановясь, дернув под горлом косынку, распахнув душу, крикнула своим девочкам:

— Побегите, девки, побегите! Поглядите на отца еще! А я уже не могу...

И, пьяно сойдя с дороги, волоча по земле платок, ничком, как в бурную, невзгодную воду, пала в ходуном ходившее жито.

Касьян, окликая с дороги отстававших баб, оглохших и беспонятных: «Сторони-ись! Эй, берегись там!» — ехал в первом возу, держась поодаль от колонны, чтобы не хлебать понапрасну пыли. Со своими он распрощался еще у конторы, обе, и мать, и Натаха, — без ног, на последнем пределе, куда ж им было еще бежать, какие там провожанья. Взяв с собой ребятишек, все время моляще глядевших на него, ловивших каждое его движение, пока в последний раз обходил лошадей, поправлял

упряжь, и уже с возка, выбрав и натянув вожжи, придерживая коней, застоявшихся у коновязи, нетерпеливо попросил: «Все, все, Наталья! Мам, все!» Женщины покорно отступились, отпустили грядку, и он с места взял рысью. Но еще до ветряка, отъехав с четверть версты, круто остановил и, поцеловав оробело-притихших сыновей: «Ну, сынки...» — ссадил их с повозки, и те, держа друг дружку за руки, остались стоять на дороге, глядя вослед пыльному облаку, поднятому отцом, догонявшим отряд.

Обогнав Селиванову повозку, Касьян отпустил вожжи, лошади перешли на шаг, отфыркиваясь, радуясь недавнему бегу, и он полез за кисетом, чтобы в первый раз за все утро покурить без спешки.

Когда дорога очистилась от провожатых, дедушко Селиван, оставив своих лошадей идти самих по себе, подсел к Касьяну. Был он торжественно-возбужден этим нарядом и все время озирался, радовался езде, дороге, глядел, как плескались у колес матереющие хлеба.

— Ну, пошли наши! — воскликнул он, засматривая из-под руки на колонну. — Пошли, соколики!

— Как там Кузьма? — поинтересовался Касьян.

— А ничего. Храпит во все заверти.

Часть мешков с Селивановой повозки Касьяну пришлось переложить на свою, а на высвободившееся место, на дно, уложили Кузьму. Уже перед самым отходом Кузьма, встрепанный, с отекшим лицом, вылетел вдруг из-за угла конторы, кинулся было в ряды, но его оттащили, и он, отпихиваясь, расталкивая мужиков, ударил кого-то, крича: «Кав-во? Меня не пущать? Да я вас...» Пришлось его связать, уложить в телегу и прикинуть плащом. Кузьма долго вертелся, пытаясь освободиться, выкобенивался и матерился, но потом его утрясло, и он, угомонившись, снова захрапел. Деревня еще долго виделась позади, сначала кровлями, потом одними только купами старых темных ракит над светлой нивой, пока не перевалили за первый пологий увал, убравший за себя Усвяты, и только старый, за ненадобностью давно уже распятый ветряк все еще одиноко маячил среди поля, томя душу последним видением родимых мест.

— Подтяни-и-ись! — покрикивал лейтенант, поворачиваясь в седле и оглядывая колонну.

После часу ходьбы отряд заметно растянулся, пожижел ря-

дами. Только самые первые еще старались идти согласно, тогда как прочие мужики, толкая друг друга плечами от непривычки ходить нога в ногу в такой тесноте, уже давно сбились, потеряли шаг, а в хвосте и вовсе каждый топал сам по себе нестройной ватажкой. Но, несмотря на то, шли споро, со свежей размашистостью, будто стремились поскорее отбежать от Усвят, за пределы своей округи.

Дедушко Селиван, поглядывая в их сторону, укоризненно прокричал Касьяну:

— Гляжу я, никак не могут командой ходить! Нешто это строй — кто в лес, кто по дрова. Еще и не шли, ветряк видать, а уже хвост волокут. Во, слышь, командир опеть «подтянись» кричит. Эдак и горла не хватит, кричать так-то.

— А он пусть не кричит. Сердитый больно, — буркнул Касьян.

— Командир-то? Не-е! Он нужное требует. Вы ведь, поглядеть, чурки сырые, неошкуренные. Командирское дело какое? Его дело задать шаг, швыдко али нешвыдко. А уж строй сам должон ногу держать, как задано. Тади и марш не уморен, и кричать командиру нечего. До настоящих-то солдат — ох ты, братец мой!

— Как думаешь, — спросил Касьян, — ситнянские какой дорогой пойдут? На Разметное али на Ключевскую балку?

— Какой же им резон на Разметное итить? Ясное дело — на Ключики. А чего?

— Да Никифор мой должен пойти.

— Ох ты! И его взяли?

— Поше-ел! Да хотел повидаться...

— Ну да перед Ключами Верхи будут, оттуда и поглядим. Ежели ситняки напрямки двинут, полем, как мы, дак с Верхов далеко видать. Человек не иголка, а целое ополченье и вовсе в поле не утаится. В прежние времена, сказывают, на теих Верхах сторожевая вежа стояла.

— Это для чего?

— Для догляду. Караулили, не набегут ли с дикого поля хангирейцы. Ежли что, дозорные люди сразу и подадут знать. Подпалят наверху вежи бурьян або хворост. А уж за Остомлей, за лесом, другая вежа была. Та потом себе дымить зачинала. Так аж до самых Ливен, а то и дале — дымы. Мол, татары идут, хангирейцы. Доедем до Верхов — глянем твоего Никифора, коли

ситняки нонче выступили.

— Дак и ставцовские тоже седни идут.

— Ага, ага... Стало быть, всех одним днем кличут.

Тем временем кончилось усвятское поле, открылась пологая балочка, коих в этих местах — за каждым увалом. По дну лощины сквозь осочку и лозняк несмело пробивался только что народившийся безымянный ручей.

Лейтенант свел отряд до самого долу и тут остановил, объявил перекур.

В логу стояла тишина, никем не топтанная трава медово млела под безоблачным солнцем, и там, в вышине, будто вечная музыка, совсем как весной, звенели и ликовали невидимые жаворонки.

Долго ли шли строем, всего и одолели одно поле, но мужики, ровно малые дети, обрадовались перевалу, и не столько самому отдыху, сколь возможности рассыпаться, разбежаться в разные стороны. Теперь можно было сесть, развалиться на бархатной травке, покурить в охотку, и все это представлялось нежданным благом. Но все первым делом наперегонки, треща кустами, ринулись к ручью, вставали перед ним на колени, пластались на животы и пили, пили, зачерпывая пригоршнями и картузами или дотягиваясь губами до воды. Напившись, принимались плескать себе в пыльные лица, на потные загривки и, утираясь, кто тем же картузом, кто подолом рубахи, благодарно поглядывали на лейтенанта, что, сидя поодаль от всех на старой кротовой кочке, покуривал свой «Беломорканал», придерживая в поводу жеребчика.

В повозке застонал, завозился Кузьма, было видно, как он, вскидывая голову, бодал изнутри брезент.

— Чего тебе, милай? — сдернул с него плащ дедушко Селиван. — Не жарко ли?

Опутанный веревками по рукам и сапогам, со сведенными за спину посиневшими кулаками, Кузьма боком лежал на дне телеги со сложенными вдвое, подобранными под живот долгими, саранчуковыми ногами и, жмурясь от света, всем спаленным нутром не принимая дня и солнца, хватал и жавкал воздух сухими, спекшимися губами.

— Дак чего надоть? — переспросил Селиван.

— Стешку мне... Степаниду...

— Хе, когда хватился! — Дедушко Селиван отмахнул от Кузькиного носа невесть откуда налетевшую синюю муху, учуявшую дурное. — Проспал, проспал бабу-ти. Да-алече теперь твоя Степанидка.

— Сумка игде...

— Дак и сумка при ней. С отрядом баба ушла. Утрехала Степанида. Говорит, ежли мужик ружья держать неспособен, то нехай печь топит, ухватами бренчит. А я, дескать, за него, за негожего, сама на немца пойду. Да и пошла вот.

Кузьма метнул кровяным заспанным глазом, должно, не в состоянии набрякшим умом понять, шутит ли Селиван или же бает чего похожее...

— Ладно тебе...

— А чего — ладно? Ладно-то чего? Рази это ладно, ежли баба заместо мужика оборону держать идет? Завтра, глядишь, и присягу со всеми приймет. Перед полковым знаменьем стоять будет. Дак а чего? Со Степанидой все станется. Как погрозится, так и сделает, мешкать не подумает. Твою бабу токмо штыку обучить, дак она какого хошь немца упорет. Вот вишь какое твое нехорошее положение.

Кузьма, налившись синюшной, перепорченной кровью, задергал плечами, силясь одолеть веревки.

— Развяжи, слышь... — потребовал он.

— Э-э нет, братка! В этом я не волен. Не мною ты сужен, не мной и в узлы ряжен. Это уж как обчество. Его проси. А ежели охота по-маленькому, дак и так можно. Телега — не корыто, вода дырочку найдет.

— Пусти, говорю... — клокотал горлом Кузьма.

— Дак опамятовался ли? Вспомнил хоть, за чего тебя? Не за то, что кого-то там ударил, а за то, сукин ты сын, что сраму не знаешь, в святое дело на четверях ползешь.

Кузька молчал, сопел в чей-то мешок, подсунутый ему под голову.

— То-то же... — И, обернувшись, старик крикнул Касьяну: — Как думаешь, Тимофеич, время ли отпускать орла-сокола? Не порхнет ли куда не след?

Касьян подошел к телеге, оценивающе оглядел похмельем измятого, полуживого Кузьму и молча потянул конец веревки под его коленками.

Орел-сокол, однако, не только не вспорхнул после этого,

но, попробовав было перелезть через грядку и так и не сумев приподнять себя, оброненно осел на дно телеги, проговорив лишь пришибленно:

— Попить дайте...

Касьян отцепил ведерко, притороченное к задку Селиванова возка, сходил к ручью и подал Кузьме напиться.

— Ох, гадство, — потряс тот головой и, окончательно сморясь от воды, потянув на себя дождевик, упрятался от бела света и всего сущего в нем.

Меж тем дичком глядевшие поначалу мужики, теснившиеся друг к дружке в щемящем чувстве бездомности, особенно остром на первых отходных верстах, мало-помалу начали прибиваться к лейтенанту. Рассаживаясь по извечной деревенской неназойливости в некотором отдалении, большей частью — за его спиной, чтобы не мозолить глаза своим присутствием, и поглядывая, как тот уже по второму разу закурил «беломорину», они и сами лезли за баночками и кисетами, как бы выражая тем свое молчаливое расположение.

В них самих все еще саднило, болело деревней, еще незамутненно виделись оставленные дворы и лица, стояли в ушах родные голоса, стук в последний раз захлопнутых калиток, и, не ведая, чем притушить эту неотвязную явь, невольно тянулись к сидевшему поодаль лейтенанту, послеживали за каждым его движением. Неосознанно нуждаясь в его понимании и сочувствии, они, как это часто бывает в разломную минуту с глубинно-русским человеком, сами проникались пониманием и сочувствием к нему — одинокому в чужих полях, среди незнакомого люда, и только ждали, чаяли минуты, чтобы протянуть руку товарищества и братства на начатой вместе дороге. И первым, бродя поблизости, делая вид, что интересуется щавелем, подошел к лейтенанту легкий на все Матюха Лобов.

— Товарищ лейтенант! Давай конька попою. Пристал на жаре конек.

Матюха безбоязненно подшагнул под лошадиную шею и, взяв коня под уздцы, сочувственно погладил горбатое переносье.

— Щас, милай, щас, — заговорил он с лошадью, осыпанный по стриженой голове конской гривой, и лейтенант, задержав взгляд на Матюхиной рассеченной губе, улыбчиво обнажавшей зубы, снял с руки повод и молча бросил его Лобову. — Дак ты и сам помойся, — обрадовался поводу Матюха. — Сними, сними

рубаху-то. Чего ж в ремнях сидеть? И ноги ополосни, побудь босый. Глянь, травка-то какая.

— Времени нет полоскаться, — отозвался тот. — Пора выступать.

— Дак ить это ж недолго. Минутное дело. А хоть сюда ведро принесем. — И, не дожидаясь ответа, кивнул мужикам: — Эй, ребята, неси сюда воды. Товарищ лейтенант умываться будет.

Сразу двое подскочили бежать за ведром, но дедушка Селиван и сам догадался, что к чему, проворно сбежал вниз и зачерпнул по самую дужку. Видя, как Давыдко перехватил у старика ведро и уже мчал с ним по пригорку, лейтенант привстал и расстегнул поясной ремень.

— Ладно, давайте, — сказал он. — И в самом деле жарковато.

Он обнажил себя до пояса, наклонился перед Давыдкой, и тут все вдруг увидели на его левой лопатке сизый, напряженно стянутый рубец в добрую четверть. Занесенное было ведро повисло в воздухе, и лейтенант, не понимая, в чем дело, отчего мешкают, нетерпеливо поторопил:

— Лей, кто там...

— Дак можно ли? — оторопело спросил Давыдко. — Это чегой-то у тебя на спине?

— А-а! — засмеялся согнувшийся лейтенант. — Давай валяй.

Давыдко осторожно, тонкой струей прицелился в лейтенантову шею, боясь попасть на страшное место.

— Лей, лей! — ободрял тот. — Поливай, не бойся.

— Чем это тебя, товарищ лейтенант?

— Было дело, — гудел сквозь струи лейтенант, радостно отфыркиваясь. — Хасан это... Озеро Хасан...

— Не болит?

— Болело б, так не служил бы. Рана ведь неглубокая, по кости только чиркнуло.

— Вот это дак чиркнуло! — с уважительной опаской таращились на рану мужики. — Эко боднула костлявая! Чуть бы что — и, считай, лазарет.

— Ничего! — крякнул лейтенант. — Зато мы ему тоже всыпали. Долго будет зализывать.

У кого-то в сумке нашлось и полотенце — побежали, принесли долгий самотканый рушник с красными мережками, и, утираясь им, раскрасневшись от каляного суровья, лейтенант

просиял белозубо:

— Хороша водица! Спасибо, товарищи.

Мужики польщенно оживились.

— Водица тут редкая, это верно. Из мелов бежит. А ты из каких мест? Где родина-то?

— С Урала я. Тагильский.

— Так-так... Мать-отец есть? Живы ли?

— Отца давно уже нет. Белоказаки расстреляли. Чего-то там в депо сделали, их и сцапали, восемь человек. Завели в пустой вагон, там и постреляли. А вагон потом сожгли... А матушка жива. И две сестренки. Уже б должна пойти на пенсию, да вот война, теперь не знаю как...

Пока утирался, а потом надевал гимнастерку и застегивал ремни, был он в эти минуты прост и доступен свежим, умытым лицом с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, и мужики радовались этой обыденности, до той поры таившейся под строгостью армейской фуражки.

— Товарищ лейтенант, на-ка покури нашего, домашнего. — Матюха Лобов протянул свернутую газетную книжечку. Он уже сводил командирского коня к ручью, и теперь тот пасся неподалеку на нехоженом склоне.

— Да погоди ты с махоркой, — перебил дедушко Селиван. — Человеку, может, перекусить охота. А ну, несите-ка, чего у вас там.

— А и верно! — вскинулись мужики. — Что ж это мы...

— Нет, нет, — запротестовал лейтенант и достал свои часы-луковку. — Время выступать. Предписано сегодня же прибыть на сборный.

— Поешь, поешь, сынок, — настаивал дедушко Селиван. — Тебя как звать-то?

— Александр... Саша.

— Ну дак, вишь, и зван по-нашему. А по-нашему такое правило: хоть ты генерал будь, а от хлеба-соли не отказывайся. А по-солдатски и того гожей устав: ешь без уклону, пей без поклону. Я солдатом тоже бывал, дак у нас так: где кисель, там служивый и сел, а где пирог, там и лег. За спасибо чина не прибавляют.

— Ну, отец, от тебя, видать, и ротой не отбиться! — засмеялся лейтенант.

— Была б причина со мной войну затевать, — тоже рассме-

ялся дедушко Селиван. — Неси самобрань, робяты! Какое время за хлебом потеряно, то вдвое в дороге нагонится. И конь, говорится, не ногами бежит, а овсом...

Тем временем Леха Махотин принес свою дорожную торбу, развязал ей хобот и принялся выкладывать припасы на разостланном рушнике — разломил смугло обжаренную курицу, высыпал пригоршню пирожков, достал свежих огурчиков, редиски. Мотнулся к своему припасу и Матюха Лобов и под одобрительный перегляд мужиков бережно, чтоб не расплескать, выставил на рушник голубенькую кружицу с белым на боку цветочком, чем и вовсе привел лейтенанта в смущение.

— Давай, товарищ лейтенант, — сказал он, почтительно отступая в сторону. — На здоровьице.

— Ну это уж вы зря... — смутился лейтенант. — Честное слово...

— Да чего там! — загомонили новобранцы. — Экое дело выпить перед едой. Выпей да закуси.

— Ну ладно, раз так. — Лейтенант поднял кружку. — За что выпью, так это за нашу победу.

— Вот это верно! — дружно одобрили мужики.

— Давай, товарищ лейтенант. Чтоб ему, Гитлеру, пусто было.

— Ни дна ему, ни покрышки.

И всем почему-то сделалось радостно оттого, что их командир выпил чарку, а теперь, присев на корточки, крепко хрустел ихним, усвятским, огурцом, тыча им в ворошок соли на листе медвежьего уха.

— Ужли не победим? — ухватился за слово Никола Зяблов, подбивая лейтенанта на больной разговор.

— Побьем, ребята, побьем, — спокойно сказал тот.

— Дак и я говорю, — подхватил дедушка Селиван. — Не все серому мясоед. Будет час, заставим и его мордой хрен ковырять.

— Правильно, отец! — захохотал лейтенант. — Это точно!

— Сколько уже замахивались на Россию, — ободренно продолжал Селиван, — а она и до си стоит. Уже тыщу годов. Эвон какое дерево вымахало за тыщу лет: шапка валится на верхушку глядеть.

— Насчет дерева это ты, отец, хорошо сказал, — кивнул лейтенант. — Нам бы еще немного заматереть, каких пяток лет, тогда ни один топор не был бы страшен.

— Это б хорошо, — поскреб под картузом Никола. — Да

сучья, слышно, уже летят...

— Ничего! — сказал лейтенант. — О сучья ведь тоже топор тупится. Покамест до главного ствола дело дойдет, и рубить будет нечем. Нам, товарищи, главный ствол уберечь, а сучья потом снова отрастут. А за те, что порублены, он еще поплатится. Мы из них ему крестов наделаем.

— Что и говорить, к главному-то стволу его никак не след допускать, — сказал Никола. — Уж коли само дерево падет — конец и всем его веткам.

— За тем и идем, — баснул Афоня-кузнец, лежавший особняком под кустом конского щавеля.

— Выбьем, выбьем у него топор, товарищ лейтенант, — покряхтывая, подал голос Матюха. Кривясь от цигарки, дымившей под рассеченной губой, он взялся перематывать ослабленные на онуче завязки. — Не все-то одним нам в ус да в рыло, будет ему и мимо. Брехня! Ежли скопом навалимся, все одно передушим. Нам бы только техникой помочь, а мы сдюжаем. Я их, падлу, не пулей, дак зубами буду грызть. Я им покажу деколон.

— В каких частях служил? — поинтересовался лейтенант.

— В разных. Три года пехота да три еще кое-где... На спецподготовке, — засмеялся Матюха. — Между прочим, тоже на Урале. Только на Северном. Выходит, вроде как земляки с тобой.

— Понятно.

— Так что топором и я обучен махать, — уточнил Матюха и, встав, потопал лаптями, попробовал, ладно ли обмотался.

Поблагодарив за еду, лейтенант достал пачку «Беломора», протянул ее в круг. Мужики, смущаясь, бережно разобрали угощенье.

— Дак а ты нашего тади дерни, — предложил Лобов. — Знаешь, как в сельпе махорка называется?

— Ну-ка, ну-ка?

— Смычка! Ты нам «беломору», а мы тебе нашей рубленки. Вот и посмыкуемся.

— С удовольствием, землячок! — засмеялся лейтенант.

18

Вскоре объявили построение. Матюха изловил и подал посвежевшего коня лейтенанту, и тот, оглядев из седла замерший строй, скомандовал к маршу.

За ручьем начиналась чужая, не усвятская пажить; рядами разбегались и прыгали через узкое руслице на ту сторону, за первые пределы отчей земли, своей малой родины, иные при этом норовили макнуть напоследок руку, потом, опять сомкнувшись, одолели зеленый склон и, выйдя на дорогу, подровняли шаг.

Касьян с дедушкой Селиваном, напоив лошадей, тронулись в объезд на жиденькую жердяную гатку.

Дорога потянулась на долгий пологий волок, сливавшийся где-то впереди с дрожливым маревом. По обе стороны топленым розоватым молоком пенилась на ветру зацветшая гречиха, и все оживились, войдя в нее, пахуче-пряную, гудевшую пчелой, неожиданно сменившую однообразие хлебов. За гречихой начались подсолнухи, уже вымахавшие в человеческий рост и местами тоже зацветшие, и было светло и как-то празднично идти среди этих ярких золотых цветов, терпко пахнувших лубом, повернутых, как один, к полуденному солнцу. И вообще, отдохнув и малость пообвыкнув в строевом ходу, шли легко, без изначального скованного напряжения, уже не вздрагивая от окрика лейтенанта, который в низко насунутой фуражке, подстегнутой под подбородком ремешком от встречного ветра, еще недавно казался в своем седле чем-то вроде ниспосланного рока, глухого ко всему и неумолимого в своей власти. Теперь все знали, что зовут его Сашкой, что, как и у всех у них, есть и у него где-то мать, что сам он, в сущности, неплохой компанейский малый и что в его полевой сумке вместе со списками новобранцев лежит пара Лехиных пирожков с капустой, которые уговорили взять на тот случай, если захочется пожевать в седле. Помнилось и о том, что под его гимнастеркой на левой лопатке сизым рубцом запеклась не очень давнишняя пулевая рана, и в строю поговаривали, что нехудо бы с ним, уже понюхавшим пороху, идти не до одного только призывного, а и дальше. Чтобы так вот всех, как есть, не разлучая, определили б в одну часть, а он остался бы при них командиром. И когда лейтенант время от времени поворачивался в седле, опершись рукой о круп лошади, оглядывал колонну и зычно, со звонцой кричал «подтяни-и-ись!», все уже понимали, что покрикивал он не от какой-то машинной заведенности и недоброй воли, а оттого, что, стало быть, кто-то там и на самом деле замешкался и поотстал, закуривая или отбежав до ветру.

И лишь однажды, когда взошли на самый гребешок и дальше дорога должна была покатиться долу, лейтенант рассерчал не на шутку, потому что строй вдруг без всякой причины сбился с шагу, затопал разноногим гуртом, мужики, притушая ход, заоглядывались, и по колонне прошелся какой-то возбужденный ропот. Ехавший позади отряда Касьян, заговорившись с дедушкой Селиваном, едва не врезался дышлом в последние ряды.

— На-аправляющий! — гаркнул лейтенант. — Сты-ой!

Колонна приостановилась, и командир, упрятав глаза под посверкивающий козырек, поворотил коня в хвост отряда.

— В чем дело? Что за базар?

Мужики виновато отмалчивались.

Лейтенант обогнул колонну и, подвернув к повозкам, как бы пожаловался дедушке Селивану:

— Ведь только что отдохнули, покурили, черт возьми! Еще и трех верст не прошли.

— Дак вона, командир, причина-то! — Дедушко Селиван ткнул кнутовищем в обратную, уже пройденную, сторону. — Туда гляди!

С увала, с самой его маковки, там, позади, за еще таким же увалом, бегуче испятнанным неспокойными хлебами, виднелась узкая, уже засиненная далью полоска усвятского посада, даже не сами избы, а только зеленая призрачность дерев, а справа, в отдалении, на фоне вымлевшего неба воздетым перстом белела, дрожала за марью затерянная в полях колоколенка. А еще была видна остомельская урема и дальний заречный лес, синевший как сон, за которым еще что-то брезжилось, какая-то твердь.

Глянул туда и Касьян и враз пристыл к телеге, охолодал защемившей душой от видения и не мог оторваться, хотя, как ни силился, как ни понуждал глаза, не разглядел ни своего двора, ни даже примерного места, где должно ему быть. Но все равно — вот оно, как ни бежали, как ни ехали. Еще и ветер, что относил в ту сторону взволнованные дымки цигарок, долетал туда за каких-нибудь три счета и вот уже кудрявил надворные ветлы, курил золой, высыпанной под откос из еще не остывших печей, трепал ребячьи волосенки и бабьи платки, что еще, небось, маячили кучками на осиротевших улицах...

— Чего ж не сказали? — глухо проговорил у телеги лейтенант, поглядывая на повернувшихся мужиков. — Разве я не понимаю...

— А что они тебе скажут? — Дедушко Селиван поддел кнутовищем под козырек, поправил картуз. — Вот сичас зайдут за бугор — и весь сказ... А там уж пойдут без оглядки. Холмы да горки, холмы да горки...

Лейтенант с места наддал коню, рысью обогнал смешавшуюся молчаливую колонну и, привстав в стременах, уже сдержаннее выкрикнул:

— Ну что, ребята? Пошли, что ли? Или вернемся?

— Пошли, товарищ лейтенант! — отозвался за всех Матюха.

— Тогда — разбери-и-ись! Ши-а-го-о-ом!..

Но в остальном, исключая это маленькое недоразумение, отряд продвигался споро, не задерживаясь, минули и одно, и другое угорное поле, один и другой дол с садовыми хуторами и в третьем часу вошли в Гремячье, первое большое сельсоветское село. Следовало бы сделать передых, но решили в селе не останавливаться, не муторить народ, а идти до Верхов и уж там уединиться и перекусить без помехи.

Гремячье занимало оба склона распадка с мелкой речушкой между глядевшими друг на друга улицами. Колонна пересекла село поперек, с горы на гору, и пока шли ложбиной, на виду у обеих улиц, из дворов высыпали бабы и ребятишки, молчаливыми изваяниями уставясь на проходившее ополчение, на серых, пропыленных мужиков.

— Чьи, голуби, будете? — спросил какой-то трясучий белый старик, сидевший в тени, под козырьком уличной погребицы, когда колонна поднялась на левую сторону.

— Усвятские! — выкрикнули из рядов.

Старик трудно, опершись о раскосину, поднялся и снял с головы мятую безухую шапку.

— Кто еще через вас проходил, отец? — спросил Давыдко.

— Того часу никольские пробегли да хуторские, — оповестил старик.

— А ваши пошли-и?

— Дак и наши. Али не видите, пустое село. Одне галицы да галченята малые. Пошли и наши, а то как же. Полтораста душ.

— На Верхи верно ли правим?

— На Вершки? Дак вон они, за нами и будут. — И уже вослед

крикнул больным, надрывным голоском: — Ну дак придяржите ево! Не пущайте дале! Не посрамите знаме-он!

— Постоим, отец! Постоим!

— Тади легкого поля вам, легкого поля!

Старик трижды поклонился белой головой, касаясь земли снятой шапкой.

За гремячьей околицей привязалась собака — полугодовалый волчьей масти кобелек, еще плоский, большелапый, с никак не встающим на зрелый манер левым ухом. Кобелек поначалу долго глядел на уходившую колонну, потом вдруг сорвался, нагнал и, то робея и присаживаясь, то обнадежив себя какой-то догадкой, опять догонял и озабоченно продирался подступившими к дороге овсами. Время от времени он привставал зайцем на задних лапах и проглядывал отряд с переменчивой тоской и надеждой в желтых сиротских глазах.

— Иди домой, милый, — крикнул ему Матюха. — Нету тут никого твоих.

Но кобелек не послушался и долго еще шуршал овсами, выбегал позади на дорогу и в поджарой стойке тянул носом взбитую пыль. И только когда лейтенант бросил ему пирожок, щенок, взвизгнув, шарахнулся от него, будто от камня, и постепенно отстал, запропал куда-то...

Верхи почуялись еще издали, попер долгий упорный тягун, заставивший змеиться дорогу. Поля еще цеплялись за бока — то просцо в седой завязи, будто в инее, то низкий ячменек, но вот и они изошли, и воцарилась дикая вольница, подбитая пучкастым типчаком и вершковой полынью, среди которых, красно пятная, звездились куртинки суходольных гвоздик. Раскаленный косогор звенел кобылкой, веял знойной хмелью разомлевших солнцелюбивых трав. Пыльные спины мужиков пробила соленая мокреть, разило терпким загустевшим потом, но они все топали по жаркой даже сквозь обувь пыли, шубно скопившейся в колеях, нетерпеливо поглядывая на хребтину, где дремал в извечном забытьи одинокий курган с обрезанной вершиной. И когда до него было совсем рукой подать, оттуда снялся и полетел, будто черная распростертая рубаха, матерый орел-курганник.

Усвятцы, наезжая в район, редко пользовались этим верховым проселком, хотя и скрадывавшим путь версты на четыре, но уморным для ездоков и лошадей, особенно в знойную по-

ру. Чаще же ездили ключевским низом, по людным местам, прохладным и обветленным, никогда не докучавшим пылюкой. Но всегда тянуло побывать здесь, на манивших горах, хотя за делами не всякий того удосужился. И вот занесло всех разом аж на самую маковку!

— Правое плечо, вперед! — скомандовал лейтенант, и отряд свернул с дороги к подножию кургана. — Пе-реку-у-ур!

Как ни упехались мужики за долгий переход, но и пав ничком на жесткую траву, каждый все-таки лег не как попало, а все до единого головой на восток, куда крутым овражным обрывом метров на семьдесят, а то и на все сто неожиданно обрезались Верхи. И открывалась отсюда даль неоглядная, сразу с несколькими деревеньками, нанизанными на блескучие петли Выпиреки, с мельничным плесом и самой мельничкой, бело кипевшей игрушечным колесом, с клубившимися левадами приречных ольх и ракит, россыпью коров во влажнозеленых лугах, мерцающих озерками и болотцами, с бугорками сенных стожков и сизыми капустными бахчами — все это звалось той самой Ключевской балкой, питавшейся обильными ключами из-под Верхового уреза, было тем самым низом, по которому и проходила излюбленная дорога. А по-за балкой вновь поднималась, дыбилась холмами материковая земля, и дивно было глядеть сразу на всю эту уймищу хлебов, уходивших верст на пятнадцать вправо и влево. И еще было дивно, что над всем этим, казалось, вот оно, только дотянуться рукой, неслось по ветру невесть откуда взявшееся одинокое облако, будто белый отставший гусь-лебедь, и тень от него, пересекая долину, мимолетно темнила то светлобеленые хаты, то блестки воды, то хлебные нивы на взгорьях. А еще выше, там, где царило одно только солнце, кружил в восходящем паренье тот самый старый курганник, что неслышной тенью сорвался с дремотных Верхов.

Так и не сойдя с седла, лейтенант вместе с конем остановился у самого края и долго глядел вниз с жутковатой высоты.

— Да-а... — протянул он и, обернувшись к подъехавшим телегам, изумленно спросил у дедушки Селивана: — Как же я утром этого не видел?

— Дак ты, мил человек, в ста саженях мимо и проскочил. Эвон где дорога-то!

— Пожалуй... А это что за курган?

— А он завсегда тут был. Спокон веку. Может, кто насыпал,

а может, и сам по себе. На нем и стояла дозорная вежа. Вишь, макушка срезана? Для того, видать, и сравняли, чтоб вежу поставить.

— Ясно. Ну, а те откуда же шли? С какой стороны?

— Татары-то? Дак тамотка и шли, по заречью. Гляди, во-он на той стороне по хлебам пыль курится? Это и есть ихняя дорога. Муравский шлях. Туда, туда, за Остомлю, а там уж и Куликово поле — вот оно. Тамотка и шли поганые. Дак и оттуда, с Куликов, тем же путем и бежали, кто уцелел. На Дон да по-за Дон, в свои степя.

— Ребята! — вдруг подхватился Давыдко. — Дак ведь это, должно, ситнянские идут!

— Где?

— Да вон пыль!

Касьян насторожился, принялся глядеть в заречную сторону. И верно, поле клубило долгим низким облаком. Людей было не разобрать, но хорошо виделись катившие позади две не то три подводы.

— Небось ставские, — предположил Леха Махотин. — В самый раз ставцам быть.

— Ох ты! Ставцы низом должны, им низом ближе. А это, точно, ситнянские. Кому ж еще?

— У меня там сродный должен итить, — сказал Матюха. — Так и не свиделись.

— Дак и у Касьяна братан. Тоже не попрощался.

Лежа на краю обрыва, усвятцы наблюдали, как дальнее заречное ополчение медленно плелось меж телефонных столбов, и по этим столбам, забежав глазами вперед, можно было догадаться, что колонна неминуче сползет в Ключевскую балку — если не здесь, то где-то потом, за поворотом.

— А что, братцы, ежли вдарить на перехват, а? — загорелся Матюха. — Им ведь все равно за Верхами перебредать на нашу сторону. Они сюда, а мы — вот они!

— Поесть бы сперва... — напомнил Никола Зяблов.

— Ладно тебе! Токмо от стола.

— Да где ж токмо?

— Расшеперимся тут с сидорами, а они и пройдут. А встретимся — вместе и поедим. Да и пойдем заодно. Вместе куда веселей-то. Считай, в Ситном половина усвятской родни. Ну что, братцы? Как, Касьянка? Ты ж Никифора хотел повидать.

— Я что — я на телеге.

— Как командир поглядит, — вяло согласился Никола.

Доложили лейтенанту. Тот внимательно посмотрел за реку, сказал, что если это действительно ситнянские, то их должен вести его хороший приятель, тоже уралец, лейтенант Фарид Халидуллин, и что он, в общем, не возражает против такого маневра. Правда, некоторые были недовольны хлопотной затеей, но большинство обрадовались повидать своих, и лейтенант снова объявил построение, добавив, что там, на перекрестке, будет объявлен большой привал, можно будет распрячь лошадей, сходить на речку искупаться.

Двинулись краем обрыва, прямо по целине, стараясь не выпускать из виду ситнянскую колонну. Тем более что трава оказалась невелика, а главное, не было осточертелой пыли. Однако вскоре, как только обогнули курган и открылся поворот Ключевского лога, выяснилось, что далеко впереди движется еще какой-то отряд, и, судя по обозу, немаленький. Возникли толки, что, мол, не те ли ситнянские. Если они, то их уже не нагнать, а стало быть, и нечего пороть горячку. Но тут же кто-то усомнился, что для Ситного, деревни в сотню дворов, отряд, пожалуй, великоват и что те, первые, скорее всего из Разметного. И порешили, что ситняки все же не те, а эти, ближние.

— А и ладно! — обрезал споры Матюха. — Раз пошли, то чего уж гадать. Шире шаг, ребята! Идти так идти!

В Селивановой повозке опять завозился Кузьма, высунулся наружу, сел, потер кулаками глаза, и Касьян слышал, как тот спросил:

— Где едем, батя?

— Далече уже, служивый. По Верхам едем.

— Ну-у? — не поверил Кузьма — Вот это дак дали!

— Кто давал, а кто нахрапывал. Чего хоть во снях видел?

— А-а, всякую хреновину. Тот мордатый лектор приснился. Помнишь, который все брехал: попрут, попрут, на чужой тератории бить будут.

— А и попрут! — кивнул картузом дедушко Селиван, пришлепывая лошадей вожжами.

— А чего же не прут? — Кузьма сплюнул клубок вязкой слюны за телегу. — Так поперли, аж сами на тыщу верст отлетели. Подавай только ноги. То отдали, это бросили. Сколь ишо отдавать да бросать? Чего ж до си не прут?

— Ну дак ежели не поперли, — передернул плечами Селиван, — стало быть, нечем. Нечем, дак и не попрешь. Не подстрелишь — не отеребишь.

— Ага! Нечем! — усмехнулся Кузьма. — Еще и не воевали, а уже и нечем! А где ж она та-то главная армия, про которую очкастый брехал? Где? — И Кузьма, сморщив нос, гуняво передразнил: — «Погодите, товарищи, главные наши силы ишо не подошли». Дак чего ж не подходят — вторая неделя пошла?

— Ты чего зевло этак-то разеваешь? Аж потроха дурные видать. Я тебе не фельдмаршал и сраженьев не проигрывал, чтоб с меня взыскивать. Ты пойди да вон на командира и пошуми. А он послушает, какой ты разумный.

— А меня стращать теперь нечего, — огрызнулся Кузьма и сумрачно уставился на лейтенанта, маячившего впереди поверх колонны. — Дальше фронта не зашлют.

— А на то я тебе так скажу, — дедушко Селиван, обернувшись, кивнул картузом в сторону мужиков. — Вон она топает, главная-то армия! Шуряк твой Давыдка, да Матвейка Лобов, да Алексей с Афанасием... А другой больше армии нету. И ждать неоткуда...

— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

— Э-э! Малый! — задребезжал несогласным смешком дедушко Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье сбирается. Нас тут капля, да глянь туды, за речку, вишь, народишко по столбам идет? Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, мосток переходят — третья. Да уже никольские прошли, разметненские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!

Дедушко Селиван шевельнул лошадей, морозно припискнул на них губами и вдруг, поворотившись, осведомился:

— Ты что, Кузьма Васильич, никак оклемался уже? Дак тади, может, со строем пойдешь? А то ведь этак прямо на губвахту можешь угодить.

— Погожу маленько, — неохотно признался тот. — Башка чегой-то трещит. Закурить нет?

— Закурить у Касьяна проси.

Касьян, услыхав про себя, придержал свою пару.

Разломанно кряхтя, Кузьма перевалился через край телеги и

нетвердо, будто после затяжной болезни, поковылял к переднему возу.

— Дай-ка курнуть, — потер он зябко ладони.

— Ты вот что... — Касьян потянулся за табаком. — Ежли голову уже держишь, лезь-ка сюда, за меня побудешь.

— А ты чего?

— С ребятами пойду. А то ноги онемели сидеть. На, держи...

Касьян сыпнул в Кузькины дрожащие ладони жменю махры, бросил сверху свертыш газеты со спичками и, на ходу надевая пиджак, побежал догонять ополченцев.

— Давай сюда! — обрадованно крикнул Леха. — А ну, ребята, пересуньтесь, дайте Касьяну место.

Касьян пристроился с краю рядом с Махотиным, подловил шаг и затопал в общую ногу. И радостна была ему эта невольная забота о том, чтобы не сбиться, поддерживать дружный гул земли под ногами.

— А гляди-ка, братцы! — возликовал Матюха. — Обходим, обходим этих-то! Ситников да калашников. Небось напехтерили сидора. Сичас мы вас уделаем, раскаряшных! Куда вы денетесь!

Поглядывая на заречную колонну, неожиданно поворотившую от телефонных столбов на какой-то проселок и явно косившую на переправу, усвятцы, подгоняемые замыслом, какое-то время шли с молчаливой сосредоточенностью, в лад шамкая и хрустя пересохшей в верховом безводье травой. Но вот Матюха Лобов, мелькавший в третьем ряду стриженой макушкой, пересунув со спины на грудь запыленную гармонь, как-то неожиданно, никого не предупредив, взвился высокозвонким переливчатым голоском, пробившимся сквозь обычную матюхинскую разговорную хрипотцу:

И эх, в Таган-ро-ге! Эх, в Таган-ро-ге!

Лейтенант, державшийся левой, береговой, стороны и все время поглядывавший в заречье, удивленным рывком повернулся на голос и, увидев в руках Лобова гармошку, одобрительно закивал головой, дескать, молодец, земляк, давай, подбрось угольку.

И как это ни было внезапно, все же шагавшие вблизи Лобова мужики не сплошали, с ходу приняли его заманку и пока только первыми рядами охотно подхватили под гудевшую басами гармонь:

Да в Таган-роге приключилася беда-а-а...

Касьян, еще не успевший обвыкнуться в строю, не изловчился ухватить давно не петый мотив и пропустил первый припев, но, уже загоревшись азартом назревающей песни, ее неистовой полонящей стихией, улучив момент, жарко оглушил себя накатившимся повтором:

В Таган-роге д'приключилася беда-а-а...

А Матюха, раскачивая от плеча до плеча ушастой головой, сладко томясь от еще не выплеснутых слов, подготавливая их в себе, в яром полыме взыгравшей души, даванув на басы под левую ногу, снова выкинул мужикам очередную скупую пайку:

Эх, там убили-и... эх, там убили-и-и,
Там убили д'молодого каза-ка-а-а...

И мужики, будто у них не было больше никакого терпения, жадно набрасывались на брошенную им строку и тотчас, теперь уже всем строем, громово глушили и топили запевалу:

Там убили д'молодого каза-ка-а-а...

Но Матюхин голосок ловким селезнем выныривал из громогласной пучины и снова взмывал, еще больше раззадоривая певцов:

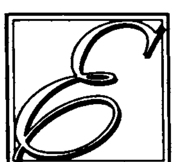
И эх, схоронили-и... эх, схоронили-и-и,
Схоронили при широкой до-лине-е-е...

А тем временем над Верхами в недосягаемом одиночестве все кружил и кружил, забытый всеми, курганный орел, похожий на распростертую черную рубаху...

1977

Рассказы

БЕЛЫЙ ГУСЬ



сли бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы дать адмирала. Все у него было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, каким он разговаривал с прочими деревенскими гусями.

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. Прежде чем переставить лапу, гусь поднимал ее к белоснежному кителю, собирал перепонки, подобно тому, как складывают веер, и, подержав этак некоторое время, неторопливо опускал лапу в грязь. Так он ухитрялся проходить по самой хлюпкой, растележенной дороге, не замарав ни единого перышка.

Этот гусь никогда не бежал, даже если за ним припустит собака. Он всегда высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нес на голове стакан воды.

Собственно, головы у него, казалось, и не было. Вместо нее прямо к шее был прикреплен огромный, цвета апельсиновой корки клюв с какой-то не то шишкой, не то рогом на переносье. Больше всего эта шишка походила на кокарду.

Когда гусь на отмели поднимался в полный рост и размахивал упругими полутораметровыми крыльями, на воде пробегала серая рябь и шуршали прибрежные камыши. Если же он при этом издавал свой крик, в лугах у доярок тонко звенели подойники.

Одним словом, Белый гусь был самой важной птицей на всей кулиге. В силу своего высокого положения в лугах он жил беспечно и вольготно. На него засматривались лучшие гусыни деревни. Ему безраздельно принадлежали отмели, которым не

было равных по обилию тины, ряски, ракушек и головастиков. Самые чистые, прокаленные солнцем песчаные пляжи — его, самые сочные участки луга — тоже его.

Но самое главное — то, что плес, на котором я устроил приваду, Белый гусь считал тоже своим. Из-за этого плеса у нас с ним давняя тяжба. Он меня просто не признавал. То он кильватерным строем ведет всю свою гусиную армаду прямо на удочки да еще задержится и долбанет подвернувшийся поплавок. То затеет всей компанией купание как раз у противоположного берега. А купание-то это с гоготом, с хлопаньем крыльев, с догонялками и прятками под водой. А нет — устраивает драку с соседней стаей, после которой долго по реке плывут вырванные перья и стоит такой гам, такое бахвальство, что о поклевках и думать нечего.

Много раз он поедал из банки червей, утаскивал куканы с рыбой. Делал это не воровски, а все с той же степенной неторопливостью и сознанием своей власти на реке. Очевидно, Белый гусь считал, что все в этом мире существует только для него одного, и, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что сам-то он принадлежит деревенскому мальчишке Степке, который, если захочет, оттяпает на плахе Белому гусю голову, и Степкина мать сварит из него щи со свежей капустой.

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед, приторочил к раме пару удочек и покатил открывать сезон. По дороге заехал в деревню, наказал Степке, чтобы добыл червей и принес ко мне на приваду.

Белый гусь уже был там. Позабыв о вражде, залюбовался я птицей. Стоял он, залитый солнцем, на краю луга, над самой рекой. Тугие перья одно к одному так ладно пригнаны, что казалось, будто гусь высечен из глыбы рафинада. Солнечные лучи просвечивают перья, зарываясь в их глубине, точно так же, как они отсвечивают в куске сахара.

Заметив меня, гусь пригнул шею к траве и с угрожающим шипением двинулся навстречу. Я едва успел отгородиться велосипедом.

А он ударил крыльями по спицам, отскочил и снова ударил.

— Кыш, проклятый!

Это кричал Степка. Он бежал с банкой червей по тропинке.

— Кыш, кыш!

Степка схватил гуся за шею и поволок. Гусь упирался, хлестко стегал мальчишку крыльями, сшиб с него кепку.

— Вот собака! — сказал Степка, оттащив гуся подальше. — Никому прохода не дает. Ближе ста шагов не подпускает. У него сейчас гусята, вот он и лютует.

Теперь только я разглядел, что одуванчики, среди которых стоял Белый гусь, ожили и сбились в кучу и испуганно вытягивают желтые головки из травы.

— А мать-то их где? — спросил я Степку.

— Сироты они...

— Это как же?

— Гусыню машина переехала.

Степка разыскал в траве картуз и помчался по тропинке к мосту. Ему надо было собираться в школу.

Пока я устраивался на приваде, Белый гусь уже успел несколько раз подраться с соседями. Потом откуда-то прибежал пестро-рыжий бычок с обрывком веревки на шее. Гусь набросился на него.

Теленок взбрыкивал задом, пускался наутек. Гусь бежал следом, наступал лапами на обрывок веревки и кувыркался через голову. Некоторое время гусь лежал на спине, беспомощно перебирая лапами. Но потом, опомнившись и еще пуще разозлившись, долго гнался за теленком, выщипывая из ляжек клочья рыжей шерсти. Иногда бычок пробовал занять оборону. Он, широко расставляя передние копытца и пуча на гуся фиолетовые глаза, неумело и не очень уверенно мотал перед гусем лопоухой мордой. Но как только гусь поднимал вверх свои полутораметровые крылья, бычок не выдерживал и пускался наутек. Под конец теленок забился в непролазный лозняк и тоскливо замычал.

«То-то!..» — загоготал на весь выпас Белый гусь, победно подергивая куцым хвостом.

Короче говоря, на лугу не прекращались гомон, устрашающее шипение и хлопанье крыльев, и Степкины гусята пугливо жались друг к другу и жалобно пищали, то и дело теряя из виду своего буйного папашу.

— Совсем замотал гусят, дурная твоя башка! — пробовал стыдить я Белого гуся.

«Эге! Эге! — неслось в ответ, и в реке подпрыгивали мальки. — Эге!..» Мол, как бы не так!

— У нас тебя за такие штучки враз бы в милицию.

«Га-га-га-га...» — издевался надо мной гусь.

— Легкомысленная ты птица! А еще папаша! Нечего сказать, воспитываешь поколение...

Переругиваясь с гусем и поправляя размытую половодьем приваду, я и не заметил, как из-за леса наползла туча. Она росла, поднималась серо-синей тяжелой стеной, без просветов, без трещинки, и медленно и неотвратимо дожирала синеву неба. Вот туча краем накатилась на солнце. Ее кромка на мгновение сверкнула расплавленным свинцом. Но солнце не могло растопить всю тучу и бесследно исчезло в ее свинцовой утробе. Луг потемнел, будто в сумерки. Налетел вихрь, подхватил гусиные перья и, закружив, унес вверх.

Гуси перестали щипать траву, подняли головы.

Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу все вокруг зашумело, трава заходила сизыми волнами, лозняк вывернуло наизнанку.

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным, косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. Под ними спрятались выводки. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы.

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, тонким звоном отозвались велосипедные спицы, и к моим ногам скатилась белая горошина.

Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы града. Исчезла деревня, пропал из виду недалекий лесок. Серое небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела и пенилась. С треском лопались просеченные лопухи кувшинок.

Гуси замерли в траве, тревожно перекликаясь.

Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове, гусь вздрагивал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина попадала в темя, он сгибал шею и тряс головой. Потом снова выпрямлялся и все поглядывал на тучу, осторожно склонял голову набок. Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят.

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неудержимой пляске подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины.

Гуси не выдержали и побежали. Они бежали, полузачеркнутые серыми полосами, хлеставшими их наотмашь, гулко барабанил град по пригнутым спинам. То здесь, то там в траве, перемешанной с градом, мелькали взъерошенные головки гусят, слышался их жалобный призывный писк. Порой писк внезапно обрывался, и желтый «одуванчик», иссеченный градом, поникал в траву.

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми глыбами падали с обрыва в воду и забивались под кусты лозняка и береговые обрезы. Вслед за ними мелкой галькой в реку сыпались малыши — те немногие, которые еще успели добежать. Я с головой закутался в плащ. К моим ногам скатывались уже не круглые горошины, а куски наспех обкатанного льда величиной с четвертинку пиленого сахара. Плащ плохо спасал, и куски льда больно секли меня по спине.

По тропинке с дробным топотом промчался теленок, стегнув по сапогам обрывком мокрой травы. В десяти шагах он уже скрылся из виду за серой завесой града.

Где-то кричал и бился запутавшийся в лозняке гусь, и все натужнее звякали спицы моего велосипеда.

Туча промчалась так же внезапно, как и набежала. Град в последний раз прострочил мою спину, поплясал по прибрежной отмели, и вот уже открылась на той стороне деревня, и в мокрое заречье, в ивняки и покосы запустило лучи проглянувшее солнце.

Я сдернул плащ.

Под солнечными лучами белый, запорошенный луг на глазах темнел, оттаивал. Тропинка покрылась лужицами. В поваленной мокрой траве, будто в сетях, запутались иссеченные гусята. Они погибли почти все, так и не добежав до воды.

Луг, согретый солнцем, снова зазеленел. И только на его середине никак не растаивала белая кочка. Я подошел ближе. То был Белый гусь.

Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по траве шею. Серый немигающий глаз глядел вслед улетавшей туче. По клюву из маленькой ноздри сбегала струйка крови.

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь и давя друг друга, высыпали наружу. Весело попискивая, они рассыпались по траве, подбирая уцелевшие градины. Один гусенок, с темной ленточкой на спине, неуклюже

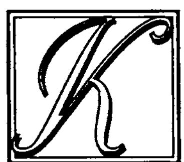
переставляя широкие кривые лапки, пытался взобраться на крыло гусака. Но всякий раз, не удержавшись, кубарем летел в траву.

Малыш сердился, нетерпеливо перебирал лапками и, выпутавшись из травинок, упрямо лез на крыло. Наконец гусенок вскарабкался на спину своего отца и замер. Он никогда не забирался так высоко. Перед ним открылся удивительный мир, полный сверкающих трав и солнца.

1964

В ЧИСТОМ ПОЛЕ ЗА ПРОСЕЛКОМ

1



узница стояла у обочины полевого проселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом оттуда на гречишную цветь, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утренников недели на две устанавливалось задумчиво-кроткое бабье лето с глубоким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели, и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и ясными окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни нательным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий двор начисто. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же временем расчистили пожарище, прикатили новый ракитовый пень под наковальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бессменно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе — механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать — что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском, и заливистым подголоском. Праздник, да и только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: вызванивают на весь белый свет... Сколько помнят Захара, все годы провисел его портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...

Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их

хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не приставили к Захару какого-нибудь смышленого мальца, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилок явственно долетело: «Дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...»

2

Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ощипывали кочетов или разбирали поросячьи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услыхали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней услыхал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении упорно и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

— С праздничком вас, люди добрые, мир и согласье вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, сальцу-смальцу, чарочке в пальцы...

Пропевши такие слова, Квадрат поясно кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух, не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о

том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича, не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздичком, ежели не Дениса Ивановича!» — почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубахе, с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат зашел и затянул было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы стряхивал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

— Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

— Ты кого так? — спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были заляпаны горчично-желтым тестом.

— Да россошинский «Верный путь», — отложил газеты Денис Иванович. — По сводке, у них вся зябь поднята, а я давеча проезжал — до сего дня заовражье не тронуто. А вот, поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

— Сказывают, Тимирязевскую академию кончал, — вставил Квадрат. — И еще штой-то...

— Тимирязевская тут не виновата.

— Дак и я ж говорю, — поспешно согласился Квадрат. — К ученой голове еще должон быть порядочный доклад от себя лично. Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством правишь куда с добром.

— Гм... — кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

— Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те Господи, не прорежены бегами да вербовками, — продолжал гомонить Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте. — Я вот нынче про-

ходил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Россошек.

— Ну и долдон ты, я погляжу, — сказал Денис Иванович. — У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как леопарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы посовестился.

— Обража, ей-бо, обража, — заморгал бесцветными веками Квадрат. — Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем что к чему угадываешь.

— Ну ладно, будя... — поморщился Денис Иванович. — Не люблю... закуси лучше.

— Закушу, закушу, — кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взамен выставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с морозовым узором и рябиновыми ягодами на дне. — Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россошках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать теленков издохло... С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось...

— Закуси, закуси... Что впустую языком молоть...

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

— Осовел ты, Квадрат, пойдем доведу...

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы оступиться впотьмах, в это время и долетел до Серпилок странный перезвон.

— С-слышь? — навострился дедок и поднял в темноте палец.

Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых, осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: «Дон-дон-дилинь-дон... Дон-дон-дилинь-дилинь...»

— Ей-бо, в кузне это... — определил Квадрат.

— Какого лешего... — возразил Денис Иванович.

— Секи мне голову — в кузне!

— Кому это приспичило ночью да еще под праздник?

— А вот и гадай...

— Чепуху мелешь, дед.

— Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара — это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому... потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уж он по наковальне...

— Кто это он? — спросил Денис Иванович.

— А вот, должно, он и есть...

— Да кто он, черт тя дери! — озлился Денис Иванович.

— Кто, кто... Може, сам Захар тюкает... — понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

— Тьфу! — сплюнул Денис Иванович.

— Его подчерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванивает...

— Спятил ты, что ли?

— Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали — он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

— Человеком был — человеком и помер, — сказал Денис Иванович.

— Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным делом.

— Однако ты хватил сегодня, — сказал с досадливой укоризной Денис Иванович. — Зря я тебе подливал рябиновки.

— Ты меня хмелем не попрекай... Кузня без него совсем осиротелая осталась... Никакого ни стука, ни грюка не слыхать... Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота человека одолела...

— Ну это ты... того... — буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле — ни луны, ни просяного зернышка в небе — показался ему странным и даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения.

— Гм, — сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью: — А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

— Денис Иванович, — позвал он. — А может, не надо мешать? Пусть себе тюкает...

— А вот мы разберемся! — упрямо твердил в темноте проулка Денис Иванович.

— Погодь, можа, народ шумнуть?

— Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и сторожко последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликая:

— Идешь, Денис Иванович?

— Да иду. Где ты там?

— Я к тому, что... Идешь ли?

3

Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнущими в темноте теплыми, настоянными хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинственное «дон-дон-дилинь»... Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилок. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила... Но впереди упрямо крошили зяблевые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

— Денис... — негромко позвал Квадрат.

— Чего?

— Бегишь-то больно швыдко... Погодь...

Денис Иванович приостановился.

— Угораздил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

— Настырный ты... ужасть! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...

Сошлись вместе, постояли.

— Затихло что-то... — сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

— Денис... Гля-ка...

— Вижу.

Впереди проступил проем кузнечных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

— Пошли, — твердо сказал Денис Иванович.

— Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вслед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул вовнутрь.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела керосиновая коптилка — пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь который был продернут ватный фитиль. Красноватодымный шнур огня и копоти ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

— Денис Иваныч... — окликнул из-за створки ворот дедок.

— Ну?

— Никого... нетути?

Денис Иванович не ответил, продолжая вертеть в руках поковку.

— А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

—У-у... у-у... — произнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика. — У-у...

Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и по-кутячьи обмякшего мальчонку.

— Ты кто такой? — спросил он.

— М-Митька я... — захныкал малец и заслонил свою треугольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным, обвислым ватным рукавом.

— Какой такой Митька?

— Это Агашкин сорванец! — тотчас взъерепененным воробьем залетел в кузницу Квадрат. — Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло... Ах ты, чирий подштанниковый. Это ты тюкал? Я т-те...

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

— Я т-те покажу, разбулдяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервец, тюкает... Я т-те потюкаю...

— Это не я-а-а! — заголосил мальчонка. — Я только мехи качал... Это все Аполошка...

— Я и Аполошке ухи накручу!

— Погоди ты, — отпихнул дедка Денис Иванович. — Сразу и уши откручивать. Аполошка, где ты тут?

— Вылазь немедля! — выкрикнул Квадрат.

— Ну, я... — глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислоплечий Аполошка, старший Митькин брат. Кон-

фузливо подшмыгивая носом, Аполошка уставился себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятишек.

— Чистые сапустаты! — подсказал дед Квадрат.

— Погоди, не лотоши, — поморщился Денис Иванович и спросил Аполошку, повертев перед его закопченным носом найденной на наковальне железякой.

— Ты ковал?

— Я... — отворачиваясь, сознался Аполошка.

— Это что ж такое будет?

Аполошка промолчал.

— Это дышляк, — сказал за него малец.

— Что за дышляк?

— Это что колеса вертит, — быстро заговорил Митька, заблестев непросохшими глазами. — Мы тут паровоз делали. И все обратно положим, как было...

Митька с поспешностью подскочил к груде железного хлама и вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу крупного калибра.

— Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тута дырку заклепаем, и котел будет... А тут колеса... Пар сначала пойдет здеся, потом здеся и здеся...

Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на наковальню.

— Ты вот что, Аполошка... Паровоз — это ладно... Ты мне скажи: болт отковать сможешь?

Аполошка перемялся ботинками.

— Ну что ж молчишь? Экий ты козюлистый!

— С нарезкой? — глядя куда-то в сторону, спросил Аполошка.

— Как положено.

— Если с нарезкой, то плашки надо.

Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.

— А ты откуда это знаешь, что плашками?

Аполошка поддернул носом, и даже что-то презрительное промелькнуло в его сумрачном чумазом лице.

— А как же?

— Гм... — пожевал губами Денис Иванович. — Ладно, делай пока без нарезки.

— Простого болвана?

— Давай простого.

— Сейчас прямо? — недоверчиво спросил Аполошка.

— Сейчас и валяй.

— Дак какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?

— Валяй на три четверти.

Аполошка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул Митьке:

— Ну-ка, качни.

Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу над головой, и повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув рычаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.

4

Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, малиновое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засинело огоньками. Аполошка пошурудил огонь и сунул прут в угли.

Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мосластые скулы, бугристый лоб, все, что было упрямого в этом нескладном подростке, оставив в тени лишь его раздумчиво-синие, широко распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного, невидимого, загоревшегося в самом Аполошке, он враз как-то повзрослел, сурово построжал, будто заказанное ему дело прибавило целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого мастера молодит, юнца — мужает.

Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят, смотрят, как Аполошка клещами поправляет, нагартывает на огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные, в сивой окалине клещи, на гневно ревущий огонь так, будто отродясь ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала все понятия, то ли сам Аполошка удивлял — ведь огурец зеленый, опупок — а поди ж ты! Но скорее всего оттого завороженно стояли старики, что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на то, как калится, краснеет ме-

талл в жарком нутре горнила, на самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитроумные обращения с металлом.

— А ну, примай паровоз! — крикнул Аполошка так, будто это не был Агафьин Аполошка, в огороде которой молнией разбило грушу, а сам огненный бог, свершавший свое таинство в ночи. Дедок вздрогнул и, подчиняясь спешности дела, мигом подлетел к наковальне и смахнул паровоз. Аполошка выхватил из горна бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жаром, припадая на хромую ногу, шагнул к наковальне, очертив в темноте ослепительную полудугу. Черная Аполошкина тень изломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.

— Зубило! — крикнул Аполошка, и белки его сверкнули в темных провалах глазниц.

Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном держаке, приставил его к пруту, спросил Аполошку только взглядом: «Здеся?» — и Аполошка, кивнув, одним взмахом молота отсек конец прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил его на попа, часто, торопко затюкал по концу молотком, осаживая прут и поворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом повороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту самую паузу, то веселое кузнецкое «дилинь», непременное для всякого порядочного мастера, во время которого он успевает мгновенно оценить сработанное, прицелиться и поправить поковку. Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стеариново осел и утолщился и, остывая, помалиновел.

Сунув опять заготовку в горн, Аполошка кивнул своему подручному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжко сопели где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раскаленную угольную крошку, Аполошка снова был молчаливо-суров и строг лицом, как хирург.

— Шестигранник или четыре угла? — обернулся он погодя к Денису Ивановичу.

— Давай на шесть.

Аполошка выхватил болванку, сноровисто огранил, поправил в обжимке и швырнул в корыто с водой.

Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внимательно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.

— Да, болт... — сказал он.

— Нарезать? — спросил Аполошка.

— Не надо. Верю. — И, повернувшись, протянул болт дедку.

Квадрат принял штуковину обеими руками, долго держал ее в пальцах за концы, поворачивал и все качал головой.

— Поди ж ты...

— Дядя Захар за один нагрев болт делал, — сказал Аполошка, глядя куда-то в угол. — А я два раза грел...

— Ишь ты... какой, — покосился на него Денис Иванович. — А колесо ошинуешь?

— Ошиную.

— И концы сваришь?

— Дядя Захар показывал... А так — не знаю...

— Показывал, говоришь?.. Гм... Ну, а сошник?

— Культиваторный?

— Он самый.

— Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется. Рессорная.

— Ты мне пока так, одну форму.

— Один не оттянешь. С молотобойцем надо.

— А ну, давай попробуем, — сказал Денис Иванович и, захваченный азартом живой и горячей кузнецкой работы, ее древней и дивной затягивающей силой, добавил молодцевато:

— Поищи-ка Ванюшкин молот. А ты, дед, покачай нам, а то малец умаялся.

Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разойдясь, расстегнув шубейку и по-мальчишески заблестев глазами, говорил под тяжкие, воловьи вздохи мехов:

— Вот, Денис, штука-то какая... Гляжу я, нету на русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для души... окромя, когда деревенская кузня гомонит молотками... Вот и ракеты теперь пошли и все прочее... А все ж таки кузня — всему голова... Как хочешь...

— Ты давай качай, качай, старый! — буркнул Денис Иванович.

— Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было думал: опосля Захария кончилась у нас династия... Ан перенялась... Проросло семя...

5

Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпилок спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой веселостью. Всполошенные серпилковцы никак не могли взять в толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая открылась непонятная всенощная перед самым Октябрем. Прибежавший на деревню Митька запальчиво рассказывал:

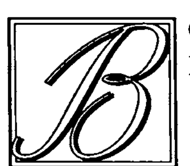
— Ой, что делается! Сам Денис Иванович куеть... Ватник снял, в одной исподней рубахе... Перемазался — ужасть... Денис Иванович куеть, а Квадрат качаить... Денис Иванович Аполошке: «А это сделаешь?» — «Сделаю». — «А это?» — «Сделаю»... Аполошка не сдается ни в какую. Все экзамены повыдержал. Сколь всего понаковали — ужасть!

— Да ты-то куда опять? — спрашивали Митьку. — Мать вся избегалась.

— А! — махнул спущенным рукавом малец. — Скажите ей: мол, некогда... Послали за водой. И за куревом.

1965

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ



есна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах, — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням в райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец

сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешение снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы; белые бинты; белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки... Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда ж в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая госпитальная нянька тетя Зина. — Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте...

С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому это была самая томительная

военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, раненые, — со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточно-прусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой, унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю меня уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его кострец, обвязанный солдатским ва-

фельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползался незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямился и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было, и не было условий, чтобы щадить нас милосердием.

Обработанный солдат какие-то минуты еще остается в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносила это с механической однотонностью, как, наверное, уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежат за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везут сюда, и многим другим, которые в этот час находятся к западу от сосновой рощи, еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони...

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посредине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь, — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их про-

сительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?!», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим! — И, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: — Само-садик я садила, сама вышла прода-а-ва-ать...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовались тоска и зависть.

Войска восточно-прусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне, как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.

К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед, Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесови-

ков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала как веревочный гамак.

Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило, и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих попахивало собственным тленным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание... Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое... Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванка-

ми с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняло изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще все ликовало, быть может, в это самое мгновение я все еще хохотал над удиравшими танкистами — и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями...

— А ты не балуй на войне, — резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом».

Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия — гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали... — слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. — За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел. За четыре-то года... Повида-а-ал...

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же. В окруженье однова попали...

Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет. Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова...

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А то как же.

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда. Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что... Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гинуть-то.

Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях. — Дак где ж ее взять... Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как до́бро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадочной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, написанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон, на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, какие-то

по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко остриженный под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу... — не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко, спрашивает, — переводил я шепот Копешкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены, — очистившемуся, синему, высокому — чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Доскандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливчиков — Саенко и Бугаев — почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай... Птица поет.—Михай культей обнимал Таню за плечо и подводил к подоконнику. — Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно — и слух, и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник, Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдер-

жанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых случаях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду и благодаря этому получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в общежитие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста. «Чтобы носить эту Звезду, — сказал он ему, — одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены.

— ...выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнилы.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та яснэ ж дило...

Шаги и голоса отдалились. «Бу-бу-бу-бу...»

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, потерся глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная. Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался. Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана... — сопел Самоходка. — Я бы тебе... вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы! — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая...

Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубном, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам!

Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили.

— Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаев! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит...

Таня подсела к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежку — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье, — повалили на

улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— А-ай-ай... — качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, разглядевшая Михая. — Ох да страдальцы горемычныи-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а....

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну, не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные

людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:

Идет война народна-ийя-яя...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас. Оркестр смолк, и сразу же, без роздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?!
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь!

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался.

Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и с каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестьем по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э...— замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем, пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?!

— Нэ надо... — покраснел Михай, у которого, как мы знали, имелась одна-единственная медаль «За боевые заслуги». — Чужих нэ надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, нэ хочу.

— Скромность тоже украшает. Так... Одну секундочку. Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— «Отечественная», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И «Славу» повесь.

— Можно и «Славу». Можно и полного Кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка, — как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок. На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.

Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивается и устраивает перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имею благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть, прикидывая, какие можно к нему применить декорацию и реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.

— Но, может быть, он желает?

— Ничего он не желает. Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай кончай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава Богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед... — сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце.

Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом, зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие, — концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый... Ох ты, Господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какого супостата одолели, какую долю вытерпели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталося...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товаришчи! — поздравил он усталым, по-детски тонким голоском. — Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядысь.

— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема часу. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, это вино досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди.

Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, обещали какое-то таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли... — предложил Саенко.

— Да давайте.

— Пусть сперва Михай, — сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой. — Бугаев взял Михаев стакан. — Ты давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... за Победу!

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы посмотрели, как Бугаев, наклоняя стакан, вылил вино в птенцово-раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень, — удовлетворенно сказал Бугаев. — Это дело. Ничего, наловчишься... — Он вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. — Я одного такого знал, как ты, так он приспособился: зубами брал стакан за край и высасывал все до донышка!..

— Вино пить можно. А как его теперь делать будешь? — Михай тряхнул узлами рукавов. — Вину руки нужны.

— Ничего, браток! Не падай духом. Жинка поможет.

— А-ай-ай... — Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это... — прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки.

Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесни, — посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговеется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь, — засмеялась Таня.

— Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно охмелел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? Нашими дру́жками будете. Такую свадьбу сварганим... Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко, а внизу Волга... Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходá идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Нэ-э, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори!

— Нет, брат. — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Нэ пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую, — он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду нэ пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон. — Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени... А пиво я люблю, чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил задумчиво: — Оно, поди, теперь не из чего варить...

Таня кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла.

Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири.

Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле», — думал я, слушая разговоры.

Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая

о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника.

Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю...

— Тише, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Копешкин поморщился.

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?

Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну, и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Где-то там, в неведомом краю, стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина она — центр мироздания.

Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов. Вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью,

скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок.

Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.

Копешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копешкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни.

А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух,

чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную, праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое нечто, именуемое прахом. И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился...

Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже не нужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт.

— Ох ты, — проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копешкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, — такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его

избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о Победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст Бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них...

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, — сказал Саша.

— Ну... прости-прощай, брат Иван. — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку. — Вечная тебе память...

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

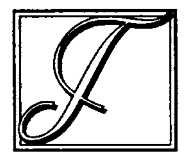
В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

1969

«ГРЕЧЕСКИЙ ХЛЕБ»

Наконец минула страшная голодня тридцатых годов, поразившая Россию в результате насильственной коллективизации. Наряду с действующими продовольственными карточками разрешена свободная коммерческая продажа хлеба. В городе объявился первый хлебный торговец, открывший свою пекарню и хлебную лавочку.

После грозового летнего ливня ребятишки нашего двора, насобирав разномастных монеток в сточной канаве, шумной гурьбой отправляются покупать белый пшеничный хлеб в лавке заезжего крымского грека.



реческую пекарню мы учуяли еще издали: запах свежесброженного теста вкрадчиво и пьяно веял среди сомлевших от майской благодати плакучих ив городского сквера. Казалось, ради одного этого хлебного запаха на скамейках под ивами обитали какие-то не очень ухоженные люди. Иные, подобрав ноги в обшарпанной обуви, дремали на жестких планчатых сиденьях, подложив под голову котомку или скомканное пальто.

Чтобы не проходили мимо хлебной лавки, предусмотрительный грек подвесил над входом раскрашенный и даже посыпанный крупитчатым «маком» деревянный калач, а над ним приколотил кованые буквы, означавшие название лавки — «Такош», за что и самого грека прозвали Такошей.

Дверь, обитая железом и окрашенная охрой, трудно поддалась нашим рукам, и мы, невольно засмирев, вобрав головы, вошли друг за дружкой в сумеречную после улицы хлебную теплынь приземистого помещения. На белых струганых полках, приторoченных в несколько рядов к стене, вольно, касаясь друг дружки лишь округлостями бочков, лежали большие высокие ковриги. Они будто расслабленно выдремывали, отдыхали после жаркой печи. Их темно-коричневые покатые верхи тускло лоснились отсветом солнечного дня, глядевшего в единствен-

ное запыленное оконце. Вместе с исходившим от них теплом, полнившим небольшую сводчатую лавку, хлебы источали еще и крепкую духовитую испарину, свой глубинный дух, рождавшийся где-то в самой их раскаленной сердцевине, там, где еще продолжал обитать затаившийся жар и где все еще дозревала вся в разветвленных дырчатых дрожжевых ходах белая пшеничная мякоть.

Замерев, забыв о себе, мы, давно не видевшие сразу столько белого хлеба, обомленно, будто перед святыми ликами, стояли перед ковригами, жадно и глубоко, насколько хватало наших легочных емкостей, вдыхая этот густой, бражно дурманящий запах, и чувствовали, как чем-то заволакивало глаза и начинали слабеть и не подчиняться наши ноги...

В лавке никого не оказалось, но вскоре, должно, услыхав тягучий скрип входной двери, в проеме подсобки показался сам Такоша — невысокий грузный человек в белом халате, опоясанном по округлому животу тесемчатым пояском. Кроме халата, на нем ничего другого, наверно, и не было, потому что из-под нижнего края одежки торчали толстые голые ноги в ременных сандалиях. Блестевшая испариной терракотовая лысина, начинавшаяся чуть ли не от черных густых бровей, убегала под красную турецкую феску, из-под которой выбивались над ушами кольчатые кудри. Жесткие подстриженные усики подпирали большой вислый нос, а на распахнутой груди, кипевшей кудлатым барашком, мерцало золотое распятие. Такоша держал в руке большую глиняную кружку, из которой он сперва отхлебнул что-то и только потом спросил, утираясь пухлой пятерней:

— Вам что, малчики? Клэб?

Колюн кивнул. Следуя ему, закивали и мы:

— Ага, хлеба нам...

Такоша, пришлепывая сандалиями, грузно заступил за прилавок, к весам. Ему было жарко, он одышливо сопел и утирался ладонью.

— Сколко клэб? — спросил он, снова отхлебнув из кружки.

Мы замешкались, смущенно запереступали босыми ногами.

— Почему нэ говоришь? Кило? Полкило? Бери сколько хочешь...

Колюн, ища подмоги, обернулся к нам, стоявшим чуть позади, и тогда Такоша, заглядывая в Колюновы глаза, наклонил-

ся над прилавком, так, что из нагрудной поросли выпал и засверкал, закачался на цепочке крестик.

— Дэнги ест? — спросил он сипло.

— Есть... — неуверенно сказал Колюн.

— Покажи...

Колюн, запустив руку в карман еще не просохших после дождя штанов, принялся собирать свои монетки в единый кулак.

— Ты мнэ дэнги — я тэбе клэб, — говорил Такоша, наблюдая за Колюновым карманом. — Пэт рублей кило. Есть пэт рублей?

Мы тоже принялись выгребать карманы и выкладывать свои чумазые кругляшки на прилавок. Только мне не хотелось отдавать свой рэсэфэсээровский белый блескучий полтинник, на котором был вычеканен кузнец с молотом перед наковальней — может, грек даст хлеба и за одни те монетки, что выкладывали ребята.

Кучка разномастных старинных монет не вызвала у Такоши никакого интереса, на что мы тайно надеялись; напротив, наш добытый в канаве «капитал» поверг его в гневное возбуждение. Толстой ладонью с ворсистыми пальцами он распростер, будто размазал, монеты по прилавку и, засопев, обдал нас кислым квасным духом:

— Что этта?! Что?!

— Как «что»? — переглянулись мы.

— Что ты мнэ давал?! Этта — дэнги? Этта — нэ дэнги! — запальчиво восклицал Такоша, утрачивая и без того слабую способность говорить по-нашенски. — Я что — собсем дурак?

Колюн понуро молчал, глядя на свои босые, исцарапанные, искусанные крапивой и комарами ноги.

— Ты хотэл обман? Тэбэ надо турьма... Цабирай свой обман.

Размашистым движением обеих рук он сдвинул монеты на край прилавка. — Цабирай и уходы!

Колюн молча ссыпал монеты в карман, а мне повелел:

— Давай полтинник...

Я выложил свою заветную монету, и Колюн звякнул ею о столешницу, будто пошел с козырного туза. Такошины брови вскинулись разлетом, он подобрал блестевшую серебром полтину и отошел с ней к окну. Мы оледенело ждали его решения, и он наконец объявил:

— Этта тоже нэ дэнга...

— Как? — изумился Колюн.

— Тэперь нэт такой дэнга, — сказал Такоша, продолжая подносить к глазам полтинник. — Тэперь этта уже нэ дэнга.

— Это же серебро!

— Гдэ — сэрэбро? — обернулся Такоша. — Какой сэрэбро?

— Там же написано! — Голос Колюна взмыл, заострился от несправедливости. — Девять грамм чистого серебра! На бровке написано!

Такоша еще раз сходил с монеткой к окну и долго разглядывал ее в солнечном свете.

— Этта — не дэнга, — поморщился он, воротясь и небрежно бросив полтинник на прилавок. — Этта тэперь медал. Носи на шея, а купит клэб — нэт... Тэперь такой монет не ходит.

— Ну дядечка! — надломившимся голосом взмолился Колюн. — Ведь там же написано...

— Ладно! Карашо! Давай твой медал.

Такоша бросил полтинник в картонный коробок. Было слышно, как тот звякнул среди прочей мелочи.

Он достал из-под прилавка начатую ковригу, вскинул ее на грудь и, с хрустом взрезая шоколадно зажаренную корочку, откромсал полную, от края до края, скибку. Не взвешивая, он протянул не старшему среди нас Колюну, а младшенькому Михе.

— На, дарю!

Миха цапнул скибку, и по округлившимся его глазам было видно, что он все еще не верит случившемуся. Мы тесно сгрудились вокруг добытого ломтя, который держал на обеих ладонях обескураженный Миха, и каждый невольно тянулся к нему, стараясь хотя бы понюхать, вдохнуть его тонкий, возбуждающий запах. После глинистого, тяжелого пайкового хлеба с каким-то привкусом хозяйственного мыла этот был так необыкновенно легок, воздушен и бел, что не представлялось, как его можно есть по простым дням, например с крапивными щами, а не в какие-то особые, праздники, чтоб лежал он на белой скатерти, а все за столом были умыты и аккуратно причесаны...

Наконец Колюн отобрал ломоть у Михи и ножичком, сделанным из слесарной пилки, разделил его на праведные четвертинки...

— Давай-давай, малчики, уходы... — отмахнул рукой Такоша из-за прилавка. — Нэ мешай, нэ мешай работа.

Он еще не успел выпроводить нас, как входная дверь натужно заскрипела и в лавку вошла цыганка в желтом бахромчатом платке на плечах. Шурша юбками, она бесшумно, как бы безного, перекатилась к прилавку и сразу затараторила, принялась морочить Такошу:

— Дарагой! Скажу тебе, что было, что есть и что будет. Глаза твои темнее ночи, в них никто не увидит твоей судьбы, а я увижу...

— Иды, иды, Маруса... — заотмахивался Такоша. — Нэ надо, нэ надо!

— Я много не попрошу, дарагой...

— Иды, говору! Ты вчера был.

— Что ты, красавец! Это не я...

— Как не ты? Ты! Только платок другой...

— На такого красавца можно каждый день смотреть... Чтоб тебе быть богату!

— Иды, говору! Надоела, как муха...

— Ладно, не серчай, давай руку.

Такоша привстал со стула и потянулся за палкой, которую всегда держал при себе.

— Иды, говору...

— Тихо, тихо, красавец...— попятилась к двери цыганка. — Чего кричишь? Чего палкой махаешь? Чтоб тебе Бог сделал дырку в кармане...

— Уходы-ы... — Такоша, побагровев, выскочил из-за прилавка. Цыганка грубо выматерилась и, подобрав юбки, захлопнула за собой дверь.

Пока они препирались, мы успели проглотить свой хлеб, так и не почувствовав сытости, будто поели воздуха, и теперь стояли у порога просто потому, что не хотелось уходить...

— А вы что тут? — разгоряченный Такоша схватил Миху за его голую тонюсенькую руку. — Что еще надо? Иды, иды тоже...

— Дяденька! Можно мы еще постоим, — запросил Миха. — Мы только понюхаем...

— Что нухать? Что нухать? — Не отпуская руки, Такоша подтолкнул Миху к выходу. — Клэб надо кушать, а нэ нухать. Всэ идут нухать, а дэнег нэт... Иды, иды, закрывать буду. Нухай на улице.

...Посидели под ивами в Пролетарском сквере, глядя, как рабочие распиливали на кряжи сваленное промчавшимся вих-

рем дерево. С моста на Херсонской поплевали в Кур, еще мутно бурливший недавним ливнем. По его захламленному берегу, заросшему чередой и спутанной ежевикой, похожей на мотки колючей проволоки, пощипывая молодые ежевичные проростки, немного отдающие вином, добрели до городского вокзальчика, откуда поезд из пяти сидячих вагонов каждый час уходил на главный вокзал, отстоящий в нескольких верстах, в Ямском заречье. Локомотивчик был невелик, весело раскрашен в зеленое, с долгой трубой, похожей на «козью ножку», и большими красными колесами с тонкими экипажными спицами. Внутри паровозика что-то знойно звенело, короткими сдвоенными толчками выбивался пар, от обнаженных штоков и шатунов вкусно пахло горячим маслом. Перед каждым своим отходом паровозик пронзительно свистел, выбрасывая спертый пар на обе стороны медного начищенного гудка. И в ожидании этого надрывного, ошеломляющего свиста, который, сколько ни жди, как к нему ни готовься, обязательно заставит вздрогнуть от внезапности и пронзительной силы, и потом, радостно обомлевшие, немо улыбаясь какому-то внутреннему счастью, долго онемело сидим, ничего не слыша заложенными ушами, — в этом и состоял весь сокровенный смысл нашего терпеливого ожидания и сидения на корточках напротив готовых к бегу красных колес.

Но вот поезд, ознобив нас своим неистовым вскриком, наконец ушел, оставив за собой глухо постукивающие рельсы. Мы молча слушаем их, маревно дрожащие под солнцем, и Пестрик, вглядываясь в паровозный дымок, всякий раз задумчиво говорил:

— Пацаны, давайте тоже рванем...

— Куда?

— Куда-нибудь...

— А гроши?

— А мы по шпалам...

1997

ЖАНИХ

сли захочется побывать в Малых Репицах, где неплохо берет ныне редкий подуст, то следует высматривать не саму деревеньку, а тамошнее сельпо, возле которого и обозначена автобусная остановка. Магазин в Репицах новый, выстроенный из силиката, будто из кубиков пиленого сахара, так что хорошо виден издали.

По причине торговли разливным керосином магазин поставили не в уличном ряду, как до пожара, а вынесли за деревню, на телячий выгон. К тому же прежняя торговая точка располагалась как-то не по справедливости. Кто жил рядом или через дорогу, тому явная выгода. Стоило отодвинуть оконную занавесочку, как сразу видать, на месте ли Васючиха, какой товар разгружает: ежели хорошее чего, то можно и подскочить на босу ногу, занять очередь в первом десятке. А кто живал по дальним концам, те оставались внакладе: «Бывало, развезет, а ты прись, не ведая, открыто или нет. А ежли дехвицит какой, то завсегда — к самым одоньям... А теперь ладно: с любого двора магазин видать. Снует по выгону народ, стало быть, открыто, густо повалил — значит, новый товар поступил: стиральный порошок или пачечная вермишеля...»

И продавщица Васючиха (по паспорту — Васильевна) тоже довольна: вот тебе в полсотне шагов — асфальтовое шоссе, подвезти чего не по грязи, опять же на товарооборот влияет и даже на культуру местного пайщика. Прежде иная репицкая покупательница — и неумытая, и непричесанная, дескать, таковское дело, все свои, некого стесняться. Теперь же спрохвала не пойдешь, потому как в магазин приезжие люди заглядывают, а то и

зарубежные туристы. Натуральный мед берут, летом — яблоки, тыквенные семечки для послабления... Того гляди, на фотоаппарат защелкнут...

Одним словом, удачный получился магазинчик, приветливый, и место — никому не в обиду. Вот только вокруг — ни кустика, ни деревца, голимый пустырь, выгоравший в иное лето до бурой неприглядности и скуки.

— Что ж такая промашка? — сетовали приезжие. — Посадили бы чего.

— Мы хотели, — соглашались местные, — да бабы воспротивились.

— Отчего же?

— Кричат: вам, мужичью, абы кусты да заслоны. А нам ничего этого не надобно. Нам чтобы торговлю не застило...

На знойном полуденном выгоне все же обитала кое-какая живность. Семейками, во главе с петухами, бродили разномастные куры. Возле пересохшей болотины толокся гусиный выводок. Недремные папаша и мамаша зорко поглядывали с высоты своих шей-перископов, тогда как голенастые гуськи-подростки, все еще в своих светло-желтых мохерах, тыкались морковными носами в сухое, растрескавшееся днище. Они будто недоумевали: куда подевалась желанная вода, та, похожая на зеленый кисель майская лужа, на просторах которой они еще недавно весело резвились, играли в салочки. Встряхивая ушами и вяло взмыкивая, бесцельно, туда-сюда переходил рыжий кудлатый бычок, волоча за собой на веревке железный шкворень, от которого искрометно брызгали возросшие в числе кузнечики. За бычком неотступно, настороже следовали две молодые курочки, еще без взрослых зубчатых гребней, с округлыми голубиными головками. Едва шкворень принимался ерошить траву, как обе курочки, вздрогнув крыльями, пускались вдогонку за разлетавшимися стрекунами, которые, ликуя от солнца и льющегося зноя, блаженно звенели и тирликали по всей забывшейся мертвым сном луговой округе.

Время от времени обитатели выгона навещали Васючихино торговое заведение. Особенно любили бывать здесь деревенские куры, которые, собрав все просыпанное на крылечке и около него, забивались под застреху керосиновой землянки, где, улегшись в уже готовые лунки, выбитые предшественницами, принимались за излюбленное банное дело. Топорща перья,

чтобы открывался доступ к самому телу, они короткими вскидками то одного крыла, то другого азартно нагребали на себя горячую, сухую пыль и, утолясь и обессилев, медленно опадая крыльями, блаженно замирали в сладостном забытьи, задергивая серым шершавым веком оранжево-янтарные глаза.

Молодые же курочки, как бы оберегая еще мало ношенные, ладно пригнанные платьица, всей своей новизной и легким облегающим кроем делавшие их похожими на школьных выпускниц, предпочитали более опрятное и необременительное занятие, впрочем, как и вся теперешняя молодежь. Будто на конкурсном подиуме, картинно, долговязо прохаживаясь вдоль стен, как бы демонстрируя эту свою долговязость в желтых колготках, они в какой-то момент высоко подпрыгивали, склевывая с теплых магазинных кирпичей зазевавшихся мух.

Что до гусей, то большепалые, бесперые подростки, телами все еще обгонявшие свои умственные способности, многозначительно интересовались всякой ненужностью, даже зубчатыми пивными крышками или пустыми конфетными фантиками, перебирали их клювами, поворачивая и так, и этак, переговариваясь и обсуждая находки детскими подпискивающими голосками, заставлявшими умиленных родителей зорко бдеть задержавшееся детство.

Тем временем рыжий бычок с неотступным шкворнем на веревке, сопя и выфыркивая зеленые травяные пузыри, увлеченно обнюхивая тарные ящики, возбуждавшие крепкими незнакомыми запахами, чесался о них боком, расшатывая и руша на себя ящичные штабеля, нимало не пугаясь этой порухи, а напротив, как бы довольный содеянным, побрел к сельповским ступеням, чтобы полизать солоноватые перила и в знак удовлетворенности оставить Васючихе теплую, парящую лепешку.

Чем заметнее калился выгон, тем все реже появлялись на нем репицкие покупатели. Васючиха уже несколько раз выходила на крыльцо, глядела из-под руки на замершую пустошь: не идет ли кто... По случаю наступившего безлюдья она уже было собралась накинуть замок, чтобы слетать по неотложному делу в родное Абалмасово (всего-то в двух верстах по шоссе и в десяти минутах на велике), как на одной из троп, что от репицких дворов во множестве сбегались к торговому центру, за-

маячила белым платком согбенная старушенция, сосчитывая свои дробные пришлепистые шажки долгой клюкой.

— Здрасьте! — подбоченилась Васючиха. — Леший несет эту Павловну. Небось, за пустяком или так, потрепаться...

Впереди Павловны бойко шустрил по дорожке, выныривая из кашек и полынков, мохнатый белый завиток, из чего следовало, что Павловна жалует не одна, а в сопровождении некой живой души ростом не выше окрестного травостоя. Этакий крутой крендель способен сотворить только собачонок, пребывающий в добром расположении духа от своего беспечного путешествия в летний погожий день, да еще бегущий впереди хозяйки!

Перед магазином собачонок, далеко опередивший Павловну, внезапно оказался на открытом бестравном пространстве, выбитом машинами. Смущенный такой нерасполагающей переменой, а еще тем, что под стеной магазина сидели заезжие байдарочники с устрашающе вздутыми рюкзаками, испускавшими терпкий, пронзительный запах затиснутой в них перегретой резины, он настороженно замер на своих коротких и кривых ножках, и его добродушно закрученный кренделек поникло сполз со спины. Не зная, что ему делать, песик присел и вопрошающе оглянулся на Павловну, но та, приуставшая от зноя и долгопутья, продолжала сосредоточенно и невидяще тыкать тропу костяно навощенным батогом.

— Жучок! Жучок! — знакомо поманил собачонка мужик-репчанин, вместе с байдарочниками тоже дожидавшийся автобуса. — Чего застеснялся, хвост поджал? Тут все свои. Иди, дурак, покурим. Ну-ка, давай сюда лапу!

Жучок, узнавая и не узнавая мужика, неуверенно перебрал передними лапками, словно обутыми в белые пинетки. Склонив голову, он бочком поглядел на репчанина, продолжавшего хрипло манить и щелкать пальцами, и, не поверив в его панибратство, на всякий случай зашмыгнул за широкую юбку Павловны, в самый раз поравнявшейся с ним.

— Зачем пожаловала-то? — с высоты крыльца, будто с трона, спросила Павловну Васючиха, мельницей вертевшая на пальце большой магазинный ключ. — Уж не за помадой ли? Я намедни целый короб «Ванды» завезла. Еще не открывала, будешь первою.

— Ой, девка! — издали причетно откликнулась Павловна, останавливаясь и передыхая. — Какие помады, какие помады?.. Насмехаешься, што ль? Мне бы постного маслица. А то чибрики затеяла, глядь, а в бутылке — муть одна. Масло-то есть, али зря бежала?

— Еще есть малость, заходи...

— Да вот пропасть какая, совсем никуда стала: посудку-то я забыла! Порожняя приперлась. У тебя, Васильна, не найдется ли, куда б налить?

— Найдем, уважим...

— Ну, слава те... А то ить не ближний свет обратно за бутылкой вертаться. Да и пряников хотела маненько...

— И пряники имеются. Глазурованные.

— Не засохлые?

— Третьего дня завезла. Хоть губами ешь.

— Эко ладно-то. Ты, Василька, дай-ка мне штуки три в счет пенсии...

— А почему три?

— Тот раз я у тебя семь штук одолжила. Для ровного счета дала б троечку...

— Ладно, заходи...

Павловна пересекла толоку и с оханьем и кряком взнеслась на крыльцо. Застясь бабкиной юбкой, боязно озираясь то на байдарочные рюкзаки, то на матерого гусака, вызрившегося угрозным зраком, Жучок проследовал за Павловной и неумело, косолапо, задевая писей ступени, вскарабкался на высокий помост. Он вознамерился тоже нырнуть в сумеречную прохладу помещенья, но Павловна не позволила, выставила в дверной прощелок свой протертый кед и назидательно, словно на паперти, сказала:

— Низя, низя нехристю. Погодь тут, я скоро.

Жучок истово поскреб захлопнувшуюся дверь и, убедившись в ее неприступности, тоненько и слезно заскулил. Но никто не внял его горестным «воплям», и он потерянно и смиренно припал боком к кованому подножью двери.

Известно, однако, что беда не ходит одна: в самый этот момент в дырку меж крылечных балясин просунулся рыжий Быча. Он тупо, бодуче уставился на Жучка, должно, пытаясь понять, взаправдашняя ли это собака или просто оброненная собачья

шапка. Бычина морда с широким плоским межглазьем, поросшим упрямыми завитками, в которых запутались цеплючие катышки дурнишника, придвинулась так жутко близко, что Жучка обдало отвратительным духом сброженной травы, шумно вырывавшимся из влажных бычачьих ноздрей.

Самообладание вконец покинуло Жучка, тем паче, что отодвинуться от этой мерзкой морды было некуда, и он опрометью бросился с крыльца, оставляя на ступенях мокрое многоточие...

Бдительный гусак, разумеется, не упустил случая припугнуть удирающую собачонку: изогнувшись шеей, он зашипел ядовито, распахнул ветрила и, подняв взмахами сухую перетертую траву, сделал устрашающую пробежку вдогон. Потерявшийся Жучок метнул белками скошенных глаз и, поджав хвост под самый голый живот, постанывая и повизгивая взрыдно, наддал еще пуще и, пытаясь укрыться, найти защитное место, лохматой шаровой молнией влетел под навес керосинки.

Но лучше бы Жучок этого не делал: едва он заскочил под земляной навес, как там, в терпкой пещерной прокеросиненной спертости, вдруг что-то не то взорвалось, не то обрушилось. В клубящемся перьями и пылью сумраке истошно закудахтали всполошенные куры. Суматошно толкаясь, тесня друг дружку, они с воплями выметывались наружу, больно наступая когтистыми лапами на опрокинутого Жучка. Его и самого будто вышвырнуло какой-то землетрясной силой, и он, нахлестанный крыльями и осыпанный банной пылью, очутился в жарких и жестких зарослях чертополоха, с боков обступавших керосиновое хранилище.

Все эти злоключения стряслись с Жучком в тот самый миг вращения планеты, когда Павловна пребывала в ублажающей душу магазинной прохладе, напоенной благоговейной вкрадчивой кофейно-ванильной пряностью и перечно-горчичной острецой выставленных съестных товаров, снадобий к ним и приправ, тогда как от противоположного прилавка веяло кожано и шубно, клеенчато и одеколонно, отчего размягченной Павловне никуда не хотелось уходить, возвращаться в знойное, полуденное репицкое бытие, в обветшалую избу с опревшим углом, к помятой алюминиевой кастрюле на лавке, в которой пузырилась наскобленная на терке серая картофельная дрегва. А еще было у нее желание если не потрогать всю эту магазин-

ную благодать, тем паче — испробовать по самой малости, то хотя бы неспешно потолковать с Васючихой, поведать ей свое, выпытать ейное, особенно если вынесет из подсобки стакан настоящего заварного чаю с конфеткой, как иногда случалось в прошлые разы.

Оно, может, и к лучшему, что Павловна замешкалась в магазине и ничего не видела. За это ее отсутствие Жучок постепенно отдышался в своем заколюченном чертополоховом вертепе, убрал тряпично свисавший язык и несколько раз сотрясся всей шкурой, выколачивая из нее пыль и щепной мусор. Для окончательного успокоения он поскреб сперва за правым ухом, потом — за левым и, сложив перед собой обе передние лапки — белое к белому, коготок к коготку, смиренно приник к ним головой и сквозь колюки принялся следить за магазинной дверью.

Тем временем жизнь окрест магазина приняла свое прежнее беспечное течение.

Рыжий Быча, должно быть, привлеченный запахом цветочного мыла, пытался сдернуть с бельевой веревки меж двух врытых столбов какую-то Васючихину постирушку, тоже весело раскрашенную колокольцами и васильками. Но поскольку тряпица была прочно схвачена прищепками, а веревка после каждой потяжки натужно пружинила, то постирушка, резко взлетая, всякий раз нахлестывала Бычу по упрямой морде, тем самым доставляя ему занятное удовольствие.

Рядом молодые гуськи, раздобыв кем-то оброненную сушку, азартно гоняли ее по двору. Каждый норовил ухватить и съесть находку, но сушка, выветренная до одеревенения, не поддавалась никаким поклевкам и щипкам. Своей неуязвимостью она еще больше возбуждала долговязых несмышленышей, и те, толкая друг друга, недозволенно отпихивая противника крепким шишковатым закрылком, совсем по-хоккейному носились за дырявой шайбой, орудуя долгими шеями с оранжевыми наконечниками, очень похожими на фирменные клюшки. Старший Гусь Гусич со всей строгостью и неподкупностью следил за этой игрой, и на его белой, важно выпяченной груди весьма не хватало судейского свистка.

Любительницы же земляных бань, отбежав в сторону и сбившись в табунок, некоторое время испуганно тянули шеи, озирались и, квохча, обсуждали случившееся, так и не поняв,

что же произошло... Но все вокруг оставалось без изменений, даже откуда-то появился оранжевоперый молодцеватый петух с золотистой прошвой по вороту — а-ля Ришелье, — сразу же некстати принявшийся ухаживать за неприбранными, всклокоченными дамами, писать по земле выпущенным крылом и совершать кавалерские загибоны, уверяя цокающей скороговоркой, будто он знает, где запрятано жемчужное зерно, и предлагает лучшей из лучших последовать за ним. От этого ловеласничанья петуха куры окончательно успокоились, но не последовали за ним искать обещанный клад, а начали одна за другой, сторожко поднимая лапы, снова пробираться к своему банному заведению.

На все это смиренно поглядывал Жучок, ему тоже хотелось побегать на свободе, но он не смел, время от времени горестно вздыхал и, опадая боками, выпускал из себя глухое, похожее на жалобу ворчание.

А Павловна все не выходила от Васючихи, зеленая магазинная дверь по-прежнему оставалась запертой, и от ее равнодушной недвижности делалось еще тоскливей.

Жучок уже подумывал отправиться домой один: сперва отползти на брюхе сколько-то, чтобы никто не заметил, а потом вскочить и припустить что есть духу. Но осуществить это все как-то не решался. А скорее, ему мешал невнятный навязчивый запах, иногда слабо наплывавший откуда-то издалека, с выгона. Жучок приподнял голову с лап и пошевелил закрылками ноздрей согласно старой собачьей пословице: лучше один раз учуять, чем десять раз увидеть. Сквозь керосиновый флерок, привычно витавший над врытым железным баком, пробивалось нечто приятное, мясное. У проголодавшегося Жучка с языка побежала слюна. Он нетерпеливо вскочил и принял охотничью позу: спрямил хвост и прижал к груди переднюю лапу. Этому его никто не учил, в его роду не было ни пойнтеров, ни легавых, поисковая стойка получилась как-то сама собой. Сразу же подтвердилось: пахло действительно мясом и не просто мясом, а мясной сладковатой томленостью. Так однажды пахла ливерная колбаса, которой, почему-то поморщась и обозвав себя старой беспамятной вороной, угостила его Павловна. Она без сожаления отдала ему порядочный кусок. Бережно и благодарно принимая угощение, он тогда боязливо вскинул глаза на Павловну: не ошиблась ли? Жучок никак не мог взять в толк,

почему Павловна не стала есть свою половину, как бывало прежде, ведь та колбаса показалась Жучку особенно запашистой. Она пахла точно так же, как теперь тянуло с выгона. И окончательно выверив направление, Жучок сделал несколько осторожных бесшумных шажков...

...Манившее место оказалось ворохом строительного мусора, оставленного здесь после открытия магазина. Куча уже задернилась и поросла мелкой сорной ромашкой. У подножия этой «исторической» пирамиды, будто часовой, стоял навытяжку долговязый гриб, ростом гораздо превышавший Жучка. Он-то и навевал на округу этот душный ливерный аромат.

За долгое свое стояние гриб состарился, остроконечная морщинистая шапка, похожая на атаманскую папаху, съехала набок, а единственная штанина пожелтела и лопнула по всей длине. В этой разверстой ране, сочившейся липкой дегтярной жижей, упоенно бражничали какие-то черные сутулые козявы. Жадно внюхиваясь, Жучок изучающе обошел вокруг грибной ножки и наконец убедился, что крепко пахнущая штуковина — вовсе не ливерная колбаса, а нечто несъедобное и вообще непонятное. Но запах пробирал до самого нутра, так что уступить находку он никому не хотел, а потому решительно поднял заднюю лапу и старательно побрызгал прямо на честную компанию козяв. От этого мероприятия гриб сронил свою смушковую папаху, а его нога переломилась пополам и тоже не устояла...

Павший великан испустил такой густой, обволакивающий ливерный букет, что не выдержавший искушения Жучок с глухим урчанием припал к грибным останкам и несколько раз потерся о них белым шелковистым горлом. Но, не удовлетворившись этим, он опрокинулся навзничь и, постанывая самозабвенно, вертляво ерзая крестцом, принялся вмазывать в себя размятую кашицу.

Накатавшись вдосталь, Жучок бодро вскочил и, счастливо лучась глазами, возбужденно пробежался туда-сюда, испытывая необыкновенный подъем духа и желание немедленно, сию же минуту пересмотреть все отношения и восстановить справедливость. От внезапного прилива бодрости он лихо царапнул землю позади себя, далеко отшвырнув крошево старой штукатурки, и резво обежал мусорную кучу. Его черные ушки вскинулись острыми косячками, а хвост снова воспрял крепко закрученным бубликом.

В таком вознесшемся самочувствии пребывать на месте не было возможности, и Жучок, оставляя за собой шлейф грибного аромата, гордясь им и сам себе нравясь, пустился в пробежку по более широкому кругу, неожиданно повстречав на его периметре оранжевого петуха, ошивавшегося возле куриных бань. Петух вскинулся восклицательным знаком, вздорно, возмущенно закокословил: «Кто таков? Кто таков?» Жучок не стал представляться, заискивающе вертеть хвостом, а решительно ринулся на кочета, так что тот, перестав чиниться, надменно встряхивать гребнем, закрывавшим то один, то другой глаз, совсем простецки побежал прочь, промелькивая сзади оголившимися подштанниками: «Не имеешь права!..»

— Н-гаф! — вдогонку пальнул Жучок и, опять царапнув землю задними лапами, вернулся к грибному месту.

Вторую пробежку он совершил против часовой стрелки и оказался на толоке возле байдарочных мешков. Жучок с лаем пробежал так близко, что мог их куснуть, но мешки даже не шевельнулись, наверное, спали, и он лишь полаял на них незлобно, с разбега.

— Жучок! Жучок! — опять поманил репицкий мужик, шлепая ладонями по колену. — Чего шумишь? Выпил, что ли? Иди сюда, обормот.

Жучок чуть задержался, признал в мужике соседа Николая и приветно дернул хвостом. Присутствие знакомого человека придало ему еще больше решимости, и он, зачастив звончатым лаем, бесстрашно подлетел к рыжему Быче.

— Н-гай! Н-гай! Н-гай! — колокольцем залился Жучок, припав перед Бычей на передние лапы и задорно потряхивая над собой закрученным хвостиком.

Быча размеренно уставился на собачонка туманно-синими глазами, не понимая, чего от него хотят. А когда понял, что ему предлагают что-то веселенькое, то в ответ охотно мотнул лобастой башкой с двумя рожками по сторонам, похожими на бабулины наперстки, тем самым как бы говоря: «Ты — так, а я — так!»

Жучок ловко отпрянул, забежал сбоку и добавил лаю. Быча, путаясь в собственных четырех ногах и вездесущей веревке, не очень проворно развернулся, но собачонка там уже не было, а лай раздавался с другого бока. Быча задвигал большими шерстистыми ушами, но в этот миг его больно дернули за хвост.

— Э-э! — обиженно замычал Быча.— Ты вот как... Я так не хочу...

— Н-гаф! Н-гаф!

— М-ма-ма-а...

Этот лопоухий увалень, еще не научившийся бодаться и всех принимающий за своих приятелей, однако своим добродушным сопением так напугавший тогда Жучка, вдруг отвернулся от бестолковой собаки, не пожелавшей весело попрыгать друг перед другом, и обиженно потрусил в луговую скуку, волоча за собой царапавший землю шкворень. Жучок догнал и цапнул зубами эту убегавшую забабаху, но она оказалась железной и раскаленной солнцем, подобно той сковородке, которую он однажды, по молодости, лизнул, когда Павловна, жарившая свои чибрики на дворовой загнетке, отвернулась по какой-то потребе.

— Н-гаф! Н-гаф! — погрозил Жучок недругу за такой подвох, но тут же плюхнулся наземь, чтобы пугнуть блоху, некстати куснувшую за самый крендель. Однако хвост оказался недосягаемым, чего Жучок прежде не знал, и он со все возрастающим азартом завертелся вокруг самого себя, щелкая зубами совсем в малости от укушенного места.

Мудрый Гусь Гусич словно вычислил этот благоприятнейший момент, когда Жучок, вертясь, потеряет всякую ориентировку на местности. Крадучись, низко пластаясь, чиркая по земле дородным подбородком, Гусь Гусич дотянулся-таки до собачонка и ущипнул его за штанину так, что набил себе рот черной собачьей шерстью. Жучок ойкнул от неожиданности, но не пустился наутек, как полагал Гусь Гусич, а напротив — цапнул его за крыло и вырвал большущее, с косой оторочкой перо, похожее на то, каким писал еще Пушкин. Пера было очень жаль, тем более что таких дорогих экземпляров имелось у него всего несколько, и вознегодовавший Гусь Гусич больно хлестнул Жучка вскинутым крылом, что вызвало у того прилив возмущенного лая, небывалой звонкостью заполнившего, казалось, всю округу от Абалмасова до Нижних Репиц и все воздушное пространство между ними до высоты птичьего полета.

— Тфай! Тфай! Тфай-тфай-ай!

Его белые пинетки мелькали то слева, то справа перед опешившим Гусем Гусичем, который уже начал остерегаться, дер-

жать голову у земли и шипеть с этой приземленной позиции, а его угрозное шипение все чаще перебивалось обескураженным гортанным кегеком.

Дворовый шум и гам, наконец, принудили распахнуться кованую дверь. На крыльце запальчиво объявилась Васючиха, следом, поотстав, выбралась и Павловна.

— Что за содом?! — Васючиха перегнулась через перила. — Это чей же такой, заливастый? Аж уши закладывает. Не твой ли?

— А то чей жа... — Павловна, укрываясь от солнца, потянула на себя застреху белого платка.

— Нет, ты погляди на него! — изумилась Васючиха. — Четырехлапая варежка, а гусака напрочь затуркал. Аж перо у него выпало. У меня в магазине такие же перья, только со стержнем. Ну, молодец! Ну, парень! И правильно! Так их, ошивал! Гони всех взашей! Сладу с ними никакого нету. То вон ящики вверх тормашками перевернут, то лепех наделают... Третьего дня один заезжий, наш ли, чужой ли, сейчас их не разберешь, вижу, машина с восемью фарами, дак он-то нечайно ступил каблуком на куриную завитушку да и поехал с порожка и так жахнулся, что до машины едва доволокся. Вот жду из района неприятностей, мол, не чищу, не посыпаю... А мне на кой все это? Слушай, Павловна, отдай-ка мне кобелька? Ну, хорош! Ну, шустер! Отдай, а?

— Насовсем, что ли? — не поняла Павловна.

— Ну хоть до зимы. Пока снег падет.

Павловна переобняла клюку, но промолчала.

— Дак а на что он тебе? Чего охранять-то? А у меня, сама видела, сколь всего... Да хоть бы и на двор иждивенцев не пускать... Это сегодня еще Никульшиных коз не было. Те, подлые, аж на крышу по ящикам залазят. Отдай, а?

— Не-е, девка... — не сошлась Павловна.

— А хочешь, я тебе за него бутылку масла налью? Ну, вдобавок пряников насыплю? Целый кулек? Ты же пряники уважаешь...

— Не надо и пряников. — Павловна, стесняясь своего отказа, прятала глаза от Васючихи, глядела куда-то далеко, за выгон.

— Такой пустяк уступить не хочешь, — напирала Васючиха. — Я ведь к тебе со всей душой... И наперед сгодится...

— А я с кем останусь? — Павловна опять поддернула платок. — Пустые углы съедят.

...Жучок, увлеченный потасовкой, наконец ухватил бабкину хрипотцу и, не раздумывая, расстался с Гусь Гусичем. Повизгивая от нетерпения, помогая себе подбородком, он единым порывом одолел высокие ступени и тотчас заподпрыгивал перед Павловной, заплясал на задних лапах. Потом заодно перекинулся и на Васючиху.

— Фу-у! — отняла руки Васючиха и сама отшатнулась. — Да от него чем-то несет!.. Нет, нет, не прыгай на меня... Фу, какая мерзость! Павловна! Да усмири ты его!

— Это у него вроде одеколона, — ровно сказала Павловна. — Для бодрости.

— Ничего себе — одеколон!

— Дак от тебя, чую, тоже несет... Всем охота покрасоваться...

— Ну, сравнила! — всерьез обиделась Васючиха. — У меня — «Ванда»! Да убери ты его, честное слово!

— Ладно... — Павловна принялась ощупью спускать ногу с крыльца, цепко хватаясь за перила. — Спасибо за маслице, за чай-сахар.

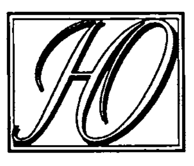
— Да чего уж... — отозвалась Васючиха, все еще пряча руки за спину.

— Айда, жаних! — причмокнула губами Павловна, зазывая Жучка. — Пошли в бочке купаться.

Жучок походно уложил на крестце черно-белый кренделек и, заняв место впереди Павловны, бодро и споро зачастил белоопушенными лапками, время от времени оглядываясь на бабулю: идет ли?..

1998

КАРТОШКА С МАЛОСОЛЬНЫМИ ОГУРЦАМИ



рка гостевал у своей деревенской бабушки, сидел у окна на лавке, дожидаясь, когда в печи поспеет молодая, недавно убранная картошка. В эту пору она так хороша, что вовсе не обязательно было есть ее с хлебом, а только прикусывать с зеленым лучком, кругляшами белой щипучей редьки, сдобренной конопляным маслом, а еще лучше — с малосольными огурцами, которые, как только их принесут из погреба, враз полнили избу чесноком, укропом и смородиновым листом.

Набирая из распущенного снопа пучки ржаной соломы, бабушка скручивала из них перевяслица. Делалось это для того, чтобы солома сразу не пыхала, а горела подольше, поддерживая в печи ровный непрерывный жар. В нашем полустепном крае не всяк день топили дровами, а пока держалось тепло, обходились разной подножной всячиной: лозняком, полынком, обмолоченной соломой, тем паче, на дворе нежится бабье лето, в голубом, погожем безветрии дремотно плавится паутина, а в подзаборной мураве благодатно зинзикают кузнечики. Так что до заветных дров было еще далеко.

Однако же топить соломой было колготно: от печки не отойти, не опустить руки, пока не сварится еда. Соломенные закрутки, будто живые, норовили развиться, бабушка прижимала локтем, гася их змеиный порыв, и, выждав момент, подсовывала жгуты в печь. Веселый, светлый соломенный пламень уже в который раз принимался лизать черный, запотело лосня-

щийся чугунок, накрытый такой же черной сковородкой. Однако, казалось, чугунку все было нипочем, будто и не ведал он робости перед огнем, тем более соломенным, и вовсе не думал закипать. Но бабушка все подбрасывала, все обкладывала его перевяслицами, не давая огню иссякнуть, спрятаться под легкую кружевную золу. И вот наконец-то из-под сковороды вышмыгнула робкая струйка, потом рядом — другая, чугунок нехотя принялся что-то бормотать и побулькивать и вскоре уже неудержимо захвастался: «Бульба я, бульба я, бульба!» — и пустился выфукивать пузыри и выплескивать на свои округлые бока пахучую картофельную юшку.

— Ага, проняла-таки мазурика! — торжествующе объявила бабушка и сковырнула чапельником с чугунка сковородку. — Пусть еще чуток побулькотит, да и сливать будем. Картошка еще не застарелая, варки немного требует.

Проголодавшись, Юрка нетерпеливо млел в ожидании, когда бабушка наконец-то вывалит в глиняную черепушку объятые паром картофелины. В лопнувших от внутренней натуги сермяжных одежках, с сахарно-зернистыми разломами, картофелины будут исходить неистовым жаром, от которого, если в нетерпении куснешь перебрасываемую с ладони на ладонь каленую барабульку, мигом перехватит дыхание, а по щекам побегут нечаянные слезы. Тут-то в самую пору гасить пожар в распахнутом рту холодными бочковыми огурчиками, еще молоденькими, пупырчатыми и хлестко хрумкающими на зубах. Пожалуй, нет еды азартнее пылающей картошки с малосольными огурцами, особенно когда за стол сядут с полдюжины едоков и примутся наперегонки скубить кожурки, дуть в ладони, запястьями утирать невидящие глаза и дышать по-рыбьи округлыми ртами. «Ай, хорошо! — вырывается то тут, то там за столом. — Вот это дак пропарило, будто побывал в бане!»

— Ай, чтой-то в поясницу вступило! — взмолилась бабушка. — Дай хоть присяду. Небось, опять прострелило. Дак и не диво: столь картошки перебрать да в погреб перетаскать. А подмоги — ниоткудова. Ты вот что, Юрко! Сбегай-ка в погреб да набери огурцов. А то я, раскоряка, и по лестнице не спущусь. А спущусь, дак и не выберусь обратно. Эко скрутило! Печку истопила — ничего, а чугунок подняла чаплями, меня и садануло. Аж не вздохнуть. Сходи, голубь, уважь старую.

— Кто? Я-а? — не поверил бабушке Юрка.

— Да кто ж у нас еще, окромя тебя?

— Во что набирать? — готовно спохватился Юрка.

Никогда еще не бывал он в бабушкином погребе. На чердаке избы бывал — ничего особенного: хлам да паутина, на сеновал лазил, тоже неинтересно, даже на старое дерево, что под окном, забирался поглядеть, кто там пищит в дупле? Но его клюнула в макушку галка, и он едва не сверзился на землю. А вот в погреб, да еще одному, — такого никогда не бывало. Он даже почуял, как полыхнул ушами — так пришлась ему бабушкина просьба.

— Так во что набирать? — теребил Юрка бабушку.

— Вот тебе миска, наклади полную, чтоб и к обеду осталось.

Юрка схватил эмалированную миску и хотел было выскочить во двор, но бабушка удержала за руку: — Да смотри не ошмыгнись, лестница там крутая, я и то не раз с нее падала. Особенно когда руки поклажей заняты. Ты перекладину-то ногами пощупай. Сперва подошевкой уверься, а тогда только переступай. Понял?

— Понял! — кивнул Юрка, порываясь высвободиться.

— Да погоди ты, егоза! — волновалась бабушка. — Экий ему нетерпеж! Ох, грех на душу беру... Лучше я сама как-нибудь спущусь. Дай-кось сюда миску...

— Не дам... — набычился Юрка и спрятал посудину под рубаху.

— Какой натурный! Вылитый дед! Тот, бывало, так вот упрется... Да ты хоть творило осилишь поднять? Оно ить в три доски-пятидесятки...

— Оси-и-лю! — заверил Юрка на всякий случай, чтоб отпустила только.

— Ну ладно, егоз, ступай... Немочи мои ходу не дают, куда от них денешься. Я и так печку едва выстояла, в ногах не стало державы. А ить скоро зима, печку кажен день обряжать. Однако ж спичек тебе не дам: дверцу отворишь пошире — оно и без спичек станет видать. Солнца еще эвон сколь.

— Ладно, — согласился Юрка идти без спичек.

— Стало быть, слушай и запоминай: как, значит, спустишься, так сразу по правую руку и будет кадка с огурцами. Она сверху рогожкой прикрыта. Ты огурцы-то не буровь, а под ук-

роп подсунься и бери с краю, какие попадутся. Где у тебя правая рука?

Юрка не знал, где у него правая, а где левая, и так просто, низачем переместил миску из одной руки в другую, протянув бабушке ту, которая оказалась свободной.

— Ну вот тебе! — огорчилась бабушка. — Какая же это правая?! Грамотей! Так-то посылай тебя в темноту без спичек... Правая — вот она, запомни. — Бабушка задергала Юрку за правый рукав. — Потому и правая, что она всяким делом правит. Что бы ты ни взялся делать. Первым-наперво правая рука за это дело берется. Уроки ли писать или ложкой хлебать — все правой. И крест Божий только она творит... А левая — она вроде как в помощниках. Запомнил?

— А я все вот этой делаю, — не согласился Юрка.

— Да уж знаю, приметила... Потому и неслух такой, — смиряясь, вздохнула бабушка и зачем-то погладила Юрку по стриженой голове. — И откуда эта неправедность у тебя? Надо бы к Мелентьихе сводить, пока еще малой, слову податливый. Пусть бы пошептала чего да попрыскала святой водицей.

— Никуда я не пойду! — нагнул Юрка голову, похожую на свернувшегося ежика.

— Ну ладно, ступай! — отпустила бабушка внука. — Да смотри там, не озорничай, не оступись часом...

Распугивая кур, набившихся в сумеречные сени, должно быть, в ожидании картофельных кожурок или еще чего-либо съестного, Юрка вылетел во двор, полный ликующего солнца. Сквозь рубаху сразу почувствовалось его приятное прикосновение. Над двором с азартным визгом носились молодые, вылетевшие из гнезд вилохвостые касатки, гоняясь за слепнями и всякой прочей мошкой, а по ветхому, иссохшему плетню, переваляcь на бабушкину сторону, вилась и без устали пускала загребущие усы соседская тыква и все еще норовила цвести, протягивая к солнцу оранжевые пустоцветы.

Погреб находился как раз возле плетня. Над его лазом высился ивовый шалашик, закиданный сверху картофельной ботвой. Здесь, на погребице, в знойный летний полдень любили сиживать и охорашиваться бабушкины куры, а сегодня, когда Юрка заглянул под навес, на теплом твориле блаженно нежился тоже, как и тыква, соседский кот Кудря. Он плоско, как буд-

то одна только пустая рыжая шкурка, возлежал на боку, отбросив в сторону все четыре лапы и подставляя утреннему солнцу розовые пятнашки подушечек. При этом Кудря сладостно поигрывал коготками, то выпуская их наружу во всей цап-царапающей красе, то снова убирая в рыжую меховую пушистость. «Муры-муры», — удовлетворенно наигрывал он невесть каким способом — то ли когда вдыхал, то ли когда выдыхал воздух из своего слежалого нутра.

Коту очень не хотелось покидать укромное местечко, и он, не поднимая головы, а лишь слегка разомкнув веки, недвижно поглядывал за Юркой, не уберется ли он прочь. Чтобы не занимать рук, Юрка определил миску себе на макушку и крадучись, осторожно потянул из шалаша хворостинку. Кудря сразу все понял, внезапно вскинулся и опрометью прошмыгнул меж Юркиных ног, так что тот даже не успел их вовремя сомкнуть, чтобы прихлопнуть этого любителя чужих погребов. Это же он, конечно, на той неделе опрокинул кувшин с топленым молоком, когда бабушка забыла притворить погребную крышку. Кто ж еще? И цыплят таскал, пока те не подросли и перестали путать кота со старой цигейковой шапкой.

«Вот погоди, — пригрозил Юрка, — привяжу к хвосту жестяную банку, тогда узнаешь, как шастать по чужим дворам».

Поднатужась, Юрка с первой же попытки отвалил дубовый притвор на ременных петлях и, опустившись на четвереньки, заглянул в квадратную дыру. Оттуда сперто, холодно шибануло сырой землей и терпким укропным духом. Обмирая от неизвестности и любопытства, Юрка пытался разглядеть что-либо внизу, чтобы определиться, но, кроме нескольких изначальных ступеней жердяной лестницы, терявшейся другим концом где-то в пустоте, ничего больше со свету не увидел. Казалось, что там не было дна, твердой опоры, и разило холодом и клеклой землей вовсе не из погреба, а из прохладной пустоты, из самого разверзшегося земного чрева, где обитают те самые «кабиясы», о которых не раз так жутко рассказывала бабушка. Она вовсе не хотела запугивать Юрку, а просто не знала, что придет черед, когда надо будет и ему спускаться в это «кабиясное» подземелье.

Юрка сел на край, боязливо свесил в лаз босые ноги. Погребная стылость неприятно лизнула подошвы, он поспешил

убрать ступни под себя, после чего, скованный оторопью, долго сидел вот так у края погреба с миской на голове и поджатыми под себя ногами. Его даже посетила убедительная мысль, что картошку вовсе не обязательно есть с огурцами. Очень даже неплохо макнуть ее в постное масло, а затем присыпать солью.

Юрка украдкой оглянулся на кухонное окошко, не смотрит ли на него бабушка. Ему очень не хотелось, чтобы она видела его все еще сидящим на погребице. Но в окне никого не было, зато в спину ободряюще глядело солнце, и это наконец-то вывело Юрку из нерешительности. Он снова спустил ноги, зависнув в проеме на врозь раскинутых руках, стараясь нащупать под собой лестничную перекладину. Утвердясь на ней и переведя дух, он спустился на следующую, потом таким же образом еще на одну... Погребной холод охватно стеснил его тело, казалось, он погружался в колодец с холодной водой. Все его существо онемело, напряглось в ожидании, что вот-вот кто-то неведомый и мерзкий выскочит из глубины и когтисто вцепится в голые ноги. Но никто его пока не трогал, а над головой, в квадрате лаза, все так же ободряюще голубело солнечное небо, и Юрка, перестав прощупывать перекладины, разом, как в омут, скользнул вниз и раньше, чем ожидалось, с радостным узнаванием стукнулся пятками о земную твердь.

Здесь, на дне погреба, оказалось не столь кромешно: брезжило, как будто в серое ненастное предвечерье. Пообвыкнув, Юрка даже стал различать окружавшие стены и отдельные предметы. Обозначилась, замерцала стеклом земляная печурка, заставленная тускло-пыльными банками и бутылками. Сквозь стекло проглядывали рыжие шляпки каких-то грибов, трехкопеечным размером и округлым видом похожие на засоленные пальтовые пуговицы, в посудинках поменьше узнавались улыбчивая смородина с колким отблесковым лучиком на каждой чернявой ягоде и багряно-алая малина, хранимая на случай простудных хворей, и припасы ягоды черёмы, из которой получаются отменные пироги и которые можно жевать прямо с косточками, придающими печеву особую лесную горчинку, — все это, должно, еще от тех времен, от тех сборов, когда бабушка сама хаживала и по грибы, и по ягоды. Этим летом она уже нигде не была, кроме своего огорода.

Ниже печурки, на дощатой полке, теснились глиняные горшки и горшочки и совсем крошечные махоточки с округлыми — продеть только палец — черепняными держальцами, уже отслужившие в наземной надобности, но еще пригодные здесь для хранения каких-то бабушкиных лекарских секретов — от надсады, золотухи, черного ногтя, бородавок, застарелых цыпок, что Юрка уже заимел или мог подцепить, поскольку был великий «неслух» и бабушкина досада, как порой говаривала она в сердцах. Среди этой глиняной мелкоты выступали рослые дородные кринки, темно-кирпичные от печного загара, повязанные белыми марличками, будто платочками, делавшими их похожими на загорелых крутобедрых молочниц, пропахших пенками и смуглым топленым молоком. Прямо же перед Юркой, до уровня его подбородка, высился тесовый закром, доверху засыпанный картошкой. Бабушка перебрала ее по штучке, очистила от огородной земли, раскатала по утоптанному токовищу на ветерке. И вот она, котом спущенная по деревянному лотку, теперь лежит в закроме. Картофелины все чистые, светлокорые, налитые молодой сытой спелостью, с густым паслёновым духом. Но Юрке почему-то жаль картошку. Может, оттого, что там, наверху, было еще тепло, солнечно, и ей можно было сколько-то времени пожить на воле, как живут еще многие травы и даже цветут себе на здоровье. Впрочем, картошка сама виновата, что ее раньше времени упрятали подземь: вместо того, чтобы еще зеленеть да радоваться погожим денькам, она, глупая, зачем-то принялась хиреть и чезнуть листьями. И солнце ей не впрок, и воля не по нутру. Вроде сама со свету запросилась в погреб. «Ну и чего хорошего, — рассуждал у закрома Юрка, — лежать вот так навалом, друг на дружке, в темноте и холоде? Особенно худо нижним. Уж и надавят бока тем, кто на самом дне! Хотя, если разобраться, верхним картошкам и того хуже. Их первыми нагребут в корзину, снесут в избу, ножом соскребут шкуру и сварят в печи: которые покрупнее — людям на прокорм, а которые помельче да ушибленные — курам и поросенку. Если бы Юрка был картошкой, он забился бы на самое дно — подальше от бабушкиного ножика и чугунка. Как-нибудь перетерпел тесноту, зато долежал бы до весны, до ростепели. И тогда его снова отнесут в огород, выроют лопатой ямку и присыпят сверху теплой землицей. А он полежит-полежит, со-

греется после холодного погреба да и высунется ростком — поглядеть, что нового на белом свете? И примется пускать листья и цветы, станет снова жить да поживать. Ведь впереди — целое лето! Расти да радуйся! А когда осенью опять выкопают, он, не будь дурак, снова — на самое дно, и так до следующей весны, до новой ямки на огороде...»

В соседней дощатой отгородке хранились ворошки всякой огородной всячины: оранжевые морковки, напоминавшие вареных раков, как и те — тоже усатые и клещастые; загадочные округло-приплюснутые репы, похожие на одинаково выточенные юлы, казалось, выросшие затем только, чтобы бесконечно долго, до полного слияния с окружающим воздухом, вращаться на своих тонких хвостиках-ножках. А еще были редьки, покрытые грубой, черной кожей, однако хранящие под этой бычачьей юфтью белоснежную мякоть, пропитанную острым кочерыжным соком, нацедив которого в ложку и зажав в коленях Юркину голову, бабушка закапывала ему в ноздри, когда тот ознабливался и начинал хлюпать носом.

Отдельно от всех, в стареньком лукошке, как бы пребывая в особых почестях, хранилась свекла — на Юркин тогдашний вкус совершенно никчемный овощ, который он тайком выковыривал из винегрета. Однако же бабушка почтительно величала свеклу египетской варенкой, и на ее лице проступало благостное просветление. Она непременно говаривала, что будто бы этот красный бурак не просто так, а помянут в Священном Писании, и потому, должно быть, готовила винегрет только по церковным праздникам и никогда не выбрасывала остатки курам.

Огурцы оказались в приземистой, расклешенной книзу кадке. Юрка не сразу нашел их, а сперва запустил руку в соседнюю бочку. Но сколь ни вертел туда-сюда растопыренной пятерней, никаких огурцов, ни единой бубочки в бочке не оказалось, а только холодная вспененная вода. Юрка лизнул мокрые кислые пальцы, и ему почудилось в этой влаге что-то знакомое. Тогда для верности он зачерпнул миской, осторожно испробовал и, все больше уверяясь в своей догадке, отпил несколько глотков этой постреливающей пузырьками жидкости. В носу тотчас же защекотало, как если бы туда сунули травинку, а глаза позадернуло наволочью, так что он снова перестал различать, где право, а где лево. «Точно, квас! — не сразу прозрел он. — Вот это

так кваси-и-ище!» — удостоверился Юрка окончательно. Вспомнилось, как бабушка сказала, что огуречная кадушка накрыта рогожей. Юрка допил из миски квас и, еще как следует не отморгавшись после колкой шипучести, принялся вылавливать из-под рогожи холодные пупырчатые огурчики, источавшие аппетитный дух. Но тут где-то между банок, шурша и позвякивая о стекло, посыпалась сухая земля. Юрка невольно обернулся и вдруг на краю припечка увидел большую серую жабу... Поначалу он принял ее за ком земли и даже подумал отбросить прочь, чтобы этот ком не попал в кадушку с квасом. Но, присмотревшись, заметил, что эта серая, шишковатая глыба дышит, равномерно поднимая и опуская бока, а из-под надбровий внимательно, как-то прицельно, взирают желтые, немигающие глаза с косыми, как у кошки, черными зрачками.

Юрка оторопел. Это потом он будет хвастать, что нисколечко не забоялся. Но, если честно, то, конечно, маленько сдрейфил: а вдруг прыгнет на него или еще чего сделает нехорошее? Мгновенно вспомнилось все, что было слыхано о таких вот страшилищах, когда деревенская ребятня, окрестные Юркины сверстники, собираясь коротать вечер на перевернутой лодке, говорили, что если прикоснуться к лягушке, когда она раздувает свои пузыри на горле, то на руках непременно выскочат бородавки, и в подтверждение показывали друг дружке пальцы и запястья с этими таинственными вздутиями. Сказывали также, будто лягушка может так брызнуть сами знаете чем, что если вовремя не зажмуриться, то в глазу может появиться порча, а то и вовсе можно ослепнуть.

Юрка хотел было стрекануть наверх, но в эту минуту жаба раздула шею и скрипуче, но вполне отчетливо произнесла его имя.

«Юр-р-ра!» — сказала она с расстановкой, нажимая на «р». Это было так неожиданно, что Юрка, оторопев, не улепетнул вверх по лестнице, а остался у ее подножия как вкопанный.

«Юр-р-ра!» — повторила жаба, и прозвучало это вполне миролюбиво, даже как-то просяще, будто в недомогании.

— Чего тебе? — отозвался Юрка, догадываясь, что лягушке что-то от него надо и что она вовсе не собирается на него нападать.

«Юр-р-ра! Юр-р-ра!» — твердила она, будто жевала крутую резину.

— Ну чего? — совсем освоился Юрка и заговорил с жабой как с давнишней знакомой. — Ты что? Тут живешь?

Жаба, будто подтверждая, приподняла нижние веки и задернула ими оранжевые ободки зрачков.

— Дак тут же холодно! И никогда не бывает солнца, — содрогнулся Юрка. — Как в тюрьме.

— Я так-кова, я так-кова, — вздымая бока, проскрипела жаба.

— А что ты ешь? Тут же есть нечего! Одни малосольные огурцы да картоха. А банки все закрыты...

Юрка пошарил вокруг глазами в намерении отыскать что-либо подходящее для лягушки, но ничего не увидел: ни мухи, ни мало-мальского комарика, никто из них не хотел залетать сюда, в погреб, где всегда было холодно и темно. Юрке стало жаль жабу, такую малоподвижную неумеху, которая безысходно живет в этом погребном неуюте.

В ответ жаба подняла свою медлительную переднюю лапу и, закрыв один глаз, поскребла желтым ногтем там, где должно было быть ухо, но — которого никогда не было на этом месте.

В дверном проеме вдруг сделалось темно: кто-то заслонил солнечное небо. Юрка поднял голову, а это бабушка.

— Ты пошто не идешь-то? — зашумела она. — Жду-пожду, а его домовой нанюхал! Ну, лихо же мое! Уж, думаю, не сверзился ли с лестницы, не переломал руки-ноги? Лучше б сама доползла. Хоть огурцов-то набрал?

— Набрал...

— Давай сюды.

Юрка передал огурцы и побрел следом за прихрамывающей и кряхтящей бабушкой.

— Все ладом поделал? Не начередил чего? Варенья не пооткрывал?

— Все, как было. — Юрка нехотя плелся за бабушкой, за ее обширной юбкой, ходившей туда-сюда вокруг ног в пустых, шаркающих галошах.

— Дак чего долго-то? — допытывалась она.

— Да-а... Там лягушка.

— Ну и что — лягушка? Экая невидаль. Я еще в девках ходила, а она уже там жила. Это эвон сколь годов!

— Ей там есть нечего... — возразил Юрка.

— Ежели до си жива — стало быть, находит.

— И пить нечего...
— И пить находит.
— А давай мы ее к себе заберем?
— Это зачем еще?
— Будет жить с нами.
— В избе — что ли?
— Ага... у нас тепло: печка топится.
— Не выдумывай. В избе святые иконы висят, а мы в дом — нечисть всякую. Польза-то от нее какая?
— Она хо-ро-о-шая!
— Да чего ж в ней хорошего-то? Небось в руки брал эту непотребу? Иди сейчас же сполосни, а то так и за стол сядешь. Признавайся: брал ай нет?
— Не брал я! — осерчал Юрка.
— А то так-то бородавок нахватаешь...
— Ее тоже Бог слепил?
— А то как же!
— А зачем, если она плохая?
— А он всякой твари налепил по паре.
— А зачем?
— Чтобы было.
— А он из чего их всех лепил? Из глины?
— Из глины, из глины! — отмахнулась бабушка.
— Неправда! А вот глаза — не из глины!
Вместо ответа бабушка выждала, когда Юрка поравнялся с ней, и отпустила ему подзатыльник.
— Ладно тебе! — пресекла она Юркины происки. — Фома сыскался.
— А вот не из глины!!! — упирался Юрка.
Бабушка отпустила ему еще одну затрещину, и тот, полыхнув обидой, вдруг сорвался, опрометью пустился со двора и скрылся в жарких и шершавых рядах огородной кукурузы.
Отыскался Юрка на вечернем закате, запеченный на солнце, исцарапанный цепкими кукурузными листьями. Он снял изодранные на коленке штаны, залез на топчан под косяковое одеяло.
— И не поевши... — сокрушилась бабушка.
Когда он сморенно раскидался по подушке, бабушка примирительно огладила его жаркую пшеничную головенку и, на-

дев очки и пристроившись возле абажура, принялась штопать Юркины штаны, попутно сощипывая с них цепкие кужучки. Из единственного кармана на попе штанишек выпал стеклянный патрончик от валидола, который она прикончила еще на той неделе, а порожнюю посудинку вместе с домашним сором выбросила за сарайку. Было видно, как внутри трубочки все еще ползали две синие мухи и неугомонно царапался по стеклу желтенький кузнечик...

1989

ТЁПА

— Вот такая, стало быть, история. Недаром сказано: не родись красивым, а родись счастливым... Все, как у людей. — Петровна потуже затянула концы белого платочка.

Три года прожила она на стороне, при внуках. За это время перевелась вся ее деревенская живность. Огород так одичал, что потом едва отлопатила, от осота отбила. Сразу по приезду выскребла полы; словно гаданье, раскидала цветные половички, от соседей возвернула свою гераньку, та как и была — вся в алом цвету. Не утерпела, еще по дороге понюхала: ах ты, родненькая моя, пахнет-то как! Аж слеза навернулась. Проходивший мимо отец Василий заново освятил жилище, самолично зажег лампаду в святом углу.

Принялась жить...

Солнышко всходит да заходит, дни бегут, а заботы, окромя огорода, нету: ни тебе покормить кого, ни приголубить. Не привыкла так-то жить — пусторуко. Выйдет за порог, а во дворе — ни живой души.

И пошла Петровна по знакомым яичек поспрашивать, чтобы изнова квохтушек завести. Набрала ровно дюжину — из разных рук, с тем, чтобы и у нее курочки стали разными. На дворе веселее, когда одна в крапушку, другая с хохолком, а иная — вся в рюшах. И чтоб петушок удачным оказался: хозяином на дворе был, не шастал по соседям. От него весь порядок в заводе. Ну, конечно, чтобы и на песню был дока. Особенно на раннюю Пасху. Любила она, когда небо в синих проталинах, теплынь, даже в дом неохота. Первая пчелка прямо из снежницы пьет.

В соседней Покровке заутренний колокол эдак медово кладет поклоны. А петухи — как оглашенные! И ее тоже: крылами машет, старые перья от себя метет. Да как наддаст, наддаст — хоть подушкой накрывайся. Ведь толечко отгорланил, еще в ушах не улеглось, а он, переморгнув, уже заново гребень на спину закидывает, на цыпочки встает. Похоже, и петухи благовесту радуются.

Этакого певня и мнила себе Петровна: из дюжины-то яичек кто-нибудь, Бог даст, кочетком да проклюнется.

Принесла из чулана решето, выстлала донце пеньковой куделью и, перекрестясь, бережно уложила яички на мяконькое, а под решето подсунула резиновую грелку с теплой водой. Все это гнездовье обвязала старенькой шалью и стала ждать. А чтобы не сбиться со счета, на самоварной лучине нанесла первую отметину. Одна мета — один день, а их двадцать одна полагается: ровно три недели.

Все прошла, все исполнила Петровна, как присоветовала покровская зоотехничка Вика Сергеевна. Ни одной ночи сполна не выспала, еще потемну вставала греть да наливать воду, а сами яички — на другой бок поворачивать. И в последний раз собралась было двадцать первую насечку сделать, а он, золотенький, возьми да и пикни: «Пинь!» — будто капля сронилась в пустое ведерко. Дескать: а вот и я! И пошло капать: пинь да пинь... К вечеру все до единого из скорлупок выломились. Поначалу Петровна даже растерялась: эвон сколько и все хорошенькие! В золотой пушок одетые, глазки черняевенькие, с понятием, а пальчики уже с коготками. Стоит, голубчик, на лапках-крестиках, туда-сюда раскачивается да вдруг как припустится бежать, пока не запнется, не опрокинется через голову. Один туда побежит, другой — сюда. Петровна округлила их руками, чтоб не разбежались, а рук-то и не хватает. Была бы квохта-мама — та знает, что с ними делать: присядет, натопорщит перья, раскинет крылья и доверительно, журчащим голоском покличет погреться. Все мамы одинаковы — что цыплячьи, что щенячьи: последнее тепло готовы отдать. Но и еда тоже греет. Петровна поколупала заведомо приготовленное яичко, мелко искрошила его на тарелку и выставила угощенье на половичок. Однако цыплята не сразу поняли, что к чему, толпятся вокруг посудинки, некоторые попусту пробуют склевывать с ободка нарисованные незабудки. Тогда Петровна сжала кулак, выставила

указательный палец и, совсем как настоящая курица, принялась стучать ногтем по тарелке. Малыши с любопытством глядели, что делала Петровна-мама, и вот один из них, самый понятливый, самый шустрый, мелькнув зачатками крылышек, взгромоздился на край тарелки, покачался-покачался, обретая равновесие, и, царапая коготками глянец поливы, съехал на попе в самый ворох яичного крошева. «Цып-цып!» — тоже доверительно, ласково звала Петровна, продолжая постукивать по тарелке. Поняв, что надо делать, первым заскочивший птичик тоже стукнул в край тарелки, но, догадавшись, откуда исходил манящий запах, наконец попал в желтую крошку и осторожно, закрыв глаза, проглотил свою первую добычу. «Ну что же вы?» — подбадривала Петровна остальных, все еще не сумевших одолеть приподнятую круговину тарелки. «Яичко свеженькое, сладенькое. Вон братец ваш уже по второму разу клюнул. Оно ведь так: кто смел, тот и за двоих съел. А то как же?» Но первое яичко не столько склевали, сколь на лапах по дорожке разнесли.

Через неделю они уже вовсю подбирали с разостланной во дворе газетки пшенную кашу — крутенькую, рассыпчатую, да еще норовили закусить и мухой, тут же нахально потиравшей лапки, или склевать пробегавшего по газете перепуганного муравьишку. Одним словом, стали потихоньку обвыкаться на белом свете и больше не прятались под Петровниной юбкой от пролетавшего воробья. А тот, что первым залез в тарелку, так непоседой и оставался, с каждым днем пуще прежнего. Еще не виделось особых примет, а Петровна как-то сама собой определила, что этот-то непременно станет кочетом. На его подкрылках раньше, чем у других, заострились белые остинки, которые уже через несколько дней обнажили туго свернутые маховые перышки. Почувствовав на себе этакую обнову, шустрик возымел желание привстать на лапах и помахать еще не оперившимися подкрылками. Ветру, конечно, не получилось, но на однокашниц произвел должное впечатление, поскольку те все еще оставались в своих желтых пухлявых трико и пока еще махать им было нечем.

Имелся у Петровны и еще один кочеток на примете. Тельцем он был покрупнее остальных цыпляток и на ногах повыше. Но какой-то медлительный, вроде как не выспавшийся. Едва из-за тучек проглянет солнце, как он зажмуривается и замирает

в млеющем забытьи, как бы про что-то думает. Усомнилась Петровна: здоров ли? Но вроде ничего, из рук вырывается упрямо, сильный такой. И вообще — предпочитал жить самолично. Петровна частенько недосчитывалась его, когда собирала выводок на ночлег, но он, негодный, даже не пикнет, не подаст голосу, что, мол, я тут, в дворовой мураве затерялся. Опериться он не спешил, как бы не замечал своего ясельного костюмчика, теснившего в плечах и шаге. Он успел замарать себе лоб в цепкую вишенную смолу. К смоле прилипла одуванчиковая пушинка, и он выхаживал с ней, будто с бантиком, вовсе не замечая этого украшения.

А еще приметила Петровна, что он никогда не гонялся за мурашами, а только следовал за ними, разглядывал со своего высока. За все эти чудачества она назвала его Тепой: уж больно он какой-то неловкий, одним словом — недотепа.

К середине лета закурчавились Петровнины цыплята. Разоделись в свой веселый трикотаж: три курочки получились черняевенькие, три в мелкую серую смушку, а остальные выбрали себе мягкий каштановый цвет. Ну, прямо красавицы! Правда, на маленьких аккуратных головках еще не было никаких украшений — ни гребешков, ни сережек, да и мини-хвостики едва проступали между полами молодых крыльев. Шустрик тоже принарядился: накинул на себя огнистый, расшитый позолотой, выпускной офицерский мундирчик. На ногах — желтые чешуйчатые сапожки с заострившимися шпорцами на пятах. На темечке пока еще ничего тоже не наросло, а только обозначился розовый галунчик, из которого потом, аж к третьему Спасу, возвысится бордовый зубчатый гребень, который положен лишь в генеральском чине.

Про себя Петровна называла разбитного петушка Магометкой, потому что яичко, из которого он объявился, подарил ей Магомет Сундуков, заезжий муж прежней заведующей здешним сельпо Зинки Теребневой. У них полон двор всяких кур и болтливых индюков. На птичьи окорочка они и дом построили, и машину купили. Магомет — человек, видать, знающий.

— На, дарю... — сказал Магомет, потерев яичко о свой волосатый, пухлый живот. — Заводи на здоровье! Конкурентом будешь.

— Мне чтоб петушок получился.

— Будет тебе петух, — кивнул Сундуков. — Это яичко я на тарелке крутил. Все сошлось: петушком будет!

— И чтоб петь умел... — попросила Петровна.

— Веселый будет! — заверил Магомет. — Говорю тебе точно. Спать не даст!

И нос у петуха крючком получился — совсем как у Магомета, припомнила Петровна. Вылитый Магометка.

На Тепе особенных обновок не появилось, немного оперились только крыльца, остальное все еще пребывало в первородном сквозном пушку, так что казалось, будто Тепа хаживал в одном распахнутом пиджаке, но без штанишек. Чудак, право!

Невесть кем сказано: большие дети — большие заботы.

Ну, казалось бы: одеты, накормлены — Петровна уже и хлебушка, и рубленой травки стала добавлять — чего же еще? А вот поди ж ты: начали выяснять отношения — кому первому клевать, а кому опосля. Магомет, завидев Тепу, прямо-таки из себя выходит. Едва тот к еде, как и он тут как тут, клювом замахивается. А еще курочки невеститься начали. Ну, не всерьез, конечно, а так, пококетничать малость. То павой пройдет на долгих ногах или тоненьким голоском затюрлюкает. От этого Магометка еще рьяней делается. Так и наскакивает, так и намекает: «Пойдем, выйдем...» Конечно, Тепа, будучи повесомей и повыше на крепких ногах, мог бы и сдачи дать. Но юные прелестницы пока еще его не занимали, не пришел черед, и он уединялся в дворовых зарослях просвирника и спорышевой муравки.

Как-то раз Петровна даже изловила Магомета и, удерживая его за бока, принялась подразнивать им Тепу, чтобы тот, осерчав, в конце концов набросился бы на своего соперника. Она рассчитывала, что если Тепа задаст Магометке трепку и почувствует над ним свое превосходство, то таким способом утвердится в правах хозяина курятника. Но глупый Тепа не понимал, чего от него хотят, и не стал клевать затиснутого Магометку в голое темечко, а только пятился назад и удивленно, на высокой ноте спрашивал: «Что такое? Что такое?»

Зато Магометка, хватая воздух когтистыми лапами и взъерошив свою золотистую манишку, улучил-таки момент и так сильно, с вывертом стукнул Тепу в самую маковку, что в клюве его осталось несколько выщипнутых перьев.

— Что такое?! — еще больше удивился Тепа, потрясая головой.

...А между тем Тепа тоже наконец определился в своем одеянии. Сюртучок на нем выперился отменный — перышко к перышку. Если перышко имело темную окантовку, то следующее, перекрывавшее его перо — обязательно с белой торочкой. И так все — сверху донизу — и плечи, и спинка, и бриджики: пометка темная — следом пометка белая, темная — белая. А вместе — приятная тонкая рябость, как у крупной кольчатой вязки. И ничего лишнего, один только многозубый пунцовый гребень, будто замшевый гвардейский берет, свободно опадавший на правый глаз с оранжевым отрешенным зраком.

Заходила соседка, любовалась Тепой:

— Вот бы такую породу завести. Какой красавец!

— Да ить как заведешь? — пожаловалась Петровна. — Своих подружек никак не замечает. Вот, вижу, нравится он курочкам. Они и так около него, и эдак... А он, дурной, все растет, никак не остановится. Только недавно в перо оделся. Нет в нем петушиного гонора. Я дак и голоса его не слыхала. Другие петушки уже пробуют кукарекать. Первое коленце кое-как возьмет, а на втором — осекнется — учатся. А этот, как немтырь. Может, к нему все еще придет, да когда — уж скоро зазимки? А Магометка, идол, в чем только душа? — такой натурный, совсем этого заневолил. Не то что к курице — к еде не подпускает. Я и так — посажу его на колени да тайком с ладони кормлю. Дак Магомет, ежели увидит, сразу подскакивает и норовит меня ущипнуть: дескать, не смей на него зерно тратить, мне лучше отдай! Вишь, синяки на ногах — его работа.

— А я бы, девка, так сделала, — посоветовала соседка. — Вот днями Успенье будет, возьми да и свари петушиную лапшицу. Да и меня на петушатинку пригласи.

— Да жалко, — не одобрила Петровна. — Птица же. Она ведь без понятия...

— Как же без понятия! Это мое! И твое — тоже мое!

— Ну что поделаешь? У них так заведено. С людей пример берут...

— А я бы живо такому башку оттяпала. И вся тебе морока... — упорствовала соседка. — Ведь им все одно вместе не жить.

— Как можно? Я же их от самого яичка лелеяла.

— Ну тогда к Парфенихе сходи, — засмеялась соседка. — Попроси какого-нибудь приворота. Чтоб от кур не воротило.

— Да ну тебя! — отстранилась Петровна. — Смеешься, что ли?

— Ну тогда живьем продай.

— Кому продашь? Это ж надо в город ехать. А как от огорода поедешь — картошку скоро копать. Ладно, пусть пока бегает...

Свозить Магомета на городской рынок долго не получалось. А потом навалилась картошка. Это сколько же надобно почертоломить лопатой, пока перевернешь вверх дном эти пятнадцать соток. Под конец и спина столбняком возьмется, десять раз ойкнешь, пока последнюю картошину с земли подберешь. Копает Петровна, а сама все по небесам шарится, не копятся ли тучи, не заходит ли невзгода? А ты, говорят, не жадничай, сажай поменьше. Дак как же поменьше, ежели тут вся твоя жисть. Пенсию выглядать — шею свихнешь. А денежки кажин Божий миг нужны. Без копейки и охнуть боязно. Иной пуздырек растирки дороже ведра картошки. А на Петровне всяких болестей, что кужучек на чулках. А под запись уже никто ничего не дает. Это прежде бывало: придешь в сельпо и говоришь Зинке: запиши пару селедок под яички. Ладно бы брать картошку под соху — споро и неуморно: утром начали — к вечеру того же дня пошабашили. Еще девочкой была, лошадкой выпахивали. Тихо, без грохоту, без керосину, разве что конь хвостом свистнет, когда мухи одолеют. В сухую погоду картошка так и катится на обе стороны из-под лемехов. Да где ее теперь найдешь, эту сошку, разве что в музее. Да и конь ныне редок, всех со свету посживали: дескать, даром корм ест. Перешли на трактора. А тракторов наделали — выше избы росту. Где ж ему, такому дуралею, к примеру, на Петровнином огороде разъезжать? То смородинный кустик своими галошами сотого размера притопчет, то сарайку заденет, аж из-под крыши ласточкины гнезда попадают.

Картошку выкопать — еще не вся забота. Ведь и потом ей надо лад дать: от лишней земли избавить, на ветерке просушить, в погреб перетащить да и там с ведрами — вниз-вверх, вниз-вверх. На все — руки-руки нужны. А их, запасных-то, и нетути. Какие достались — кривые, с шишками на суставах, с черноземным маникюром. Поднесет Петровна пальцы ко рту, дует на них ветром, а они от ведерных дужек полымем горят, аж слезы за пазуху ручьем бегут.

С картошкой до самого Воздвиженья проваландалась, до самого дня, когда все ползучие гады на зиму в кучу сползаются, лезут во всякие щели, в погреба, ежели не заперто...

Уж и утренние росы калеными стали, мокрая юбка аж до обеда сохнет, а она все ведрами бренькает.

Перевернутая земля для птицы полна поживы: червяк ли, поздний кузнечик, а то забытый переспелый огурец весело до семечек раздолбать. Радуется Петровна: пусть куры вдоволь набегаются, вот раздождится, еще взаперти насидятся. И только Тепа все один да в стороне.

И надумал он себе занятие: Петровну с картошкой до погреба провожать. Она во двор, и он за ней. Иногда наперед забежит, первым вышагивает, вроде как дорогу кажет. «Ты бы взял у меня ведерко да пособил, — горестно усмехалась Петровна. — Ах, недотепа ты мой!» И жестко утверждалась: «Вот досыплю закром и повезу Магомета на базар. Дадут рубль — за рубль отдам, не стану упираться».

Завсегда после уборки огорода Петровна надолго выбывала из строя. И когда у сына в Тюмени жила. И на этот раз не минуло... Уложил ее этот распроклятый ревматизм. Страсть, как ноги выкручивает. Привязался к ней еще с артельных бураков. Ну да какие хворости, какое лежанье? Водицы принести надо? Надо! Хоть один раз за пару ден. Печку истопить тоже надо: уже иней под забором на полдня ложится, пар изо рта валит. Куда ж еще: Покров на дворе! Зима — вот она.

Да, забыла помянуть, что два раза за день, утром и вечером, в сарайке курам сыпануть обсевков надобно. А еще забота — изловить Тепу, занести в сени и там отдельно от всех покормить бедолагу. Совсем извелся в приживалах, даже полегчал чуть ли не вполовину. Заметила Петровна, что Тепу не пускают на общий насест, где куры, прижимаясь друг к дружке, коротают долгие и уже лютоватые ночи. А среди них Магомет — как «фон-барон», пристроился в самом теплом месте, нос за пазухой, в рыжей манишке греет.

Взяла Петровна молоток, ножовку и, несмотря на хвори, соорудила Тепе отдельную, свою собственную засидку — в уголке, подальше от коллективного насеста, чтобы сверху не падал на него помет.

* * *

В ту лихую ночь Петровна коротала на печи, на старой, вытертой кухлянке — грела ноги. Ночь пала студеная, метельная:

трещала матица, взахлеб выло в печи, секло ледяной дробью в запушенные окна. Петровна почему-то вспомнила из дальнего далека, что нынче Кузьминки, которые считались куриным днем. На обед варили кочета во щах, звали на похлебку родственников. А накануне приглашали батюшку, окропить насест, чтобы яички в доме не переводились. Вспомнилась и давняя прибалачка:

Восседайте, гости, кругом,
Полепнее друг ко другу:
Будет петушатинка,
А попу — курятинка.

— Нынче бы, в куриный день, Магометке наверняка не поздоровилось бы. За его злую шкоду и неправедность, — на печи вершила свой суд Петровна.

А еще за обедом возбранялось грызть мослы и хрустеть куриными костями — будто бы дурная примета.

А над крышей все скрипела с тонким подвывом старая ветла и, тревожно слушая ее, Петровна боялась, что не сдюжит она — падет и напрочь разбросает трубу.

2000

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ

накануне Дня Победы Петр Иванович Костюков — по-расхожему Петрован — получил из района повестку с предписанием явиться тогда-то к таким-то ноль-ноль по поводу воинской награды.

— Это которая-то будет? — повертел бумажку Петрован.— Семая, не то восьмая? Уж и со счету сбился... — нечаянно приврал он.

— А тебе чего? Знай вешай да блести! — разумно рассудила почтарка Пашута, одной ногой подпиравшая велосипед у калитки.

«Когда и успела этак-то загореть, обветриться: лицо узкое, темное, новгородского письма, подкрашенные губы — те и то светлее самого лика. Свежая еще, а ведь ей, поди, уже под семьдесят», — просто так подумалось Петровану.

— Не себе, так внукам-правнукам потеха. Да и сам когда тряхнешь при случае, — как бы уговаривая, весело прибавила Пашута, как привыкла, объезжая околоток, помимо почтового дела — старого утешить, малому нос утереть. — Пляши давай!

— Этак никаких грудей не хватит, — мучился смущением Петрован. — Аж пиджак наперекос пошел: пуговицы с петлями не стали сходиться. Хватит бы... Я ведь только одну неделю и побыл под Старой Руссой. А они все вручают и вручают... Вон Герасим, тот до самого Берлина дошел, на ристаге расписался — на него и вешали б...

— Вешать-то не на кого: плохой стал Герасим. Его теперь всякая граммуля долу тянет. — Пашута поправила алый шарфик, продернутый серебряной нитью, забрала его за ворот

куртки. — Давеча была я у него: сам не вышел, внучка выбежала, за повестку расписалась. Говорит: лежит дедушка, не встает.

— Ну да, ну да...— запнулся Петрован. — Стало быть, Герасима тоже согнуло... Дак ить он аж два раза навылет простреленный. В грудях и до си свистит. А ежли закурит, дак курево вроде из-под рубахи выходит. Весь дырявый. Бывало, засмеется: через меня оса наскрось пролазит...

— Небось шуткует, — усмехнулась Пашута.. — Дак и у тебя эвон какой рубец — во весь лоб. Как и живой только... И на руке пальцев нету, даже кукиш не сложишь.

— Э-э, девка! — отмахнулся Петрован. — Кабы б я руку в самом логове повредил, это б совсем иная разность. А то вроде как у тещи на огороде. В том-то и досада.

— Ну да теперь какая разница? Кровушка-то все равно полита?

— Тебе, может, и без разницы, а мне и до си обидно...

— Ну, в общем, Петр Иваныч, поздравляю с наградой!.. — Пашута, собираясь ехать, оттолкнулась от штакетника. — Давай готовь пиво, скликай гостей.

— Ты, может, зайдешь? — намекнул Петрован, придержав Пашуту за небесную болоньевую куртейку, озарявшую вокруг себя голубым и весенним. — Ты ить первая весть принесла. С тобой и чокнемся!

— Не, парень. — Пашута мотнула вольными, без косынки, кудрями.— Мне сичас нельзя: за рулем я. Еще ж в Осинки педали крутить.

— А там к кому?

— К Пожневу. Василь Михалычу.

— А Макаренок живой?

— Это который?

— Ты че, Макаренка не знаешь? Он ить тоже из наших, из ветеранских...

— Да кто ж такой — не упомню?..

— Изба за протокой. Всегда под его окнами гармошка пиликала, народ толокся.

— А! Макар! Макар Степаныч! — вспомнила Пашута. — Шавров его фамилия. У меня по спискам — Шавров.

— Ну, тебе — Шавров, а мне — Макаренок: в одну школу бегали.

— Этого давно нет, дом крест-накрест заколочен. Года два, как нету...

— Уехал куда? У него, кажись, сын в Набережных Челнах.

— Из больнички не вернулся. Стали старый осколок доставать, будто бы мешал, что-то там передавливал, а мужик и не сдюжил... Не пришел в сознание.

— Дак а Ивашка Хромов?

— Тому медали больше не дают.

— Это почему? — насторожился Петрован.

— А он по электричкам подался. На культе рукав задерет и — «Подайте минеру Вовке!..»

— Он же Иван, а не Вовка?

— Дак это — участник Великой Отечественной войны, а сокращенно — ВОВ. Ну, а он себя — Вовка. За то и не дают ему медалей. Боятся, что пропьет. Он же все свои прежние пустил на похмелку.

— Ну и посадили б, раз так.

— Дак вроде не за что: не украл...

— Лучше б украл: все ж варево на кажный день. И в баню сводили б... А так позор заживо съест.

— Это правда. Видела его на станции: опух, зверем зарос, босый ходит, ногтями по настилу стучит. От меня отвернулся, будто не знает такую.

— Стало быть, в Осинках теперь — ни души?..

— Один Пожнев и остался. Да и тот все ногу на подушке держит, лопухами обкладывает. Ему б на грязи, да грязи нынче кусаются... Такие дела... таковские... Тот раз, к писятлетию шестерым повестки возила, а нынче — только одну.

— А в Клещеве как?

— Туда уже не шлют... — Пашута перекрестила шарфик.

— Да-а, — обреченно заозирался по сторонам Петрован. — Лихо косит нашего брата. Уже к последним рядкам укос подобрался: к двадцать пятому да двадцать шестому году. То спереди меня, то позади вжикнет... А иные раньше моего под стожары убрались.

— А чево хотел? Народ вовсе брошенный. Особенно в деревнях. Я езжу, дак вижу: ни ёду, ни марлички. Здравпункты травой поросли, обрезают туда провода, режут за неуплату телефоны... Что случись — не докричишься... Ну, поехала я, а то не туда мы заговорили. Надо б радоваться: за медалью зовут, а мы...

Держись, Петр Иваныч, не поддавайся лиху... Да собирай гостей... — И Пашута белым курносым кедом порывисто надавила на взведенную педаль.

— Да, Пашка, да, девка... — неопределенно проговорил Петрован и перевел прищур с мелькавшей кедами почтальонки на разбродно и ленно бредущие в майском небе облака, как бы безвозвратно уносившие в вечность земные дни и мгновения.

В прежние времена из Брусов, где проживал Петрован, за юбилейными медалями отправлялось немало бывалого люду, из коего, если б подровнять носки, можно было выстроить не меньше взвода. Но вот и в Брусы пришел предел, и теперь из всех уцелел один Петрован, пока пощаженный лётом времени, поди, из-за того, что был он сух, скрипуч и шершав, как пустырный кузнечик. Несмотря на недочет пальцев, остался он хваток до всякого дела: тесать, пилить, виртуозничать стамеской, плести грибные кузова, класть легкодымные печи и лежанки и много еще чего. Но пуще всего отдавался он тракторному делу, которым заболел еще мальчонком, и два года перед войной провел прицепщиком. Семь ребячьих шкур спустил на жаре, по августовскому чернопаху, и белых мух вдосталь наглотался из снежных зарядов, а однажды задремал за плугом, да чуть было не сбрушило лемехом, расчищенным добела. Но ничто не отвратило его от трактора, от керосинового пота и натужного рева и грохота. Даже в свои семьдесят лет он, как прежний Петька Костюк, в неизбывной восьмиклинке с пуговкой на макушке, еще гонял на многопрофильном тягунке: окучивал колхозную, уже ельцинскую, картошку, морил колорадского жука, подбрасывал солому на ферму, бульдозерил на разъезженных дорогах — делал из грязи асфальт и ровноту. Он и теперь бы колесил на своем «Беларусе», понимавшем Петрована с одного кивка, если бы колхоз не распался на дольщиков, из коих кто-то однажды ночью выкрал из того «Беларуса» еще теплое сердце — чиненый-перечинен0ый движок, а на прокеросиненном сиденье оставил крутую лепеху с огуречными семечками...

Тем же вечером Петрован велел жене Нюше истопить баньку, и, пока та носила в котел воду и шебуршала берестой, налаживая пал, он, стащив рубаху и приладив на поленнице косяк битого зеркала, обстоятельно и придирчиво обстриг покороче

отпущенную было на волю, не шибко дружную бороденку, а заодно и укоротил лешачьи брови, уже начавшие застить белый свет.

— А ну, глянь, ровно ли? — представился он жене, вскинув подбородок.

Нюша, крупная, рукастая женщина, ухватила Петрована за сухонькие остряковые плечи и повертела туда-сюда, сощуренно отстранясь и сведя губы дудочкой.

— Ну, чего? Нигде не торчит?

— Вылитый царь Николай! — усмешливо одобрила Нюша. — Чуток бы росточку и — в самый раз на престол!..

— Ладно тебе! — не принял похвалу Петрован. — Все шуткуешь. А мне на люди идти. Глянь заодно, как там плешка: далече ль расползлась? Мне ить не видно. И зеркало никак не наведу — пляшет все...

— А тебе какая разница? Все одно в картузе пойдешь...

— Оно-то так... — задумчиво потупился Петрован. — Дак бесова печать и под картузом свое берет, человека изводит. А ить еще недавно со сна расчесать не мог. А? Нюш? Ужли забыла? И у тебя какая коса была — сущее перевясло! Куда все девалось...

— Туда и девалося... — Нюша шутливо взъерошила легкую седень на детской голове своего суженого и поддала ладошкой под зад, по пустым дряблым штанам. — В чем пойдешь-то: в сапогах али в плетенках? На дворе уже обсохло, можно и в плетенках: эвон сколь пехать — умаешься, ноги в сапогах набьешь... Оне теперь и вовсе негожи. Сколь им годов-то? Боле полста минуло? Ты в них ишо аж с войны вернулся.

— А чего им сдеется? — Петрован еще раз взглянул на себя, стриженого, в косое зеркальце. — Я в них только на чево важное. Однова в году, а то и реже. Даже подковки целы. Бывало, и за два, и за три года ничево таково, штоб в сапогах... Правда, последний раз не так давно обувал. Той осенью, на Покрове — в Ряшнице Сингачева хоронили, одногодка. Наград — куда больше мово, двенадцать мальчиков несли... Из карабинов палили. Раз да другой да третий... Да-а... А больше никуда не хаживал, все чаще в кедах да плетенках. Теперь дак и на похороны не зовут: дорого стало. Приезжего человека надо ж приветить, угол ему определить, опять же и поужинать, и позавтракать. Допрежь так-то было, а теперь не стало, ближними обходятся.

Сколь уж за последнее время нашего полку отошло, а я про иных и не знаю. Радио молчит, небось проволока соржавела, а газет не читаю — опять же накладно... Ты, Нюша, вот чево... Помажь-ка сапоги деготьком, а я, когда помоюсь, в теплой баньке повешу на ночь, они и помягчеют, расправят слежалые колдобья. Только голяшки не пудри: кирзу удабривать бесполезно.

После бани, неспешной и расслабляющей, Петрован надел все чистое, запашистое, отутюженное, прибавившее ему довольства и еще большего умиротворения, и так, в исподнем, с незавязанными тесемками на груди и с распушенной головой и округлой ежовой бородкой, похожий на равноапостольного святого — разлюбезного целителя Пантелеймона, с запихнутой за спину подушкой, чтоб ненароком не продуло, не задело задремавший с пару радикулит, пил с Нюшей крутой чай из разговорчивого самовара, в точности отражавшего одной стороной всю его, Петрованову, белизну и заоблачность, тогда как другим боком цветасто пестрел новым Нюшиным халатом. Чаевничали перед окном, распахнутым в майский румяный вечер с золотой полоской над дальним лесом, в завтрашний Велик День, коим в этой избе уже более полувека считалось Девятое мая.

Петрован в таких случаях требовал себе блюдце, придававшее чаепитию особую неспешность и значимость. Испив и накрыв чашку, он сладостно утирался красно размереженным рушничком, им же обмахивался, будто веером, и добродушно говорил что-либо обычно молчавшей Нюше:

— Вот ты давеча: картуз да картуз... Да не картуз вовсе! Не картуз, а фуражка. Фу-раж-ка! Сколь тебе говорить? У картуза околыш просто так, штоб на ушах держался, глаза не застил. А у фуражки околыш со значением. Чтоб издаля было видать, кто перед тобой, в каком войсковом служении. Допустим, идет тебе навстречу чин с красным околышем, кто таков, а? Ну-ка, скажи...

Нюша делает вид, будто не расслышала вопроса, принимается подкладывать Петровану засахаренную клюкву.

— Нет, ты скажи, скажи, не увиливай, — начальственно твердел голосом Петрован. — Кто таков в красном околыше?

— А-а, подь ты! Ничево я вашева не знаю.

— Погоди, сразу и не знаю... Я ж тебе про все это рассказывал...

— Забыла я за ненадобностью.

— Ну, вот тебе — за ненадобностью. А ежли я тебе встречусь, то в каком околыше?

— А ляд ево знает...

— Запомни: в черном я буду. В черном!

— А пошто — в черном-то? Али ты хуже всех?

— Танкист я, вот пошто. Танкисты черные околыши носят. А еще — артиллеристы. Потому как техника. Сталь да чугун, дым да копоть. Тут красное или зеленое не к лицу. А черное — в самый раз. Это по праздникам. А так, по будням, я в шлеме должен быть. Дак на войне и ходили только в одних шлемах. А фуражек и не было, не успевали получать, потому как праздников не случалось: все бои да ремонты. Рваную гусеницу закувалдишь — фрикцион полетел... Сходил в атаку — башню заклинило... Да оно зимой фуражка и не по делу: уши только морозить. А ветром сдует, дак потом сколь по снегу бежать за ней...

Когда ходики хлопнули дверцей после одиннадцатого кукования, Нюша окончательно изнемогла и, не убрав посуды, хватая притолоки и простенки, тучно квохча и булькая чаем, убрела в свою каморку. Петрован, вобравший в себя столько банного и самоварного тепла и благодати, потом долго онемело остывал и приходил в себя, сонливо, уморно слушая, как постанывал и покряхтывал старый оседающий дом, а в сухом сосновом стояке, с виду крепком и надежном, мелко строчила невидимая крошечная козява, прогрызая себе новый ход и изводя сердцевину стояка, опору дома, в мучную праховину. И лишь когда усталая кукушка вяло оповестила час ночи, Петрован спустил ноги в стоявшие у подножья стула разлатые, надрезанные в голяшках домашние валенки и белым привидением беззвучно прошел к глухому самодельному шифоньеру, все еще угарно отдающему тяжелым смоляным лаком. Из его глубины он извлек свой специальный наградной пиджак и, неся его выше себя, через горницу, зацепил крюком вешалки за лобный вырост лосиной лопатины, приколоченной меж горничных окон.

Пиджак был куплен намеренно из темного сукна, чтобы лучше виделись чеканные знаки поощрений. При этом Петрован руководствовался не мелким тщеславием, дескать, глядите, какой я герой, а вековым крестьянским почтением ко всему, что свидетельствовало бы о российской истории, ее поворотах и

разворотах, участником которых он чувствовал себя теперь только через этот свой пиджак, лунно отсвечивающий медалями, к которому и Нюша тоже относилась уважительно и даже побаивалась его важной и отутюженной солидности, что, впрочем, не помешало ей набить рукава и внутренние карманы терпкой огородной полынью — от моли. На левой его стороне висело семь медалей: четыре в верхнем ряду, три — в нижнем. Казалось, Петрована приглашали на завтра только затем, чтобы окончательно заполнить нижний ряд недостающей медалью.

По правде сказать, эти знаки на левой стороне уже давно не вызывали у него полностепенного удовлетворения: он испытывал чувство какой-то непричастности к их торжественному побренькиванию и блеску, и когда вынужден был надевать этот свой парад, то ходил на два румба недоразвернуто левым плечом, обремененным ликующей тяжестью медалей. Наверно, причиной такой неуверенности явилось то, что среди его наград не было за оборону Москвы, Сталинграда, Кавказа, Одессы или Севастополя, так же как не было и за взятие Вены, Будапешта или Праги и тем более — Берлина. Ничего этого Петрован не оборонял и не брал, потому как никогда не был в тех городах и странах. Просто все его медали имели юбилейный статус, то есть считались не боевыми, а лишь «по случаю» и «в ознаменование», что и заставляло Петрована носить их как бы бочком, с застенчивой отрешенностью. К тому же, как говорили иногда между собой старые солдаты, наградного кругляша, заменившего все остальные знаки внимания и поблажки, с годами становилось лишковато, а его звон все дробней и чешуйчатей, что вовсе не прибавляло славы и твердости в поступи, а только вызывало снисходительные улыбки заматеревших внуков.

Это все — на левой стороне бравого пиджака, тогда как на противоположной, у края лацкана, где-то ниже ключицы, одиноко обозначалась темной эмалью Красная Звезда, ничем не приукрашенная, без взблесков и сияний, в своем простом естестве больше похожая на солдатскую шапочную эмблему, нежели на боевой орден, долженствовавший вызывать у зрящих незаурядность свершенного. А между тем сей одинокий знак, некогда почему-то отнесенный статусом на пустую левую сторону, Петровану был дороже и родственней всех остальных семи, издававших главный звон при параде. Порой, взглянув на него, Петрован все еще испытывал внезапный сердечный толчок, го-

рячо обжигающий подреберье, наверное, оттого, что воочию ощущал в бордовой, как бы загустелой пятиконцовой заливке ордена собственную спекшуюся кровь, в которую, казалось, и теперь можно было макнуть палец...

Однако все свое наградное хозяйство Петрован блюл и содержал в надлежащем порядке, никакой чеканке не отдавал предпочтения, а каждую обстоятельно протирал обмакнутой в соду льняной тряпицей, давая просохнуть, и затем уж принимался гонять бархоткой. После такой процедуры, совершаемой в полном одиночестве глубокой ночи или когда никого нет дома, Петрован помещал каждую воссиявшую награду в целлофановый пакетик от сигарет. Приходящиеся весьма кстати пакетики он заведомо собирал и в такой оболочке оставлял медали висеть на пиджаке до очередного выхода.

И вот завтра, на рассвете, он натянет остро пахнущие сапоги, пройдется в них туда-сюда, примеряясь к неблизкой ходьбе, потом, поплескавшись под кухонным рукомойником-чурюканом, обрядится в летную комсоставскую рубаху в четких квадратах лежки, привезенную племянником аж из самой Москвы для таких вот случаев, разберет на две стороны остатки своего русокудрия: поменьше — на правый висок, побольше — на проступившее темечко, непослушный пробор смочит с руки чайной заваркой и, оглядев себя в зеркале, подведет некий итог: «Не сказать, што герой, но уже и не лешай». И лишь перед самым выходом торжественно и бережно наденет всегда готовый, отутюженный пиджак, ожидающий его на лосином роге, снимет с медалей целлофановые сигаретные обертки, энергично, до звука воссиявшей бронзы одернет его полы и на всю дорогу построжает лицом, помеченным над левой бровью багровым шрамом.

Дорога в район недлинная, но бестолковая. Прежде, при Советах, мимо Брусов раза четыре за день пробегал «пазик»: полчаса — и там. Пока картошка варится, можно было смотаться за камсой и хлебом. Нынче автобусик куда-то подевался, и приходится сначала верст пять пехать в обратную от района сторону, а потом уж — на электричке. Да и то электричка приходит не в город, а на станцию, от которой еще топать и топать до центра. Или гони еще два рубля за вокзальный автобус.

Правда, с Петрована, особенно когда он весь в медалях, не брали ни копейки.

Петрован при такой крутне не успел в одночасье справиться со своими делами и воротился домой аж на другой день.

Он вошел в родные Брусы, устало опав плечами, перехлестнутый прямо по медалям пеньковым шнурком с бубликами, которые в последнюю минуту купил в электричке. От пыли его надегтяренные сапоги сделались похожими на серые валенки, и шоркал он ими нетвердо, с подволоком, как в старых, разлатых пимах. Фуражку с черным околышем он нес в руке, а вместо вчерашнего пробора на голове трепетал спутанный ковылек, светлым нимбом серебрившийся против солнца.

Первыми, еще у околицы, встретились ребятишки, Колюнок и Олежка, весь день выглядывавшие его на дороге.

— Дядь Петрован, — канючили они, семеня обочь. — Получил медалю? А, дядь Петрован?

— Подьте вы... — продолжал брести Петрован.

— Покажь, а?

— Эки репьи!

— Пока-а-ажь. Хоть издаля...

— Ну че? — остановился наконец Петрован. — Че показывать-то? Ну вот она... — Петрован выколупнул из-под деревянно загремевших бубликов яркий, совсем новый бронзовый кругляш с каким-то дядькой, одной только головой во всю окружность... — Вот она...

Колюнок и Олежка вытянулись молодыми петушками, затаенно примолкли.

— Хоро-о-шая! — едино признали они. — Эко блестит!

— Блестит-то она блестит... — сокрушился Петрован. — Да... как вам сказать, ребятки... Не моя она...

— Как — не твоя? — вроде как испугался Колюнок.

— Ты ее нашел? — раскрыл рот и Олежка.

— А-а... — трехпало махнул Петрован и, заломив несколько бубликов, насыпал румяного крошева в черных маковых мушках в подставленные ладошки. — Давай, мыши, грызите... Вам этого не понять...

Над его избой струилось бездымное прозрачное маревце, пахло печеным. Это означало, что Нюша, дожидаясь его с наградой, истопила печь и напекла шанег. Но домой он, однако ж, не пошел, а, минув еще три избы, свернул к четвертой, Герасимовой.

Немогота хозяина удержала его жену Евдоху выставлять зимние рамы, а потому в избе накопилась испарина, запотелые окна тускло, заплаканно глядели на волю. К духу упревших щей, заполнявшему жилье по самые матицы, примешивался пронырливый, как буравец, запах валерьянки — от Герасима, из его каморы.

— Ляжит... Ох, ляжи-ит!.. — сразу заголосила согбенная, встрепанная Евдоха, увидев на пороге Петрована. — Проходь, проходь к нему, касатик. То-то буде радый! А то нихто ничево... Слова днями не слышит. Одна я... Ну да я ж ему че путного скажу-то?.. Очертела, поди... Хуже скрипа колодезного... Вот ждал-ждал внуков — по головке погладить, а и те по чужим городам... Кабысь не себе рожали... Наказание господне... Проходь, проходь, Петя...

— Кто там прише-ел?.. — квело донеслось из-за горничной глуби, следом послышался сухой свистящий кашель и долгий изнуренный стон.

— Иди, не бойся, — подбодрила Евдоха.

Сняв с себя бублики, Петрован обладил виски и, невольно приподняв плечи, как бы крадучись, ступил в горничный проем. Слабо мерцавший в углу святой Николай приветно покивал ему огненным острячком лампады, и тот ответно осенил себя торопливой щепотью, отчего на его груди тонкой звонцой загомонили медали, услышанные, однако, Герасимом.

— Да кто там? Петрован... ты, что ли?

— Да я, я... Кому ж еще...

— Че дак... путаешься? Ай ход забыл?

— Дак иду. Вот он я!..

В мерклом, безоконном застенке Герасим дожидался его в своей кровати, нетерпеливо приподнявшись на локте. Он был в исподней рубахе, бледно-желт иссохшим лицом, оснеженным на скульях и подбородке сивой недельной небритостью. Петрован неловко поддел под Герасима руки, обнял его, как если бы то был мешок с чем-то, и, сам сбившись с дыхания, поздравил с ветеранским праздником.

— А рази не завтра? — усомнился Герасим, обессиленно отвалясь на подушку.

— Не, братка. Седни аккурат девятое число. В районе прям на домах написано. И флаги кругом...

— Ага... Может, и так... А я лежу тут, в застенке... Только мухи и гундят... Деньки стороной обегают, без меня обходятся. Намедни будильник, и тот итить отказался... Вконец свое истикал... Дак и я тоже...

— Давай посмотрю, — предложил Петрован, еще умевший ладить часы, правда не дюже мелкие.

— А-а... — Герасим прикрыл темные, отяжелевшие веки. — Теперь и ни к чему... Часом больше, часом меньше... Тут, без окон, все едино: што день, што ночь... — И, взяв с приставленной тумбочки ложку, позвякал ею по белой эмалевой кружке.

На стук объявилась настороженная Евдоха.

— Че тебе?

— Как это — че? День Победы нонче! Вон и гостьва пришла — Петр с Иваном. У тя нету ли маленько? От Степки, кажись, оставалось?

— Осталось, дак на дело: когда че заболит...

— Вот и давай...

— Дак тебе низя! — воспротивилась Евдоха.

— Ладно — низя. Не твое дело.

— Как же — не мое? А за «скорой помочью» кому бечь? К телехвону? Четыре версты до сельсовету. Тот раз побегла, а там — замок, работа кончилася. Благо, Митрохин малый на мотоцикле попался, домчал до станции. Дак чуть не обмерла рачки сидеть. А он, блудень, как нарочно — по кочкам да по калюжам... Ужасть чево натерпелася...

— Ладно тебе маневры делать, зубы заговаривать. Ить же сказано: День Победы! Чево ишо говорить? Тут не можешь, а — надо... Огурчиков-помидорчиков тоже подай...

— Май на дворе — какие огурчики?

— Ну чево найдешь...

— Да че я найду-то? Али не знаешь? Ждите, картохи наварю. А то вон Петрован «ноликов» принес... Целую снизку.

Козюлилась-козюлилась баба, а чуть спустя, сгорнув с тумбочки аптечные пузырьки и все остальное ненужное, принесла миску квашеной капусты, перемешанной с багряными райскими яблочками, подала в глиняной чашке рыжичков в ноготь, так и оставшихся оранжево-веселыми еловичками, потом — тертый хрен, запахом затмивший и квашеную капусту, и бочковые грибки. Уж больше и ставить некуда, но, потеснив посу-

динки на самую середину тумбочки, Евдоха водрузила жаркую сковороду с шепеляво говорившей глазуньей. И лишь после всего внесла сразу на обеих ладонях, как бы притетешкивая на ходу, бутылку «Стрелецкой степи», располовиненную еще сыном Степаном, нечаянно нагрянувшим зимой из своих Челнов по случаю командировки.

— Можа, петуха изловить? — предложила Евдоха, недовольно оглядывая в пять минут сотворенный стол. — Все равно не нужен пока: клухи уже с цыплятками, а яйца и без петуха сгожи... Да я б и зарубила, а только забежал кудысь, гуляка...

— Куда ж с добром! — остановил Петрован бабий пыл. — И так ставить некуда. Вон сколь всего!

Правда, в доме не оказалось хлеба, но Евдоха и тут выкрутилась, не сплоховала, а принесла Петровановы «нолики» и зацепила за шишку Герасимовой кровати.

— Ну, брат... — торжественно вздохнул и недосказал Петрован и, ерзнув, пододвинулся вместе с табуреткой поближе, половчее. Он осторожно, будто опасную мину, приподнял бутылку и медленно, бережно наклоняя, тонко разлил по шестигранным, на долгих ножках, старинным рюмкам, еще звеневшим, поди, на Герасимовой свадьбе, нечто полынное, взаправду стрелецкое и степное.

— Ну, — повторил Петрован, озабоченно вглядываясь в Герасима. — Вставай давай, што ли... Рано тебе еще...

— Да где уж... — Полулежа на правом боку, Герасим дрожливо приподнял свою долгую хрупкую рюмку, похожую на балетную барышню. Задумчиво глядя на золотистый налив вина, охваченного хрустальными гранями, мерцавшими в полусвете каморы, он трудно, одышливо изрек из своей напряженной глубины: — Што теперь... Я не за себя поднимаю это... Мое все проехано... Больше хотеть нечево... Я за неприбранные кости... Вот ково жалко...

Отдыхая, он помолчал, подвигал сопящими под рубахой мехами и, умерив дыхание, тихо продолжил:

— Перед глазами стоит... Упал в болотину и затих... Мимо пробежали, прочавкали сапогами — не до него... День лежит, неделю... Никово... Вот и воньца пошла... Муха норовит под каску, к распахнутому рту... Потом села ворона, шастает по спине туда-сюда: ищет мяснова... Набрела на кровавую дырку в

шинели, долбит, рвет сукно, злится, отгоняет других ворон... Ночью набредет кабан, сунется рылом под полу, зачавкает сладко... А там само время съест и сукно, и металл... И забелеет череп под ржавой каской, осыпятся ребра, подпиравшие шинель... На том месте опять ровно станет... Молодая березка проклюнется скрозь кострец... А любопытный волчок отопрет в чащу сапог, чтобы там, в затишке, распознать, што внутри громыхает... Как зовут его, этого солдата, откудова родом — уж никто и никогда не узнает...

— Ну, будя, будя! — Петрован заотмахивался свободной рукой. — Тебе нельзя говорить столько. Эко повело!

— А таких миллионы, — продолжал выговаривать свое Герасим. — Это ж они, не прикрытые землей, теперь не дают ходу России. С таким неизбывным грехом неведомо, куда идти... Сохнет у народа душа, руки тяжелеют, не находят дела... И земля не станет рожать, пока плуг о солдатские кости скрежещет... Оттого и не знаем имени себе: кто мы? Кто — я? И ты кто, Пётра? Зачем мы? И чем землю свою засеяли?

— Ну, все, Гераська! Давай лучше выпьем! Чтоб всем пухом...

Петрован протянул свою рюмку к Герасимовой и подождал, сочувственно наблюдая, как тот, выпятив губы, будто конь из незнакомой цибарки, короткими движениями заросшего кадыка принимал победное питье. И только когда Герасим одолел половину граненой юбочки и опустил остальное, Петрован испил свое до самого донца.

Хозяин долго лежал навзничь с закрытыми глазами, и темные его веки мелко вздрагивали от толчков крови в синих подкожных прожилках.

— Живой? — озаботился Петрован. — Ай не пошла?

— Да вот слушаю, — как бы издалека отозвался Герасим. — В груди вот как замлело! А в голове — вроде красной ракеты. Махром расцвело...

— Ну, слава те... — расслабился Петрован и враз развеселился: — Красная ракета — это тебе сигнал: «В атаку!.. За мны-о-ой! Короткими перебежками — пше-е-ол!»

— А-а... — тряхнул желтой кистью Герасим. — Тут хотя бы до ветру... А то пришло — в бутылку сюкаю... Расскажи лучше, как съездил-то? Медаль получил?

— Да, считай, получил... — как-то нехотя признал Петрован.

— Покажь, чево там напридумывали?

— Да вот... Маршала Жукова дали.

— Жукова?! — оживился Герасим. — Ох ты...

Петрован высвободил из нижнего ряда новую свою награду и протянул Герасиму. Тот бережно принял ее в восковую ямку ладони, поднес к глазам.

— Он, он! — сразу признал Герасим. — Эт как беркутом глядит! Из всех маршалов — Маршал! А ты што ж ево не по чину-то? На нижнем ряду повесил? Ево надо эвон где, сверху всех медалей. Там, где Ленина вешают.

— Дак она и дадена не по чину... — крутнулся на табуретке Петрован. — Не тому Федоту.

Петрован принял медаль обратно, но не стал вешать на прежнее место, а как ненужную сунул в пиджачный карман.

— Как это — не по чину? Ты че мелешь?

— Неправильно это... Я и там комиссару говорил, что со мной ошибка какая-то... Не тому медаль выписали... А он только смеется, по плечу хлопает, дескать, все правильно, носи на здоровье.

— Дак че неправильно-то? — опять притворил веки Герасим. — В чем ошибка, не пойму я?

— Ну как же! У нас совсем другой командующий был. Под Руссой-то... На Северо-Западном. У нас генерал-лейтенант Курочкин, Павел Ляксандрыч. Лысоватенький такой, ростом не шибко штоб, годов сорока, а вовсе не Жуков. Маршал Жуков у вас командовал, на главных направлениях. Потому медаль эта неправильно дадена. Как же я ее выше всех повешу, ежли она незаслуженная? И так уже сколь надавали...

Герасим оставался лежать с закрытыми глазами, и Петрован, озаботясь, что тот вовсе не слушает его, пустился еще рьяней объяснять случившееся недоразумение.

— Вот тебе Жуков в самый раз. Ты ж и под Москвой окопничал, и под Сталинградом, и на Курской дуге, а потом Берлин брал... И все под Жуковым. Эвон сколь прошел! Чево повидал, насмотрелся... А я чево? Да ничево! Все под Старой Руссой да под Старой Руссой. Там все мое направление, весь главный удар...

— Ну дак тоже небось не в карты играли... — не открывая глаз, проговорил Герасим.

— Играть, может, и не играли, окромя разведки. Но, бывало, как занесет, как заметелит, аж колючей проволоки не видать, поверх заграждений навалит. Передок што неписаная бумага — нигде ни точки, ни запятой. И вправду, хоть сдавай под дурика. Однако с картами было строго. Заметят при солдате карты или крестик нательный — сразу в особотдел. Разведчики, те поигрывали — на трофейные сигареты, на немецкие пуговицы. Они картами у немцев разживались. У тех почти у каждого по колоде. И по губной гармошке. Пошвыряют в нашу сторону минами, измарают снег вокруг окопов торфяной жижей и — в теплую избу кофей пить, под хвениги резаться. Отчего б и не резаться? На то тебе все условия. Зимуют они на высоких местах — в теплых сухих блиндажах да избах, русские печи топят, амуницию сушат, спят на двухэтажных топчанах, до подштанников раздеваются. Тут же в сенях из выпиленных амбразуров пулеметы торчат, а то и орудия. Культурно! Чего ж так-то не воевать? Ну а у нас война совсем другая. Болота да низины. На два штыка копнул — вот уж и вода. Какой тебе блиндаж? Приходится не в землю зарываться, а землей обкладываться... Ну, конешно, в таких условиях ни поспать по-людски, ни посушиться... Мох чуть ли не на шинелках растет, в стволах за ночь ржавеет. А ежли чего подвезти, то сперва гать кладут, сколь лесу изводят... Одна из этого польза: мины да снаряды часто не взрываются: как уйдет в хлябь, так и с концами.

Петрован потянулся за бутылкой и, не спрашивая, долил доверху сперва Герасимову посудинку, потом и свою.

— Ну, братка, настал момент, давай еще по маленькой, по нашей фронтовой!

И неожиданно, жмуря глаза, продолженные лучиками височных морщин, пропел тоненько и приятно:

Лучше не-е-ету того цве-е-ету,
Когда яблоня цветет...

— Нет, парень, — не поддержал компанию Герасим, — боюсь, Евдокия заругает. Она, вишь, то и дело из-за притолоки выглядает...

— А я загорожу, — нашелся Петрован и в самом деле, завеснев медалями, развел перед Герасимом полы пиджака.

— Ну, тади ладно... — Герасим покорно приподнял рюмку и немного отпил — все так же сторожко, малыми глотками.

Молча попыряли вилками норовистые, неподатливые рыжики, после чего Петрован снова вернулся к своей досаде:

— Не-е, брат, как ни крути, а моя война вышла неудачная. Я даже эту самую, язви ее, Старую Руссу не видел. Одни только крыши да церквя. Да и то в биноколь. А так всё мелкие деревеньки, теперь уж и позабывал, какие. Там ведь такая война: сегодня возьмут, а завтра, глядишь, опять отдадут. Так и тягали эту резину. А она — то немца по заднему месту, то нас по тому же. Самый крупный населенный пункт, куда удалось мне войти с боем и где впервые увидел убитых немцев, — некая Кудельщина, под ней мы простояли неполную неделю. Ее я и считаю своим настоящим крещением. По правде признаться, я не столь с немцами воевал, как со снегом и морозом. Ох и нахлебался завирух, ох и нахлебался! И до си по спине мураши... Наш отдельный танковый батальон, где я был водителем тридцатьчетверки, прошел своим ходом от Москвы, от Люберец, до этой самой Старой Руссы. Да не по прямой, а все ковелюгами, не по асфальтику, а черт знает по чем. Другой раз гонишь-гонишь впереди себя ком, да и зависнешь днищем. Гусеницами тудасюда на весу болтаешь, а машина — ни с места. Это ж сколько сотен верст?..

А за броней — январь да февраль сорок второго, морозы — под тридцать, снега — как никогда. Не так мороз, как донимал снег. Забивал катки, нарушал обзорность, поедом ел горючку. Особенно доставалось головному танку. Он первым таранил замети, но первым и зависал на сугробах. То и дело набрасывали троса, стаскивали его со снеговых подушек. За сутки прогрызались едва на двадцать верст, а в иных местах и того меньше. Из семнадцати танков нашего и так не полного батальона восемь отстали с разными поломками. Да и то: днем по лесам прячемся, а выходим на дорогу только ночью. Ни боже мой посветить или пыхнуть папироской — такие строгости! Опять же: на дневку в населенных пунктах останавливаться нельзя, а только в лесных чащах, да и то без костров, без варева. Пища — сухари, мерзлая тушенка — ножик не берет, — а то и просто брикеты пшенки или ячки. Спали на броне под регот моторов. Мотор заглохнет — давай подскакивай, пляши чечетку в мерзлых валенках, а то хана, ноги отморозишь, были у нас такие случаи. Валенки-то вечно сырые: не столько едем, сколь толкаем да копаем. Оно хоть и мороз, а обувка все одно мокреет, изнутри

парится. За всю дорогу ни разу не умывались. Какое умыванье на морозе? Заводская смазка на новых танках, черные выхлопы, особенно при буксовке, — все это за время пути перешло на наши рожи, так что перестали узнавать друг друга. Ты слышишь меня, Герасим? Лежишь, глаза притворены...

— Слышу, — отозвался тот.

— Не худо? А то я разговорился тут...

— Ничево...

— Ага, ага... Доскажу, доскажу... Так вот, два месяца шли мы до передовой. Уж лучше б сразу: пан или пропал. А то нудой, неопределенностью изошли. Добрались до Калинина, а там — закавыка. Какая-то путаница с назначением. Говорили, будто вместо Старой Руссы — под Селижарово. А это — совсем на другой фронт. А пока выясняли — нас в лес на полторы недели — опять без дневного шевеления, без костров, на полной сухомятке и спать на броне, на лапнике под брезентом. Потом выяснилось, что надо куда-то под Демянск, душить немцев в котле. Пока ехали — новая переадресовка — под Старую Руссу. И там: только раз-другой пальнем — вот тебе отбой, сниматься, получай новое назначение... Но зато я прошел такую школу вождения, так набуксовался, навытаскивался, что и по сей день на тракторах первые места в районе брал. А могу и на танках...

Ну вот... Наконец прибыли мы на свое последнее место дислокации, как раз под этой Кудельщиной. В конце концов после стольких мытарств надо было пожалеть технику — что-то подтянуть, подладить, подрегулировать. Сами уж ладно, как-нибудь перемоглись бы, уже весна скоро: отогреемся, пострижемся, может, в баньку сходим...

Стали мы на лесной поляне, расчистили снег, танки лапником закидали, приступили к досмотру. Поснимали бронелисты, обнажили моторы, иные взялись за фрикционы, муфты сцепления или разомкнули гусеницы, чтобы заменить поврежденные траки. Мы свой мотор подцепили таль-балкой, отвезли под ближайшую крышу, где есть тепло: надо было кое-что разобрать, подрегулировать, а то что-то тоже стал барахлить. Он-то ведь танку не родной, с самолета поставлен. В воздухе он уже отлетал свои две тысячи часов, оттуда его списали, сделали капремонт и передали на танковый завод для дальнейшего использования. Так что получалось: какие «тридцатьчетверки» выходили с дизелями, а некоторые, вроде нашего, — с лет-

ными сердцами. В общем, тянул он неплохо и заводился с одного тыка, но дюжа оборотистый, чуткий к газку, по старой летной привычке все норовил с места в карьер. Только спать на нем хлопотно: не любит малых оборотов, частенько глох... Так что мы не столько спали на жалюзях, сколь отбивали чечета...

Да... Только так вот изготовили домкраты, кувалды, полиспасты, автогенные баллоны, выставили бронелисты и все такое прочее, как вот тебе — сам командующий фронтом, Павел Ляксандрыч Курочкин — в белой дубленке с пуховыми отворотами, бурки — из белого фетра, кожей обшитые, а на голове — смушковая папаха топориком — так и отливает серебром, так и играет чешуйчатыми кучерявками, прямо в маршала просится. С Пал Ляксандрычем — всякие генералы, порученцы и адъютанты, тоже все в белом — с неба никакой «фока» не узрит такой маскировки.

Построили нас тут же меж раздетых танков, а мы все — небритые, чумазые, осунулись от недосыпа — никакой бравости. Многие кашляли застарело, а которые даже потеряли голоса и слова как есть вышепетывали. Но Павел Ляксандрыч и таким рад: какие ни есть, а все ж танкисты. А их-то на забытом Северо-Западе завсегда не хватало. Горячо, отечески поздравил он нас с прибытием на передовую, скоро, дескать, на этом участке можно будет ожидать хороших перемен и наши войска наконец-то победно войдут в Старую Руссу. В ответ мы кое-как просипели окутанное паром промерзлое «ура», на которое командующий сочувственно поморщился, но тут же снова ободрился и объявил, что, мол, в знак его личной благодарности в полуверсте отсюдова, в деревеньке Ковырзино, для нас будут истоплены бани с березовыми вениками и прямо в парилки подадут по фронтовой чарке с куском шпика на сухарике. Так что милости просим, в Ковырзино уже топятся сразу несколько бань. «Только не все сразу, — посоветовал командующий, — а поэкипажно, штоб был полный порядок. Пока одни моются, другие пусть работают. Дело затягивать нельзя — на войне каждый день дорог... Всем ясно, товарищи?» В ответ мы еще раз просипели «ура» и подбросили в небо свои просолидоленные шлемы, похожие на дохлых кошек.

Ну, что банька и на самом деле состоялась — слово Павла Ляксандрыча оказалось железным. Нашлось и свежее исподнее

белье, которое привезли прямо на ремонтную поляну и раздали поштучно вместе с плоско слежалыми березовыми вениками, небось доставленными с генеральских каптерок.

Приспела и наша очередь, двинулись мы друг за дружкой по глубокой свежей тропе в это самое Ковырзино, а там, на околице у незамерзающего падуна, обещанные бани уже дымы развели. Дымы крученые, выше окрестных берез, бани уже по второму разу топились: прежние клиенты горячую воду начисто повыхлестывали — этак, сердечные, изголодались по теплу! И по стопарю тоже было — все честь по чести, как обещал комфронта. Ну, само собой, стограммового приветствия оказалось маловато. Братва из соседней баньки отрядила молодца с двумя парами нижнего в деревню, и вот вскорости слышим — рвут крышу оттаявшие голоса:

Броня крепка и танки наши быстры...

В те времена блажили прилипшей на всю жизнь песней, под которую тогда проходила вся призывная служба в танковых училищах. Под нее рубали строевым, завтракали — обедали — ужинали, ложились спать, и ребятки, еще не нюхавшие пороху, верили в нее, как в «Отче наш».

— У нас, в пехоте, «Белоруссию» орали... — слабым голосом поделился Герасим.

— Ага, ага... — охотно закивал Петрован. — Ну, конешно, нас сразу и задело такое пение: а что, переглянулись мы, у нашей «тридцатьчетверки», боевой номер двести шесть, под командованием кубаря Ивана Каткова, уже горевшего под Смоленском, броня хуже, что ли? И наш экипаж, зады и спины в березовых листьях, босиком через сугробы ринулся пособлять хорошей правильной песне, которая враз сделалась вдвое раскидистей:

В строю стоят советские танки-и-сты...

Опосля и мы сбегали на деревню со своим только что полученным вещевым довольствием... В третьей бане мылись и стегались тоже не лыком шитые — те себе «Катюшу» хором врезали... Тут в самый раз заглянул батальонный политрук Кукареко, тоже нагой и в листьях, прикрывает от бойцов причинное место, а сам пробует давить на тормоза: дескать, полегче, товари-

щи, чтоб не зашкаливало, а то машины ждут ремонту... А ребята ему: «Все будет, как в часиках, товарищ старший лейтенант. Завяжи нам глаза, дак мы и вслепую все сведем и составим».

И пошли экипажники один за другим вылетать из дверей и заныривать в чистейшие, первозданные сугробы:

— И-эх... Танки наши быстры...

Эдак обрадели мы от пару и жару, что и не узрели, как меж тучек промелькнул ихний «фока» — раз да другой — сперва над деревней, а потом и над леском, где мы раскулачили свои танки. После об этом нам местный парнишка рассказывал, уже приученный караулить небо.

Ушлый «фока», должно, все до тонкостей разглядел и раскумекал. Дымы над банями — это не иначе как праздник в деревне. Однако по свежей тропе, протоптанной из лесу к баням, понял «фока», что это вовсе не русский праздник с куличами и самоварами, а обыкновенная солдатская помывка. Вон и сами солдаты забегали по тропе с белыми подштанниками под мышками. Тут «фока» и сообразил, что ежели на одном конце тропы — бани, то на другом должна быть воинская часть. Оставалось только разузнать — какая? И пилот еще раз отклонил рукоятку штурвала и залег в плавный вираж над лесом. Ага, вон в чем дело, догадался он, лесная поляна вся в гусеничных следах и еловые ветки почему-то свалены в кучи. Русский Новый год давно прошел. А кучи-то недавние: на концах — свежие порубки. Тут и гадать нечего, какие игрушки под ветками спрятаны. А еще недавно три легковушки из этого леса выехали... Кто же по передовой на шик-машинах катается? И глупой немецкой козе понятно — генералы (по-русски: комбриги, комдивы)! Пилот даже подпрыгнул на радостях в узкой гробовой кабине своего «фоккера» и тут же надавил на пупку радиосвязи.

— Так, небось, и было, — заключил Петрован. — А то б откуда было взяться сразу двум тройкам восемьдесят седьмых «юнкеров»? Один из них откололся и сыпанул по баням, а остальные шершнями набросились на ельник.

Крайнюю баню раскатало по бревнышкам, даже калильные камни размело, как горох. Правда, та баня была пуста, ее топили для Кукареки, но он вышел по своим делам, а потому никого не ушибло, не зацепило, только галифе повесило на березу. Но по черным дымам было видно, что в лесу «юнкера» наделали тарараму. Бежали мы туда кто в чем — в не своих бушлатах, в перепутанных валенках, иные недобритые, с мылом на висках...

Вот тебе и «броня крепка»! Снятые бронелисты позакидало аж на болото, в двух машинах горели раскрытые моторы. Хорошо, что мы свой Бэ-семнадцатый на деревню свезли, а то неизвестно, как бы еще обошлось: кругом дерева горели, роняли огненную хвою, тлеющие ветки...

Людей тоже потеряли: двух ремонтников — уже помытых, набаненных — наповал, а третьему — ногу по самое колено...

А комфронта перед строем говорил: «Днями, помывшись, будем брать Руссу»...

На дворе раздался заполошный крик кочета: видать, Евдоха, дождавшись-таки возвращения блудного петуха, пустилась за ним по дворовым заулкам — победную лапшу готовить. «Што ты? Што ты? — высокоголосо возмущался петух. — Я ничево такова! Ничево такова!..»

Петрован, оборвав рассказ, настороженно вертел головой, водил ею за криком, потом привстал с табуретки:

— Пойду скажу, чтоб не ловила... Я к тебе на минутку, а она вон на весь аршин...

— Девятое мая, — напомнил Герасим. — Рази не аршин? Прожитое мерять...

— Я все ж выйду, скажу... — окончательно поднялся Петрован.

Когда он появился на крыльце, Евдоха уже стояла возле поленничной плахи с петухом под мышкой и капустным секачом в руке. Петух в крупно связанной серой одежке, с долгими желтыми ногами и бордовым зубчатым гребнем, упавшим на правую бровь, немигающе вызрелся на Петрована большим округлым зраком цвета кетовой икры и, казалось, ждал от него последнего слова.

— На-кось ты. — Евдоха поддала петуха бедром. — Мужицкое это дело. А то запыхалась, загонял он меня, скаженный, аж руки трясутся...

— Полно тебе! — вскинул обе руки Петрован, не сходя с крыльца, боясь, что, ежели сойдет долу, то настырная Евдоха уговорит сечь петуху голову. — Ничего не надо! Никакой лапши! Я заскочил только показать Герасиму медальку. Должны бы дать ему, а вот, вишь, выдали мне. Ошибка вышла... Так что брось, брось, отпусти петуха.

— Дак ить праздник! Ваш, ветеранский! — продолжала тяж-

ко дышать Евдоха. — Положено. Рази я б за ним зазря бегала б, сердце не дает ходу... По радиву, небось, одни марши...

— Оно верно, — согласно кивнул Петрован и оглядел сплошь синее небо. — Ноне, поди, на Красной площади парад был. Войска в золотых поясах, музыка в тыщу труб... Праздник! Но ты, Евдокия, погляди только: петух ить сам тоже праздник. Душа ликует на него глядеть. Ты только посмотри, какая красота! Это как же природа придумала такое?..

Евдоха с сомнением покосилась на кочета: верно ли красавец?

— А стать-то какая! Как держится, как глядит! Прямо маршал. Вылитый Георгий Константиныч! А ты его секачом хочешь... Какой же после того праздник? Да никакая лапша в рот не полезет...

— А подь ты!.. — отшвырнула секач Евдоха. — Хотела как лучше...

Она отпустила кочета, и тот, ступив на землю, не побежал стремглав, а, встряхнув свой строгий боевой мундир и как бы осуждающе покосившись на широкую лёзгу капустного рубила, направился к пряслам твердой размеренной поступью.

— Все! Отговорил! — возвратился довольный Петрован. — Какая к ляду лапша? И так закуску ставить некуда. Давай, служивый, под яишанку, а то, поди, вовсе остыла.

— Не-е, друг мой. Я — баста. Хватит, — отрицательно повел носом Герасим. — Пришел мой предел.

— Нескладно как-то получается... — поскреб за ухом Петрован.

— То-то же: хвороба придет, дак ноги сведет, а руки заедин свяжет... Весь тебе и склад...

— А ежли короткими перебежками? По чуть-чуть, и опять за кочку?

— Нет, братка, ты беги один, ежели охота, а я с тобой не побежчик...

— Один — и я ни с места, — погрустнел Петрован и отставил от себя рюмку. — Одному — совестно как-то. Будто середь бела дня крадешь. А с другом — завсегда пожалуйста. И то чтоб не молчаком. А, Гарась? Слышь? Ну, хоть сколько осилишь...

— Эт какой! — заскрипел койкой Герасим. — Взаправду — «броня крепка»... Ему так, а он тебе — этак.

— Дак за Победу же! — Петрован сызнова приподнял свою

стопку. — Святое дело! Глядишь, оно и полегчает. Вот, в районе мужики говорили, будто нынче на небе новая звезда должна объявиться. Этой вот ночью, которая придет. Из трех мест будет видать: с Невы-реки, с поля Куликова, а еще — с Волги... с южных ее мест... Ты там тоже бывал... И получается святая троица: Александр Невский, Дмитрий Донской и... Георгий Жуков... Больше некому с Волги быть... А ты противишься, не хочешь...

— Тади давай... — опять заскрипел, привставая, Герасим. — Токмо я палец обмакну да пососу... Небось там засчитается... Мое причастие...

Так и сделали: Герасим, немощно изловчась, омочил заскорузлый мизинец в своей долгой рюмке и, высунув сивый, обложенный язык, подождал так раззявленно, пока с конца пальца сронится золотистая капля с острым лучиком нисходившего дня, тогда как Петрован, будто и взаправду под ракетными всполохами, поспешно, не пригибаясь, единым махом осушил свой припас.

— Как гвоздь заколотил! — похвалил он себя и с бодрецой испробовал голос, протянул речитативом: «Хороша ты, степ,степ раздольная, степ стрелецкая, ой да молодецка-а-йя!» А то еще была «Кубанская» — четыре двенадцать стоила. Тоже хорошая, но эта, кажись, получше.

Уважительно приподняв почти порожнюю посудинку, Петрован сощурился на яркую картинку с бравым казаком в папахе, уронившей красное обвершье на его правое плечо, и спросил как бы у стрелецкого казака:

— Дак чего? Будешь ли про мою войну слушать? Али утомил я тебя совсем?

— Да говори че-нибудь... — отозвался за казака Герасим. — Говори, а я поотдыхаю...

— Ну, тогда доскажу... — Петрован уважительно поставил бутылку на место. — Мой сказ недолог. Это ежли б ты про свою войну порассказывал, как аж до самого Гитлера дошел, то, поди, и в неделю не управился б... А я што: трах-бабах — и в дамках. Ну, стало быть, устроил нам немец лесную баню. Прибегаем, а ельник вокруг поляны горит, аж стволы ахают, серый хвойный пепел дыхание застит, сама поляна парной землей закидана... Давай на уцелевших танках ближние дерева валять, подальше оттаскивать. Нашу безмоторную машину, да еще которую без ленивца, на тросах тоже в затишок оттащили. А те

три, что уже горели, пытались снегом закидать, да куда там... Потом всю ночь бронелисты искали да на полураздетые танки прилаживали. А ведь нам завтра с рассветом — в наступление, в разведку боем! Сам командующий, когда смотрел батальон, вручил такой приказ командиру боевой группы, к которой мы были придадены. Курочкин отбыл в полной уверенности, что танкисты после баньки и стограммошничка этак завтра навалятся на не ждавшего врага, а оно вишь как получилось: восемь единиц, которые в дороге поломались, так и не дошли до нашей передовой. Дохлое дело — на ходу ломаться: запчасти в лесу не валяются, на деревьях не растут. Каждую бубочку добыть надо, похлопотать, пообивать пороги помпотехов. Да и кто этак вот сразу даст тебе — чужому, ничейному экипажу? А ежели и починят, то больше не отпустят, себе заберут. Потому как танки всем позарез нужны. Так что этих восьмерых ждать было нечево, тем паче — наступало распутье, когда по тверским заволочьям не то что тридцатитонный танк, а никакая собака не проскочит. А из тех девяти штук, которые добрались-таки до места, пятеро втемеже и вышли из строя: двести вторая и двести семая выгорели дотла, а у двести пятой своротило башню, а у десятки Ежикова порвало гусеницу, срубило правый ленивец. Наша двести шестая, на ту пору безмоторная, тоже оказалась не на ходу. Но командир боевой группы не стал вычеркивать нас из списка живых, а велел отбуксировать на исходную позицию для огневой поддержки разведотряда. Хотя какая к ляду поддержка — у нас в танке оказалось всего шесть снарядов. Обещали доэкипировать по прибытии, да с боепитанием тоже вышел затык.

Наконец-то хмуро забрезжило. Вокруг — серая тишина. На исходном рубеже за стылой броней — хуже, чем до бань, чумазые, ни крохи не спавшие экипажи. Без всякой артподготовки, без единого выстрела, по одной отмашке шапкой, на малых оборотах, втихую выкатились «тридцатьчетверки» с пехотой по-за башнями. Пошли, пошли помаленьку. Танки рябые, плохо видные, их еще в лесу припорошило снежной осыпью. Автоматчики тоже заиндевелые, закиданные гусеничными выбросами. А деревню Кудельщину, куда выдвигалась бронепехотная группа, ту

и вовсе не видать за утренней кунжой. Самая левая машина, Лехи Гомелькова, шла по дороге, ей было полегче, и она дальше всех ушла вперед. Остальные три направились полем. И вот уже послышались сердитые взрыки моторов. Это означало, что снег глубок и на отдельных участках приходилось лбами таранить сугробины. Оно, конешно, не хотелось, чтоб так оборотились движки, надо бы потише, но пока все обходилось, немец, кажись, ничего не чуял и та сторона оставалась нема и глуха. Мы выглядывали из своего запрятанного танка и обмирали от ожидания: что-то будет, как-то будет...

А было вот как... Ты не спишь, Герасим?

— Не-к...

— А сталось, говорю, вот как... Пока танки барахтались на этих двух километрах — и вовсе рассвело. И увидели мы, как на дороге что-то сверкнуло и там, где была двести одиннадцатая, подняло облако снега. Когда снег опал, машина оказалась развернутой поперек дороги и никуда не двигалась. Должно, на мощную мину наскочила. Тем же моментом над деревней взнялась малиновая ракета, и по всей полосе деревенской застройки завспыхивали выстрелы, а по снежной целине зачиркали пулеметные и пушечные трассы...

Наш радист Гомельков завертелся на своем сиденье, принялся дергать командира за штанину: дескать, чево зря сидим, давай и мы пальнем, наших поддержим. Но Катков, смердя на весь танк цигаркой, только отпихнул Лехину голову в замусленном шлеме, мол, сиди-помалкивай. А и верно: куда палить-то? Ни хрена ведь не понять, где чего... Просто по деревне — для тарараму? Да снарядов жалко. Их у нас всего-то шесть штучек. Может, еще взаправду понадобятся...

Но в тот раз так и не понадобились снаряды-то... Катков не успел докурить цигарку, как двести первая занялась огнем. Тут же соседская с ней двести тринадцатая черный дым выбросила, и тот пошел виться клубами, забирать в высоту. Крайняя, правая «тридцатьчетверка», не помню ее номера, начала было сдавать назад, но сама же задом нагребла чуть ли не с овин снега, загородила себе отступление. Давай делать боковые развороты, туда-сюда вертеться, дурья башка. Тут левым бортом и словила боковое попадание. Должно, по самым бакам. Потому как разом полыхнуло, аж снег багрово окрасился... Ну а десантники... А что десантники? Тех, как воробьев ветром, — ни одного при

танках не осталось. А куда девались — леший их знает! Небось по сугробам залегли. В таких-то снегах разве их увидишь?..

Сдернув кепарики, пригнувшись и вобрав головенки в кузнечиковые плечики, будто в деревенском кинозале, где уже начался показ картины, неслышно пробрались к дверям Герасимовой каморы и присели на пол у притолок те самые пацанята — Колюнок с Олежкой... Они уже знали по опыту, что ежели Петрован возвращался из района с бубликами через плечо, то непременно начнет вспоминать про свою жизнь. А нынче еще и медаль получил — должно быть, вовсе занятно. А то, что к началу они припозднились маленько, так это все тетка Евдокия не пускала, жадина. Растопырилась на крыльце: нет и нет! Дескать, Герасим хворый, неча докучать. Но вот уговорили, уканючили — пустила, но чтоб ни-ни...

— А-а! Братики-кондратики пожаловали! — обернулся Петрован. — Давние мои слухачи! И уже в цыпках! Аккурат приспел час про главную мою баталию поведать. Ну, слушайте, мои хорошие, слушайте. Вот вам сушки для веселья. Сидите да погрызывайте... Ну, стало быть, через пару дней наконец-то поладили мы со своим мотором, поставили его на место. Я даванул стартер — мотор рявкнул, будто оголодал, хватанул с полутыка! Заглушил, а потом снова даванул, а он — опять враз искру хапнул. А в нем — более шестисот коней! Ого-го! Зверюка какая! Для интересу пнул лбом матерую елку, та брык вверх кореньями! Сосна пополам изломилась бы, а елка завсегда с корнем выворачивается, будто на тебя медведь, задравши лапы, восстал. Правда, не всякую ель опрокинуть можно, но по мотору чую, что наш-то всякую завалит! С тяжелого бомбардировщика взят, с ТэБэ-первого. Вон какой нахрапистый!

Вот тебе политрук Кукареко — мрачный, глядит под ноги, на серые катанки. Должно, переживал после той неудачной атаки. Дак и запереживаешь: на тот день никакого батальона уже не было. В наличии одна наша машина осталась. Только-только на собственный ход встала. Да еще «десятка» в кустах пряталась, ждала: с подбитой снимут ленивец, а на нее поставят... Остальные, еще «живые» борты, числились в отставших. Но машины сгорели — ладно: не зная ничего, с ходу на рожон сунулись. Главное — ребята не вернулись. Из четырех экипажей,

которые тогда на Кудельщину пошли, — а это, считай, шестнадцать человек, без десантников, — уцелели только трое. Остальные — все истекли кровью в железных коробах, заживо погорели. Их еще и не хоронили, так в горелых танках и остались. Как их оттуда возьмешь? Немец пристрелялся, пикнуть не дает. Теперь уж заберут, когда отобьют Кудельщину.

Кукареко оглядел поваленную елку да как заорет, как заматерится: «А ну прекратить мне эти штучки — елки на передовой валять!» — «Да мы мотор после ремонта малость попробовали...» — объяснился я как механик, ответственный за ходовые механизмы. — «Вот я т-те попробую, мать-перемать! В штрафную захотел? С банями катавасию устроили, дак мало им, они еще и у немца под носом дерева давай валять!» — «Да мы всево-то одну елку...» — «А немцу и одной елки достаточно. Он на нас во все бинокли глядит. Вот возьмет, понимаешь, и накидает «бураков»...»

«Бураками» у нас метательные мины назывались: хвост у них на обрубленную ботву похож: вылитый бурак!

А политрук все пинал елку валенком: «Понимать же надо: шарахнет квадратно по тому месту, где ваша елка, падамши, снег взбучила, да и угодит по танку. Вот пока я тут с вами канителюсь, он, небось, уже наводит свои минометы. А мина опаснее снаряда, она, подлая, сверху падает. Может аккурат в моторную часть угодить, в самое уязвимое место. А нам ваш танк целым и невредимым позарез нужен: завтра сызнова пойдем на Кудельщину...»

Лешка Гомельков возьми и хихикни: дескать, один, что ли? Кукареко этак строго посмотрел на Леху, должно, ему не понравилась эта Лехина подковырка, и сам спросил Гомелькова: «Что значит — один? Тут что — сплошные дураки командуют? За такие слова, понимаешь... Танковый экипаж один, это верно, но с вами пойдет десантный батальон лыжников, артналет сделаем, «катюша» подыграет... А еще двое аэросаней с крупнокалиберными пулеметами. Так что давайте, и чтоб к завтрашнему утру машина была как часы. И чтоб Кудельщину взять без разговоров!» А Леха ему:«Дак у нас шесть штук снарядов только...» — «У двести десятой возьмете. Она все равно без ленивца никуда не пойдет. — И позвал командира танка:

— Катков! К шестнадцати ноль-ноль в штаб группы на уточнение операции».

...В прихожей раздались женские голоса — шумливо, звончато, перескакивая один через другой, как на базаре. Это пришла Петрованова Нюша и сразу, с порога вступила с хозяйкой в словесный коловорот, из коего можно было различить разве что отдельные слова и понятия: «Вот околотень! Ну бродень!» — «Да тута, тута...» — «Двое ден, как дома нету». — «Ну, будя тебе... Не под забором ляжит». — «Ишо чево — под забором...» — «Ой, гляжу, на тебе кохта новая? Гдесь таку отхватила?» — «Кой — новая! Понюхай, нахталином разит». — «А как седни куплена!» — «На какие шиши? Пенсию третий месяц не кажут». — «Да ты проходь в горницу-то, проходь, не разбувайся: в мае грязи не бывает». — «Да я на секунд один, своим глазом глянуть, живой ли?» — «Живой, живой!» — «А твой как? Не легшает?» — «Ой, девка, уже и не ходит, видать, к тому все идет. Но седни — тьфу, тьфу — вродя ничево тамотка балакают. День Победы справляют». — «Ну, я своему насправляю — мимо дома пробегать!» — «А чево это у тебя под кохтою-то?» — «Да тут... Вот ждала, думала — придет, а он, вишь, по гостям...»

Нюша, сопровождаемая Евдохой, заглянув в камору, продолжила начатое еще в прихожей:

— Ага-а! Вот ты где, голубок! На чужих хлебах устроился! А я, дура, в окна выглядаю: идет — не идет. Вот уж сонце к земи пошло, а ево все нету и нету. Думаю, электричка запаздывает... А он туточки... Медалью похваляется...

Петрован, сбитый со своей главной мысли, ерзал на табурете, воздевал руки, пытаясь отыскать прореху в потоке Нюшиных попреков, но только виновато косноязычил:

— Дак а мы чего? Мы — ничего... Герасим дак и вовсе...

А Нюша как из желоба:

— Глядела-глядела, да и осенило: не иначе как у Герасима, нынче один он из ветеранцев остался, да мой ишо. Дай, думаю, забегу, проверю, а то душа сронилась. Времена-то какие: кругом одно охайство. Да ежли ишо сам выпимши...

— Да ничево таково... — упорствовал Петрован.

— Как это ничево? А вон, вижу, бублики на веревке... Твои?..

— «Нолики»? Ну, мои... Дак это я ребяткам.

— И глаза не на месте, веки не держатся. А ну, глянь на меня, глянь, глянь прямо!

— Дак за какие ляды? Всего-то и дала двадцатку... Кабы б к медали да по стопарику — солдатское дело, а то даже на музыке не сыграли. Иные потом сами складывались — день-то какой! Победа! Но я отошел: мне на электричку надо было. Так, на вокзале кружку пива по-быстрому — и домой! Вот у Герасима початая была — всего нам и веселья.

— Да я не за то... — Нюша наконец высвободила из-под кофты глиняную миску и, на весу освобождая ее от рушника, поставила на свободную табуретку. Миска доверху полнилась румяными шаньгами, еще веявшими теплом и сметанным духом подового печева, томленой картошки и жареного лука. — Я ж их под подушку и кожух сверху... Ну, давайте, пока тепленькие. Ребятки, Колюшка, Олежка, вы тоже берите, берите...

— Ну как налетела, сполоху наделала! — мотнул головой Петрован, когда Нюша наконец ушла, наказав съесть шаньги, пока теплятся, и не сидеть до звезд. — Перебила весь наш порядок. На чем-то я прервался, не вспомню...

— Как собрались итить на Кудельщину... — подсказал Олежек.

— А-а! Во-во! — воспрянул Петрован. — Собрались, значит, ждем момента. И вот, как сейчас помню, в шесть ноль-ноль утра, по самой ранней серости, еще немец не пивал кофею, заговорила наша матушка-артиллерия. Из-за леса, с закрытых позиций враз ударило несколько батарей. В сумеречном небе заквохтали первые гаубичные снаряды и объявились беглыми вспышками по всему закрайку деревни, где у него была нарыта оборона: бах-бабах, бах-бабах! Будто баба половик выколачивает. Тут же мимо нашей «тридцатьчетверки», грюкая лыжными палками, пошли десантники в белых халатах — видны только вещмешки да карабины.

Пришло время и нам выступать, пока артиллерия наш мотор заглушает. Но мы не пошли на рожон открытым полем, следом за лыжниками, которых было предписано поддерживать, а на свой нос помчались краем леса влево, вроде как прочь от боевых порядков. В том месте ельник пересекала не шибко великая речушка и убегала к левой околице Кудельщины. Мы с ко-

мандиром Катковым еще вчера наведались к ее берегам. Речушка бурливо плескалась по промытому камешнику и этой своей прытью не давала заметать себя снегом и схватывать льдом. Вот тогда-то мы и решили: не переться по открытым полевым заснегам и сугробам, а прокрасться к деревне по речному руслу. Было нам на руку и то, что берега речушки застили нас ольхами, раскидистыми ивами, путаным черемушником и всякой поречной всячиной. Мы, конечно, рисковали: могли залететь в опасный омут или сесть днищем на лобастый валун, и тогда, считай, хана — за порчу военной техники и бегство с поля боя. А мы и на самом деле очутились далеко от того поля, куда ушла наша белая пехота. Там уже гремело вовсю: в полумраке рассвета схлестывались, пересекались ихние и наши огненные трассы, вытягивали змеиные шеи осветительные ракеты. А у нас тут — дремотная глухомань, сцепившиеся над головой заснеженные деревья да бег черной воды по извилистому камешному руслу, которое порой так закручивалось, что танк повертывался к передовой своим задом. Мы пробирались с открытыми люками: я себе распахнул, командир — себе. Башню развернули пушкой назад, чтобы не цеплять ею встречные сучья. Встречались и настоящие туннели из веток и снега, куда в полной темноте занyривать было даже страшновато. Сверху рушились пласты слежалого снега, разбивались о броню, снежной кашей забивало люки. Но на снежную кутерьму мы не обращали внимания: снег не грозил ни поломкой, ни ушибами. Опаснее было напороться на матерую дровину. Катков то и дело втягивал голову в люк — уклонялся от хлеставших по башне веток. Иногда такие попадались дурики, что, чуть зазевайся, снесли бы голову, как кочан капусты с кочерыжки. В таких случаях Катков постукивал ручкой нагана по башенному железу, дескать, не газуй, полегче, потише... Но стучи не стучи, а газовать приходилось, куда денешься: на крутых извивах реки танк залетал в бочаг, опасно кренился набок, и тогда в бортовых ящиках гремели, пересыпались гаечные ключи и отвертки, а мы с пулеметчиком Лехой задирали валенки от набегавшей в машину воды. Но все обходилось без чепэ: речушка в здешних местах еще не набрала глубины, она появится пониже, и только пугала своими суводинками и портомоями, в которых и впрямь деревенские женщины прежде полоскали ребячьи порты. Но все-таки приходилось натужно выскребаться железом гусениц из заиленных омутов, благо, что немец, отвлеченный боем, не слыхал моторного рыка. Но и

мотор — молодец: ни разу не подвел — не чихнул, не поперхнулся, а только гневно взвывал и расшвыривал голыши.

Каждому про себя было тревожно — куда мы и что будет, пока наконец командир танка Катков не выкрикнул в переговорку: «Люки з-закрыть! Башню — на место!» —« Есть — люки закрыть!» — откликнулся я и потянул рычаг стальной плиты, которая запирала выход из танка как раз перед водителем. Следом грохотнула крышка башенного люка. Колко засветилась лампочка-маловольтовка. В полутьме проступили смотровые амбразуры — одна передо мной, оснащенная триплексом, и другая, круглая, едва просунуть палец — в пулеметной маске перед Лехой Гомельковым. Сбоку мне стал виден его левый глаз и то, как он напрягся и беспокойно шевелил зелеными камушками роговицы.

— Костюков! — окликнул меня из башни командир. — Давай на берег!

— Есть — на берег! — почему-то обрадовался я, чуя, как эта команда сняла с души гнетущий натяг, который теснил меня, пока мы прорывались по запутанному и заснеженному руслу. Такое я испытывал при первом рывке плуга, с которым начиналась озимая пахота — самая большая работа в моем довоенном пацанстве. А проще сказать, называлось это: «А-а, была не была!»

Я выглядел на правом берегу подходящую пологость, наддал газку, и машина, вскинувшись, разбрасывая битый лед, вынесла нас в прогал меж зависшими и оснеженными зарослями.

Оказалось, мы выскочили на берег гораздо дальше, чем рассчитывали пройти, и очутились по-за линией обороны немцев.

— Гляди-и! — сдавленно произнес Леха, припавший к пулеметной дырке. — Чего вижу-у!..

Но это же видели и все остальные...

В какой-нибудь сотне метров, позади коровника не то овчарни, с давними обрушениями в кровле, обустроилась немецкая минометная батарея. Четверка «самопалов», круто задрав стволы, вела стрельбу из-за укрытия с аккуратно расчищенных от снега огневых позиций. Между округлыми площадками зияли узкие ходы. Такие же аккуратные, охлопанные лопатками по брустверу, траншейки вели к двум ближним избам, где — я теперь сам представлял это воочию — минометчики отдыхали между стрельбами, пили деревенский самогон под уворован-

ную курицу, отогревались на русской печи, а в наилучшем расположении духа — пиликали на губных гармониках, присланных им в числе новогодних подарков из далекого и нежно любимого фатерлянда.

Из нашего танка было видно, как прислуга в белых дубленых шапках с козырьками и войлочных бахилах поверх сапог неспешно, заученно обслуживала свои орудия, похожие на выдрессированных собак, каждая из которых сидела на круглой плите, будто на коврике, подпершись расставленными передними лапами. Долгий немец в форменной фуражке с наушниками, должно, офицер, каждый раз поднимал руку в красной варежке и, дождавшись, когда заряжающие предстанут каждый перед своим зверем с тем самым «бураком» с подрезанной ботвой, неистово орал: «Ф-фойер!» и делал резкую отмашку красной вязёнкой. Прислуга опускала в каждую пасть по «бураку», и тогда все четыре глотки дружно издавали свое злобное «г-гаф!», сопровождаемое дымными выхлопами.

Немцы наверняка не видели нас, а если и слыхали шум мотора, то не обратили на это внимания, принявши его за собственные тыловые передвижения. Они вели себя так, как если бы нас вовсе и не было у них за спиной.

Но мы-то были! Припавши к смотровым щелям, мы жадно и в то же время боязливо глядели из своего танка, затаившегося в прогале чащобника.

Честно признаюсь, было как-то не по себе начинать бой с такой близости. Куда б ни шло — начинать издаля: пока сблизились бы да огляделись, может, и вошли б в раж. А тут — нос к носу. Вот — они, а вот — мы. Тут — как в ледяную воду... Командиру нашему, Каткову, может, и ничего: он уже побывал под Смоленском, даже горел в своем хлюпеньком «Тэ-шестидесятом», а все остальные — и Леха Гомельков, и заряжающий Матвей Кукин, и я — ничего не видели, кроме полигона, а уж живых немцев — и вовсе. Леха от волнения даже принялся машинально шарить по карманам насчет курева, как в переговорной раздался сдавленный до сипа голос командира:

— Кукин! Осколочным — з-заряжай! Гомельков! Смотри там... И — полный впер-р-ред! Чтоб ни один не ушел... Выполняй!

У меня над головой железно заклацал орудийный замок, и я тут же включил стартер и дал газу. Танк взревел, как бык перед

сшибкой, и, окутанный взбитым снегом, ринулся на батарею. Ошарашенные минометчики так и остались стоять каждый на своем предписанном месте. Ихний офицер даже забыл опустить руку в красной варежке. И только после того, как возле дальнего, четвертого, миномета грохнул наш осколочный, а справа от меня долгой очередью полоснул Лехин пулемет, немцы по-тараканьи забегали по огневым позициям, ища спасительные щели.

Лобовой удар по торчащему миномету я даже не почувствовал, а только краем глаза успел схватить, как ствол надломился, подобно папиросному окурку. Второй и третий минометы я не видел вовсе, но, работая фрикционами, крутил танк то вправо, то влево, чтобы раздавить, смять и растереть в порошок эти пакостные устройства, тогда как Леха все лупил и лупил из пулемета, наводя суматоху и тарарам. Я остервенело утюжил минометные позиции, до той поры, пока не увидел, как откуда-то выскочил и побежал по снежной траншее тот самый ихний офицер, что в красных вязёнках.

— Леха! — закричал я. — Главный фриц убегает... Который в детских варежках... Полосни по нему!

— Где?

— Да вон, в траншее! Вишь, фуражка мелькает!

— Да где, где мелькает-то?

— А-а! — подосадовал я, увидевши, как фриц добежал до избы, вскочил на порог и скрылся в сенях, заперев за собой дверь.

— Командир! — окликнул я Каткова. — Шарахни по избушке! Там ихний офицер спрятался.

— Снаряда жалко. Уже один истратили...

— Ну, тогда я сам...

Я развернул танк, подстегнул его газком и с разбегу поддел избу левым бортом. Изба морозно завизжала, посыпались стекла, потом завалилась на бок и осыпала себя снегом и мусором с провалившейся кровли.

— Все, кранты! — заверил Леха.

Но командир осадил:

— Ладно — за каждым немцем гоняться. Давай вперед, пока нас не нанюхали. Тогда и будут кранты.

Мы рванули по улице этой самой Кудельщины. Постройки на обе стороны, рубленные в лапу, под толстым снегом на кры-

шах дома казались приземистыми и мрачноватыми, как лесные сторожки. В тех, что выходили задами в поле, к фронтовой нейтралке, в сараюшках, хлевах и баньках темнели пропиленные амбразуры. Сама же улица была аккуратно расчищена от намети, и даже стояли всякие указатели на полосатых столбиках. Видать, немцы чувствовали себя здесь безопасно и собирались оставаться тут надолго, а то и навсегда.

Впрочем, как я узнал потом, это была еще не Кудельщина, а окраинный посад, превращенный в опорный пункт, охранявший армейские тылы и базы, находившиеся в самой Кудельщине — большом, обжитом немцами селе с казино и кинопередвижкой. Почти всю зиму наши пытались его взять, но все както не получалось. Скорее всего оттого, что шли в лоб и, как всегда, на авось, что и убедило немцев в их неприступности.

Но зевать по сторонам было некогда, и Леха, отирая пот, строчил по разбегавшимся немцам, а когда те прятались в избах, я с ходу поддевал углы домишек, и те, рушась, заставляли немцев снова выскакивать наружу.

— А-а, гады! — сквозь зубы сосал воздух Леха. — Не нравиц-ца?!

Несколько раз в нас бросали гранаты, эти самые «толкушки» с длинными деревянными ручками — в самый раз картоху толочь. Броня гудела от их разрывов, но держала удары, только закладывало уши, и это пуще обозляло нас. На предельной скорости раздавили второпях выкаченную пушку, потом размазали, как козяву, какую-то легковую машину, из-под которой высоко взвилось переднее колесо и потом еще долго катилось впереди танка, следом опрокинули три крытых грузовика, скопившихся у штабистого дома. Один из них тут же задымился, застя улицу обильным и плотным дымом. Пока мы освобождали пушку, заехавшую в развилку березы, дым достал и нас за танковой броней. Командир включил башенный вентилятор, а я принялся выводить машину из задымленного места, потому как дым не только скрывал нас от врага, но и не давал видеть самого врага и того, что он предпринимал.

А между тем немцы решили выдвинуть против нас самоходное орудие. Мы не сразу увидели его. Самоходка пряталась между двумя домами в глубоком капонире. Сверху ее прикрывали нависшие ветви старой ракиты, которая служила еще и

вышкой для наблюдателя. Из этой норы самоходка, должно, вела огонь по тем нашим танкам, которые два дня назад остались в снегу после неудачной атаки. Наверно, с этой ракиты корректировщик и оповестил самоходку о нашем появлении на улице, а сам скрылся. Теперь самоходка готовилась расправиться с нашим танком из своей долгой пушки с дырчатым набалдашником. А калибр у нее был подходящий, и лучше не попадаться в ее прицел, особенно на таком близком расстоянии. Запоздай мы на пару-тройку минут, так бы и произошло: самоходка успела бы занять выгодную для себя позицию. Но сейчас, чтобы выстрелить в нас, ей надо было сперва вылезти из своего укрытия, потому как ее пушка не имела кругового вращения. Но даже если бы она его имела, то все равно ей помешал бы развернуться ракитный ствол. Так что самоходке пришлось выбираться на свет Божий под дуло нашего орудия, и она яростно взревела и, окутываясь сизыми выхлопами, резко дала задний ход. Но мгновением ранее позади меня снова клацнул орудийный замок, танк дернулся откатно, башня наполнилась кислым духом горелого пороха и медным зыком выброшенной гильзы. Это Катков молча влепил в самоходку, в ее грузный курдюк, вымазанный под зиму белой краской, второй наш снаряд из тех шести, что имелись. Самоходка перестала вычихивать синий дым и снова съехала в свое стойло и только там задымила черно и густо...

— А теперь куда? — я снял рукавицы и потер онемевшие от рычагов пальцы.

— Вперед, куда же! — сказал Катков. — Как с горючкой?

— На пределе...

— Был же почти целый бак?

— Речка все выхлестала. Валуны да завалы... А последний раз заправлялись аж в Калинине.

— Может, самоходку подоить? — посоветовал заряжающий Кукин.

— Это все равно што чужую кровь залить... — побрезговал Леха.

Он продолжал глядеть в пулеметный глазок на подбитую самоходку.

— А они на своей «крови», што ли, ездят?.. — съязвил Кукин.

— Подоить бы можно, но не успеем, — засомневался Кат-

ков. — Пока разберемся, где у них краники, то да се — может рвануть. Вон, вишь, как занялась: я ей, кажется, под самый дых саданул...

— Знать бы, где теперь наши, — проговорил свое заряжающий Кукин. — Дошли до деревни, ай нет? Слышу, бабахают, а кто? Куда? Хоть бы ракету пустили...

— По ракете тоже не поймешь...

— Допустим — две красных, одна — зеленая, как дойдут. Пошло-то много...

— Чего теперь... — Леха почесал под шлемом. — Закурить бы! У кого есть?

— Какие перекуры?! — отрезал Катков. — Погнали, погнали, пока целы. Еще малость пошуруем...

Э-эх, лучше бы мы тогда перекурили напоследок! А то што ж... Дальше и говорить нечего...

...Едва мы отъехали от самоходки, едва на перекрестке Катков припал к обзорному перископу, чтобы оглядеться, определиться, где мы находимся, как в башне ужасно грохнуло и так, братцы мои, сверкнуло, будто при коротком замыкании. Тесный короб танка наполнился кислой вонью перекаленного железа. Каким-то смерчем с меня сдернуло плотный ребрастый шлем, а в оголенной голове сотворилось такое, будто в нее вкачали несколько атмосфер. Я мигом оглох, ослеп и полетел в тартарары, в какую-то темень и собственное отсутствие.

Сколь меня не было на этом свете, я не знал и до сих пор не знаю. А когда все-таки очнулся, то, напрягшись, попытался узнать, жив ли еще кто-нибудь. Но мне никто не ответил: небось, голос мой не имел звука и потому не был услышан.

Я принялся ощупывать себя, чтобы понять свое положение: что осталось цело, а чего уже нет... Сразу же дошло, что я напрочь не вижу. В ушах потрескивало, как в шлемофоне после грозы. Тупой болью ломило голову. Подвигал ногами — вроде бы на месте, нигде не щемит, не саднит. Цапнул левую руку, а рукавица, как козье вымя, налилась кровью и уже начала засыхать и кожаниться. Сквозь шум в ушах я все-таки расслышал, как в стальной тишине танка сбегавшие с рукавицы капли моей собственной крови торопливыми шлепками разбивались о гулкий железный пол. Я подставил под рукавицу ладонь правой руки: капли сразу же перестали шлепаться о железо, и я убедил-

ся, что это действительно капала моя кровь. Попробовал пошевелить пальцами, но отозвался только большой, да, кажется, указательный, остальные промолчали. Мокрую рукавицу я стаскивать не стал, все равно ничего не увидел бы, а достал из кармана комбинезона рулонку изоляции, которую всегда носил с собой на всякий водительский случай, и, как мог, обмотал руку выше кисти смоляной лентой.

Правый глаз по-прежнему мучила острая помеха. Я не мог даже переморгнуть веком и вынужден был держать его опущенным. Было ясно, что это от броневой окалины, осыпавшей все лицо, которое теперь щемило, как после бритвенных порезов. Левый же глаз, хоть и не давал о себе знать, но был залеплен каким-то кровавым студнем, перемешанным с волосами. Пальцами уцелевшей руки осторожными шажками я прошелся по липнущей массе и понял, что взрывом с моего темени помимо шлема сорвало еще и кожу вместе с училищной сержантской прической и вроде уха легавой собаки набросило мне на глаз. Марлей из личного санпакета я кое-как обмотал голову и оба глаза, а сверху натянул валявшийся под ногами изодранный осколками шлем. Но под ним что-то опять закоротило и вырубило мое сознание.

Сызнова в себя я пришел, наверно, оттого, что в мое лицо сквозяще, остро поддувало снаружи. Я протянул руку: водительский люк напротив меня был приоткрыт. Захлопнуться полностью ему не давал серый армейский валенок, застрявший подошвой вовнутрь. Я ощупал его: чей он? Лехин? Кукина? Или самого Каткова? Но у башенных был свой люк. Зачем же им лезть по моим коленкам, чтобы выбраться наружу? Выходило, что это был Лехин валенок, это он, Леха, пока я был в забытьи, лез по моим коленям, чтобы выбраться через водительский люк.

— Леха! — позвал я, чтобы проверить.

Тот не отозвался.

— Гомельков!

Опять ни звука.

Я протянул руку: Лехино сиденье было пусто.

А может быть, Леха вовсе никуда не ушел, а, пойманный плитой за ногу, висел теперь вниз головой? Замерзший или сраженный немецкой пулей? Но узнать про то можно было, толь-

ко если приподнять люковую крышку. А в ней — сорок килограммчиков стального литья! Для такой операции существовал специальный рычаг. Он располагался с левой стороны, как раз напротив раненой руки. Но и здоровой я вряд ли смог что сделать в моем положении.

— Кукин! — позвал я заряжающего. — Ты живой?

Кукин не отозвался: наверно, успел выбраться или был убит наповал. Ужли и Каткова нет?

Мне сделалось жутковато, что я один, ослепший, заживо замурован в своей же «тридцатьчетверке». А если тут еще немцы?..

— Катко-о-ов! — уже в отчаянии прокричал я в пустую гулкую емкость. — Товарищ лейтенант!

Только теперь позади меня почудился глухой заторможенный стон.

— Товарищ лейтенант! — сквозь свою боль и слабость обрадовался я этому живому отклику. — Ваня!..

За все его командирство я впервые назвал его так по-родственному, как брата, потому что не было у меня в ту пору других слов, чтобы выразить ему свою радость.

— Это ты, Ваня?! Товарищ лейтенант!

И его стон повторился как подтверждение.

— Что с тобой? Скажи...

Ответа долго не было. И только спустя послышалось тягучее, слипшееся:

— Пи-и-и-ить...

...И вот слышу: снаружи ребячьи голоса. Гомонливо обсуждают наш танк. Оказывается, никто из них не видел русских танков. Наша «тридцатьчетверка», поди, первой была в здешних лесных и заснеженных местах, на улицах Кудельщины.

— Ух ты какой! Ничево себе! Под самую крышу.

— Ужли наш это?

— Да наш, а то чей жа!

— А где звезды?

— Их замазали. Для маскировки. Немцы ведь тоже на зиму перекрашиваются.

— А кресты не замазывают. Штоб все боялись...

— А то медведей малюют.

— Медведи — это у них часть такая: медвежья. На той сгорелой самоходке тоже медведь был. Она тут с самой осени стояла. Сперва зеленая с желтым, а потом белым покрасили. Я с чердака видел. И как этот танк ее саданул — тоже видел.

— Гни больше...

— Вот штоб меня... Ка-а-ак жахнет! С одного раза попал. Целый день горит...

— А как нашего подбили — видел? В башне вон какая дырка! С кулак!

— Нет, не видел. Лупанули оттуда откудова-то, из кустов...

— Дак из потайки хочь кого можно подбить... А ежли б один на один, грудки на грудки... Вон у нашего какие колеса! Аж мне по пояс. Сила!

...У моих ног всегда валялся траковый палец — этакая штуковина, заменявшая мне молоток. Я нагнулся, нащупал «палец» и постучал по броне.

Голоса сразу испуганно смолкли.

— Сыночки! — позвал я, стараясь кричать в щель незапахнутого люка.

Те по-прежнему молчали.

— Подойди кто-нибудь. Я — наш... наш... Слышите, говорю по-нашенски... Меня Петром зовут...

По ту сторону брони негромко загомонили между собой, но я ничего не разобрал. И снова подал знать в расщелину:

— Мы тут раненые. Я и командир. Нам бы водицы... Попить дайте...

Не сразу, но наконец донеслось:

— Сича-а-ас!

И верно, спустя немного прокричали:

— Куда вам попить-то? Спереди не пролазит... Там какой-то валенок застрял...

Я с облегчением перевел дух: значит, снаружи лобовой брони никого нет. Будь Леха еще там, ребятишки не подошли бы к переднему люку, тем более не стали бы пробовать подать туда воду. А ежли Леха жив, то, может, как-то сообщит про нас, про нашу «тридцатьчетверку».

— А вы посмотрите: ежли на башне крышка торчком, значит, верхний люк открыт. Туда и подайте.

— Открыто! — дружно прокричали ребятишки, а я подумал,

что Кукин тоже успел выбраться. Вон Катков не смог, потому и остался.

— Ну, тогда так: который посмелей — залезай на башню, а воду — потом.

По броне наперебой заскребло, зашкандыбало сразу несколько обуток. Потом из верхнего люка колодезно-гулко донеслось:

— Где вы тут? Берите!

Я поднял навстречу руку, пошарил в пустоте и поймал холодный кругляш бутылки. Тут же отпил половину и протянул остальное за спину. Катков жадно схватил посудину и, пока пил, было слышно, как стучали его зубы.

— Ваня, тебя куда?

— В грудь... — простонал Катков. — А еще в плечо, кажется... рукой не пошевелю.

— Потерпи, потерпи малость... Кудельщину, поди, взяли...

Тем временем мальчишка завис в люке, видно, не хотел уходить и, глядя вниз, на нас с Катковым, трудно сопел от напряжения.

— Ты, парень, вот что скажи: немцы где?

— А-а... За речку убегли. В Касатиху.

— А наши?

— А наши — за немцами. Там сичас гремит, ракеты летают. Два раза наши самолеты прилетали. Низко-низко, звезды видать.

— Значит, поперли-таки немца?

— Поперли! — радостно подхватил это слово мальчонка. — Тут никого не осталось. Одни убитые. Страсть сколько.

— А наши есть убитые?

— Не-е... Был один раненый, вон там на дороге лежал...

— Без валенка?

— Ага...

— И где же он? Куда подевался?

— Ево один дедушка подобрал, на санях увез.

— А больше никого не видел?

— Никого...

— А тебя как хоть зовут-то?

— Я тоже Петр. Петька...

— Тезки, значит. Петр-маленький, а я — Петр-большой, —

говорил я через силу, с натужной бодрецой, старался не спугнуть, приветить мальчишку. — Да вот, хоть я и большой, да ничего, брат, не вижу. Ты давай, лезь-ка сюда, дело к тебе будет. Давай, а?..

Петр-маленький помедлил, посомневался, но все же спустился в отсек и замер возле моего сиденья. Ему, конечно, было боязно видеть мои неопрятные бинты, торчавшие из-под шлема. А может, пугал его и раненый Катков, тяжко и клекотно дышавший позади меня на полу отсека. Подбадривая его, я ощупывал здоровой рукой хлипкое, ягнячье тельце под заскорузлым кожушком, перебирал стылые пальчики.

— Ты меня не бойся, — сказал я тихо, словно как по секрету. — Пораненный я. Лицо все в крови. Как мог, обвязался одной рукой, да, видать, не очень ладно. Что поделаешь, такая вот она, война. Не будешь бояться?

— Не буду...

— Тебе сколько годов-то?

— Девятый.

— В каком классе?

— Ишо не ходил...

— Что так?

— А-а... война. А в школе — немцы. Парты все сожгли...

— А папка с мамкой где?

— Папку на фронте убило. Ишо летом бумажку прислали. А мамка болеет, ноги у нее... Ботинки не обуваются.

— Тут рядом свободное сиденье, — сказал я. — Давай, забирайся.

Петр-маленький послушно залез на Лехино место.

— Хорошо?

— Ага.

— Там раньше пулеметчик сидел. А теперь — ты. Согласен? Будешь моим помощником.

— Ладно. А чево помогать?

— Ты деревню Ковырзино знаешь? Вон там, за лесом?

— Знаю.

— Точно знаешь? Не путаешь?

— Там моя тетя Шура живет. А чево?

— В Ковырзино у нас санчасть. Раненых принимает. Сейчас будем пробовать мотор. Ежли заведется — туда поедем, коман-

дира повезем. А ты мне дорогу будешь показывать, потому как я сам не вижу.

— А как показывать?

— Перед тобой дырка светится. Смотри в нее и говори, так я еду али не так. Нашел дырочку?

— Нашел.

— Что видишь?

— Нашу улицу.

— Ну вот по ней и поедем, на малой скорости. А дальше — сам говори, куда надо. Я ваших дорог не знаю.

— Ладно. Доедем до школы, а там как раз поворот на Ковырзино.

— Молодец! А вот в поле будь повнимательней. Там вдоль дороги уже должны быть тычки. Саперы наставили. Там, за тычками, могут быть мины. Запомни: мины! Это, браток, такая скверная штука!.. Так ты особо последи, чтоб я за тычки не заехал... Понял?

— Ага, понял...

Я извлек из комбинезона ролик изоляции и попросил Петра-младшего помочь мне примотать мою раненую руку к рычагу левого ходового фрикциона.

Тот, как умел, исполнил.

— А теперь скажи пацанам, чтоб держались покрепче. Там за башней скобы есть... Довезем до школы.

Замерев от сомнения, что не получится, я включил зажигание и запустил стартер.

Мотор басовито гуркнул и пошел, пошел бодро и непринужденно вращать свой многоколенный вал.

...У него мозжило руку, саднило посеченное окалиной лицо, в глазах стояла ночь с росчерками молний, но в те минуты он тихо ликовал животворной радостью и молча, будто в забытьи, слушал и слушал это сдержанное бормотанье ожившей «тридцатьчетверки»...

— Ну, Петр, двинули помаленьку, — объявил он, разворачивая машину к последнему пределу своей войны. — Посматривай там...

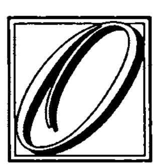
Уже поздно вечером, при голубо воссиявших над Брусами Стожарах, при недремных Олежке и Николашке, млевших от

услышанного, Петрован, вставая, провозгласил убежденно и беспрекословно:

— Так что, друг мой Герасим, она — твоя! Бери эту медаль без разговору: у тебя против моего было двести таких недель...

2000

ФАГОТ

н объявился в том дворе перед самой войной, где-то года за полтора до ее начала.

По строгой мерке война — та, большая, всеохватная, от которой планета потом полыхнула, будто сухая копна сена от брошенного окурка, — занялась уже где-то в Польше. Но тогдашним пацанам, дворовым стратегам, этот немецкий окурок, брошенный в одинокое, ничейное польское остожье, тогда показался сущим пустяком, тем более что случилось это далече, и Красной Армии, пожалуй, вовсе не «светило» в нем поучаствовать, показать себя... А хотелось: ведь все мы наизусть знали, что «броня крепка и танки наши быстры» и уж «если завтра война, если завтра в поход», то...

Томимые неопределенностью, мы как-то нехотя пошли в школу и сели за свежевыкрашенные парты без обычной праздничной приподнятости.

И вот, наконец, кажется, началось...

Недели через две от гарнизонных казарм к городскому железнодорожному вокзалу потянулись первые колонны пехотинцев в полном походном снаряжении с перекинутыми через плечо шинельными скатками, противогазными подсумками и новенькими, необношенными вещмешками.

Роты шли молча, без привычных банных песен, и только глухой резиновый топот кирзовых сапог создавал строгий ритм согласованного движения.

Потом две не то три ночи по булыжной мостовой громыхали обозные пароконки, походные кухни, санитарные фуры с красными крестами на округлых крышах. Фыркали и всхрапывали застоявшиеся в кирпичных стойлах полковые кони, с же-

лезной звонцой клацали подковами, высекая голубые искры из лобастых сверкачей. Терпко пахло ременной сбруей, колесным дегтем, свежими конскими катышами.

Ребятишки допоздна просиживали за воротами, обомлело вглядываясь в мельтешащие сумерки, где под редкими фонарями в клубах потревоженной пыли нескончаемой лавиной катилось наше тогдашнее конно-тележное воинство. Наверное, так же оно уходило в поход еще во времена крымской кампании. И только иногда, словно примета текущего времени, уличную темень пронизывали лезвия желтых лучей из прорезей подфарников начальственной «эмки», должно быть, объезжавшей боевые порядки.

Тогда еще никто не знал, что наши курские полки тоже отправлялись освобождать из-под панского гнета братские народы Западной Украины и Белоруссии.

С рассветом передвижение войск прекращалось, и город, как ни в чем не бывало, снова наполнялся обычными прохожими: кто спешил на службу, кто — на рынок, а ребятишки, в том числе и мы, — в школу, на занятия. Дворники же, вооружась совками и метлами, принимались сметать и выскребать следы ночного столпотворения.

Однако по прошествии недолгого времени возбужденный город постепенно успокоился, воротился к своему прежнему неспешному бытию. Были отпущены по домам некоторые возраста, излишне прихваченные переусердствовавшей мобилизацией. Газеты и уличные говорящие устройства приподнято сообщали, что недавняя частичная переброска войск, проведенная в некоторых военных округах, — всего лишь осуществление освободительной миссии нашей Красной Армии. Трудящиеся Львова, Ужгорода, Владимира-Волынского, а также Брест-Литовска, Гродно и Белостока уже встречают своих освободителей охапками цветов и благодарными возгласами. Говорилось также, что все эти города были освобождены без сопротивления польских гарнизонов, которые выбрасывали белые флаги при одном только появлении наших неудержимых войск.

...Пришла ранняя погожая осень, едва тронувшая позолотой обширные курские сады. С окраин веяло затяжелевшей антоновкой, винной усладой перезревающих слив, вишневой смолкой из уже начавших багроветь вишенников. А на главной город-

ской площади, возле кинотеатра «Октябрь», переделанного из бывшего собора, с самого рассвета змеилась очередь за билетами на «Красных дьяволят». В новеньком цирке, возведенном на месте толчка — шумной, горластой, вороватой барахолки, — успешно выступал народный богатырь Иван Поддубный, афишные портреты которого с закрученными усами и бугрящимися бицепсами трепал ветер на каждом перекрестке. В Пролетарском же сквере под брезентовым куполом заезжего «шапито» трещали и подвывали мотоциклы, проносившиеся у самого потолка. Случалось, какой-либо тучной тетке делалось плохо — не то от выхлопных газов, не то от головокружительного мелькания гонщиков, и ее спешно выносили в соседний скверик — на свежий воздух.

В одно сентябрьское выходное утро свободные от школы пацаны по обыкновению собрались на уличном крылечке соседнего детского сада. Раз в неделю это кашеманное учреждение не работало, входная дверь была заперта, а просторное крыльцо, освещенное ранним заспанным солнышком, приятно согревало теплыми сосновыми ступенями. Неожиданно к ватажке подступился никогда ранее не виденный прохожий фраерок и, остановившись перед порожками, заслонил собой солнце. На вид он выглядел гораздо старше их и, следовательно, был сильнее каждого в отдельности. К тому же солидность и явное превосходство ему придавал чернявый чубчик, свисавший над переносьем. Парень был облачен в красную спартаковскую майку с белой шнуровкой на груди. Майка просторно, пустовато свисала с его не очень-то атлетических плеч и наверняка досталась не по футбольным заслугам.

Особую неприязнь вызвал маленький франтоватый чемоданчик с металлическими нашлепками на всех углах, в каких настоящие футболисты носили свои ошипованные бутсы. Сережка Махно окинул многозначительным взглядом настороженные лица, что означало: «А не посчитать ли ребра у этого оторванца?» Их было человек шесть — вполне хватило бы разом налететь, дать подножку и завалить фраера в дождевую канаву. А он, как ни в чем не бывало, непринужденно, улыбчиво мельтешил чемоданчиком, заглядывал под оконные занавески детского сада, потом долго пялился в глубь двора, на его сарайчики, голубиную решетку, пестрые постирушки на веревках — глядел с въедливым интересом, будто выцеливал что-либо слямзить.

— Вы тут живете? — спросил он, не переставая подозрительно озираться.

— А тебе чево? — набычился Серега.

— Да так просто...

И вдруг, отерев о штаны ладошку, протянул ее сперва Сережке, потом всем остальным и каждому по-приятельски, со встряхиванием, пожал руку, называя при этом свое имя — «Ванюха», «Ванюха», «Ванюха»...

— А ты что, настоящий футболист? — примирительно спросил Махно. — Бобочка на тебе клубная... Или где-нибудь с веревки сдернул?

Парень ничуть не обиделся на ехидный выпад Сереги, а только еще больше и расположительней растянул губы в улыбке.

— А в чемоданчике, взаправду, буцы? — настырничал Махно. — Покажь! Никогда близко не видел!

— Да нет там ничего! — Ванюха переложил чемоданчик в другую руку. — Так, барахлишко всякое. А эту футболку я у одного спартаковца во Мценске за финяк махнул. Вместе с чемоданчиком.

— А Мценск — это чево?

— Город такой... Сначала Орел будет, а потом уже Мценск. Это если отсюдова ехать... А если сюда, то — наоборот, понял?

Серега, конечно, ничего не понял, но согласно кивнул.

— Я там в детдоме жил, — пояснил Ванюха.

— Урка, что ли?

— Ну почему же — урка? — рассмеялся тот. — Я в прошлом году на конкурсе детских домов второе место по фаготу занял.

— А это чево?

— Фагот? Это такая деревянная дудка с клапанами. И с тростниковым язычком. Тросточкой называется. Когда дуешь — тросточка и телеблется, мозжит, значит. Получается звук. У фагота свой звук, фаготовый. Его ни с чем не спутаешь.

Ванюха поставил чемоданчик на землю и, зажав нос большим и указательным пальцами, нагундел мотивчик из «Лебединого озера». Звук получился глухой, гнусавый, будто возникший под ватной шапкой. Слышать это было забавно и непривычно, и все дружно рассмеялись.

— Чево, чево это? Как ты назвал?

— Так звучит фагот.

— А ну, Фагот, подуди-ка еще! — развеселились пацаны.— Ловко получилось.

— Ну, я только показать, — уклонился Ванюха. — Фагот, это тебе не бузиновая сопелка. Он может выдать сорок два звука — от си бемоль контроктавы до ми бемоль второй октавы. Во сколько!

— Ух ты! — просто так удивился Сережка. — А мы думали: ты шпана. Тогда как же финяк? Что на футболку променял? Откудова он у тебя? Скажешь, нашел...

— Да не-е. Мы их сами делали. Когда по слесарному занимались. Втихую от воспитателя. Столовым ножиком разживемся, а ручку к нему из всякой всячины набираем: из старых телефонов, костяных гребешков. Алюминий за серебро сходил, если надраить. Ножики с наборными ручками хорошо шли, братва на курево зашибала. Или меняли на чего-нибудь.

С того момента, как Ванюха зажал нос и попытался показать, как звучит фагот, его почему-то больше не называли по имени, а тут же окрестили Фаготом, и тот, нисколько не противясь, легко принял это близкое и даже льстящее прозвище, каковые имел каждый. Ну, скажем, Серега, за то, что с началом летних каникул напрочь переставал стричься и к осени зарастал свалявшейся папахой, был обозван батькой Махно, чем оставался весьма доволен и горд.

— Слушай, Фагот, а ты к нам по какому делу?

— Хожу вот, мать ищу.

— Потерялась, что ли?

— Десять лет не виделись.

— Как это?

— Долго рассказывать.

— Ты что, из дома убежал?

— Да не, не так... Мы тогда в деревне жили. Тут, где-то недалеко. Не помню названия.

— Ну и чево?

— Ночью отца забрали и увезли куда-то. Потом добро наше вывезли: хлеб, скотину. Это мать мне рассказывала, когда мы по станциям куски собирали. С нами еще двое пацанов было, братья мои. Как звали, тоже не помню. Меньший — совсем пеленочник, еще грудь сосал. А грудь-то у матери — сморщенная

кожа. Орал до посинения. Бывало, мать трясет тряпичный сверток, а сама тоже плачет. К тому времени я уже кое-чего кумекал: сам попросить мог, а то и стибрить чего на станции у бабульки: огурец, оладик картошешный. Небось, посчитав, что без нее я уже не пропаду, она выждала, когда поезд тронулся с места, подхватила меня под закрылки и запихнула в побежавший тамбур. «Прости, сыночек!» — услыхал я вдогон ее сорвавшийся выкрик. И вовек не забуду, как она, прижимая к груди спеленутого братишку, другой рукой щепотью крестила застучавшие колеса, будто посыпала их чем-то.

— А ты чево же? Взял бы да выпрыгнул...

— Ну да... Поезд уже вон как раскочегарился! Когда далеко отъехали, проводница нашла у меня за пазухой измятую бумажку. Мать моя не умела писать, кого-то попросила назвать в той бумажке мои имя, фамилию, год и месяц рождения. Должно, заранее обдумала, что со мной сделать. Ведь у нее на руках еще двое совсем никчемных оглоедов осталось.

«А бумажку эту ты береги! — сказала тогда проводница. — Без бумажки ты никто, понял? Снимай-ка штаны, я к ним карман подошью. Там будешь ее хранить».

В служебном купе она налила мне кипятку, дала кусок сахару и настоящую белую булку, а сама принялась метать карман, которого у меня дотоле еще не было: его заменяла побирушная сумка.

Во Мценске на вокзале проводница сдала меня дежурному по перрону, а тот переправил в тамошний приют. А когда вырос, принялся писать, запрашивать. И вот только теперь сообщили, где моя мать... Я и приехал...

Фагот достал из заднего кармана казенную открытку, сличил написанное в ней с обозначением на уличном фонаре.

— Все сходится! — еще раз уверился он. — И улица, и номер дома. Значит, где-то тут она, матушка моя!

— А зовут-то ее как?

— Катя! Катерина Евсевна!

Серега растерянно заморгал.

— А фамилия какая?

— Да Чистикова она! Екатерина Чистикова.

— Погоди, друг... — Серега еще больше раззявился смущенно. — Дак я и сам Чистиков! Пацаны! Скажите ему, что и я Чис-

тиков! И вот он, Миха, тоже... Который меньший, который после меня родился... Что же получается? — развел руками Махно и озернулся на сотоварищей, будто ища у них какого-то последнего слова истины. — Выходит, ты братан мой? А я — твой! Родня друг другу?

— Выходит, так! — Фагот радостно соглашался быть братом этому чумазому и до сих пор босому (октябрь на дворе!) забияке с багровым, рубленым шрамом на подбородке — прошлым летом он подкрадывался к залетному чужаку, сорвался вместе со ржавой водосточной трубой и ударился подбородком о край дождевой бочки. Потом месяц ничего не ел, кроме жиденькой кашки.

— Ну, тогда давай еще раз поздоровкаемся! При свидетелях! Ведь мы давеча хотели тебе морду набить. — Серега ступил навстречу Фаготу.

— А ты братаном оказался! Во дела! Миха, и ты давай подходи: он и тебе теперь свойский...

Тем моментом кто-то из пацанов стукнул в крайнее оконце надворного строения, где теперь обитали уцелевшие Чистиковы, и следом, будто заполошная курица, вылетела тетка Катя, то есть то, что оставила от нее лихая судьбина, — маленькое, щупленькое существо в косом платочке, вся какая-то серенькая, ветошная от мелкой крапчатости своей ситцевой застиранной одежки. Она еще издали распахнула бесплечие ручки, будто готовясь повителью обвиться вокруг нашедшегося сына, но вместо объятий упала перед Ванюхой на колени и цепко, страстно охватила его ноги, воткнувшись в них лицом и содрогаясь в тихом бессловном плаче.

До появления Фагота никому из обитателей этого переполненного странноприимного дома не было ведомо, что у тетки Кати, тихой, покорной женщины, помимо двух мазуриков — Михи и Сереги, был где-то на стороне еще и третий сын, которого она сама, своими руками предала безвестности и беспризору. Лишь в глубокой ночи, за сдвинутыми занавесками извлекала она со дна деревянного ларца бронзовый старообрядческий складенек с житием Пресвятой Девы Марии и покаянно выкладывала заветному образу собственный грех, прося Матерь Божию уберечь, не дать загинуть большенькому отроку.

Младшие побродяжки, Серега и Миха, оставшиеся при бездомной матери, уберeглись от мора тем, что в самую голодню

добрые люди пожалели Катерину и взяли ее в заводской детский садик истопницей и посудомойкой. Ей было дозволено для своих детей соскребать со стенок котлов пшенные пригарки. Кастрюльные сполоски Катерина тоже не выплескивала зазря, а добавляла в них подзаборную крапиву, овражную сныть или щавелевые побежки. Иногда такой похлебкой она потчевала и других пацанов своего подворья.

Постепенно петля повальной голодухи ослабила свою затяжку. К польскому походу витрины магазинов повеселели от выбора конфет, печений, обсыпанных маком баранок и причудливо заплетенных хал. На перекрестках открылись павильоны с мороженым, розовым морсом и сельтерской водой. Над уличными забегаловками красовались намалеванные раки и пивные кружки, оплывшие кучерявой пеной. В табачных ларьках, еще издали заманчиво пахнущих своим товаром, вновь появились дорогие коробчатые папиросы: «Казбек», «Ялта», «Наша марка», «Дерби» и «Герцеговина Флор», вкус которых вездесущая пацанва уже изведала по окуркам, подобранным возле изысканного тогда кинотеатра Щепкина. Видных посетителей он привлекал буфетом с фарфоровыми кувшинчиками ликера «Кюрасо», симфоническими новинками, исполнявшимися в верхнем фойе, и алым бархатом амфитеатра.

Фагот как-то быстро и непринужденно, без всяких претензий втиснулся в свою новую жизнь, как будто всегда тут и был.

Десятиметровая комнатенка, в которой ютилась Катерина с двумя ребятишками, имела единственное оконце, выложенное в старинной метровой кладке, отчего подобилась богоугодной обители. К тому же окно было заставлено по-зимнему сдвоенными рамами, умалявшими свет и не пропускавшими воздух. Проживать вчетвером в таких условиях сделалось udтесновато. Но неисчерпаемая Катерина и тут нашла выход. Свою узенькую послушницкую кроватку она отдала старшенькому, а Махно и Миха, как и прежде, остались на топчанчике, устроенном под столом: сверху столешница, а под ней дощатый настильчик для спанья. Сама же перебралась в детское заведение, где на кухне у печной стеночки приспособила раскладушку. Проявляя понимание, заведующая садиком дооформила Катерину еще и ночным сторожем, чтобы та могла ночевать на кухне с полным основанием, вопреки запретам общественного надзора.

Продолжать ученье в школе Фагот не стал: не хотел снова школьного занудства, зубрежек, вызовов к доске, контрольной писанины, осточертевших еще в режимном Мценске. Вместо школы он облюбовал себе механический завод, что располагался неподалеку, сразу же за Пролетарским сквером. В отделе кадров его взяли без всяких препон, тем более когда узнали, что он прежде играл в духовом оркестре. Такие люди профкому были нужны, и Фагота зачислили учеником токаря-универсала с предложением приступить к своим обязанностям хоть завтра. Под изданный приказ его провели в бухгалтерии и нежданно-негаданно тут же выдали четвертной — новыми, хрустящими пятерочками.

Фагот, выйдя за проходную в приподнятом настроении, накупил домой гостинцев: шоколадных конфет «Южная ночь» в звездной обертке, белых мятных пряников, изображавших лошадок и петушков, засахаренных маковок в клетчатых плитках, два сорта «Микад» с клюквенным и абрикосовым вареньем, словом, постарался выбрать то, чего ни он, ни Катерина, ни братья никогда в жизни не ели вволю, от души. А самой матери в подарок высмотрел фильдеперсовые чулки. Катерина поделила гостинцы всем поровну и с радостной голубизной в глазах поставила во дворе самоварчик. Чулки же, ужаснувшись их невесомой паутинности, тут же заперла в свой заветный ларец.

— Куда мне такие? — упрекнула она Фагота. — Только зря потратился. От ногтей сразу же изорвутся. Мне бы в резиночку. В самый раз. Вся таковская. А эти нехай лежат до скончания. Может, тади и нарядят к Господу явиться...

— Ты мне брось это! — повелительно осудил Фагот. — Сейчас и носи. Подумаешь, невидаль!

— Да куда ж мне носить-то? У печек да котлов шлендраться?

— А мы с тобой давай в Совкино сходим. Как раз «Волгу-Волгу» показывают.

— И не выдумывай даже!

В следующую получку Фагот уже щеголял в настоящих брюках с заутюженными стрелками и задним кармашком на пуговице. А заодно постригся. Правда, стричь ему было нечего, еще не больно наросло, даже парикмахерша развела руками. Но он, как все подростки, торопил свое время, спешил посолиднеть, покраше выглядеть и потому велел маленько поправить сзади,

подрубить песики. Зато теперь от него шикарно пахло одеколоном. Пацаны завидовали этой его настырной взрослости. Серега же Махно, бывший батька всей дворни, беспрекословно уступил Фаготу эту свою предводительскую должность и даже был готов передать ему в полное распоряжение голубятню и всех своих турманов, которых любовно подбирал и сколачивал в дружную, слетавшуюся стаю. Но Фагот резонно отказался от голубей:

— Это ж надо с утра шестом махать! А мне теперь, браток, к семи на завод.

Но самое ошеломительное произошло на другой день Ноябрьских праздников. Ошиваясь в Первомайском саду, гремевшем музыкой, полыхавшем кумачом, Серега и Миха со приятелями нечаянно напоролись на Фагота. Он сидел под полосатым тентом летнего павильона за белым столиком в ловком сером куропатчатом пиджаке с красным бантиком над грудным карманом — весь какой-то не такой, не виданный прежде: праздничный, сияющий, разговорчивый. Но пацанов удивил не столько сам Фагот, ни даже настоящая, наполовину отпитая бутылка пива, пузырившаяся воздушными кубиками, сколь сидевшая напротив него живая, настоящая девашка с желтой косой поверх голубого плащика. Совсем юная девашка сидела в профиль, у нее был маленький пупсиковый носик, который в момент улыбки то и дело прятался за округлую щеку. Вишенно-спелыми губами она с неторопливой праздничной усладой слизывала мороженое с витой десертной ложечки.

Почти непрерывно играла музыка, перемежавшаяся с бодрыми песнями, где-то неподалеку хлопало на ветру праздничное полотнище, и потому вовсе не было слышно, о чем весело и оживленно разговаривал Фагот со своей подружкой. А так хотелось услыхать хотя бы по одному словечку: что он сказал, что она ответила... Ведь никто из них еще никогда в жизни по-человечески, по-взрослому не разговаривал с девчонками, тем более не сидел вот так рядом за белым столиком. От одного вида этого мраморного столика с пивом и вазочками с мороженым пронизывало чувство волнующего озноба, тем более — от позолоты девичьей косы.

Наконец Фагот своим оживленным взглядом запнулся о всклокоченного Серегу, тотчас погас лицом и приподнялся из-

за столика, поднятой рукой давая понять своей спутнице, что он на минутку. Подойдя к пацанам, Фагот сунул руку за лацкан, извлек зеленую трешку и, вручив ее Сереге, шипяще произнес:

— А ну брысь отсюдова! Подглядывать мне!

— Уж и поглядеть нельзя... — обиделся Серега.

...В том году музыка играла в Первомайском саду в последний раз. Не успели прибраться после праздников: смотать лампочную иллюминацию, собрать в кучи опавшие листья, как после сентябрьской мобилизации в городском воздухе снова повеяло тревогой. На этот раз паленым донесло с Карельского перешейка. Как объясняли тогда, белофинский барон Маннергейм отклонил нашу справедливую просьбу несколько отодвинуть общую границу на запад, с тем чтобы обезопасить от конфликтных случайностей многолюдный Ленинград. Маннергейму вежливо разъяснили, что такую подвижку надо сделать еще и потому, что Ленинград почитается как колыбель революции, в нем собраны бесценные реликвии: стоит легендарная «Аврора», на башне броневика возвышается вдохновитель всех наших свершений товарищ Ленин. Казалось, чего бы упрямничать? Ведь все убедительно, обоснованно. Тем более что не за так просят отодвинуться, не за здорово живешь, а взамен предлагается хороший кусок в другом месте Карелии, гораздо больший, чем на перешейке. Но Маннергейм, паразит, начисто отказался говорить на эту тему. Даже третьеклашке было ясно, что Маннергеймка не прав, и в школьных туалетах его поносили во все тяжкие, а в карикатурах у подлого барона выкалывали глаза. По-хорошему, следовало бы проучить этого прохвоста. Так и не поняв, с кем имеет дело, он сам вскоре напал на наших пограничников: обстрелял заставу из орудий... Кто ж такое потерпит? Мы и не потерпели.

Ночами по городу снова понесли повестки. На этот раз уже никого не возвращали из-за мобилизационного перебора.

Тем временем по школам прошла негласная кампания: мальчишек-старшеклассников по одному приглашали в кабинет, где за директорским столом сидел военный с голубыми петлицами авиатора. Он приветливо предлагал сесть, даже пододвигал папиросы, расспрашивал про учебу и вдруг задавал вопрос, не желает ли приглашенный продолжить образование в авиационном училище, где будет все так же, как и тут, лишь с

добавлением некоторых технических дисциплин, но зато всем абитуриентам выдается летное обмундирование и даже портупея, что, разумеется, весьма немаловажно для молодого человека. В заключение резидент в голубых петлицах просил подумать и никому не рассказывать об этом их разговоре.

Некоторые пацаны выходили из кабинета какие-то отсутствующие, никого не узнающие, будто уже парили в заоблачной голубизне. Нам, мелкоте, тоже хотелось в летчики, но на тайные беседы нас пока не приглашали, поскольку семиклашки в сталинские соколы пока еще не требовались.

И мы, никому не нужная школьная шантрапа, на большой перемене отправлялись во двор, где в глухом его конце предавались игре в любимую стеночку по трюшнику за пядь: «выпядил» — твои три копейки, «недопядил» — трюшник с тебя.

Финская кампания предполагалась тоже быстрой и необременительной, подобно польскому походу, из которого, почти ничего не потеряв, разве что самую малость, да и то от непредвиденных случаев, личной нерасторопности или несвежей пищи, войска вернулись бодрые и посвежевшие, с трофеями в заплечных мешках, подобранными по пути, иногда нелепыми и забавными, вроде утюга, беговых коньков, уже начатых школьных тетрадей или банки маринованных огурчиков, добытых со дна Буга, где они хранились вместо погреба.

Карельский же поход, напротив, из прогулочной кампании обернулся войной, нудной и малоуспешной.

Пока день за днем, неделя за неделей, — вот уж и новый девятьсот сороковой год на дворе, — добывалась та Карельская перемога, создавшая в местных аптеках нехватку бинтов и марли, город изрядно поутих и потускнел, будто сам потерял сколько-то своей крови. Сложился и умотал парусиновый «шапито» вместе со своими шумными и дымными смертельными номерами. Многие месяцы собиравшую сотенную очередь «Волгу-Волгу», после которой каждый раз на улицу выплескивалась поголовно улыбающаяся толпа, заменили созвучной моменту пронзительной дзигановской трагедией «Мы из Кронштадта», пережив которую зритель замолкал и мрачно уходил в себя. С перекрестков куда-то девались павильоны с выносными столиками, витрины магазинов тоже потускнели, сократили ассортимент, а отпуск масла, столовых жиров и суповых наборов

снова вернули к упорядоченному регламенту. Опять появились очереди, в которых часто случались недовольные выкрики: «Не давайте по стольку в одни руки! Куда смотрит милиция?» Иногда, озираясь, гневясь вполголоса, высказывали наболевшее: «Да что мы чикаемся с какой-то там Финляндией?! Ведь моська же! Всего четыре миллиона с детишками и старухами. Ну, врезали бы как следует! Проучили бы этого ихнего Маннергейма. А иначе опять до хлебных карточек доцеремонимся».

Через финские гранитные доты и надолбы наши войска перевалили только к весне сорокового, заплатив за это одоление почти триста тысяч... но, к сожалению, не рублей, а человеческих жизней... Хотя о таких несоразмерных потерях тогда не сообщалось, было стыдно признаваться в этом перед остальным миром, но и так, без признаний, было нетрудно догадаться, сколько стоит финский лед и камень.

Вообще в том злопамятном сороковом мы не раз принимались ультимативно помахивать пороховницей. Едва вывели дивизии из-за поверженной линии Маннергейма, как тем же летом направили солдатские кирзачи в Прибалтику, где тамошние правители, заключив с нами договора о дружбе, сами же тем часом заигрывали с Германией. Сходили, освободили. Одновременно весьма удачно порешили вопрос и о румынской Бессарабии, присоединив ее после долгого и незаконного пребывания за нашими пределами. А заодно протянули руку помощи и Северной Буковине.

Историки потом напишут: «Все эти районы могли быть использованы агрессорами как плацдармы, приближающие их войска к жизненным центрам Советского государства». Вроде бы все получалось. Фортуна благоволила нашим высоким замыслам.

В долгожданное, давно просчитанное утро Фагот спешил к проходной своего завода. Он проснулся в легком, приподнятом настроении, которое всегда сопутствует ожиданию каких-либо перемен. Бодрости прибавлял и морозный, хрусткий снежок, легший, должно быть, окончательно, до самой весны. Он выбелил Пролетарский скверик, который всякий раз охотно пересекал Фагот по пути на работу. Над бетонным кольцом фонтана сутуло склонились засахаренные изморозью ивы. Оставшаяся

на дне лужица неспущенной воды подернулась ледком оконной ясности, на котором кто-то, опередив его, уже успел оставить в легкой пороше следы мальчишеской пробежки.

Убеленные крыши окрестных домов, отражая зоревой свет, добавляли утру дополнительное и какое-то радостное сияние. Ощущение светлой утренней чистоты и собственной легкости было столь велико, что Фагот, взойдя на ступени проходной, перед тем как открыть дверь, невольно шаркающим движением отер подошвы своих ботинок.

В профкомовском зальчике, уже заполненном народом, на возвышении за долгим красным столом сидел Ван Ваныч — местком, он же председатель квалификационной комиссии, и сама комиссия — представитель из отдела кадров по профобучению Гвоздалев, мастер цеха Ничевохин и Фаготов наставник дядь Леша. Ван Ваныч вертел перед своими утолщенными очками эту самую КС-16, которую было поручено изготовить Фаготу в порядке экзаменационного задания. Такую же деталь уже вовсю точили несколько других токарей цеха, но Фагот имел с ней дело впервые. Для чего она предназначалась, он не знал, и даже наставник дядь Леша, помогавший освоить рабочий чертеж, отвечал уклончиво и неопределенно: «Я и сам не в курсе...» И, понижая голос, будто говорил одному только Фаготу, приоткрывал самую малость: «Оборонный заказ! Так что ты, парень, старайся!»

Деталь оказалась не ахти какая, на первый взгляд — продолговатый фланец, но зато с двухступенчатой внутренней проточкой. В самом узком месте — всего полдюйма. Попыхтеть, конечно, пришлось. Две заготовки спортачил. Но потом ничего, получилось. А уже следующие пошли легко, даже приятно было добавлять подачу.

Фагота пригласили на помост. Он мазнул ладонью по непокорной макушке и, весь в трепетном смущении, не вошел на сцену, как положено, по трем ступеням, а одним подскоком запрыгнул на помост перед самой комиссией.

В зале засмеялись.

От Ван Ваныча поделка перешла в руки кадровика Гвоздалева, который даже взглянул через патрубок на свет в окошке. После мастера цеха деталь принял дядь Леша, но рассматривать ее не стал и первым высказался по существу вопроса:

— Ну, чево? Резцом парень владеет. Прогоны чистые. Точность — по нулям. Такая тут и не требуется. А он, вишь, постарался: довел до классности. Я бы сделал не лучше...

— Владеет так владеет, — согласился Ван Ваныч. — Так и запишем. На третий разряд все согласны? Нам сейчас каждая пара рук дорога.

— Да чего там! Вполне заслуживает... По работе видно.

Ван Ваныч через стол вручил Фаготу свидетельство о присвоении ему разряда, крепко отечески пожал руку, и, когда тот, на ходу пряча заветную зеленокорую книжицу, собрался было спуститься в зал, председатель комиссии окликнул вдогон:

— Погоди, еще не все. На вот... Это — мера всей твоей жизни.

И вложил в ладонь Фагота новенький, ясно блеснувший штангель.

Потом, в коридоре, Ван Ваныч зазвал Фагота в свой кабинет и, обняв его за плечи, обдавая упаристым теплом подмышки, заговорил:

— А насчет твоей дудки, про которую ты все спрашиваешь... Гобой, кажись?

— Да нет, фагот.

— Ну, теперь все едино. Ты пока с этим не докучай. Не до свистелок нам теперь. Вишь, что в мире творится. Гитлер целую Францию заглотил. Кто знает, куда он дальше направится? Благо бы — на Англию. Там до нее совсем близко. А мы тем моментом подготовились бы, как следует изгородились... Хорошо, что успели Западную Украину с Белоруссией освободить. Вон ведь куда граница ушла! — Ван Ваныч ребром ладони широко махнул по сукну столешницы, показывая пареньку, как далеко отодвинулась граница. — А фагот тебе еще будет: куда он денется?

Та большая война ворвалась внезапно и сокрушительно. Она враз опрокинула на своем пути все эти территориальные нагромождения, как пустые тарные коробки. Что и говорить, удар был ошеломляющий, будто рубанули между глаз свинцовым кистенем. У нашего Буденно-Ворошиловского командования мигом померкло в очах, зашумело под маршальскими папахами, так что от Черного до Балтийского моря дыбом встали роковые вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?»

Уже через неделю танковые клинья Гудериана вышли к Днепру.

Но так бывает: даже смертельно опасную травму пострадавший воспринимает не сразу, а на первых порах не ощущает самой боли и пытается вести себя по-прежнему, будто с ним ничего не произошло.

Так и с целыми странами, особенно с такими обширными, как наша.

Нечто подобное произошло и с нашим городом. Даже суровое, проникновенное обращение Молотова не вывело людей из нежелания верить тому, что произошло. По крайней мере внешне многое еще делалось так, как свершалось и день, и два, и неделю назад.

Как всегда, в привычном узнаваемом тембре прогудели заводские гудки; неподалеку, на Дзержинской, перезванивались трамваи с утренним рабочим людом; по прибазарным улицам скорым бежком торговки на коромыслах несли огородную снедь: вымытые бликующие огурчики, пучки перьяного лука, гроздья нежно-розовой, совсем юной редьки, штабельки перевязанного укропа, оставлявшего после себя долгий шлейф аромата.

Возле Троицкой церкви по давнему обычаю, поди с тех пор, как на крутояре возвысился этот храм, приходские пастухи, сменяя друг друга, подудывая на рожках, из века в век со смежных улиц скликали стадо. В это утро оно, сонно мычащее, поредевшее, изживаемое временем, под чириканье касаток продолжало сходиться перед белой умолкшей звонницей...

Жизнь шла своим привычным чередом: еще никто не торопился рыть оборонительные окопы или выносить из школ ученические парты, чтобы заменить их железными госпитальными койками.

Серега проснулся в своем сарайчике, где под лестницей в голубятню он приладил себе полок для спанья. Дощатая стенка уже лучезарно полосатилась щелями от взошедшего солнца. В прогретой голубятне нетерпеливо урчали голуби в ожидании еды и воли. Серега зачерпнул корец проса и, поднявшись по ступеням, плеснул бегучего зерна в продолговатый лоток. Обдавая маховым посвистывающим ветром, птицы шумно кинулись к лотку. Когда голуби насытились, он выцелил своего лю-

бимца по кличке Белое Перо, придержал в горсти концы его обоих крыльев, а для остальных голубей отворил косую планчатую решетку. Турмачи повалили на свет, от нетерпения все так же суетясь и толкаясь. Пойманный Белое Перо ущипнул Серегу за палец, но, доверясь добрым рукам хозяина, успокоился и перестал вздергивать плечиками. При каждом встряхивании он покорно распускал веером свой упругий хвост, обнажая среди аспидно-серых перьев единственное белое перо, делившее веер почти на равные половины. Взмелькивание этой белой вставки всякий раз приводило Серегу в счастливое изумление. Наличие белого пера в хвосте считалось в голубином мире высшим шиком, а сама птица составляла изрядную ценность.

— Ну что, покажем класс? — влюбленно сказал Серега, прижимая головку птицы к своей щеке.

Середь двора, по-прежнему придерживая концы крыльев, он во весь мах, как бросают мяч при игре в лапту, запулил вожака строго над собой. Тот, как мог дольше, протянул свой бескрылый лет и, когда иссякла инерция заброса, очутившись выше всех окрестных крыш, резко выбросил оба крыла. Голубь тут же принялся набирать высоту, громко, азартно хлопая концевыми перьями, как бы приглашая остальных следовать за ним.

Оставшиеся на голубятне турмачи принялись было крутиться возле голубок, и Серега поднял всех на крыло сначала шестом с тряпичным мотовилом, а потом и забористым свистом в два пальца. Стая, выстроившись полукружьем, начала набирать высоту, слаженно, в одном ритме взмахивая крыльями.

Заслышав свист, во двор набрели и остальные закоперщики: Миха-братан, Николка и Петрик Трубаровы, двое с соседнего подворья и Пыхтя из дома через дорогу.

Ребята, наблюдая за голубями, разлеглись на кучерявой спорышевой муравке. Уже через полчаса стая дружно взмелькивала под самыми облаками, что порознь, белыми громадами, с ленцой тянули к северу. Отсюда, с дворового пустыря, на белом лучше виделись темноперые турмачи, на синих просветах белокрылые птицы были заметнее.

Заспорили о погоде. Толстяк Пыхтя уверял, что такой денек с просинью в облаках больше нравится голубям: летать не жарко, пригашенное солнце не слепит, не мешает среди множества крыш и дворов видеть свою голубятню.

— Ну да, сказал! — не согласился Серега. — Наоборот, турман не любит летать под тучками. Всегда старается сбросить лишнюю высоту.

— А чего ему сбрасывать-то?

— Сапсана остерегается. Когда небо ясное, турману вокруг себя все видно. Тогда он и летает в свое удовольствие. А за тучками сапсан может подобраться. От него лётом не уйдешь: только камнем вниз. Бывает, голубь вовремя не вырулит и насмерть бьется о землю.

Ребята приумолкли: послышался отдаленный невнятный рокот.

— Гром, что ли? — предположил Пыхтя.

— Вроде не должно. Небо не грозовое. Если быть грозе — голубя с крыши не сгонишь, — авторитетно успокоил Серега.

Рокот быстро нарастал. Уже улавливались его глуховатые перепады, и, пока пацаны пытались определить, что это такое, из встрепанного верховыми ветрами одинокого облака вдруг вырвался самолет и несколько мгновений летел открыто, на виду у всего распростершегося под ним города. Он летел чуть в стороне и не так высоко, не выше пятисот метров, как раз на уровне Серегиной стаи, так что был четко виден весь его прогонистый профиль.

От внезапности и явной чужести самолета ребята вскочили с земли, и, хотя бомбардировщик виделся всего несколько секунд, прежде чем снова нырнуть во встречное облако, многим удалось разглядеть и запомнить его приметы. Был он странно окрашен в желтое и зеленое, что придавало ему сходство с летящей рептилией. Оба моторных капота были далеко выдвинуты вперед, между ними помещалась лобастая и взгорбленная пилотская кабина, за стеклами которой кто-то из ребят даже разглядел будто бы самих летчиков.

Вид у самолета был какой-то устрашающий. Наверно, конструкторы заботились не только о том, чтобы он летал, но и угнетал своим обликом все живое, попавшее под узкие сапсаньи крылья.

Но больше всего поразила и ужаснула главная его примета: на долгом фюзеляже, ближе к хвостовым рулям, отчетливо проступал черный крест, отороченный белым кантом. Нанизывая на себя облака, то исчезая в их рыхлой белизне, то снова вы-

нывая на солнце, самолет облетел всю городскую пристанционную округу, потом, сделав разворот, еще раз промелькнул своим желтым ящерным брюхом в самый раз через то место, где все еще трепетала стая Серегиных голубей. Он не строчил из пулеметов, не бросал бомбы, но и в него тоже не стреляли, не поднимали истребителей, которых, по правде, тогда на наших коровьих лугах еще и не было из-за нехватки таковых или неглавности направления.

Чужак летал молча, безнаказанно вглядываясь в настежь распахнутое бытие города, его враждебное присутствие в небе, наверное, впервые дало всем видевшим эти черные кресты леденящее ощущение реальной и близкой войны.

В тот день из четырех пар голубей домой вернулись только две. Турмачи опускались на конек голубятни порознь. Последней была голубка Лыска, напарница Белого Пера. Она объявилась перед самым закатом, вся еще перепуганная, недоверчиво озирающаяся. Когда Лыска уже потемну наконец переступила порог летка, Серега не стал запирать голубятню, оставил планчатый рештак распахнутым. Но Белое Перо так и не вернулся — ни в этот вечер, ни с восходом нового дня...

В конце августа с той, военной стороны через город зачастили товарняки с демонтированным заводским добром. В тесовых обивках под брезентовыми пологами и просто под навалами древесных веток везли снятые с крепежа станки, целые узлы разобранных агрегатов, какие-то фермы, занимавшие сразу несколько платформ. Среди этого груза во всевозможных щелях и пустотах скопились беженцы, которых называли странным и трудно произносимым словом «эвакуированные». Из-за плохой проходимости дороги многие эшелоны опасно задерживались на запасных путях, и тогда «эвакуированные» разбредались по станции и прилегающим улицам в поисках туалетов, кипятка и какой-либо еды. А возле недвижного поезда собирался самопроизвольный базарчик, где местные бабульки и пацаны выменивали всяческие вещички на неказистую снедь. Особенно выгодно шла мена с беглыми евреями, пробиравшимися в глубь страны многодетными семьями аж из самой Польши, из ее восточных городков и местечек, оставленных нашими войсками.

Среди прочих беженцев они выделялись хорошо пошитой одеждой, но были изнурены дальней дорогой, суматохой пере-

садок, налетами вражеской авиации. Никто их специально не эвакуировал, не заносил в списки, не выделял мест в поездах: они были сами по себе. У них всегда можно было разжиться чем-либо из заманчивого польского шмутья и обихода. Пацаны чаще всего выменивали непривычное заграничное курево. Особенно в ходу были длинные табачные палочки с коротким мундштучком под названием «Фемина», на коробке изображалась огненная красотка с папироской в слепяще-белых зубах. Петрик разжился перочинным ножичком со множеством причиндалов, а Пыхтя на ведро ночью выкопанной чужой картошки выменял, например, шикарно хлопающий портсигар с оттиском на крышке какого-то позолоченного лысого дядьки, в котором Фагот предположил Папу Римского.

Вскоре, однако, поток беженцев внезапно прекратился, будто у этого потока где-то перекрыли вентиль. Это означало, что долго и беззаветно обороняющийся Киев все-таки пал... От раненых бойцов, успевших вырваться из киевского окружения, пошли слухи, будто впереди теперь нет никакого фронта и что в нашей обороне образовалась дыра километров на двести, куда вот-вот устремятся фашистские танки.

Становилось ясно, что надвигалась неотвратимая драма в судьбе нашего незащищенного города. И коли не было штыков — он ощетинился лопатами. Они зазвякали и засверкали возле школ, у дверей учреждений и заводских ворот. За город, на окрестные холмы и высоты, двинулись сотенные колонны оборонокопателей. Кроме лопат, рекомендовалось также запасти носилки для перемещения грунта, кирки для рыхления слежалых глин и корчевки древесных корней, ведра для приготовления горячей пищи, клеенки от непогоды, а главное — бодрость духа и веру в окончательную победу.

Одновременно сколачивались отряды гражданского ополчения. Фагота зачислили в истребительный отряд из двенадцати человек во главе с присланным выздоравливающим младшим лейтенантом Зайнуллиным. Он все еще припадал на раненую ногу, но за командование отделением взялся неотложно и с бодрой требовательностью. В обязанности отряда вменялось охранять производственную территорию, выслеживать лазутчиков и диверсантов, а также привести в действие взрывные устройства под заводскими объектами, о которых пока никто не должен знать.

По вечерам отряд собирали в сквере для прохождения боевой подготовки. После построения и списочной переклички Зайнуллин попарно направлял отряд по внутреннему периметру сквера, после чего принимался за боевые приемы, заставляя курсантов деревянной винтовкой, вытесанной в заводской столярке, колоть мешок с соломой или же бросать на дальность и точность металлическую болванку. Настоящее оружие выдавать не спешили, как объяснил Зайнуллин, до особого распоряжения.

— Будет надо, тогда и дадут.

— А если и взаправду — диверсант? — дознавался Фагот.— А у меня — сосновая деревяшка?

— Разговорчики! — оборвал младший лейтенант. — Ты сперва этой научись, понимашь. — Оружие, может, в другом месте нужнее. Столицу, понимашь, надо защищать...

Винтовки все-таки в отряд привезли. Зайнуллин распределил их поименно: против каждой фамилии проставил номер оружия и дал расписаться. Фаготу и еще одному пацану из литейки, Федьке Чухову, расписаться не дали, потому что в ящике оказалось всего десять винтовок, а бойцов в отряде было двенадцать.

— А мы как же? — обиделся за двоих Фагот.

— Что ты, понимашь, все качаешь?! — вспылил Зайнуллин. — Ну нету, нету пока. Поступят — и вы получите. Это тебе не дров напилить... Давай, я одну винтовку на вас двоих запишу?

— Не надо! — отказался Фагот. — Я свою хочу.

— Ну, тогда жди.

После этого разговора с Зайнуллиным обиженный Фагот перестал ночевать дома, коротая глухую темень в цеху на ворохе обтирочного тряпья. Он выжидал, пока все разойдутся, а вахтеры запрут проходную на засов, запускал свой бесшумный токарный станок и, посвечивая себе притененной переноской, принимался мастерить задуманное. Сперва он пытался изготовить обрез под винтовочный патрон. Но эта штуковина требовала сложной фрезеровки, а старик-фрезеровщик, закончив смену, запирал инструмент в заначной печурке, открыть которую Фагот не сумел, хотя и перепробовал всякие исхитренные отмычки. А просить Кузьмича выстрогать ему заготовку затвора, которую он потом напильником довел бы до ума, так и не

решился: побоялся, что Кузьмич станет допытываться: пошто да к чему, а дознавшись, ехидно высмеет его затею. Он умел так сощуриться, так покачать головой в замасленной камилавке, так потрогать лоб заказчика, что сразу убеждал в напрасности и никчемности замысла. Вместо неполучившейся Фагот из полудюймового гаечного прута вырезал новую ствольную заготовку, оставив нетронутыми все шесть граней. Так гляделось внушительней и убойней. Долгим наварным сверлом он прошел в граненом отрезке ствольный семимиллиметровый канал, но не насквозь — а в конце оставил хороший надежный целяк. У дна просверленного хода, там, где начиналась торцевая заглушка, он надфильком пропилил запальник, после чего тонко заправленным пробойничком протюкал в этом месте пороховой ход. Оставалось вытесать деревянное цевье, что он и сделал из круто изогнутого кленового корневища.

Получился отличный самопал, походивший на старинную пистолю.

Грянула первая военная осень. Октябрь пришел без милостей, без золотого листопада. По неубранным полям с остатками колхозной техники едкий сиверко кувыркал бесприютные жухлые листья. Сеялся непроглядный и нещадный дождец, обративший сельские немощеные дороги в безысходную погибель.

Наступать стало немцу в убыток, но и нам обороняться — тоже не доход. Однако немцу поделом: он позарился на чужое, а вокруг нас все нашенское, святое.

В траншеях и противотанковых рвах, опоясавших дальние и ближние подступы, почти без сна и роздыха под вражескими налетами выкопанных, высеченных и вырубленных в иссохших глинах и обнаженных мергелях тысячными усилиями горожан, теперь, с ненастьем, хлюпала мутная жижа и начали оседать и рушиться насыревшие стенки накопанного. Но регулярные войска что-то не спешили занимать приготовленные для них оборонительные рубежи. Лишь разрозненные ватажки ополченцев, которые потом назовут полками, перемогались под дождем в окопных канавах с одними только винтовками и зажигательными бутылками, да еще, может, двумя-тремя станкачами. Их самоотверженную отвагу не собиралась поддерживать армейская артиллерия, которой почему-то вовсе не оказалось в

распоряжении гарнизонного начальника. Ну а как же обороняться без артиллерии? Не одними же винтовочными пшикалками да огородными лопатами?!

...А враг тем временем приближался. Уже был взят город Льгов, что всего в полутора часах езды на машине. Несмотря на осенние хляби, опоясывая полукружием, будто заводя огромный невод, в нашу сторону двигался 48-й танковый корпус, поддержанный дивизиями 34-го армейского кулака, а на Фатеж, что вообще в пятидесяти верстах, нацелилась 9-я танковая дивизия.

У озябших, промокших ополченцев оставалась надежда на Тринадцатую армию, которая, будучи сама в окружении, вела ожесточенные бои совсем близко от Курска — в соседних брянских лесах. Верилось, что еще одно усилие, и она наконец вырвется на свободу. Но уповали на нее напрасно. Из свидетельства члена Военного совета армии генерала Козлова: «После неимоверно трудного марша в условиях холодной осени промокшие, истощенные от недоедания, ведя бои днем и ночью, причем далеко не всегда ясно представляя, где находится противник — впереди, справа или слева, воины 13-й армии... вышли... из окружения в составе 10 тысяч человек». Уцелевший отряд был лишен техники, транспорта, боезапаса и продовольствия.

«После всестороннего анализа сложившейся обстановки (нескончаемый дождь со снегом, непроходимое бездорожье, полное отсутствие горючего, налеты авиации, вылазки противника), — вспоминает далее генерал Козлов, — Военный совет армии 17 октября принял трудное для себя решение: уничтожить автотранспорт и другое имущество, сковывавшее маневры армейских подразделений. Моторы автомобилей простреливались бронебойными пулями, а сами машины пускались под откос в глубокий овраг. Артиллеристы гаубичного полка, выпустив все снаряды по скоплению противника, последним выстрелом приводили орудия в негодность, в канал ствола насыпая песок».

В таком виде армия заняла рубеж Фатеж — Макаровка, выполнив свою главную задачу: вырваться из лап фашистов. Но оказать помощь Курску она уже не могла и сама нуждалась в пополнении, техническом обеспечении и просто физическом и моральном восстановлении.

Вместо нее на курские рубежи направили 2-ю гвардейскую дивизию, которая сама только что с большими потерями вырвалась из окружения и, следовательно, не имела полного личного состава и необходимого вооружения. Ею просто жертвовали, бросая на растерзание во много раз превосходящему противнику.

Судьба этой дивизии, как и самого города, была решена в пятиминутном телефонном разговоре Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина с первым секретарем Курского обкома партии П. И. Дорониным:

Доронин: — Обстановка под Курском тревожная. По данным разведки, на город наступают три фашистские дивизии. Оборону Курска ведут Вторая гвардейская дивизия и бойцы народного ополчения, вооруженные в основном стрелковым оружием. (Доронин умолчал, что не каждый ополченец имел винтовку, а многие вышли за город с охотничьими ружьями и бутылками с горючей смесью. Вторая же гвардейская «дивизия» тоже выступила налегке, без минометов и артиллерии, которых у нее попросту не было.)

Сталин: — Под Москвой тоже сложилась исключительно тяжелая обстановка. Необходимо, товарищ Доронин, усилить сопротивление врагу, укрепить полки Второй гвардейской дивизии за счет коммунистов и комсомольцев. Силами народного ополчения необходимо прикрыть отход дивизий Красной Армии на новые боевые рубежи.

На другой день приказ Главнокомандующего не тратить боеспособные войска на защиту Курска был действительно получен по секретной связи, и в ночь на 27 октября, то есть за пять дней до появления противника у городских стен, части гарнизона покинули места своего расположения. Вместе с ними оставило город и перебралось пока в авиагородок и все областное руководство, прихватив с собой работников кухни и буфета: не сидеть же у костра и не варить в ведерке гороховый похлебанец?..

Когда стало ясно, что ждать помощи неоткуда, было отдано еще одно страшное распоряжение: город поджечь, все стратегически важное взорвать! Но рубежей не покидать, а продолжать до последнего противостоять немецкому наступлению.

И взрывники принялись за работу.

Умерщвление города во многом похоже на насильственную многострадальную смерть человека. Тут и там в небо вскидывались пыльные кирпичные выбросы. От ударных волн, льдисто звеня, сыпались и разлетались оконные стекла. Рухнули в воду искореженные фермы и опоры железнодорожных и шоссейных мостов. Потрясали землю и воздух тротиловые закладки под силовыми установками, трансформаторами и столбами линий электропередачи. Взлетевший на воздух соляной склад на улице Радищева запорошил солью дворы и крыши окружавших его домов. В центре занялись полымем служебные здания и магазины, гудящий огонь выедал до кирпича мудрые кабинеты горкома ВКП(б). Дымные мебельные языки пламени, роняя на мостовую хлопья полыхающих штор гостиничных номеров, где некогда останавливались Горький и Маяковский, вырывались из карминно-раскаленных и потрескавшихся рам наружу и жадно объедали ветви близких лип и вязов. К гигантскому всеобщему костру присоединились пожары на мельницах и крупорушках, на фабриках и лесных биржах, на больших и малых складах и продовольственных базах. Было облито керосином и подожжено зерно на многокорпусном хлебном элеваторе. Особенно зловеще и смрадно, застя полнеба округлыми клубами, полыхала нефтебаза, время от времени выфыркивая из этих черных клубов багровые вспышки взрывающихся газов. Смешавшееся воедино общее полотнище дыма тяжело пласталось над сирой осенней землей на многие километры за горизонт, укрывая собой уходящие на восток войска и навьюченные вереницы машин, покинувших авиагородок... Каждый день в дымном небе появлялся наш Су-2, одномоторный бомбач, он же разведчик. Самолетик туда-сюда пролетал над городом, видимо, наблюдал и фиксировал на пленку, что и где горит и хорошо ли занялось.

Осада города началась вовсе не так, как представлялось пацанам, уличным гаврошам, которые уже изготовились к многодневному планомерному обстрелу из орудий и минометов, свирепым налетам пикировщиков, перемежавшихся с волнами атакующих пехотных цепей. Все оказалось как-то буднично и неинтересно.

В этот день Фагот вместе с несколькими членами отряда заводской обороны продолжали демонтировать и приводить в не-

годность оборудование цехов. Посередине двора горел большой костер, куда бросали папки с чертежами многолетних заказов, снятые со станков электромоторы, бухты запасной высоковольтной проводки, пластмассовые переключатели, промасленную обтирку, чтобы костер не гас, не ленился трудиться. Пламя каждый раз меняло свою окраску в зависимости от того, что в него было брошено. Дым то серел и шипел от чего-то малогорючего, то начинал закручиваться в бурые завихрения. Из столовой уборщица баба Паша приперла целый столб вложенных одна в другую алюминиевых мисок. Она собиралась было бросить их тоже в огонь, чтобы оплавились и пришли в негодность, но ей не дали это сделать, чтобы не замедлять горение, а вручили лом, которым она принялась долбать посудины, азартно приговаривая, должно быть, адресуясь к вражеским солдатам: «Вот вам! Вот вам! Нате, ешьте теперя!..»

Заводской дым смешивался с уличными дымами, было тяжко дышать, слезились глаза, першило в горле, и Фагот время от времени выбегал за ворота, чтобы отдышаться и одновременно послушать, что делалось там, на передовой. Но за воротами было так же дымно и непроглядно, особенно от пожаров на близкой городской товарной станции, питавшейся специальной железнодорожной веткой. Со стороны Московских шпилей и Казацкой слободы доносились нестройные, разрозненные, как бы лишенные злобы, винтовочные хлопки, которые потом надолго затихали, и было не понять, кто куда стрелял и кто куда девался.

Помимо территориальной обороны, куда входил Фагот, на заводе сколотили еще и ополченческий отряд, комиссарить в котором райком назначил кадровика по фэзэошке Гвоздалева. У Зайнуллина закончился срок пребывания на излечении, и его тоже куда-то забрали, а руководство дворовым отрядом передали дядь Леше, недавнему Фаготову наставнику.

Отряд Гвоздалева, состоявший из восемнадцати добровольцев, занял оборону на северной окраине, где-то возле трепельного поселка, и теперь оставшиеся тут волновались и переживали: «Как там наши?!»

Но уже под вечер Гвоздалев неожиданно объявился в заводском дворе. На его груди, на шейной петле висела забинтованная рука с алым подтеком выше кисти. Но сам он по виду ни-

сколько не унывал и находился в приподнятом и даже в каком-то радостном возбуждении.

— А-а, пустяк! — усмехнулся он, когда баба Паша, глядя на повязку, принялась сердобольно квохтать и страшиться глазами. — Малость зацепило! Зато мы ему дали как следует! Век будет помнить!

— Ты, голубь, присядь, отдохни! — тоже радостно засуетилась баба Паша, пододвигая к кострищу резной дубовый главбуховский стул, вынесенный на сожжение. — Небось, от самого трепельного пешком шел?

— А на чем же? Трамваи уже не ходят.

— Тади садись, рассказывай, как и что было. Какие они хоть, немцы эти? Больно страховитые?

— Да обыкновенные, бить можно.

— И как же вы?

— Ну, притопываем себе в окопчиках. Холодновато, конечно. С самого вечера ждем незваных. Огня, как тут у вас, не распалишь: передовая. Часу в восьмом развиднелось. Глядим: на шоссе мотоциклы с колясками тыркают. Штук пять, а то и больше: не очень было видать. И все немцами облеплены. Поставили мотоциклы под деревья, а сами рассыпались цепочкой и к нам, сюда, на поселок. У каждого на шее автомат, на голове каска: лиц не видать. Идут, негромко переговариваются. Офицер молча делает рукой какие-то знаки.

— Страхи-то какие! — Баба Паша обжала щеки ладошками.

— Кто-то из наших возьми и пальни. Другие тоже начали стрелять. Надо было подпустить поближе. А они не утерпели... Первый раз воюют.

— Дак и ты впервой!

— Я тоже. Но я хоть «звездочку» в лагере водил... А все равно удачно получилось, немцы залегли, а потом вскочили и бежать. Один захромал. Посели на свои мотоциклы и драпанули с шоссе куда-то направо. Наверно, поехали искать, где место послабее. Наши аж «ура» закричали: так мы им врезали!

— А тебя как же поранило-то?

— Да это с мотоцикла из пулемета прострочили, вроде как на прощанье. Меня вот в руку, а одного нашего насовсем. Васина из литейки.

— Олежку? — ужаснулась баба Паша и опять обжала щеки ладошками.

— Ну, он, он. Обещался родным сообщить. Пойду вот схожу. Решили там и похоронить.

— Да уж на кладбище бы, по-хорошему!

— Тоже скажешь: до Никитского вон сколько? Как понесешь? Это же гроб надо? Да человек восемь с передовой снимать, чтоб напеременки нести. А теперь каждый человек на счету: вдруг опять полезут? Дак они и полезли! После обеда на шоссейке танки показались. Штук десять. Хорошо, что с насыпи свернули, видать, пошли на Знаменку. Мы потом в той стороне сильный бой слыхали. Конечно, тоже не прошли, наверняка понюхали кукиш.

Гвоздалев здоровой рукой попялся за пазуху, достал вчетверо сложенную бумагу.

— Нате вот, почитайте... Совсем свежая. Нарочный оттуда принес...

Это оказался «Боевой листок» за первое ноября, написанный от руки на типографской заготовке. Листок взял дядь Леша и, морщась от дыма, стал читать всем:

— «Отважно сражался истребитель танков Дзержинского полка комсомолец Вячеслав Звягинцев. Он погиб, но не пропустил на своем участке танков».

— Гляди-ко! Молодец-то какой! — похвалила баба Паша и тут же пожалела: — А погиб пошто?

— Погиб — зато не пропустил! — разъяснил Гвоздалев. — Теперь это важнее всего.

— Погиб — стало быть, пропустил... — жестко возразил дядь Леша и вернул листовку Гвоздалеву.

— А вот, Андреич, ответь мне, старой, по всей правде, — допытывалась баба Паша, пытаясь заглянуть в глаза Гвоздалеву.

— Чего говорить-то? — насторожился тот.

— Удержите немца али побежите? Скажи как на духу...

— Да ты что? — снова расслабился лицом Гвоздалев и даже облегченно заулыбался: — Ну ты, баб Паша, даешь! Такое говоришь! Честное слово...

— А чево?

— Так и думать-то нельзя! Как это — побежите? Какое мы имеем право?

— Ежли про это и думать нельзя, то пошто все палите да взрываете?

— А чтоб им не досталось!

— А тади опять — пошто горелое да порушенное защищаете? Вон хлеб керосином облили и подожгли. Стало быть, оставаться не собираетесь.

— Таков закон войны. Чтоб врага не кормить. Иначе нельзя.

— А народ чево есть будет? А дети малые?

— По закону войны народ перед лицом нашествия уходить обязан. Ибо сказано: кто не с нами, тот наш враг.

— Куда ж мне за вами бежать: у меня и ноги-то в ботинки не лезут...

— Да не ерепенься ты! — посоветовал Гвоздалев. — И не болтай лишнего...

— Чего уж тут лишку? Вон народ все тащит. На кожзаводе мокрые вонючие кожи — на драку, на взорванном соляном складе соленую землю, соленую щебенку нарасхват... Стало быть, больше не верят писаному да говоренному. А я, дура, все сижу, все на что-то надеюсь... Надо хоть этот стул домой снести: буду помнить Ефремыча, как мы у него на облигации подписывались.

— А насчет немца — не пустим! Не пустим! — Гвоздалев примирительно и весело похлопал по бабыпашиной спине. — Когда шел сюда — центральная улица вся в баррикадах! Люди ничего не жалеют для этого...

Завод не работал: расплавленно не светился окнами в ночи, знакомым, с бархатной хрипотцой, каким-то фаготовым голосом не звал к станкам — молчал и не дышал уже несколько дней, с той поры, как сделала свой последний выдох котельная, демонтировали и куда-то увезли силовые трансформаторы. Тогда же вывесили приказ о роспуске коллектива, за исключением охраны, из которой несколько человек отдали в ополчение. Фагот тоже порывался, но его оставили в заводском охранном наряде, поскольку, к огорчению, так и не получил своей винтовки.

В конце приказа крупно, заглавно было напечатано на машинке: «Спасибо за работу, товарищи!» Каждому, в последний раз переступавшему порог проходной, давняя, потомственная вахтерша Афанасьевна возвращала личный жестяной номерок — на память, чем окончательно ввергала людей в щемящее

чувство. Некоторые пускались обнимать Афанасьевну, осыпать прощальными поцелуями, задавая почти один и тот же вопрос, будто вахтерша заведомо знала, что ответить:

— Неужто больше не вернемся?..

Женщины из цехов, а больше из отделов управления, уносили с собой оконные цветы. Не чуя беды, зеленые любимцы продолжали цвести как ни в чем не бывало, особенно доверчивые гераньки, источавшие свой уютный, примиряющий запах.

Но и после приказа в цехах и на территории вроде ненароком все еще появлялись люди, наверное, из тех, кто не сумел сразу отбросить напрочь привычное. Многие помогали строить баррикаду, прикрывавшую подступ к проходной со стороны тыльной улицы Карла Либкнехта, название которой кто-то тайно вымарал на всех домах.

В основу баррикады легло спиленное на углу дерево. Его растопыренные ветви принялись забрасывать всяким заводским хламом: порожней тарой, карбидными бочками, кухонными столами и столовскими табуретками, в литейке разобрали торцовый пол, наковыряли толстых кряжей и на тачке свезли в ту же кучу, туда же бросили и самое тачку. Все это засыпали токарной стружкой, которой порядком накопилось на заводском задворье. Получилось что надо: высоко и внушительно.

— Ну, наварнакали! — оценил наведавшийся старый фрезеровщик Кузьмич, завсегда зривший против шерсти. — Что твой торт!

— А чего, не по-твоему? — поинтересовался Ван Ваныч — местком, тоже оказавшийся здесь якобы по делу.

— Эта ваша городьба ни одной пули не задержит. Потому как внутри пустая. А надо бы класть мешки с песочком.

— Да где ж мешки взять-то? — Ван Ваныч запачканной рукой поддернул разношенные очки. — Да и песок тоже?

— Тогда нечего и затеваться...

— Ну как же — была разнарядка...

— Разнарядка... — ехидно усмехнулся Кузьмич.

— Ладно тебе, — как всегда и всех, примирительно похлопал Кузьмича по плечу Ван Ваныч. — И так сойдет. Немец сходу не перелезет — тоже дай сюда.

— А ты чего тут? — поинтересовался Кузьмич. — Все руководить тянет? Еще не наводился руками? Твои приятели-рукомахатели уже, небось, за Щигры утрехали?

— Еще успею...

— А то гляди, попадешь, карась, в ихнюю вершу — не поздоровится. За Дальними парками уже стреляют...

— Да вот вспомнил: в кабинете карту с флажками забыл снять.

— Места последних боев проставлял?

— Было интересно, где и что. А теперь не надо, чтоб карта осталась висеть. Да еще с флажками...

— Ну еще бы: такой позорище! Флажки-то в нашу кровь макнутые!

— Хотел позвонить, да забыл, что телефон больше не работает. Пришлось самому... А ты по какому делу?

— Я, Ваня, не по бумажной надобности. Парок-то из котлов выпустили, манометры свинтили, водомеры побили, а про гудок забыли. Пойду, думаю, сниму. Не хочу, чтоб немцу достался. Вот не хочу — и все! Конечно, можно и его сничтожить: молотком по свистку жахнул — и делу конец. А не могу я так — как по-живому. Я по этому гудку полжизни деньки считал... Вот ключи взял, пойду свинчу да заберу домой. А вдруг опять понадобится?..

Ночью, пока окрест было тихо, Фагот отпросился сбегать домой, на всякий случай попрощаться с матерью: не исключалось, что вот-вот и его охранный отряд вступит в бой. Катерина бессловесно всплеснула руками, когда он появился на пороге незапертой двери в свете тоскливо мерцавшего ночника. Она ткнулась лицом в его телогрейку и только теперь подала свой тихий, на краю шелеста, голос:

— Дымом пахнешь...

— Да вот, палим... А где братья?

— Те все по городу шарятся. Вчера Серега где-то полмешка проса раздобыл: голубей кормить. Говорю: будет ли тебе с голубями вожжаться — война кругом. А он, упрямец: голубям тоже есть надо. Они в войне не виноваты... У нас тут наверху дедушка живет, без одной ноги. Сам-то он на землю не спускается, потому, может, ты его ни разу и не видел. Он все больше в окно глядит. А зиму, от Покрова до Пасхи, сидит взаперти. Так у этого дедушки есть самодельная коляска на четырех катках. Серега выпросил эту каталку и вот, как смерклося, укатил с ней ку-

дай-то... Говорил, будто на швейной фабрике народ машинки курочит, дескать, если успеет, то он одну привезет... А Михаил — тот себе шарится: вчерась картузом рокса разжился. Может, помнишь такие конфетки: рисунок насквозь виден. Где ни откусишь — там опять эта ж картинка: грибок или вишенка... А еще карманы конфетных оберток набрал: теперь из них фантики заламывает — с ребятами в кон играть. Так, ветер в голове... А вот не удержишь! Все на чужом помешались. Пусть бы одни дети по недомыслию, а то и взрослые туда же: магазины бьют, аптеки растаскивают, пуговицы — и те сумками волокут... А кто запретит, кто остановит натуру, дорвавшуюся до греха?! Властей нетути, милиция разбежалась. Серега говорит, будто по Дзержинской ветер вместе с конторскими бумажками трояки да пятерки носит... Люди гоняются, друг у друга отнимают... А у меня вся душа выболела: где их, непутевых, носит... Дак за чужое и подстрелить могут...

— Ладно, мать, отыщутся. Есть захочется — прибегут.

— Ты, может, тоже поешь? Я борщичка наварила.

— Да некогда мне! — Фагот озабоченно взглянул на ходики.

— Я моментом! — засуетилась Катерина возле примуса. — Там у вас теперь и вовсе ни крохи. Вон как обрезался.

— Да пока обходимся. Муки разжились. Лепешки печем, чай кипятим.

Катерина налила тарелку горячих щей, возле положила ложку и несколько вареных картофелин — вместо хлеба.

— А-а! — не устояв, крякнул Фагот и, сбросив телогрейку, подсел к манящему вареву.

Щи, несмотря на их жаркость, он выхлебал с поспешностью бродяги. Катерина не дала ему отодвинуть тарелку и подлила еще. И пока он вычерпывал добавку, она, созерцая торопливую еду, тихо радовалась этой его жадности.

Собиралась налить еще и чаю, но он, отстранив тарелку, сложил руки на краю стола и хмельно, отрешенно уронил на них голову. Катерина хотела было перенести сына на топчан, даже просунула руки подмышки, но поднять не смогла, а только нащупала на крестце под рубахой что-то жесткое, непривычное. Она бережно высвободила из-за его пояса незнакомый предмет и, поднеся его к ночнику, поняла, что это что-то военное, стреляющее.

...Фагот очнулся, когда за окном начало сереть.

— Что ж это я? — испугался он и, увидев на столе самопал, торопливо спрятал его под рубаху. Потом схватил коробок спичек, потряс им возле уха и сунул в карман.

— Ты же не куришь... — заметила Катерина.

— Скажи братанам, пусть не проса, а спичек побольше раздобудут...

И, торопливо застегивая ватник, заговорил:

— Слушай, мать. Сегодня вечером от заводских ворот машина пойдет с теми, кто хочет уехать. Может, и ты надумаешь? Вещичек у тебя почти никаких. Соберись по-быстрому. Ребята пусть помогут.

— Нет, Ваня, — вздохнула Катерина. — Хватит с меня: наездилась, находилась. Сам все знаешь. Вот, есть у меня в белый свет единственное окошко — других уже не хочу. Нету на это сил. А ты, сынок, ступай! Я тебе уже не подмога. Все теперь будет без меня. Отныне у тебя одна мать — Матерь Божия. Надейся, Ваня, на нее.

— Ну, тогда я побежал! — Фагот неловко, полусогнуто ткнулся губами в Катеринину запавшую щеку. — Меня, наверно, ищут уже...

Он бежал по улице, почти не воспринимая ни знакомых домов, ни самой местности с отцветшими газонами, покинутыми табачными и газетными будками, опрокинутыми уличными скамьями и мусорными тумбами. Иногда возле магазинов и прежних закусочных под ногами хрустело битое витринное стекло...

Он бежал и, будто почтовый голубь, неосознанно чувствовал лишь одно направление своего бега.

В той стороне, где находился завод, шла беспорядочная стрельба. Среди поредевших винтовочных хлопков все чаще слышались короткие всхрапы автоматов, как если бы вспарывали серую рассветную наволочь. Время от времени в хмурое предзимье, прослоенное дымами затухающих пожаров, вскидывались красные и зеленые ракеты, наполняя вислое небо и мрачные после ночи окрестности обманной красивостью блуждающих всполохов. Фагот тогда еще не знал, не мог знать, что на языке сражений зеленые траектории указывают, куда следу-

ет двигаться, красные — на неожиданные препятствия, на очаги сопротивления. Фагот только про себя отметил, что зеленых ракет было больше, чем красных.

Ближе к Пролетарской площади навстречу Фаготу все чаще стали попадаться куда-то спешащие, озирающиеся мужчины. Некоторые из них, должно, чтобы избавиться от сквозной уличной прямизны, торкались в запертые подъезды и калитки, растворялись в неразберихе проходных дворов. На аптечном углу наспех перевязанный прямо по всклокоченным волосам встречно бегущий человек озлобленно выкрикнул:

— Куда, дурак?! Там же немцы! Всем велено отходить...

«Где — там же?» — не понял Фагот и, не успев уточнить «где именно», ответно еще пуще прибавил бегу и тут же очутился между двух тускло мерцавших рельсов на главной трамвайной улице.

Ниже в нескольких шагах, на рельсовом спуске под висящим знаком трамвайной остановки навзничь лежал убитый с на сторону разбросанными руками. Живот его в голубой рубахе круто возвышался меж распахнутых пол пиджака, а на сизой картошине носа меркло светились толстые близорукие очки, и Фаготу почудилось, будто это был Ван Ваныч — местком. При виде убитого он невольно пригнулся и поднырнул под нависшую крону плакучей ивы. Перебегая от дерева к дереву в Пролетарском сквере, он испытывал гнетущее чувство от того, что опаздывает куда-то или уже опоздал вовсе.

Он собрался было прошмыгнуть к близкой баррикаде и за ней укрыться, но та была разметана на два вороха с проездом посередине. Под разбросанным баррикадным мусором виднелись еще двое не то убитых, не то раздавленных гусеницами.

У него воистину обмякли ноги, когда из-за последнего дерева, что укрывало его возле чугунной ограды, сквозь обникшие древесные пряди он вдруг увидел у самого порога проходной фашистский танк. Сперва Фагот принял его за полуторку, которая должна была вывезти из города заводских беженцев, но сквозь путаницу никлых ветвей разяще обозначился белый немецкий крест в черной окаемке.

— Ничего себе полуторка! — возразил Фагот самому себе.

Танк был по самую башню заляпан вязкой осенней грязью, словно покрытый бугорчатой крокодильей шкурой. Между гу-

сеничными катками и рессорными блоками намоталась хлебная солома с еще не отцветшими желтыми ястребинками и придорожным осотом. В башенном люке с откинутой крышкой высился танкист. Он был в нашенской ватной телогрейке, но в своей разлатой каске с каким-то знаком на левом виске. Позади башни желтела приторочнная плетеная корзина, из которой танкист брал и хрустко кусал, и ел янтарное яблоко. Он жевал не спеша, с видимым наслаждением, как едят вызревшую курскую антоновку.

Немец аккуратно огрыз семенной стержень, оглядел его со всех сторон и, убедившись, что выедать больше нечего, размахнулся и запустил огрызком в крону ивы, укрывавшую Фагота.

Может быть, этот надменный и самодовольный жест врага был последним толчком, после которого Фагот извлек из-за пояса свое оружие, всегда заряженное и готовое к выстрелу. Он вставил в запальник обломок спички с полноценной серной головкой, после чего осторожно раздвинул ветки, просунул между ними граненый ствол и все так же расчетливо, с холодной неприязнью навел мушку на перекрестье глаз и носа танкиста. Утвердив покрепче ноги, он чиркнул серником коробка по коричневой округлости спички. Жестко, рублено грохнул выстрел, заполнивший сплетение веток сизым и кислым спичечным дымом. Не дожидаясь, пока дым рассеется, Фагот пустился бежать от ограды, рассчитывая спрятаться за бетонным обводом фонтана. Но в тот миг, когда он вознес себя над цементным кольцом, вдогон раздалась автоматная очередь, и он, вскинув руки и выронив самопал, рухнул вниз на заплесневелое днище фонтана.

...Его никто не искал, даже тот, в кого он целился, и Фагот еще долго лежал в донной мокроте, скопившейся как раз под ним и уже обагрянившейся от набежавшей крови. Он то приходил в мутное сознание, то снова терял его, все чаще и дольше. Лишь спустя несколько часов из дверей угольной аптеки, разграбленной и зиявшей черными провалами недавних окон, вышла женщина в белом халате с брезентовой сестринской сумкой через плечо. В поднятой кверху руке она держала марлевое полотнище и озабоченно махала им над головой. Таким образом она добралась до Фагота, пощупала пульс и наложила йодовый тампон на грудную рану. Потом подняла его голову и положила

ее на свое колено. Через какое-то время Фагот приоткрыл глаза и бледными, спекшимися губами попытался что-то сказать.

— Лежите спокойно, вам нельзя затрудняться. У вас серьезное грудное ранение. Сейчас придет наш человек, и мы попробуем перенести вас в провизорскую.

Фагот напрягся и снова попытался заговорить. Медсестра наклонилась к его лицу.

— Попал я или нет? — услыхала она горячечный шепот. — Только одно слово: да или нет?

— Кто попал? В кого попал? — не поняла сестра, но, увидев оброненный пистолет, наконец сообразила, о чем ее спрашивают. И убежденно заверила:

— Да попал! Попал! Молчи только...

2002

СРОНИЛОСЬ КОЛЕЧКО

Изпоныне памятны и радостны мне вечера тогдашнего деревенского предзимья, когда в доме шумно и весело принимались растапливать дедушкину лежанку. Топили ее спелым, золотистым камышом, накошенным по перволедью на Букановом займище. Как почти всякий пожилой сельский житель, много испахавший земли, навихлявший спину в травокосы и хлебные жнитвы, дедушка Леша теперь маялся поясницей, и когда чувствовал особенную надсаду, то наказывал хорошенько прокалить низкую продольную голландку, тем паче, что уже не решался забираться на высокую и отвесно стоявшую печь, которую за эту ее неприступность прозвал «Порт-Артуром». Из семейных преданий я уже знал, что дедушка Леша в молодости побывал на японской войне и потом часто поминал это загадочное слово: «Порт-Артур».

Лежанка располагалась у горничного простенка прохожей комнаты, из которой было два выхода: один вел в кухню, мимо крепости-печи, далее — в сени и во двор, другая же дверь приглашала в чистую половину дома, или гостевую горницу, где в святом углу висели родовые иконы во главе с сурово воззирающим Спасом, узкой и темной дланью творящим священное знамение. Я побаивался его отрешенного, замкнутого лика и постоянно испытывал чувство какой-то невнятной вины, даже если вовсе не делал ничего осудительного. Перед Спасом неизбывно острым пламеньком светила лампада голубого стекла, ронявшая вокруг себя — на стены, иконостасные рушники и чистые, нехоженые половицы — трепетную ажурную голубизну. В простые дни сюда почти не ходили, разве что с кружкой

воды бесшумно ступала бабушка, чтобы полить свои любимые фуксии на подоконнике, да раз в сутки заглядывал сам дедушка Алексей, дабы подтянуть гирьку заветных, почему-то белоокрашенных, как бы больничных ходиков, полнивших храмовую тишину горницы размеренным выстуком необратимого времени. Здесь было сумеречно и прохладно. Горница иногда получала тепло от кафельного зеркала, встроенного в межевую перегородку, и лишь в те благие вечера, когда топили дедушкину лежанку. В такие почти торжественные минуты бабушка настежь распахивала обе дверные половинки, и желтый язычок лампады, почуявший живой ток свежего воздуха, веселой рыбкой взмелькивал в своей голубой купели.

По этой причине на горничные иконы молились не всякий раз, а только в канун какого-либо значимого праздника, чьей-либо тревожной болезни или дальнего отъезда. А так, в повседневности, обходились одним Николой-угодником — небольшой доской без оклада, висевшей тут же в углу прохожей комнаты и почитаемой всеми за общедоступность и приветливость лика, на который крестились даже из-за стола перед трапезой.

В этой не очень просторной, но самой теплой проходной комнате помимо лежанки находила себе место еще и деревянная, темная от времени бабушкина кровать, под косяковым одеялом которой и я, залетный постоялец, тоже примял себе уютное логовце. Еще здесь незыблемо стоял тяжелый кованый пожитковый сундук. Будь помянут и высокоспинный, с подлокотниками, самоделковый дедушкин стул, по резвой молодости сколоченный им наподобие где-то виденного усадебного образца. Вдоль оставшейся пустой, ничем не занятой стены тянулась долгая тесовая лавка, застланная домотканой попоной — место для захожих гостей, от которых сенные двери никогда заперты не бывали.

Все эти четыре стесненных угла и служили главной семейной обителью от самых Дмитровских зазимков до мартовской капели.

Отсюда, сквозь единственное крестовое оконце, уже позимнему уплотненное второй рамой, заметно поубавившей приток наружного света, виделось все подворье, находившееся под неусыпным доглядом самого хозяина. Стена к стене с соседским амбаром высился и дедушкин небольшой, но ладно срубленный в лапу кругляшовый амбарушка, которым он тайно гор-

дился как главным строением двора. Амбар был приподнят на угловых столбах-опорах, чтобы током воздуха овевалось подполье и в закромах не заводилось сырости. Летом под ним прятались от жары куры, понаделавшие в сухой, лапами взбитой земле купальных ямок, в которых и неслись охотно, не боясь ворон и коршунов. Бабушка, снабдив старым солдатским котелком, ежедневно засылала меня в подклеть собирать в лунках еще теплые послеобеденные яички, и я, стараясь не дышать растревоженной пылью и не задевать головой опаутиненные половые балки, плоской ящеричкой обползал затхлое куриное царство. После такой неприятной процедуры я считал вполне заслуженным делом пробраться в амбар, залезть на оголенную матицу и оттуда, вместо купания в воде, прыгнуть в закром с сухим и сыпким овсом, оставшимся после Буланки, еще в прошлом году сведенной в колхоз. Дедушка Леша хотел было сдать в колхоз и весь припас овса, мол, специально для Буланки, но бабушка не разрешила: пусть останется гусям. Прохладное шелковистое зерно оставляло впечатление живой освежающей струи и так же потом остро и приятно пощипывало все тело.

— Эт чего выдумал! — подловила меня бабушка. — Так и впрямь утонуть можно!

— Это ж не вода, — удивился я.

— А ежели в нос, в уши набьется — не вытряхнешь! У нас на деревне уже был такой случай. Двое мальцов так-то вот захотели в просе дно померить. Только через трое ден отыскали... Просо — оно еще текучей воды: в горсти не удержишь. Так что не балуй больше. Да и грех — в хлеб с ногами сигать...

— Так это ж не хлеб, а овес, — просветил я бабушку.

— А ты потереби овсинку, — там внутри зернышко. Тоже, выходит, хлеб.

С тех пор на амбарной двери висел черный пузатый замок, а ключ от него бабушка держала в своем секрете.

Посередине двора, подальше от построек, еще с лета высилась копна сена — зимняя еда для коровы Зойки и шестерых ягнушек. Дедушка аккуратно причесал ее граблями, а сверху накрыл расхожим рядном. Из самой ее маковки, уже присыпанной первым снежком, торчал длинный прямой стожар, державший от завала всю копнушку. В солнечную погоду по тени от этого шеста дедушка умел угадывать время, даже посылал меня сверять с ходиками. Получалось почти вровень с ними, а как он

это определял, я так и не понял. Эту тычку облюбовала сорока и с тех пор каждое утро восседала на шесте и, вскидывая хвостом, тараторила что-то свое, сорочье.

У обножья копны лежала черная водопойная колода, целиком выдолбленная из толстой корявой ракиты. Возле нее почти до вечера толокся заматеревший выводок гусей. Они крепко, надежно, на всю зиму укрылись ослепительно белым оперением, оставив обнаженными лишь толстые морковные клювы. Да из подгузья выступали разлатые лапы, похожие на оранжевые веера, которые они, не оберегая, без сожаленья опускали в прикорытную грязь и растаптывали свои же собственные темно-зеленые крендельки помета. Гуси по-родственному, добродушно переговаривались, мелкими щипками теребили обметанную мхом древесину и поочередно азартно макали головы в корыто, не давая морозу накрепко сковать воду. Прогнув шеи, они зачерпывали ледяную влагу и таким способом поливали свои упругие спины, с которых набрызги скатывались слепящей жемчужной россыпью. И тут кто-либо из молодых гусаков вставал на дыбки и, распахнув метровые крылья, со старательным рвением принимался делать частые махи, разметая куриные перья и оброненные сенные травинки. И уже совсем было похоже, будто подпрыгивающий гусак вот-вот сорвется с подворья и взмоет под облака. Остальные гуси дружно одобряли эти его попытки, и двор полнился шумным и взволнованным кегеканьем.

Улучив момент, когда гуси, успокоившись, примутся старательно и подолгу умащивать грудь и бока своими яркими клювами, на колоду слетает попить водицы прижившаяся на подворье сорока, уже кем-то прозванная Катей. Настороженно подергивая длинным черным хвостом, отливающим бронзовыми бликами, готовая взлететь при малейшем скрипе сенничной двери, она обскакивала колоду по всему окрайку, выбирая место, где вода подступала всего ближе. Перед тем как напиться, Катя непременно отыскивала железное колечко, привинченное к корытному бортику. Сорока принималась торопливо теребить его, время от времени озираясь на окно, будто спешила поскорее высвободить и унести с собой.

— Бабушка, а бабушка! — докучал я своими «зачем» и «почему». — А для чего ей это колечко?

— Хочет зыбку подвесить, детушек своих качать, — отвечала бабушка Варя, всегда готовая на сказку. — Это колечко не

простое, а от моей собственной зыбушки. В ней я вынянчила всех своих деток. Перво-наперво твою матушку, а напоследок и Валюшку, уже почти тебе ровесницу. Еще и ты успел в этой люльке с годок позыбиться. Так что, почитай, лет двадцать с лишком вертепчик не просыхал. Оттого и вовсе обветшал, под конец даже донце выпало. Шутка ли, такая перегрузка! Дедушка потом это поистертое колечко к поилке приспособил: лошадь привязывать. А тут вот тебе — каликтизация... Теперь оно и вовсе без надобности — ни зыбки, ни коня не стало. Пусть хоть сорока побренчит.

Пила Катя неумело и как-то походя: макнув клюв в корыто и захватив капельку воды, она закидывала голову за себя, после чего, закрыв глаза, делала частые глотательные движения подклювьем, так что казалось, будто она не пила колодезную воду, а трудно заглатывала какие-то твердые неподатливые шарики. Едва напившись, Катя снова перепархивала к колечку, чтобы еще раз побренчать им и попытать счастья унести с собой.

Из оконца лился умиротворяющий свет серенького заиндевелого дня грядущего Покрова, когда все ко времени сделано: смолота хлебная новина, нарублена капуста, засыпан в зимовальную яму лишек картошки, а в кадке шепчет и бражно пузырится молодой квасок, заправленный мятой.

Впритык к этому окну стоял тесовый выскобленный стол, за которым свершались утренние и обеденные застолья, а по вечерам за испускающим тонкую трель самоваром подолгу пивали чаи с бабушкиными погребными затайками — покосной земляникой и уремной смородиной да с калеными в печи ржаными сухарями. Здесь же, вокруг стола, коротали свое зимнее время каждый за своим делом. Дедушка Леша, вздев свои надтреснутые очечки, которые, как ни берег, все ж таки однажды уронил оземь, теперь вот, попивши чаю, мерно взмелькивал толстобоким от суровых ниток, будто икряным челноком, обстоятельно, с поддергом затягивая узелки на ячеях мережи, тогда как бабушка Варя, все еще самозрячая, клубковой пряжей штопала зимние шерстяные носки, напяливая их на деревянный половник.

Тут же еще незамужние тетушки Лена и Вера, имена которых я всякий раз путал, поскольку были они обе на одно лицо — щекасты, конопаты и русоволосы, — разбирали рассыпанное по столу пшено для завтрашнего кулеша. Будто чураясь, одними

только оттопыренными мизинцами они выкатывали за край золотистой пшенной россыпи всякие непотребные чернушки. Или вместо пшена раскладывали на столе старенькие заигранные карты. Немея лицами от внутреннего возбуждения, переговариваясь жарким шепотом, они по очереди гадали «на короля» — каждая на своего, — и тогда от плотно сдвинутых голов долетали таинственные нашептывания: «поздняя дорога», «неожиданное письмо», «пустые хлопоты». Я тоже пытался затесаться в их компанию, поглазеть на этого самого короля — бородатого дядьку с долгим ножом в руке, обложенного со всех сторон прочими картами: тузами, шестерками, дамами и валетами, но всякий раз только схлопатывал подзатыльник и тогда с чувством обиды и собственной ненужности припадал ухом к опорному стояку в простенке и слушал, как внутри него часто и самозабвенно стрекотала какая-то козява, которую я никогда не видел и придумывал всякие способы изловить ее и прибить насовсем, чтобы не точила дом и не делала в нем дырки.

Но сегодня почти с самого утра дедушки Леши не было дома. Попив чаю, он по-зимнему оделся в старенький кожух, завалявшийся на печи до сухого хруста, двумя-тремя витками опоясался домотканым кушаком и сунул за пояс рукавицы. Перед тем как снять с гвоздя свою вислошерстую баранью шапку, он повернулся к меркло отсвечивающему в углу Николаю-угоднику и, шурша дубленым рукавом, трижды перекрестил лоб и наглухо застегнутую грудь.

— Деда, а деда! — подергал я его за полу с надеждой, что он и теперь возьмет меня с собой, как брал в прошлый раз косить камыш на Букановом болоте. — Деда, а ты куда?

— Туда, где курица кудахчет... — По этому его сухому ответу я понял, что сегодня он строг, неразговорчив и озабочен чем-то своим, серьезным.

— Дай-ка ключ, — сказал он бабушке так же строго и отрешенно, и та молча подала.

В окно мне было видно, как дедушка отпер амбар, сколько-то пробыл внутри и, наконец, вышел с холщевой торбой через плечо. Опираясь на свою корявую грушевую палку, он с приволоком левой ноги направился к полевым воротам.

— Ну-ка, посмотри, — попросила бабушка, — сумка при нем?

— Ага, — подтвердил я. — А куда он пошел?

— Про то он никому не говорит...

— А почему он пошел не по улице, а огородами?

— Чтоб люди не видели.

— А почему — чтоб люди не видели? Ну, бабушка! Почему — чтоб люди не видели?

— Эт смола, пристал!

— А давай, я за ним побегу. Куда он, туда и я. Так и узнаем.

— Не надо тебе этого знать. Не вырос еще...

— Еще как вырос! Я уже сам на печку залезаю. Ты же меня и посылала вьюшку закрывать. Или забыла?

— Не велико геройство — на печку залезть.

— А тебе и это слабо! — срезал я бабушку и для окончательного посрамления прибавил: — Я и на дерево залезть могу.

— Ну ладно, молодец! — признала она мои достоинства, позволявшие доверять мне взрослые тайны. — Так и быть, открою, куда ходит наш дедушка. Только больше никому ни слова. А то вусмерть обидится.

Бабушка притянула меня к себе и зашептала в мое ухо теплые щекотные слова:

— Это он на конный двор ходит. Буланку свою проведывает. Скребок с собой берет, пузырек с дегтем. Пока та угощается овсецом, он ее всю до копыт выскребет, все репьи из челки вытеребит, а если найдет болячку или от хомута натертость, то и деготьком смажет. Скучает он без нее, душой томится. Все мнится ему, что не тот ездок запряжет, не так оглобли подпружит, лишку на телегу покладет да еще и гиблую колею не объедет, примется кнутом полосовать за то, что увязла. Чужой разве пожалеет? Иной раз жалуется: вот, говорит, уже и телегу растрепали, спицы рассохлись, громыхтят при езде. По-доброму, оно бы клинушки подбить, колесо и еще сколь бы побегало. Да где ж теперь эти руки, коли все не свое?

— Тогда зачем же он отдал Буланку? — Я тоже почувствовал щемящую жалость к дедушкиной лошади, которой теперь одиноко и скучно на чужом дворе.

— Разве ж он сам Буланку отдал? Уполномоченный, отнимая повод, даже в грудь его ударил... Но это не только у нас коня забрали, а и у всех, кто тягло имел.

— А зачем?

— Чтоб не пахали и не сеяли своего. А заодно и земли лишили. Вон, вишь, полевые ворота заперты стоят? Прежде за ними

дорога в поле тянулась, потому и полевыми звались. А теперь ехать некуда. За воротами огород только.

— А тогда зачем они стоят?

— Так просто... Загорожа от ветра...

— А я на них тоже лазил! — похвастался я.

— Что удумал!

— А посмотреть, что там дальше?

— А ежели упадут? Вереи совсем трухой взялись. Притронуться боязно.

— А дедушка отпирает. Давеча через них пошел...

— Что с него спрашивать? Он иной раз сам не свой. На него будто что накатывает. Особенно, когда с поля талой землей повеет. Да и в сенные недели, в хлебную косовицу. В такие дни слова из него не вытянешь. В окно уставится, немой и глухой, и все глядит, как сорока на поилке колечком бренчит. А ночью, слышу, не спит, с боку на бок ворочается, вздыхает. Думаю про себя: может, душно ему в хате? Тихо покличу: Леш, а Леш, шел бы ты в амбарчик, там сейчас прохладно. — Молчит, не отвечает... А то выйдет до ветру — нет и нет... Гляну в оконце — пошто так-то долго? А он в исподнем сидит на колоде — весь белый при луне... Даже оторопко становится. Какое уж тут спанье... И тоже лежу с пустыми глазами. А думки, как тучки: ползут и ползут — это ж сколь люду с привычного дела сорвали, так-то вот душой маются? Он у меня какой: землей да небом жил. За порог выйдет — ночью ли, днем, — первым делом на небо глядит: какая погода, откуда ветер, будет ли дождь, ай ведро. Все это небочтение он тут же на землю перекладывал, как на урожае скажется — на сенах, на хлебе. А теперь одним болотом живет. Чуть что — он уже там, на Букановом займище: то лозу на кубари режет, то сами кубари плетет. Иной раз и домой не приходит: у него там шалаш состроен. Бороды не стрижет, весь зарос — чистый леший. Разве в складчину Россию прокормишь? Складчина — оно как: тут отщипнут, там отсыпят, тут недопахали, там рукой махнули... Ой, не миновать нам голодухи...

— Ну, ладно, — продолжала свою исповедь бабушка, оглаживая меня по голове и уже не смиряя голоса. — Свели со двора коня со всей упряжью, закинули на полок борону, прихватили запасной колесный ход — всю мужицкую державу забрали. Одну только соху оставили с обороненным сошником. Ан — нет!

Это еще не квиты. Вот тебе Авдошка-дурочка с того краю бежит. Запыхалась, воздуху нет слово сказать. Только попивши выдала: там, говорит, по дворам полномоченные ходят. Во главе с Терешкой Зуйковым. Переписывают, у кого чего лишнее имеется. Кажись, кулачить будут. Так что прячьте, пока еще далеко. К Прошихе только зашли. — Я так и охолодела. Ноги подломились, руки плетями повисли. Самого дома нет, на Буканово ушел вентеря трясти. А без него разве я знаю, что тут лишнее? Куда прятать? Девки! — кличу я. — Давайте делайте хоть что-нибудь. Вон уж от Прошихи вышли да к Акулиничевым пошли. Хватайте «зингера», тащите в огород, кладите плашмя в картошку.

«Зингер» — это бабушкина швейная машинка, купленная сразу, как нарезали землю. Бабушка называла те везучие года «непом». Я понимал это так, будто был такой царь по имени Неп.

— Мы ее еще при Непе купили, — подтверждала она. — Хлеб тогда во как славно удался! Дедушка лишку в город свез. Решили взять швейную машинку: семья-то эвон какая, только успевай обшивать. Тогда у нас уже пять девок накопилось. Это каждой-то по платьишку! Да подавай им лавочное, набивное.

— Ну, сволокли машинку, сдернутым пыреем притрусили. Поярковую шаль цветными клетками да кое-что шубное из сундука вынули и в сено закопали. На дне осталась одна пасхальная посуда: тарелки да чашки, этого прятать не стали. А еще в погреб на вожжах спустили большой трехведерный самовар: леший знает, что этому Зуйку в голову взбредет. А вдруг скажет: не положено иметь, нет в нем такой уж надобности. Он больше для артельного чаепития пригоден. Для этой цели и заберем... А нам он каждую субботу нужен: воду для купания греем, постирушки устраиваем — эвон сколь народу. Ну, глядим, что еще спрятать? Дедушкины ходики? Да убоялись с настроя сбить, не стали прятать.

Слышу: в сенешную дверь пинают: вот они, гостюшки дорогие... Сельсоветчик Терешка Зуйков с лабазной книгой под мышкой, с ним — милиционер Федька Пузырь с кобурой на ремне. И еще какие-то двое, небось, не здешние. При таком сурьезном деле им бы напустить на себя строгости, а они явились уже ухмылистые, в румяной испарине, а на Зуйке и картуз

не по чину сидел, весь переиначился, лакированным козырьком на левое ухо сверзился. Поди, они этак завеселели, еще по первым дворам шарясь.

— Ну, Ионишна, давай показывай, что можешь пожертвовать в общественный фонд? — Зуек смаргивающе обозрел прихожую. — Хозяин-то где?

— На Буканово ушел.

— Небось, прячется?

— Не от кого...

— Так уж... — усмехнулся тот.

Больше всего поразил Зуйка дедушкин усадебный стул с суконной обивкой. Он шуранул с подстилки кота и с подпрыгом плюхнулся в него, разбросав руки по подлокотникам.

— Во! — хохотнул он. — Никогда не сидел барином. Вот откудова Леха твой царством своим правил!

— Не правил он, а всю жизнь работал, — обиделась я.

— Гляди-кось, а лежанка-то какая! — еще больше удивился он. — Сроду такой не видал. А ты, Хведор, — обратился он к участковому, — видал такую?

— Не-ек, — икнул Федька.

— Сделаем выводы. — Зуек постучал привязанным карандашом по лабазной книге.

Лежанка наша и впрямь всем нравилась. Стоит она тоже с самого «непа». Вот эту комнату тогда прирубили и ее поставили. Вся она была из белого кафеля, и на каждой кафелиночке выступал фиолетовый картофельный цветок с желтым носиком посередине. На ярманке покупали. В те года в городе при каждом празднике ярманки устраивались. На Маслену — своя, на Красную горку — своя, на Троицу — покосная ярманка. Народу съезжается! Гармошки, ряженые! Кафель всякий прямо на рядне разложен. Тут и с лебедями, и с ангелочками, и с позолоченными лилиями.

— Выбирай, — говорит мне Лексей, — какая на душу ложится. Я бы, — говорит, — взял вот эту. Люблю, когда картошка цветет.

А оно и вправду, вон как красиво. Он у меня разборчивый: всегда любил все красивое. Новый хомут сперва обойными гвоздиками околотит, упряжная дуга и так бы сошла — непременно ее покрасит. Ореховый хлобыстик для кнута — и тот по коре ножиком развеселит. Кабы знать наперед, что станет в

осуждение такая лежанка, кто бы с ней и связывался. Известкой побелили бы — и вся тебе красота.

— Так, Ионовна. — Зуек почесал карандашом в загривке. — На креслах сидите, на глазурованной печи спите... Выходит, не тем духом дышите... Новую власть, видать, не почитаете.

— Да как же не почитаем? — не согласилась я. — Вот и лошадь с телегою отдали. Себе нужна, а мы отдали...

— Лошадь-то отдали, — пересунул картуз Зуек, — да совесть, небось, припрятали. А ну-ка отопри сундук, посмотрим, что тама...

Отворила я ему сундук, а там у меня одно только столовое: прошвенные скатерти еще в приданое давали, стопка накопленных рушников — это когда за столом гости, чтобы колени укрывать, и так еще кое-чего тряпичного... Остальное все посуда, за годы собралась: тарелки большие и малые, блюда тоже большие и поменьше, ложки с вилками, да еще чайное — все как есть гостевое, доставали только на большие дни, сами-то мы по-будничному так, кое-чем обходилися, горячее — щи, кулеш — и до си в общий прихлеб едим... А теперь, если Бог даст, свадьбы начнутся. Две уже сыграли — матушку твою да Маруську спровадили, а другие, вон, уже на картах гадают, короли на уме, не заметила, как и заневестились, следом друг за дружкой идут.

Зуек посопел, понюхал сундучный дух, запустил руку под рухлядь, ничего не нашел и принялся потешаться над посудой, дескать, и тут не как у людей: «Картоху, что ли, с вилок едите?» Поднес вилку к носу, повертел туда-сюда, хмыкнул: «Ну, господа!» Было похоже, будто он сам вовсе вилок в руках не держал... Да и не держал! Я ихнюю Зуйкову породу от самого корня знаю. Старый Зуй свою землю еще когда продал. Оставил только вокруг хаты маленько — картошки, луку посадить. Сам же все по хохлам жестяным делом пробавлялся. А малые зуята — один другого меньше, сопатые да золотушные все, — бывало, к окошку липли, отца с отлучки выглядали. Двое померли, а этот вот и еще девка — уцелели. В революцию Терешка — уже усы под носом зачернели,— подался в Юзовку, на шахты, видать, там и научился горлопанить, а уж сюда вернулся готовым начальником, ворот на шее не застебается. Теперь вот ходит по деревне, людей судит: кого направо, кого налево. А у самого и

до си хата картошечной ботвой покрыта, репьи перед окнами по самую застреху.

Ну, дак сила солому ломит, а власть — человека. А Терешка теперь — власть. Хочешь не хочешь, а кажи почтение. Стояла у меня в запечье бутылка самогонки, держала про не ровен час. Ну, думаю, нечего больше беречь...

Пока сельсоветчики ходили по двору, заглядывали в закуты, а глядеть там было не на чего: корова с ягнушками на лугу, гуси на речке, поросенок еще малый, только заведенный, одни куры на виду, да на колу — сорока, я тем временем шепнула девкам, чтоб забили десяток яиц, да чтоб старое сало не жалели, ломтями, ломтями в зажарку нарезали и чтоб в самой горнице раскидной стол распахнули. Девки у меня сообразительные, расторопные, закивали головами, дескать, все ясно и понятно, быстро спроворили, как я просила.

Взяла грех на душу, нутром изогнулась перед охальником, шепнула под картуз, не желает ли он, Терентий Савелич, передохнуть, чем Бог послал. По его разомлевшим помощникам было видно, что они уже томились своим присутствием и, небось, давно ждали какого-нито разнообразия. Зуек в знак раздумья, как и тогда, почесал карандашом сзади, пониже околыша и, будто отрубая данные ему запреты, секанул воздух ребром ладони:

— Ну что, товарищи, есть мнение передохнуть малость. Как вы на это смотрите? Солнце уже вон где, а мы все на ногах и на ногах...

Повела незваных гостей в горницу. Вижу, девки мои перестарались: стол покрыли белой праздничной скатертью, даже складки от лежки в сундуке еще не расправились. Каждому гостю поставили по личной тарелке, ложка с ножиком — под правую руку, вилка — под левую, напротив — граненая рюмочка в талию. А посредине стола — как большое оранжевое солнце — сковорода с яичницей, разлившейся по ломтям сала с прожилками, посыпанной укропом. В тон рюмкам — шестигранный лафитничек с первачом, процеженным сквозь печные уголья и настоянным на смородиновых почках. Берегла про нечаянный день, а он — вот он, и впрямь нечаянный. Рядом — жбан белого ржаного кваса, веявшего вокруг себя погребной прохладой. Не забыли мои рукодельницы начерпать и квашеной капусты и

обложить блюдо по кругу половинками моченых яблок. Тут же, в глиняной полумиске, чернявые опята — что твои гвоздики. Стояла в самый раз Троица, ничего такого с грядок еще не было, окромя укропа да лука, вся закуска — погребная, прошлогодняя, но шельмы-девки так все разложили-расставили, что куда с добром! А еще у соседей сломали ветку сирени и возвысили ее над яичницей.

В самой горнице тихо, прохладно, лампадка млеет в святом углу, будто осеняет все вокруг миром и благоденствием.

Гуськом вошли мои гости, и вижу: замешкались у двери, вроде оторопели — не ожидали такого, чтоб на белой скатерти...

— Проходьте, проходьте! — подбодрила я.

Засмирело, будто на цыпочках, пошли они к раскинутому столу и молча принялись рассаживаться вокруг сковороды, уступив Зуйку место под самыми образами. Я, однако, заметила, что сели они за стол, не перекрестившись, как полагается, видно, им не велено, только Зуек снял картуз, повесил его на колено и пригладил ко лбу взмокшие волосы.

Молча, не проронив ни слова, а только переглянувшись и покивав друг другу, выпили по первой. Согласно засопев носами, следом за Зуйком неловко взяли по половинке моченой антоновки. И только после второй, выпитой также в натянутой тишине, взялись за ложки и принялись кромсать яичницу.

Поглядывая со стороны, я нечаянно вспомнила, что не подала утиральников, и, быстренько принеся стопку расшитых красным рушников, принялась одарять каждого, чтобы те застелили себе колени. И только тут Зуек впервые проговорил:

— Это ты зря. Этова нам не надо. Мы ить не в гости пришли сидеть. На службе находимся. Мы это из одного одолжения. И чтоб по-быстрому... Так что засиживаться нам некогда. Еще вон сколь осталось дворов.

Лафитничек все-таки усидели... Не замарав тарелок, начисто выскребли сковороду, разметали грибки и капусту, и к выпитому и съеденному допрежь мое угощение пришлось в самый притык. Гостюшки снова разрумянились, сладко зажмурились, по-домашнему расслабились плечами. Зуек даже расстегнул верхние пуговицы на черной сатиновой рубахе, тесно блестевшие на груди, как на баяне. Он потянулся было за квасом, но от неловкого движения фуражка соскочила с его колена и закати-

лась под низко свисавшую скатерть. Отяжелевший Зуек грузно спустился на четвереньки, норовя головой поддеть мешавшие ему складки настольного покрывала, но милиционер Федя оказался проворней, он первым изловил беглянку и передал хозяину. Зуек, конфузливо смаргивая, обеими руками принял головной убор и, вернувшись за стол, плотно насадил фуражку на залысины, чтоб впредь больше не терялась, поскольку он, наверно, понимал и берег ее как единственный знак своего возвышения. Вот уж верно: без фуражки он — букашка. Было видно, что всем сделалось хорошо и что проверяющие на классовую надежность товарищи были не против посидеть еще малость.

Но Зуек вдруг спохватился:

— Ух ты, е-мое! Половина четвертого! А у нас еще сколь дворов не охвачено. — И, поворотясь в мою сторону, осведомился:

— А твои часы не брешут?

— Им Алексей Иванович не дает сбрехать.

— Как это? — не понял Зуек.

— По харьковскому поезду сверяет. Ровно в полдень перед мостом гудок подает.

— Ну и дока твой Алексей Иванович! Уж и тут поспел... Теперича мы и свои, сельсоветские, так-то сверять начнем. А что? Ежели чево хорошее, дак и себе хорошо взять... — И, уходя, уже в прихожей, минуя лежанку, похлопал ее по фиолетовым цветам. — Да, Ионовна, хороша у тебя печурка! Прямо красавица! А на телегу не положишь...

Зуек ушел, так ничего и не записав в свою осургученную книгу, зато потом, когда в сельсовете объявлялся кто-либо из заезжих гостей, он присылал нарочного с запиской: «Ионовна! Придем смотреть твою лежанку. Устрой яишанку и все такое, как тогда. И чтоб на белой скатерти!»

Несколько разов так-то с гостями наведывался Зуек. А в прошлом годе его и самого увезли на таратайке со связанными руками. По его левому боку сидел какой-то незнакомый в штатском, по правую — Федька Пузырь, прежний собутыльник. Федька охлестывал лошадь веревочными вожжами и этак охально понукал: «Но-о, кодла сухоребрая! Вот я т-тя...»

— Ой, не Буланка ли? — выглянула я из-за фуксии, когда телега прогромыхала мимо уличных окон. — Нет, не она... — удостоверилась я и только, грешная, опосля лошади пожалела самого Зуйка: видать, где-то он промахнулся...

* * *

С конного двора дедушка Алексей воротился уже под вечер. Снял кожух, повеявший на меня остудной волей, повесил на гвоздь свою тяжелую, тоже исхолодавшую шапку, похожую на сорочье гнездо, ладонью огладил влажные, податливые волосы на правую сторону и, коротко перекрестясь, с облегчающим вздохом, будто свалил с себя тяжелую ношу, опустился в уютную промятость своего кресла.

— Ну, как она? — потаенным шепотом спросила бабушка, зажигая керосиновую лампу и вправляя в зубчатый венец горелки чистое, протертое ламповое стекло.

— Да как... Увидела — ушами заходила, даже гоготнула тихонько, признала, стало быть, и сразу — к торбе, давай теребить, губами ущипывать. Ну, угостил ее овсецом. Ей этого теперь не приходится. Вот как радуется угощению, хрумкает, будто жерновами мелет, торбой мотает, на переносье подбрасывает! Пока она занята, потрогал холку, бока огладил — все такое родное, памятное... Хотел было к животу притронуться, а она сразу напряглась, в сторону отступила: не дается. Кажись, жеребая она...

— Ну, дак и славно! — порадовалась бабушка. — Может, Буланку на время обратно взять дозволят? Пока жеребеночек родится. Ей бы поберечься, не таскать тяжелого...

— Уже спрашивал, — признался дедушка Леша. — Ходил в ихнюю контору...

— И чего?

— Смеются только: иди, говорят, не блажи. Не валяй дурочку. Нехай к общежитию привыкает. Чтоб на свой плетень не оглядывалася больше... Не положено, и весь тебе сказ... Не положено! — гневно повторил дедушка, и в его дрогнувшем голосе промелькнули тонкие детские нотки.

— Ну, будя, будя! Что теперь попусту кудахтать, — сказала бабушка.— Не бери шибко в голову. А то ты у меня и вовсе квелый сделался. Давеча глянула в окно: ты и не ты. Идешь обмяклый какой-то, ногу тянешь, батогом попираешься. Не казак, как бывало.

— Да чтой-то крестец разломило, — неохотно сознался дедушка Леша, — намедни на Букановом с камышом навихлялся. Камыш — не солома, коса втемеже тупится. А еще и воз без ко-

ня привезти. Сани не везде сами катятся: где снежок, а где еще мерзлые колчи.

— А не истопить ли, голубь мой, лежаночку? Ты и погреешься! — предложила бабушка. — Ведь завтра Матрена зимняя, — и бабушка затем вставила прибаутку: «Ходит по дворам Матрена — все ли печи прокалены?» — вот и нам в самый раз лежаночку протопить.

— Не почти за труд, — кивнул дедушка Леша.

— Да какой же это труд! Сейчас, сейчас спроворим... Дело не хитрое. Эй, девки! — шумнула бабушка. — Ленка! Верка! Живо за камышом! Да снег хорошенько отряхните. Со снегом не тащите.

Дом сразу наполнился суматохой. Тетушки с молодой веселостью принялись освобождать место под охапки тростника — сдвигать воедино лавки и табуретки. Дедушкино кресло тоже опрокинули на сундук, свернули трубочкой лоскутный половичок. В печи очистили поддувало от прежней золы, а с самой лежанки сдернули попону, убрали тюфяки и все ненужное, и та предстала во всей своей цветущей картофельной красе, показав разом все неувядаемые сиреневые гроздья на глазурной кафельной белизне. Я не понимал, как это сделано, почему, если печка раскалялась до того, что к ней нельзя было притронуться, цветы оставались такими же яркими и красивыми. Я даже пробовал отколупать выступающие желтые язычки, но они не колупались. Чтобы не мешал, не сновал под ногами, меня водворили на бабушкину кровать да еще накрыли одеялом, поскольку на время, пока будут натаскивать вязанки топлива, все двери в доме окажутся распахнутыми настежь и в комнате сделается холодно, как в сенях. Дедушка Леша подсел ко мне, чтобы вместе глядеть на все это. Между нами сторожко, но настойчиво протиснулся кот Кудря, наверно, уже усвоил, что сейчас напустят холода. Между тем тетушки Ленка и Верка, как были налегке, в одних только ситцевых платьишках, так, не прикрывшись, простоволосые, голорукие, выскочили во двор, над которым, как виделось мне в окошко, уже ярко мерцали льдисто-зеленые звезды. Тетушки долго не возвращались, небось, все это время надергивали трехметровые метельчатые пуки камыша, схваченного засахаренной снежестью, и выкладывали из них вязанки для переноски. Наконец они шумно-шуршаще, царапающе, скребуще, весело переговариваясь, объявились

сперва в сенях, потом в кухонном проулке, и наконец — Ленка со своей ношей, за ней Верка со своей — протиснулись к лежанке, заполнив все пространство морозно клубящейся испариной и колким игольчатым холодом, исходившим от насухо вымороженного камыша. Тут же огромные связки они принялись разворачивать таким образом, чтобы комли находились ближе к печному устью, тогда как метелки пришлось укладывать на бабушкину кровать. От этой шумной, шуршащей невидали перепуганный Кудря шмыгнул под кровать, а мы с дедушкой Лешей спрятались под косяковым одеялом, и над нашими головами нависла непроглядная пушистая завеса, вкусно пахнущая ветром и чем-то хлебным, калачовым.

— Это ж мы с тобой столько набузовали! — сказал из-под метельчатой наволоки дедушка Алексей. — Не забыл?

— Ага, не забыл.

— На Букановом-то займушке.

— И щуку подо льдом помню.

— Тамотка окромя щуки и еще кой-чего водится. — Дедушка Леша высвободил руку и потянул к себе шелковистую метелку. — В такой-то чащобе! Головы не просунешь. Я однова поставил вентерь как раз под матерой ракитой. Два дня не ходил, не проверял. На третий пошел, а вентерь ходуном ходит, вода аж на лед выплескивается...

Тетушки взвалили на нас и вторую вязанку, так что дедушка Алеша успел только промолвить:

— Ладно, опосля как-нибудь доскажу, а то мы с тобой тоже как в вентерь попались...

Бабушке подали ее доильную скамеечку, и она, примостившись перед топкой, принялась укладывать в темный печной зев уже приготовленные запальные камышовые скрутки. Тетушка Ленка и тетушка Верка, сидя на полу, заняли места подавальщиц, в обязанности которых входило набирать пучки тростника и готовить из них укороченные скрутки, удобные для подбрасывания в огонь. Мы с дедушкой, проделав отдушины в сваленных на нас метельчатых концах, терпеливо наблюдали за приготовлениями, которые для меня, видевшего все это впервые, представлялись веселым и таинственным событием.

Наконец от поднесенной лучины камышовый вороток в раме чугунного обвода топки занялся несмелым медовым пламенцем, которое, перескакивая с тростинки на тростинку раз-

розненными язычками, никак не могло соединиться в сплошной полох, и вдруг, когда я вовсе не ожидал, все в печи жадно и жарко воспламенилось и с нетерпеливым гулом устремилось в черную глубину. С этого момента и началось для всех, приставленных к лежанке, их главное дело, требовавшее сноровки и слаженности, дабы не упустить огня, не дать ему голодно сгинуть, надо было успеть вовремя изготовить очередную скрутку, перехлестнуть тростниковой обвязкой упрямо сопротивляющийся камышовый пук и эту спеленутую чучелку вложить в руки бабушки, которая и определит ее в самое пекло. Было весело глядеть на мятущуюся пляску огненных всплохов, среди которых, освободившись от сдерживающих перевяслиц, отдельные камышинки пытались вернуть себе прежнюю прямизну, иные пускали тонкие дымки из концевых срезов и даже выфукивали огоньком наподобие старинных самопалов. Хорошая тяга как бы приглаживала огненные языки, направляя их вместе с дымом в глубину топки, однако же в комнате витала вуально-дымная просинь, которая вовсе не досаждала, а наполняла воздух приятной пряностью праздничного печева.

Из сеней высунулся бурый лицом Пахомыч, околоточный платный пастух, привычный входить в любой дом без всяких церемоний. Он молча присел на корточки, прислонившись сутулой спиной к дверной притолоке, и узловатыми, невпопад вздрагивающими от какого-то недуга пальцами сразу же принялся вертеть козью ножку, просыпая махорку на заскорузлые сапоги, в носовом прощелке одного из которых поди еще с осенних выпасов защемилась сизая кучеряшка полынка.

Вслед за Пахомычем неслышной мышкой проскользнула деревенская учительница, худенькая, легкая, очкастенькая Серафима Андреевна, квартировавшая через два дома от нас. Она пришла к бабушке Варе с каким-то обещанным шитвом под мышкой, вкрадчивым голосом произнесла: «здрасьте вам», сбросила на сдвинутые лавки свое пальтецо и, нимало не смущаясь, опустилась на пол рядом с моими тетушками. Она тотчас, без пригляда, будто всегда этим и занимались, взялась выдергивать из вороха по две-три тростинки, почему-то выбирая, какие потолще и попрямей, заламывать их сначала пополам, потом еще раз вдвое, а в третий заход — уже о колено и передавать это свое изделие из поверженных стеблей в соседние руки. Я продолжал глядеть, как полыхали в печи ровненькие, будто

отполированные ветром камышовые дудочки, и мне сделалось жалко видеть, как Ленка и обе ее помощницы с азартным хрустом крушили эти красивые хлыстики с шелковистыми венчиками на концах, а бабушка, вся разомлевшая от близости жара, запихивала поданные ей кулемы в гудящую печь, где камышовые свертки, охваченные пламенем, как бы зазря и насовсем обращались в бездушный пепел. «Лучше бы все это осталось там, на Букановом болоте», — сочувственно подумал я, но моя мальчишеская грусть тотчас улетучилась, как только я вспомнил про дедушкилешин вентерь, который отчего-то ходил ходуном...

И я снова принялся теребить дедушку :

— Деда, а кто попался в твой вентерь? Опять щука?

— Ежели б щука, дак никакой с ней заковычки. Хватай под жабры — и на солнышко... А то такое диво заплуталось! Вот как полощется в проруби! Вот как воду буровит, выплескивает из лунки!

— Сом, что ли? — нетерпеливо подсказывал я.

— Кой там сом! Бери чином выше...

— Кто ж еще?

— Присмотрелся я хорошенько, ан лозовый обод чья-то маленькая лапка обхватила накрепко и трясет что есть мочи. Лапка та как есть курячья, токмо не о трех, а, как у нас с тобой, о пяти пальцах и в сивой шерсти на запястье. Заслонился я от света шапкой, чтоб заглянуть поглубже, а вода-то на Букановом не просто как всякая вода, а будто в ней чай заваривали: темная, дегтярная, да еще взмученная попавшей в вентерь живностью. В такой воде не все втемеже разглядишь. И почудилось, будто вижу я чью-то голову — не зверушечную и не рыбью, а все, как нужно: лоб, скулья, уши оладьями, плоский нос сопелкою, по загривку шерсть клочьями, а сама-то голова долгой тыковкой и голая, как коленка, даже усек, как на темечке солнечный зайчик играет. Лысая башка вся мережой опутана — нет от нее никакого ходу.

— Ладно, потом починю, — подумал я, достал из-за голяшки нож-складничек и порезал мережу. А он как вышмыгнет из надреза и давай шумно дышать, свежий воздух заглатывать, тину сплевывать.

— Дак это ж дед Никишка! — изумился я, признавши в своей добыче болотную шишигу, давнего здешнего обитателя.

— Кажись, я сделал ту ошибку, что поставил вентерь в са-

мый раз под нависшей ракитой. А в том неохватном замшелом древе, гляжу я, у самой земли черный лаз, заросший осокой. От моей проруби к тому лазу — грязные шажки наслежены. Это, стало быть, Никишка натоптал: от ракиты — к проруби: туды-сюды... Небось, все рыбкой моей пользовался, пока сам не попался.

— Уф-ф! — наконец отдышался дед Никишка и облегченно провел пятипалой лапкой по реденькой, истекающей чайной влагой бороде.

— Ну и влип я в историю. Никогда допрежь не попадался, а тут перед собственным домом угодил. А нитки на твоем вентере ох и крепкие! Сам вощил?

— Без вощенья мережа долго не стоит.

— Я их и так, и сяк — пальцы режут, а не рвутся. Пробовал перекусить, но куда там — ни в какую! Да и зуб один только остался. Берегу: может, еще сгодится рака помять, устрицу расшеперить... Так что спасибо тебе, Лексей Иваныч, что ловецкую посудину не пожалел. Ежли б не ты — околел бы вусмерть. Да чтой-то мы с тобой, братец, без всякого уюта беседуем! — спохватился дед Никишка. Он подтянулся на укороченных ручках из проруби, сбросил с плеч вспоротую мережку и выпрямился в свой аршинный росток. Долгая зеленоватая шерсть заменяла ему штаны и рубаху. — Пошли, братка, ко мне. Вон моя ракита! Правда, ее малость молнией жигануло, верхнюю половину напрочь отбросило. А так — ничего. Не хоромно, но обитать можно. Короб еще крепкий. От корней даже правнуки на свет полезли.

В дупле было просторно, но погребно сумрачно. Под ногами пружинила утоптанная осока. Пахло древесной гнильцой и барсучьей псинкой.

— Дак ты кто по чину? — спросил я, привыкая к темноте. — Водяной али леший?

— Водяной! — с гордецой подтвердил Никишка.

— А тади почему моего вентеря испугался?

— А нам теперь более суток в воде сидеть не полагается. Задышка наступает. Это допрежь, в старые времена, наши вовсе из воды не вылазили. Так в омутах и зимовали. Дак в омуте оно даже теплее, чем снаружи, на берегу. А теперь болота стали усыхать, речки мелеть, ключи заиливаться, так что жилых мест поубавилось. Про ближайшего шишигу я аж в Дроняевских бо-

лотах слыхал. Верст шестьдесят отсюдова. Еще один аж в Прутищинских копанях отыскался... А то, сказывают, будто в Банищах на песке след видели. Ну, дак это совсем далеко. Так что вымираем помаленьку. Как в деревне мужика с земли сдвинули, так и нам, водяным, худо стало...

— А вы-то при чем?

— А вот рассуди: раньше от Полевой до Липинской на полсотне верст как есть дюжина водяных мельниц стояла. Это значит — дюжина омутов. Да каких! В две оглобли дна не достанешь. Да на речных притоках по три-четыре мельнички поменьше. А при них тоже омутки. Почитай, все речки плотинами подпертые. Река своим верхним концом еще и в межень не вошла, ан вот тебе встает новая плотина, опять сажени на две воду высит. Так и бежит река ступенями, жернова ворочает, мешки мукой полнит. Я-то сам мучного не ем, не мое это, а глядеть на дело приятно. Иной раз, бывалыча, выберешься на берег, с мужиками у костерка потолкуешь, с лошадьми пообщаешься. Они ничего, подпускают, ежели пучок молодого очерета поднесешь. А где омут — там урема, человек без топора не пролезет, а нашему брату, шишиге, — сущая благодать. Мы-то сами никакого вреда не делали. Разве иногда пошутим: в самую жару, когда мельница еще не в деле, возьмем да и жернов в омут утопим. Мужики ныряют, подводят вожжи, а им и самим весело: в кои-то времена от души поныряют. А теперь — что же? Мельницы у мужиков отобрали, самих хозяев на Соловки выслали. Плотины без догляда водой сорвало, мельницы — какая от баловства сгорела, а какую на дрова разнесли. Новая власть сторонится водяного помола, дескать, устарелое это дело, нету пролетарского размаху. Будем на пар переходить. Ну да паровики все по буграм ладят... Вот и пришел омутам предел, а с ним и водяному населению край.

Дед Никишка оказался очень даже рассудительным шишигой. Все-то он рассчитал, все поосмыслил. Голова хоть и долгой тыковкой, а бедова. Вот бы кому сельсоветом править!

— Это ты, Никифор, верно насчет плотин, — согласился я. — Без них вода вглубь уходит. Прежних сенов не стало.

— Да, братка, такой вот солнцеворот: что на берегу ойкнется, то на воде аукнется... Иные нашенские в лешие подались: разбрелись по лесным урочищам. Дегтярничают, живицу сочат, дорожки к белым грибам за полтину указывают. А которые по-

гонористей, те кокарды себе покупили, пошли в лесничие. Там им сплошная лафа: на кордонах — музыка, девки хохочут, высокие гости наведываются... Лешаку, конечно, проще: он и росту повыше нашенского, и не косолапит. Особливо на ковровой дорожке. На ней вся твоя поступь видна. А ежели побриться да одеколончиком овеяться, так от начальника не отличишь. А еще, сказывают, будто по нонешним временам хорошо стало полевой нежити. Это те же лешаки, но которые в поле устроились. Поля стали общими, никто не сторожит, даже чучел не ставят. В домовых должностях тоже — не бей лежачего: сиди себе с курами под печкой, иной раз у бабы-дуры яичко укатит, а перед праздниками бражки полакает...

— А я, братка, чистый водяной, — с гордецой объявил дед Никишка. — У меня на ногах даже плавательные перепонки имеются! Хочешь поглядеть?

Дед Никишка высунул из дупла на свет заднюю лапу, и я, верите ай нет, в самом деле увидел между пальцами сухие, сморщенные кожицы. Только пальцев было всего три, как у гуся.

— Вот так-то! — довольно засмеялся шишига и убрал лапу под шерстистый закрылок. — Правда, перепонки теперь не у каждого. У многих они стали отсыхать и отваливаться за ненадобностью, особенно кто из болота на берег совсем ушел, кто стал людскую обутку носить. Энти в омутах уже жить не могут. А я ни в кого не хочу переделываться. Мне многова не надо: абы сыро.

...Все скопившиеся возле лежанки молча, затаенно слушали дедушки Леши букановские приключения, и только я один хихикнул, услыхав, что у этого «шишиги» ноги — лапы перепончатые, как у гуся.

— Ну, а ест-то он чего? — заинтересовалась бабушка Варя, кочережкой оправляя жар, оранжево млевший в печи.

— Говорит, будто ничего нашего не принимает: ни картошки, ни хлеба, ни какого варева. Даже спичек у него не бывает.

— А как же обходится?

— Потребляет только свежее, с мокрецой: карасиков, кубышку вместо хлеба, иной раз, говорит, ужика изловит, пожует. А больше всего любит раков. Да жалуется, что в Буканове их почти не стало. За раками надо идти под хуторские выселки. Но там — дорога: не хочет оставлять следов на сырой гати... Все

спрашивал, что за люди появились в урочище? Ходят по берегу с полосатыми планками, глядят в какую-то трубку на раздвижных ногах.

— Небось, землемеры, — прикинул я, но дед Никишка озабоченно поскреб загривок:

— Ой ли?! Воду аршином не меряют...

Уж я не стал ему открываться, что Буканово осушать будут. Я к тем людям подходил, спрашивал. Скоро, говорят, начнут сток копать. Хотят до торфов добраться. Потом поставят паровые пресса, и побегут по ленте черные кирпичи. Вторую Шатуру открыть планируют. Собираются дать электричество на окрестные деревни. А то, говорят, сидите в темени, под керосинками. Оттого и сами темные. Пути своего не видите.

— Дед Никишка, поди, сам догадывался, что грядут какие-то перемены, — сказал дедушка Леша. — Потому как наклонился ко мне и прошептал в самое ухо:

— Слушай, друг! Справь мою просьбу. Больше некому довериться. Будешь на Кизиловых болотах, передай одной тамошней обитательнице, что я пока живой, но совсем один остался. Спроси, помнит ли она меня? Лет полста тому, как в последний раз виделись.

— Адрес-то какой?

— Да какой же! Болото и есть болото. Буде еще цело, не пересохло.

— Да вроде бы пока стоит...

— Ты нарви лилий и положи на видном месте. Лучше на павшую колоду. Это у нас явочный знак такой. Она вечером и объявится на том месте, по запаху найдет. Ежели согласится, то я, перезимовавши, дождусь ночных рос и как-нибудь доберусь к осени.

— Туда теперь поезда ходят. До Полевой можно доехать, а там — вот оно: луга только перейти, — присоветовал я.

— Не-е! Железкой мне не можно. Дюже дымом смердит. Да и прибить могут. Я ить босый, раздетый, в одной шерсти: за какого зверя примут.

— Давай я тебе одежку принесу, лапти на ноги.

— Нет, я лучше сам, пешочки. Потемну, от лужи — до калюжины. Вещей при мне никаких, так-то налегке с батожком и доберусь.

— Кабы б лошадь, я б тебя за пару суток доставил... Да вот,

нема Буланки, с телегой отобрали... Ты не мог бы как-нибудь повлиять, чтоб обратно вернули?

— Нет, брат, это не по моему чину. Я — больше по водяной надобности...

— Ну и как? — нетерпеливо спросила тетушка Ленка, которую больше занимали сердешные дела. — Разложил лилии?

— Нет, девка, не исполнил я этова, — признался дедушка Леша.

— Забыл, что ли?

— Разве такое забудешь? А как-то так, не сподобился, своя жисть закружила. Может, еще и побываю на Кизиловых топях...

— А мне его жалко... — сказала тетушка Ленка. — Вот понять бы: для чего он? Ну вот для чего кошка, собака — понятно. А зачем этот Никишка, кому такой нужен?

— Дак тут разом и не скажешь, для чего. А может, его и нету вовсе?

— Ну как же так? Ты же сам его из вентеря вызволил и в дупле вместе сидели.

— Сидеть-то сидели. Да вдруг сморгнул глазами, комара с века хотел отпугнуть, а когда снова глаза открыл, то возле меня уже никого не было. Потянулся рукой поперед себя — посыпалась труха дупляная, высунулся наружу — никого. Одни камыши стеной. На снегу — ни следа, ни задоринки. И в лунку не лажено — накрыта моим драным вентерем... А и то сказать: может, это мне только причудилось? Я ведь в ту зиму много болел, говорят, даже бредил...

...Я все еще прятался под одеялом и, несмотря на царившую духоту, мелко, по-щенячьи подрагивал, чувствуя, как стискивала неодолимая оторопь от дедушкиного рассказа.

— А со мной такое было, — сказала Серафима Андревна. — Пошла я на речку полоскать постирушки. Там приступок из двух досок был. Разложила я свои вещицы, а чтобы не мешал перстень, сняла его с пальца и только хотела положить в сарафаний карманчик, а он возьми и булькни в воду. Вода осенняя, чистая, каждую песчинку видать. Лежит мой перстень на дне, как святой. Лезть за ним сразу не полезла, вода все же не летняя, и глубоковато, надо было раздеваться. Думала, сперва тряпицы пополоскаю, а потом уж... Вдруг по дну что-то мелькнуло. Каким-то обостренным зрением успела схватить, что это вовсе не рыбина, как почудилось сперва, а нечто похожее на живую

руку. Как сейчас помню, рука эта была в зеленых космах, сносимых течением на сторону. Рука жадной жменей вместе с песком схватила мой перстень и тут же исчезла в тени приступка. Я так напугалась, что убежала, бросив на досках невыполощенное белье. В то место я уже не хожу ни стирать, ни купаться. Как-то не по себе становится. Это даже не боязнь, а чувство какого-то таинства, сокровенности. И вот что удивительно: в глубине души я, кажется, даже рада, что это со мной случилось. Наверно, без этого было бы как-то беспамятно и пусто...

— Вот-вот! — чему-то обрадовался дедушка Леша. — Теперь и я, когда бываю на Букановом займище, все гляжу, озираюсь по сторонам. Вроде не боюсь, а увидишь пенек в тумане, как хмельком ознобит, даже ноги прослабнут. А вот все равно охота, чтобы рядом было что-то непонятное...

— Наверно, такое тайное смятение человеку тоже нужно, — в раздумье сказала Серафима Андревна. — Для распознания добра и зла, что ли? А может, и для нашего единения... Ведь мы ходим по одной земле, небо над нами общее, язык один. Так ведь? А когда и верования одни, и чувствования схожи...

Мудрено говорила Серафима Андревна, разумеется, я ничего этого не понимал, да и остальные, поди, тоже не очень.

Уступив тетушке Ленке скамейку и кочергу, бабушка Варя, от недавнего жара тряся на груди кофту, отправилась на кухню по каким-то делам.

Тем мигом в окно побарабанили согнутым пальцем.

После разговоров о Букановом болоте все в комнате нечаянно вздрогнули. За оконными наморозками мелькнуло неопознанное лицо какой-то женщины в белом пуховом платке.

— Кто бы это? — зависло в напряженной тишине.

Новой гостьей оказалась бабушкина племянница Катеринка Зыкова, с простого языка — Зычиха, уже много раз при мне бывавшая в нашем доме.

— Шла мимо, — сказала она, как всегда, улыбчиво, — чую, из трубы вкусным пахнет: не печется ли чего? А у вас — посиделки!

— Да вот лежанку камышом палим, — уточнила тетушка Ленка, оставшаяся за главную кочегарщицу. — Давай, разоблакайся.

— А и правда! Жарко-то как у вас! — Зычиха сбросила стеганый полусачок, но платок почему-то оставила на плечах. Пла-

ток был новый, надетый еще не ко времени, а только ради завтрашнего праздника — Матрены зимней, а то и просто на зависть сверстницам.

— Уже шабашим. Последние хвостики остались, — как бы упрекнула тетушка Ленка за то, что Зычиха не пришла раньше, им одним довелось возиться с камышом.

Пастух Пахомыч, на корточках сидевший у дверного проема с той своей выгодой, что там можно было курить и выпускать дым в кухню, потянул из последних тростинок какую-то облюбованную, достал складничек на долгом ремешке и принялся что-то надрезать, кончиком лезвия выковыривать соринки из отверстий на тростниковом отрезке. По завершении он бережно, с уважительной робостью взял в грубую волосатую пятерню хрупкую камышинку, поднес к губам ее заостренный кончик и вдруг выдул из этой своей поделки нежный бархатистый изначальный посвист. Потом он поочередно зашевелил толстыми, неловкими, будто разношенными пальцами с утолщениями на концах, извлек беглый черед звуков — от густых до ручьевопрозрачных. Перебирая лады, он постепенно перевел, упорядочил эти звуки в какой-то неспешный протяжный напев. Все обернулись на этот неожиданный тростниковый голосок, и раскрасневшаяся Катеринка, первая угадавшая мелодию, вдруг вознеслась красивым, сочным и надежным голосом:

Ой, ты но-о-чень-ка-а,
Но-оч-ка тем-на-а-я-а!

Без всякой изготовки — тетушка Ленка, как сидела с кочергой перед пылающим печным зевом, Серафима Андреевна — с пучком камыша на коленях, тетушка Верка, молчавшая весь вечер, так и подхватили слаженным трехголосьем:

Но-о-очка тем-на-ая-а...
Да но-очь о-сен-ня-я-а!

Зычиха с еще большим рвением и азартом повела следующий сольный запев:

Что ж ты, но-о-очень-ка-а,
При-и-ту-ма-а-нила-ась?

И те трое, ободренные тем, что песня пошла сразу и никто не запнулся, не сфальшивил, вдохновенно продолжили вместе с Катеринкой:

Что ж, осен-ня-я-а,
При-на-хму-ри-ла-ась?

Тем временем Катеринка, сбросив наземь платок, неосознанно-машинально теребя в руках и мелко заламывая последнюю камышинку, парила голосом в тесном и слегка задымленном предпотолочье:

Или не-е-ет у те-бя-я-а
Яс-на ме-ся-ца-а...

А остальные, сидя на полу и ритмично раскачиваясь, с басовой печалинкой вторили:

Или нет у те-бя-а-а
Яр-ки-их звез-до-че-е-ек?..

Из сеней появилась бабушка Варя с мерцающим огнями самоваром и объявила, что, вопреки песне, месяц все ж таки народился.

От ее вести песня сразу сломалась, все, как были нараспах, поспешили наружу. Воспользовавшись суматохой, я тоже вышмыгнул на крыльцо, босой и без шапки.

И верно: высоко, в морозной, звездно-осыпанной ночи нежно-глазурованно голубел молодой остренький месяцок. С крыльца чудилось, будто он по-сорочьи вспорхнул на сенной торчок, чтобы разглядеть заветное колечко на колоде...

Я тогда еще не знал, что домочадцы так радостно и возбужденно высыпали за порог, дабы поклониться новорожденному и по старому обычаю побренчать на счастье чем-либо: денежкой ли, сережкой с уха или тут же оторванной пуговицей в сжатых ковшиках ладоней...

2002

ДВА СОЛЬДИ

...Синьоры! Прошу вас выслушать мою песню,
даже если она стоит всего два гроша...

(Из вступления к песне)

о времена недолгой хрущевской ростепели модная тогда итальянская песенка, как неудержимый заморский насморк, прокатилась по нашим городам, перелихорадила почти всех школьных выпускниц, взвинтила пыль на уличных танцплощадках и ко времени событий, о которых я собираюсь поведать, выплеснулась на деревенские просторы. Захлестнула она и наше тихое, засмиревшее было Толкачево. Не раз слышал я, как среди ночи сквозь лунную сверчковую звень вдруг чья-то неприкаянная девичья душа выстанывала, как боль:

Эта песня за два сольди, за два гроша,
С нею люди вспоминают о хорошем.
И тебя вздохнуть заставит тоже
О твоей беспечной юности она.

И до сих пор не пойму я, чем эта песня неаполитанских окраин задела русского человека? Мода модой, но, видно, было в ней какое-то созвучное откровение, совпадение душевного апогея.

В то время я еще не стеснялся ездить в свою деревню на велосипеде, купленном на толкучем базаре за триста дореформенных рублей. Машина (тогда велосипеды уважительно назы-

вали машинами) заметно восьмерила передним колесом, но в остальном была вполне исправна и верой и правдой прослужила мне еще несколько сезонов, пока я не лишился ее по своей же оплошности: как-то оставил велик у входа в магазин и, когда вернулся с куревом, его уже не было на прежнем месте... О пропаже заявлять в милицию не стал, поскольку и сам со дня покупки ездил без номера и не хотелось выслушивать нравоучений по этому поводу. Да и вообще приспела пора расстаться с таким видом транспорта: меня уже стали попечатывать в столичных журналах, и я приосанился и посолиднел.

Но это со мной произошло несколько позже, а тогда, во времена нашествия «Двух сольдей», я, как уже было сказано, еще не гнушался ездой в деревню на велосипеде, да к тому же на легкомысленно вертлявом колесе.

В деревне еще стояла наша родовая изба, хотя ни деда, ни бабки уже не было вживе, да и вообще в ней, осевшей углами, с размытой земляной завалинкой, никто не жил. Сотлел, струхлявился и рассыпался в прах плетень, обвалился и пересох колодец, куда-то исчез амбар, где под толстой соломенной кровлей в знойную пору так приятна была прохлада. На стенах, под застрехой, некогда висели вентеря, серпы, обломанные косы, подобранные на дороге конские подковы, связки каких-то поржавевших гаек и железяк, в то время составлявших немаловажное богатство в крестьянском дворе. Внутри же амбара с деревянных гвоздей свисали до зимы ненужные армяки и полушубки, на локоть смотанные веревки, поддетые за уши дедовы сапоги, обильно смазанные дегтем, — до очередных праздников или поездки в город. Сапоги наполняли прохладную полутемь амбара густым терпким духом, которым пропитывались и одежда, и сами стены, и рассыпанные по закромам конский овес и людское жито. На месте погреба, куда всегда было заманчиво и боязно спускаться по сырой, омшелой лестнице, откуда вместе с земляным холодом разило огурцами и укропом и где среди всевозможных бабушкиных крынок, обитушков и махоток, обвязанных тряпицами, неясно брезжила дубовая кадка с белым ярящимся квасом, — на месте всего этого осталась неглубокая воронкообразная ямка, сокрытая лебедой и дурнишником. Да и весь прежний двор по самый порог одичало порос всякой пустырной одолень-травой, среди которой в заднем конце подворья, опасно накренясь, но все еще крепка и нетлен-

на, одиноко высилась верея полевых ворот. Некогда в ее свежую дубовую плоть были заколочены тяжелые, местной ковки навесы, не одно поколение державшие тяжелые створы ворот. За ними начиналась любая моему мальчишескому сердцу дорога через огороды в поле, курчавившаяся вдоль пробитых колей молочаем и кашкой, и об эту мураву, окапанную колесным дегтем, всегда марала свои белые «чулки» дедушкина Буланка. Верхний крюк-навес все еще торчал из окаменелой, глубоко растрескавшейся вереи, походил на причудливый нос, и этим своим носом, вековой окаменелостью и наклоном над давно исчезнувшей дорогой одинокий воротный столб напоминал мне древнего языческого бога. По столбу еще долгие годы каждое лето карабкался к солнцу розовый вьюнок, но и он, забитый бурьянами, со временем иссяк и перевелся.

Сама же изба, с одного края раскрытая, с обнажившимися ребрами стропил, выглядывала из-за обступившей ее крапивы незрячими бельмами заколоченных окон, и на одном из них мелом по куску железа нетвердой детской рукой была начертана грустная истина: «В етем доми ни кто нежывет».

Иногда я заводил свой велосипед в крапиву, садился на кишевшую земляными осами завалинку и пытался найти в себе созвучие с этим распавшимся миром. Его развалины удручали своей бренной никчемностью: за отвалившейся глиной проступали кривулистые, кое-как прилаженные друг к другу бревешки сруба; низкие оконца кто-то из предков пытался приукрасить наличниками, и было видно, что все эти зубчики и трефовые крестики не очень-то ладно и умело резались ножом и выглядели теперь откровенно аляповато; в крапиве валялись глиняные черепки от прежней утвари, драный, должно быть, дедушкин, сапог, побитая ржавчиной самоварная труба, и сквозь дыры в ее боках просочилась какая-то бледная травка... Такими же никчемными — из хвороста, глины и коровьего помета — стояли во дворе сараюшки, клуня, курятник, ничем не покрытое отхожее место. Да и погреб, прежде казавшийся мне пугающей преисподней, в сущности, был обыкновенной ямой, обставленной подгнившими снизу дубовыми кольями.

Так бывает обнаженно ничтожен спущенный пруд, когда ходишь по его дну с чувством разочарованного удивления и об-

мана. Все, что прежде представлялось таинственным — темнеющая глубина, космы утреннего тумана, опрокинувшиеся облака, — с уходом воды оказалось скучным и жалким углублением с растрескавшимся дном, по которому равнодушно расхаживают вороны, выклевывая из трещин высохших мальков.

* * *

Из семерых дедушкиных детей дядя Илья был единственным сыном, а стало быть, и прямым наследником родового гнезда, поскольку девки с замужеством уходили из дому и жили в чужих семьях. Самая старшая, мать моя, отделилась еще в двадцатые годы, и мы перебрались в город, откуда я потом, мальцом, навещал деда и подолгу жил у него.

В самом начале тридцатых женился и дядя Илья, привез в дом молодайку из дальнего села — рослую рукастую девку с холеной косой. Помню, как играли свадьбу, как по последней санной дороге привезли горбатый сундук с приданым, покрытый домотканой попоной и веревками привязанный к розвальням. Грива Буланки по этому случаю была заплетена в мелкие косицы, украшенные шелковыми лентами. Такой же кумачовый бант красовался с левой стороны дяди Илюшиной суконной фуражки. Помню шумную свадебную тесноту в избе, где под низкими потолками скопилась и смешалась испарина разгоряченных тел, браги, селедочного уксуса, огурцов и капусты, каленого духа печи, двое суток перед тем выпекавшей хлебы, пироги с горохом и картошкой, томившей гречишную соломать с калиной. Помню, как визгливо пиликали скрипки и бухал барабан нанятых цыган, как кто-то время от времени выскакивал из-за стола и, гикая, топотал сапогами, заставляя испуганно мигать керосиновые лампы, развешанные по стенам. На другой день невыспавшиеся гости доедали и допивали вчерашнее, бросали в стоявший на вышитом рушнике поднос серебряную мелочь, а то и бумажки, и, откупив таким образом право, били об пол посуду, а потом под хмельной перепляс с хрустом дотаптывали черепки и осколки, выкрикивая пожелания добра и благополучия дому. Под конец дедушка в новой сатиновой рубахе, измятой и заломленной колкими складками, сам хмельной и торжественно смущенный, преподнес молодым зыбку. Это еще была та, моя, самого первого внука, колыбелька из потемнев-

ших тесин, где я провел изначальные два-три года перед отъездом в город, я ее сразу узнал, и мне было обидно и жалко, что ее отдают какой-то чужой тетке в белом кисейном покрывале.

Один за другим родились два мальчика, сначала Колька, потом Славка. Бабушка забегала с пеленками, развешивая их по жарким плетням, и, может быть, все так и пошло бы своим чередом: росли бы наследники-внуки, трудом наживалось бы движимое и недвижимое добро. Впоследствии старую обветшавшую избу заменили бы новым домом, возможно, даже кирпичным, с застекленной верандой, как теперь у многих в нашей деревне; вместо плетня поставили бы крашеный штакетник, а взамен земляного погреба соорудили бы бетонированный подвал с электрическим освещением; в горнице с широкими окнами и крашеными полами стоял бы непременный теперь сервант со всякими стопками на долгих ножках, телевизор показывал бы «Лебединое озеро», а Славка с Колькой в импортных джинсах возились бы во дворе с мотоциклом...

Может быть, с годами так все и сталось бы, но в самую пору отлаженной жизни вдруг грянула война, и в первые же ее месяцы дядя Илья был убит под Ржевом. Дедушка как-то враз притих, ушел в себя, а к исходу войны окончательно сдал и, прихварывая, не слезая с печи, в сорок седьмом году умер. Вслед за ним простудился и умер от менингита старшенький Колька. Бабка, и до того не ладившая с невесткой, плюнула на все и уехала с глаз долой в Шепетовку к младшей дочери. Схоронив Кольку, невестка окончательно отошла от нашей семьи. Еще крепкая, с характером баба, она выглядела себе вдовца и, забрав Славку и свой горбатый сундук, откочевала в чужой двор. Так ушла из нашего родового дома жизнь, как уходит вода из пруда, в плотине которого, городившейся не один десяток лет, роковую брешь проделала та самая похоронка на дядю Илью. И опустевшее подворье начало рушиться и зарастать скорбной травой...

* * *

Разумеется, я ездил в деревню не затем, чтобы сидеть в крапиве возле развалин дедовой избы. Как уже было помянуто, от главного нашего корня отпочковались новые побеги, и в деревне своими дворами и семьями жили три мои тетки: тетка Маня, тетка Лена и тетка Вера. Все они были обременены детворой и,

кто как мог, тащили свои лямки. У тетки Веры было восьмеро гавриков мал-мала меньше, у тетки Лены — тоже восьмеро. Правда, у тетки Мани в живых осталось только четверо, но и ей тоже доставалось, поскольку те двое были все-таки при мужьях, а эта волокла в одиночку: муж ее, дядя Яков, мучившийся желудком и какой-то глазной болезнью и еще до войны носивший черные очки в жестяной оправе, которые наводили на меня страх, сгинул в сорок третьем, не то в сорок четвертом где-то в тыловом стройбатальоне.

Таким образом, одних только моих двоюродных братьев и сестер в деревне обитало более двадцати душ, и я даже не всех знал по имени. Тем более что имена их числились только в метрических свидетельствах, тогда как в повседневности их заменяли клички и прозвища на дохристианский, языческий манер, которыми охотнее пользовались и отец с матерью, скажем: Муркач, Купчевна, Тюха... А тетка Лена, к примеру, перед тем, как лечь спать, пересчитывала своих не поименно, а поштучно, как куренков. Она ходила по хате уже босая, в ночной рубахе, заглядывала то на полати, то на печь и, отмахивая пальцем счет, нашептывала: «Один, два, три, так... четыре, пять, шесть... шесть... ше-е-сть. А где же еще двое? Ага, вот они: семь, восемь». И когда бухгалтерия сходилась, крестилась, подводила итог: «Слава те, Господи, все тута».

Весь этот разнокалиберный народец — от едва научившихся ходить до уже начинавших покуривать и жениться — жил без особого материнского надзору, своим колхозом: сами наводили критику и самокритику, сами давали друг другу подзатыльники за неправое дело, за нарушение неписаного артельного устава, и все — и одежа, и обувь — было общим, никому лично не принадлежавшим, кроме нательных рубах. В общем пользовании находились две-три телогрейки, столько же резиновых сапог на вырост, в остальном — успевай только хлеб на стол.

— Вот считай, — говорила тетка Вера, — восемь обормотов, да мы с отцом, итого десять ртов. Клади по полбуханки в день на каждого, это уж я так, в самый обрез беру, летний день велик, да и особых разносолов к этому хлебу нетути — картошка, огурцы, камсица, к вечеру — щей чугун... Вот и считай: пять буханок на день. Это полсотни кирпичей на десять ден. Так? А на месяц полтораста буханок. Кровь из носу, а вынь да положь! Ох,

Женька, затянулась мешки из города таскать! — И сверкнув минутными слезьми, тут же смеется: — Вот давали бы мне машину — никакую не взяла бы: ни «Москвича», ни «Победу», взяла бы хлебный хургон.

В летнее время остальные витамины «обормоты» добирали сами: шастали по окрестной «пересеченной» местности и, как в доисторические времена, когда труд еще не сделал человека человеком, ели свербигу, щавель, корни лопуха, просвирник, обножья первоцвета, дудник, почки и листья липы, пупырь, покосную землянику, шмелиный мед, черную бзюку, прикорневые побеги ситника, заячью капусту, дикий лук, головки клевера, цветы белой акации, стручки гороха и вики, молодой овес и вату подсолнуха... Под осень откочевывали в леса и набивали брюхо ежевикой, смородиной, дикими яблоками и грушами и прочей лесной садовиной, поскольку своих садов в деревне не заводили, тратить землю на них считалось баловством, и почти все огороды отводили под матушку-картошку. Так что вся эта моя двоюродная братия, с самой весны переведенная на беспривязное содержание, уходила в зиму, как говорят ученые ветеринары, выше средней упитанности. За долгое наше лесостепное лето они никогда не стриглись и не мылись с мылом, от их жарких, пропеченных тел и жестких выцветших волос пахло зверушачьей дичиной, кожа, искусанная комарами и оводами, исцарапанная колюками, обретала цвет каленого чугуна, а подошвы ног задубевали настолько, что полуодичалые родичи мои могли выплясывать на углях догорающего костра, непринужденно напевая:

За два сольди эта песенка плостая,
Люди слусают, вздыхая и мецтая,
И тебя вздохнуть заставит тозе
О твоей беспецной юности она...

Мне всегда было заманчиво гадать, кем они станут лет этак через пятнадцать, может, среди этих вихрастых дичков бегает какой-нибудь выдающийся деятель или гений, но вот прошли эти пятнадцать лет, и я уже знаю, что чуда не произошло: ни один из них не доходил до конца даже сельскую школу и теперь добывают свой хлеб, кто как горазд. Первый же суховей выдул их из деревни, и они, о том ничуть не жалея, легкие на подъем,

разлетелись по белу свету, как осенние паутинки. И только тетки Марусины, самые старшие среди двоюродных толкачей, устояли против ветров и удержались на отчей земле.

В деревню я наезжал под воскресенье порыбачить и обычно останавливался у тетки Маруси: у нее было не так людно и всегда находился угол для ночлега. Тетка Маня являлась старшей из моих деревенских теток, и в то время, как у других ребятня еще только подрастала, а дома походили на гудящие ульи, в ее старенькой вдовьей хате заметно поубавилось колготы. Двое — Севка и Колька — уже служили в армии, где-то в Восточной зоне Германии, дома оставались только Сашка да младшая Нинка.

Правда, я все реже наведывался в исконные места. После смерти дедушки главной моей привязанностью в деревне оставалась река. На ней, некогда раздольной и обильной, с заливными покосами, под многоопытным взором деда учился я глядеть и слушать, угадывать рыб по одному только всплеску, ставить в лопушистых затонах верши, которые перед тем вместе плели из пахучей ошпаренной кипятком лозы, держать в руках косье и узкое прогонистое весло, править им с кормы, гребя только по одному борту, удерживая на стрежне тяжелую плоскодонку с сеном. В вешний разлив река взбухала по самый порог, и мы с дедом ночи напролет просиживали на полузатопленном крыльце, отпихивая баграми призрачно белевшие льдины, дабы не боднули они угол избы, не своротили ее напрочь, и было слышно, как над глухим урчаньем воды, над тяжким стоном матерых крыг все тянули и тянули к северу, устало перекликаясь, косяки гусей и уток.

Вскоре после кончины дедушки Сейм наш на моих глазах стал сдавать, утрачивать былую полноводную степенность, неопрятно и дико зарастать долгими космами водорослей и, никогда не спешивший, униженно побежал на проступивших меляках, засуетился в травяных тенетах, и пошли-поперли по нему пески, уже на другой год буйно закипавшие дурнишником и болиголовом. И там, где прежде с опасливым всхрапом переплывали в луга деревенские кони, ныне на одной ноге стояла цапля, выглядывая в липкой тине лягушат. Трудно было поверить, что еще до войны здесь заводили невод и в помощь дюжине мужиков, тянувших бечеву, впрягали в придачу и лошадь. Помню, как закипала рыба в сомкнутом кошельке, как свечками выбрасывались бронзовые тела карпов, и рыбаки в испод-

нем белье забегали по мелкому и начинали лупить веслами по воде, отпугивая карпов от берестяных поплавков, не давая им выпрыгивать из невода. Рыбу высыпали в лодку, и дедушка отвозил ее на деревню делить между артельщиками, где у причальных мостков уже толпились бабы с корзинами и лукошками, а я сидел на носу лодки, опустив босые ноги в парное, бьющее хвостами серебро... Еще кой у кого можно найти на чердаках и поветях трухлявистое полотно сетей, вентеря и мережи, но с деревенского стола уже давно ушла рыба, из которой бабушка стряпала пироги, залитое яичницей жарево, томленные в молоке котлеты. Ныне все это заменила хамса, килька — «на рупь сто голов», как называет тетка Вера.

Ко времени моего рассказа на прежних толкачевских тонях кое-где остались разрозненные ямки, в которых держалась одна только мелкота, и я, навьючив свой велосипед всякой рыбацкой всячиной, все чаще стал миновать заречьем Толкачево, ночуя у дальних мельничных омутов, еще хранящих некую первозданность.

* * *

Но не о рыбе речь. О ней помянулось к слову, мне же хотелось сказать, что ту майскую ночь коротал я на мельничном плесе, пробовал ставить подпуска, весь продрог, лазая в темноте по мокрым от росы лознякам, и утром, уже по солнцу, сморившему меня своим теплом, отправился восвояси: на этот раз через деревню, дабы передать тетке Мане растирку от ревматизма, приготовленную моей матушкой из бог весть каких снадобий.

Еще издали я увидел у ворот кучку народа, под ложечкой нехорошо похолодело, но вскоре с облегчением уловил пиликанье гармошки. Над печной трубой курчавился единственный во всем уличном порядке поздний дымок, и вместе с ним напахивало какой-то стряпней.

От самой войны в этой избе не заставал я гульбищ, ни в Май, ни в Октябрь, ни в Христов день, не видел я тетку иначе, как в расхожем одеянии, а тут, когда я уже подруливал к подворью, вдруг из толпы вывернулась сама Маня с коромыслом и ведрами, и была она в белом платочке и новом бумазейном платье, красном и жарком, странно неузнаваемая, нелепая, не своя. Кто-то из молодых девчат отнял у нее ведра и побежал к

реке за водой, а разнаряженная Маня, оставшись без дела, медленно, напряженно, держась рукой за поясницу, стала пристраивать себя на скамейку рядом с гостями, но, разглядев меня, всплеснула руками и валко поковыляла навстречу.

— Глянь-кось, племяш! Я тебя оттуда каравулю, а ты вон откудова! Или опять на мельнице ночевал?

Она была боса. То ли вздутые шишками суставы у основания больших пальцев не позволяли обуться во что-либо, сообразное с ее новым платьем, то ли просто так роскошествовала босиком по мягкой майской мураве. Впрочем, на фотокарточке, отснятой еще в пору девичества в начале тридцатых годов, стояла она навытяжку, по-солдатски, опершись рукой о высокий подцветочник, будто готовая на какую-то предстоящую битву не на жизнь, а на смерть, еще тогда не подозревающая, что ей и на самом деле выпадет эта смертельная баталия. Напряженно-строгое лицо обрамляли подплоенные щипцами букольки наподобие Михайлы Ломоносова, а на ногах были туфли на высоком каблуке с детскими поперечными ремешками, тоже составленные строго, по-уставному — пятки вместе, носки врозь. Эти ее единственные парадные туфли, кажется, и теперь хранятся где-то в Манином сундуке.

— Заехал, мази тебе привез. Мать наказывала на ночь растираться.

— Ой, молчи, малый, и болеть-то некогда, народу вон назвала.

— А я уж думал, не случилось ли чего...

— То-то и случилось: Саньку мово в армею провожаю.

— Как — Саньку? — изумился я, зная, что Сашке вроде бы еще не время.

— Тех двоих со слезами, — не ответила на мой вопрос Маня, — а этого решила с музыкой. Ну, заводи, заводи свою козу.

За плетнем, во дворе, сам Сашка в белой сорочке с расчесанными на пробор волосами сидел на табуретке с гармошкой на коленях. Закусив язык, он старательно вышлепывал на пуговицах все то же «Сольди», и подростки годков по пятнадцати-шестнадцати, парнишки и девчонки, тоже прибранные, благоухающие духами, толклись парами на серой подворной земле. Томительно-щемящие всплески гармошки завораживали, и девчата, мечтательно глядя куда-то поверх плетня, отсутствующе переступали по крестикам, оставленным в пыли куриными лапами.

Но для тех, кто здесь надеется и любит,
В песне вечная история любви.

И было странно слышать эту нездешнюю мелодию в Марьином дворе, где на кольях сохли стеклянные банки и какие-то постирушки.

Я кивнул через плетень Сашке, тот, не переставая играть и вслушиваться в собственную игру, ответил мне тоже кивком. Прислонив велосипед к ограде, я огляделся, ища себе пристанища, и прошел в палисадник, усыпанный снежком недавно отцветшей черемухи.

Там, на скамейке и просто на земле, уже сидели несколько человек в ожидании стола. Я пожал руку дяде Аполлону, тетки Вериному мужу, сухому, будто провяленному мужику с темным узким лицом. За ним сидел долговязый медлительный дядя Федор, муж тетки Лены. Нижняя губа у дяди Федора всегда как-то устало отвисала, наверно, оттого, что он сызмальства не мог дышать носом и по той же причине говорил глуховато, гуняво. Отпадавшая губа придавала его лицу выражение детского удивления, но держался он с достоинством, больше молчал, слушал других и непрестанно скручивал козьи ножки из самолично выхоженной махорки.

Пожаловал и толкачевский участковый, грузный, весь розовенький Иван Поликарпыч, но прозвищу Кубарь. Пришел он без форменной фуражки, в сетчатой тенниске, заботливо выбритый, и было заметно, что он наслаждался, благоденствовал в своей необязательной штатской одежде.

Из остальных я узнал только соседа через две избы Симу. Сима, напротив, был запущенно небрит, в выпростанной рубахе и старых пыльных калошах на босу ногу, — словно бы зашел ненароком.

Все усердно дымили, как это заведено в нетерпеливом коротании пустого времени, и я, подсев рядом, тоже закурил из дяди Федорова кисета. Тут же стали спрашивать, что написал хорошенького, из вежливости, конечно, хотя сами никогда моей стряпни не читали, как не читали вообще ничего, сперва по извечной занятости, потом уже по привычке, кроме разве что районной газетки, где время от времени «прописывали» про их колхоз и попадались знакомые фамилии.

— Да рази он правду напишет? — вынес приговор Сима. — Рази он дурак? Э-э, молчи ты... Вон у нас...

И пошло, и пошло наперебой про сельские неурядицы.

Я пытался объяснить, что писать про толкачевские прорехи — не мое дело и что я пишу книги, а это совсем другое. Но понять сие они начисто отказывались, а потому вскоре как-то отчужденно замолчали и принялись глядеть за реку, куда обычно глядели без устали и докуки — идет ли по улице, сидит ли у окна или вот так, на скамейке, — все толкачевские.

Там, за рекой, за луговой поймой, темнел дубовый лес, еще нагой, но уже натужно багровый по верхушкам. Заречная сторона всегда манила к себе от деревенской повседневности, и, хотя в лес просто так зря не ходили, как обычно слоняются по нему горожане, а прихватывали с собой то спрятанный под телогрейкой топорик, то завернутую в мешковину литовку (косье вырубали на месте), все же и толкачи сызмальства входили под его глухие своды с праздничной бодрецой и почтением, и был лес для них вроде заветной горницы, куда не всякий раз отпускали будничные дела и заботы.

Как раз в это время над лесом лениво, в безветрии, поднялся столб дыма.

— Никак, горит чего? — насторожился участковый.

Мужики молча глядели в то место, где средь темной дубравы молодо зеленел осинник.

— Чему гореть-то? — сказал дядя Аполлон. — Сыро еще в лесу. Поди, ребятишки костер палят.

Дым, однако, погустел, заворочался тугими клубами, высоко взметнулся в синеву неба, где воздушный поток подхватил его и развернул на сторону долгим хвостом.

— Не лесник ли полыхает? — догадался Сима.

— Не мели, — возразил Иван Поликарпыч. — В том годе только горел.

— Э-э, браток, огню не закажешь! Лесник и есть! — Сима вытянул кадыкастую шею, поросшую сизой от проседи стерней. Глаза его заинтересованно повеселели. — Дым в самый раз из Прошкиного распадка.

— Может, и Прошка, — согласился дядя Аполлон.

— Ево место, — кивнул дядя Федор.

— Я ж и говорю. Больше гореть некому. — Сима пересунул на голове толстый суконный картуз. — Интересно, сено али изба?

— Должно, сено, — определил кто-то из мужиков. — У него еще от той зимы целый стог остался.

— Дым белый, ясное дело, сено, — подтвердил дядя Аполлон.

— Эх, как занялось-то!

Иван Поликарпыч грузно привстал со скамьи, отряхнул с зада прилипшие лепестки черемухи.

— Пойтить позвонить нешто. Никак, серьезное что...

— Нехай горит, чего там! — сказал Сима.

— Ежели сено, дак все одно не поспеть, — подал голос и дядя Федор. — Минутное дело копне сгореть.

— А коли не сено? — усомнился участковый. — Нехорошо.

— Сено! Берусь на спор! — уверил дядя Аполлон. — Кабы б изба, черным бы повалило.

— Сядь, Карпыч, не расстраивай компанею, — дернул участкового за штаны Сима. — Пустое. Скоро Троица, Прошка новины накосит. Ему с этим вольная воля.

Иван Поликарпыч потоптался в раздумье и снова уселся.

— А я уже думал, что изба. — В голосе Симы промелькнуло явное разочарование.

— А тебе зачем изба-то? — покосился на него участковый.

— Дак для Прошки — изба сгорит, тоже беда не крайняя. Лес под рукой. Он уже который раз горит.

— Ну, горел, да тебе-то что?

— Чудак ты, Карпыч! — хохотнул Сима, обнажив единственный желтый зуб, похожий на бивень. — Как это чево? Огонь топору первый сват и брат, поржаветь не допустит. Кому забота, а нам работа.

— Гм... — Участковый пошевелил несуществующими усами.

— Мы б завтречка к нему в самый раз и подкатилися. Мол, так и так, давай, Прокоп Спиридоныч, по рукам: денег не возьмем, а так, ерунду — сенца покоситься да кругляшу, с нас и довольно. В две недели новую избу поставим, точь-в-точь, как была, никакое начальство не распознает. Вроде как и не горела. А, мужики?

— Дак и деньгами можно, — сказал кто-то. — Денег у него — крышу крой червонцами.

— А чего ж червонцам не быть,— кивнул Сима. — Три свиньи по лесу ходят, да четвертую на Пасху заколол. Намедни иду стороной, до Прошки еще с версту будет, а свинья из ореш-

ника как гукнет, чистая цистерна. Малые поросятки вызрелись, сопят, воздух тянут: живого-то человека, небось, и не видели.

— Э-э, мужики! Зряшное накликаете, — встрял дядя Федор. — А ежели в избе осталися одни дети? Нукась-ка на тебя такое... Дак ты, Симка, никогда детев не имел, тебе и бай дюжа... Балабол...

Дядя Федор сразу же полез за кисетом, и, пока ладил самокрутку, пальцы его дрожали.

Но дым вскоре опал и теперь жиденько курился над верхами осинника. Все сошлись на том, что сгорело-таки сено. О пожаре тут же забыли, и дядя Аполлон, подмигнув мужикам, озоровато постучал в горничное окошко:

— Маня, а Мань? Скоро ли?

Тетка Маруся наконец запприглашала в дом. Молодежь шумно повалила занимать места, пожилые входили не спеша, степенно, еще в сенях снимая картузы и кепки.

В избе было жарко от протопленной печи, густо пахло едой, и Сашка, забежав вперед, настежь распахнул створки окон.

— Проходите, проходите, гостюшки дорогия, — встречала людей у порога тетка Марья, и лицо ее цвело добротой и торжественной озабоченностью. — Иван Поликарпыч! Хведор Ихимыч!

— Да идем, идем...

Долго рассаживались за составленными столами, перед тем в нерешительности толпясь в узких проходах. Сашка выпрыгнул в окно и начал подавать оттуда доски, которые тут же, на ходу, мостили на табуретки, добавляя мест. Наконец все кое-как разместились, теснясь, притираясь друг к другу. Сашку как главную на сегодня личность посадили в дальнем торце. По обе стороны от него гомонливо пристроились девчонки, выросшие уже без меня и которых я не знал — чьи они и откуда. Старичкам достался передний конец у входа. Вспомнили, что не посадили еще и хозяйку, стали звать ее. Маня, видя, что за столом и так тесно, начала было отказываться: «Кушайтя, кушайтя, не глядитя на мене», но дядя Аполлон ухватил ее за рукав и насильно притянул. Потеснились еще и затолкали Маню между мной и Иваном Поликарпычем. И воцарились минутное замешательство и тишина. Было слышно, как в простенке, прихрамывая, выстукивали ходики: «Так-не так, все так. Так-не так, все так».

На столе проснувшимся Везувием парила к потолку тушенная в печи картошка; остро, чесноком и укропом, пахли холодные, только что из погреба, матово запотевшие в тепле соленые огурцы, наложенные поверх бочковой капусты; румянились поджаренные куски морского окуня, тоже наваленные щедро, горой в большом обливном блюде. Была тут и селедочка, посыпанная колечками лука, и вскрытые банки со ставридой в томатном соусе, и, кажется, по запаху угадывалась и колбаска, затерявшаяся где-то среди нагромождения тарелок и мисок. Бутылки же, которые Маня специально собирала при случае, тонкие, подтянутые, с красивыми коньячными этикетками, а теперь и с содержимым веселого чайного цвета, окончательно делали стол обильным и праздничным.

— Ну, дак чево?.. — крякнул Сима и вожделенно потер руки так, будто они у него вконец иззябли. — Как говорится, штой-то стало холодать...

— Давай, давай, разливай... — одобряла Маня. — Саня, ухаживай за девчатками.

Сашка принялся хозяйничать на том краю, а Сима, разлив по стаканам тут, у нас, снова потер руки и, зябко вздернув плечи, спрятал ладони между колен, зажал их там накрепко.

— Иван Поликарпыч, — обратился он со страдальческим нетерпением к участковому. — Говорить чего будешь? Ты ж у нас вроде как местная власть.

— Да, скажу... Надо. — Иван Поликарпыч, кряхтя, выпростал свое грузное тело из тесноты, встал над столом. Некоторое время он молчал, уставившись взглядом в миску с огурцами, потом начал:

— Значит, так, товарищи... Мы тут собрались знаете зачем... В общем, проводить вот ее, Марьина, сына. Пришел срок и ему итить в наши доблестные вооруженные силы, оберегать рубежи и наш с вами мирный самоотверженный труд. Вот... Два его братана, ну, все тут знают об этим, Севка и Колька, вернее теперь сказать, Сергей Яковлевич и Николай Яковлевич... — Оратор оборотился к висевшей на стене раме с семейными фотографиями, напиханными под общее стекло. — Вот они, стало быть, уже с честью сполняют свой долг. На имя матери, чтобы вам было известно, особенно которые молодые, от командования наших войск в Германии получена благодарность за прояв-

ленное мужество при несении службы. Что там совершил Николай Яковлевич, нам того знать, гм... не положено. Но зря такое не напишут. Вот, стало быть, каких орлов вырастила для нашего государства простая колхозница Марья Лексевна. Одна, без мужика, подняла таких защитников нашего Отечества. Вот она с нами тут сидит... — Тетка Маня, оцепенело сидевшая рядом, вдруг нагнулась и засморкалась в подол своего платья. — А через нее и нашему селу и всем нам, выходит, тоже благодарность и уважение, — прокашлявшись в кулак, продолжал Иван Поликарпыч. — А ты, Санька, учти это, ну и, как говорится, умножай традицию, помни, что мы все тут на тебя надеемся.

Сашка, напрягшись, глядел куда-то в распахнутое окно.

— Ясно тебе?

— Все ясно, дядь Вань,— готовно отозвался Саша. — Не подкачаем.

— Ну вот так вот... — Иван Поликарпыч поднял свою чарку. — Счастливо тебе послужить, сынок!

— Спасибо, дядь Вань! Все будет в норме.

За столом враз задвигались, зацокали стаканами, загомонили.

— Не-е, этот не подведет!

— Санька малый сполнительный!

— Да чего там!

— Верно ты, Иван Поликарпыч, сказал: таких ребят взрастила, да в какое время, не дай повториться...

— Теперь уж свой крест вынесла, пусть отдохнет баба!

— Кушайтя, кушайтя! — счастливо и взволнованно вознеслась голосом тетка Маня. — Вон рыбка, вон картошечка. Я ее с консервами да с лучком сделала. Закусывайте вволю.

Питье, чем-то подкрашенное под коньяк, весело полоснуло по желудку, и я, проголодавшись после ночного бдения у мельничных омутов, молча набросился на еду.

— Ты ешь, ешь, — подбадривала Маня, выделяя меня из всех особо, как городского, привилегированного родственника. Сама она, тоже выпив и уже пунцово загоревшись, ни к чему не притрагивалась, озабоченно и ревниво поглядывая, чтобы ели другие. — Не знаю, хорош ли?

— Окунь? Очень хороший! — похвалил я.

— Да не-е, не окунь. Змей-то, змей! — засмеялась Маня.

— Ага, — наконец дошло до меня. — Ничего вроде. Толкает.

— Должон толкать!

— Ну-ка, ну-ка? — ухватился за разговор Сима. — Проверим, та ли марка.

— А чево мене проверять? — ревниво загорелась Маня. — Мое, ты знаешь, без всякого одману. На, гляди!

Она рванула от какой-то бумажки на столе клок, проворно макнула его в свой недопитый стакан.

— Подай-ка спички.

Я достал коробок.

— Э, не-е! — протестующе хохотнул Сима. — Так дело не пойдет! Бумажку и дурак запалит. Я ево во как...

Сима сунул в Манин стакан желтый прокуренный палец.

— А теперь зажигай!

Все, оборвав разговоры, заинтересованно следили за этой процедурой.

— Жги, давай!

— Ну, на! Ну, на! — горячилась Маня, впопыхах ломая о коробок спички. — Проверяльщик нашелся.

Под одобрительные возгласы палец пыхнул фиолетовым сполохом, несколько огненных капель скользнуло по волосатой руке. Сима, выставив горящий палец перед носом, будто церковную свечку, внимательно созерцал, застыв в скептическом смешке.

— Гляди-ка! Горит, зарраза... — признал он с напускным удивлением. — А когда пил — вода водой.

— Ой, брехло! — Маня потянулась за моей спиной, норовя стукнуть кулаком по Симиному горбу. — Брехать — не пахать...

— Ей-бо, чтой-то с первой не разобрал. Можа, я не из той посуды? Ну-ка, спробовать из другой.

Это послужило поводом выпить еще, и все опять оживленно задвигались, забубнили обычное: «Ну, побудем!», «Дай-то не последнюю...», «Здоровья хозяюшке!»

Маня тоже отпила, сыпнула в рот щепоть капустки и, счастливо оглядев застолье, наклонилась к моему уху:

— А я сколь уже не затворяла. А тут думаю: счезни оно все, малый в армию идет, пущай люди погуляют. Да и взяла грех на душу.

Сима услышал-таки шепоток, загремел во весь голос:

— Какой такой грех? Никакого тут греха нету. Произведено ради дела, не для баловства. Народ собрался проводить с почестями, все по-хорошему. Какой грех, верно, Карпыч?

Иван Поликарпыч, не ухватив суть, потянулся к Симе.

— Ты про чего?

— Грех, говорит, на душу взяла. — Сима звякнул ногтем по бутылке.

— А то не грех, — засмеялась Маня. — Коли запретно, то и грешно. Ох, гореть мне синим огнем, вот как твой палец давеча. И уже горела б, кабы не вот он, отпусти ему Бог здоровья. — Она обхватила участкового за плечи и, растроганно сунувшись лицом в его ухо, несколько раз сочно чмокнула. — Вот кому век в ножки кланяться!

— Ладно, ладно, — бурачно налился Иван Поликарпыч. — Не то говоришь, Марья.

Он достал аккуратно свернутый носовой платок, промокнул взмокшие залысины, крутую шею и лишь потом обтер нацелованное ухо.

— Нет, ты мне скажи, — домогался Сима какой-то своей истины. — Не понимаю я этова...

— Чего тебе сказать?

— А вот то: почему нельзя?

— Симка, не козюлься, не охальничай, — весело пригрозила Маня.

— А он пущай даст мне понятный ответ, ежели к этому приставлен.

— А, брось ты! — отмахнулся Иван Поликарпыч и отгородился от Симы кулаком, подпершим бритую защечину.

Сима обиделся:

— Ага, власть слушать не хочет...

— А чево слухать-то, — поспешила наперерез Маня. — Слухать-то чево? Слухать и нечево. Давай, Иван Поликарпыч, споем, молодость спомним.

И, опять приобняв участкового, качнув его боком, поманила за собой тихо, для ближних только:

Скакал казак через доли-и-ны...

— Эк стелется, лиса! — Сима осклабил в ехидном смешке свой единственный бивень. — Два друга — узда да подпруга.

— Симка, тяни давай... — кивком пригласила Маня.

— Во, бугай! Ничем его не отговоришь, глянь-кось, рога выставил. Иди вон пересядь к Аполлону, не замай человека.

Сима и впрямь поднялся, перекинул ногу в галоше через лавку, но пересел не к Аполлону, а, бесцеремонно отодвинув мужиков, примостился рядом с Иваном Поликарпычем, с другого от Мани бока.

— Ох, мать пресвятая! — Маня завела глаза под лоб. — Слухай теперича одново ево, никому рта не даст разинуть.

А Сима уже гремел своим неприятным жестяным голосом:

— Вот ты говоришь, дескать, дело противозаконное. Ладно, согласен! Я и сам могу это понять, потому как казенная винополия, и тут всякий не лезь, не вмешивайся. Оно и в старину эдакто было. Казна есть казна, с этим все ясно и никто спору не ведет. Тогда ты мне скажи, как мне, крестьянину, быть, ежели выпить надо?

Мужики захохотали.

— А чего вы регочете? Бывает такое — надо, и все тут. Ну, не по-дурному, об этом разговору нет, а вот так, как сичас, к случаю.

— К случаю тоже можно по-дурному налопаться.

— Погоди, Аполлон, не перебивай... Я што имею в виду, какой случай? Ну, праздник там подоспел, дите родилось, или вот как ноне. Спокон веку это заведено, и никто этова до си не отменял. Не было такого указу, верно?

— Вроде бы не было.

— Да што я, басурман какой — не угощу людей, когда это надо, когда обиход жизни требует? Угощу! Разобьюсь, а людей привечу! Не стану же я один кофей подавать, позор на себя брать. Вот так-то ежели собраться да сказать: «Ну, товарищи хорошие, дюже рад, што пришли, счас я вам кофею налью». Согласные?

За столом закхекали, запереглядывались.

— Ага, несогласные! — возликовал Сима. — Тогда чем же мне вас угощать?

— Ну, дак ясное дело, чем...

— Вот тут-то вся и заковыка! Тут-то я и припер вам всем дамки.

Сима кочетом выставил кадыкастую шею и победно зыркнул направо-налево.

— Кабы б я в городе жил да кажный месяц получку получал, ну тогда што ж... Тогда иной коленкор. Подоспела нужда — пошел в магазин да и взял чистенькую в сургучике. Или там две, глядя по гостям. И казна не в обиде, поскольку сполна наличными заплочено, и я рук не замарал, закон не нарушил. Все чин-чинарем. Верно я говорю?

— Да вроде пока складно, — подтвердил кто-то.

— А меня мать сподобилась в деревне родить, и я никуда отсюдова не убег и бежать не собираюсь. Да и всякого человека возьми, кто землей живет. Я вот в тем годе триста ден заработал, триста палочек. А на ту палочку два рубля деньгами дадено, по двести грамм, считай, по стакану, хлеба. А сколько сургучная головка стоит?

Сима склонил голову и замер, ожидая ответа.

— Да вы и не знаете, отродясь ее не покупали. И я не покупал. Но я вам напомню: ежели простая, то двадцать один двадцать. А ежели особая, то двадцать семь рубликов и двенадцать копеечек.

— Ну, это-то нам известно! — оживились мужики. — Это и дураку ведомо.

— А коли известно, тогда и считайте: выходит, всего моего заработку в день — на пачку «Беломора». Да и то ишо двадцать копеек доложить надо. Пойди-ка на такой капитал вот он, Аполлошка, разгуляйся, когда у ево восемь душ пацанов. Или вот она, Манька. Откудова ей собрать этот стол. Гляди-кось, тут вон и рыбка, и колбаска, и консервица, все как следует. Мы пили не пили, а уже пять поллитров опорожнили. Где же их взять, эти поллитры? На какие тети-мети? Вот и получается: или человеку надо што-то украсть, или заводить бачок со змеевиком, то бишь деньгопечатную машину, поскольку бачок и есть фальшивомонетное приспособление.

— Господь с тобой, чего говоришь-то! — перекрестилась Маня.

— Вот над чем я бьюся! Ты и скажи мне, Карпыч, ты и разъясни, как с этим быть, коли у закона стоишь.

— Да чево ты от человека добиваешься?— опять вскинулась Маня.— Чево лезешь на дышло? Наливай вон да пей, кто тебе запрещает? И человеку дай посидеть. Человек пришел с уважением, ничем тебя не задевает, а ты ему ноздри рвешь, дыхнуть не даешь. Воитель!

— Да погоди ты, миротворица! — сверкнул диковатыми

глазами Сима. — Тут об камень головой стучишь, а ты солому стелешь. Меня, можа, за это завтра куда след позовут... Ежели мне за мой хлеборобский труд такую малость дают, то пускай сообразно и цена товару такая же. Ан нет! Цена товару красненька-а-я! А в сельпо ишо и с накидкою. В городе ботинкам или там картузу одна стоимость, а в деревне за тот же картуз дороже просят. Опять же спросить: почему с наценкой? По какому такому размышлению крестьянин, у которого нигде не звенит, не брякает, должон переплачиватъ? Ну, дак ясно дело, никто не будет сбавлять цену до мово трудодня, до моих медяков. Дак тогда набавляй мне заработок, чтобы все сходилося. Оценивай мою работу по товару, и вся недолга.

— Ну, шустер, Серафим! — задвигались мужики. — Ну, бреет! Где ты только насобачился?

Сима горделиво покашлял и, одобренный похвалой, задал неожиданный вопрос:

— Кто тут Маркса читал? Только без брехни. Карпыч, читал Маркса?

Иван Поликарпыч не ответил. Отвалясь на спинку стула и опустив веки, будто ставни от непогоды, в этом своем как бы отсутствии он терпеливо перемогал Симу.

— Не читал! По лицу вижу, что не открывал даже. А я заглядывал. Я, брат, полистал, была такая охота. Понять, конечно, многое не понял, не про меня писано, но кое-што ухватил. Там как сказано? Ежели ты работник, стало быть, за эту свою работу ты должон и сам поесть, и детев своих накормить, сам обуться-одеться и чадов обуть-одеть, да еще и делу своему выучить, потому как они после твоего износу место твое займут. А коли работодатель этого не соблюдает, то затея его непрочная, недолгая, одного только укосу.

— А насчет выпить ничего не написано? — подмигнул дядя Аполлон.

— Дак и это, надо думать, предусмотрено для нормального развития, поскольку без этого трудящему человеку тоже нельзя, душа у него сморщится, как сапог немазаный. Ну-ка, налей, Марья Алексевна, к слову сказать.

Сима, не дожидаясь Мани, сам же и разлил по стаканам и, подняв свой, провозгласил:

— Так што, участковый, ежели люди запрета не блюдут и сургучную не покупают, стало быть, есть какая-то причина.

Запрещай — не запрещай, тут уж ничего не сделаешь. Тут, брат, помимо писаного неписаный закон себя кажет. Все одно, как если б тебе не нравилось, что у собаки хвост крючком. Ты можешь отрубить этот хвост, собака станет куцая, а все одно кутята от нее опять народятся с хвостом.

— Понес, понес! — всплеснула руками Маня. — К какому тыну тут собачий хвост, царица небесная? — И подскочив, весело запричитала: — Ой, да хватит вам, мужики! Пейтя, гуляйтя! Молодежь, вы там тоже не скучайтя. Может, кому чево надо, дак не молчитя.

— Всего хватает, теть Мань, — дружно отозвались с другого конца.

— Вот и ладно! — закивала Маня. — Чтоб все по-хорошему.

Она вылезла из-за стола, сходила куда-то и, воротясь, выставила еще три бутылки, на этот раз простых, без виноградных лоз на этикетках. И содержимое их было тусклое и будничное. Одну бутылку она передала на Сашкин конец, остальные поставила перед мужиками.

Иван Поликарпыч встал, однако, засобирался уходить. Он приложил ладони к груди и чинно покивал всем тыквенно блестевшей лысиной.

— Благодарю за компанию, товарищи. Марья Лексевна, спасибо.

— Да што ж так-то! — всполошилась Маня, тоже вставая. — Уже и уходишь. Гостюшко дорогой.

— Надо итить.

— Иван Поликарпыч! — тоже зашумели мужики. — И не посидел как следовает.

— Посошок хоть давай.

— Не, предостаточно.

— Да брось ты!

— Не могу, не могу. Ну, значит, Александр Яковлевич, неси свою службу исправно, как браты твои.

Санька поднялся, поправил чубчик.

— Ну и возвращайся потом в деревню. Будем ждать, в общем.

— Спасибо, дядь Вань! За мать спасибо!

— Ну ладно, ладно.

Маня проводила Ивана Поликарпыча за калитку и, воротясь, тут же набросилась на Симу:

— Это все ты, балабол! Распахнул ширинку. Так стыдно, так стыдно, ушел человек.

— Не велика шишка.

— И долбит, и долбит, все темечко проклевал, осмодей беспонятливый.

— А чево я такова особеннова? — Сима возвысил голос и в сердцах отшвырнул вилку. — Гляди-кось!

— И глядеть нечево. Вот же не хотела тебя звать, дак сам отыскался, за версту чует. Ох!

Маня цапнула себя под левой грудью, болезненно поморщилась.

— Оно, конешно... тово... не надо бы... — изрек рассудительный дядя Федор. В продолжение всего недавнего спора он, народитель восьмерых Федоровичей и Федоровн мал мала меньше, сидел, младенчески приоткрыв рот, переводя тягуче-задумчивый взгляд то на одного, то на другого, не принимая ничьей стороны. — Про это... гм... тово... не надо бы, говорю...

Неожиданно в распахнутую уличную створку постучали, и все враз примолкли...

— Маня, а Мань! — позвал старушечий ломкий голосок. — Дома ли?

— А ктой-та? — отозвалась Маня.

— Да я это, я.

— Ты, баб Дусь?

Над подоконником высунулся белый платок бабки Денисихи, одинокой старухи, обитавшей где-то на другом порядке за огородами. Мокроватые глазки шустро обежали гостей и закуску.

— Чего тебе, баб Дусь?

— А и ничего. Вижу, не ко времю я. Опосля зайду.

— Да тут все свои, Саню мово провожаем.

— Н-но? Далече?

— В армию. Двое-то у меня уже тама, а этот младшенький.

— Н-но! Уже обсолдатился? Ерой! А я слышу от себя, у Мани гармошка. Што за причина — ни святая неделя, ни Троица, а гулянье? А оно вон дым-то откудова. Ну-к што ж, нехай пойдет послужит, нехай. Теперь не война, служба нечижолая, сытная да чистая. Мой-то внучек Васеня пошел да насовсем и остался, понравилося. Сперва действительную отбыл, а после в училишша на командира, а щас — эполеты носит, пояс золо-

той, рукавицы белые. Карточку прислал — прям красавец! А теперь оженился, квартира, пишет, хорошая, с водопроводом. Нутя... Одно токо худо — домой не кажетца, пишет, не пущают. А я-то привыкла к ему, без отца — без матери рос, вот как прилипла, пока выходила. Ну, дак зато ему теперь удача выпала и то мене радость большая негаданная. Ступай, ступай, соколик, служи, не сумлевайся, добрый час тебе.

— Да ты заходи, баб Дусь,— позвал Сашка, обласканный ее словами, благами предстоящей службы. — Посиди с нами.

— Спасибо, Санюшка, спасибо, болезный. Што ж я пойду-то мешать, юбка рваная, с огороду я. К себе побреду, хата брошенная.

Денисиха, однако, не уходила, все толклась у окна, белый хохолок ее платка дрожливо застил дальний заречный лес.

— Ну, хоть так рюмочку выпей! — настаивал Сашка и, не дожидаясь бабы Дуси согласия, протиснулся по-за лавками, выставил на подоконник полстакана, кусок рыбы на хлебушке.

— Ох, да голубчик белый! Да разлюбезный ты мой! Не в мои годки пить-то, да ради такого случая, так и быть, оскоромлюсь.

Денисиха потянулась сухой курьей лапкой, взяла с подоконника стакан, на какое-то время ее платочек исчез из виду. Но вот сыренькие глазки снова объявились на уровне подоконной доски, часто смигивая красноватыми веками.

— Хороша-ай! — с веселым испугом перевела она дух и отщипнула от окуня хребтинку. — А это кто ж такой сидит, не признаю никак? Рядом-то, рядом.

— Племяш мой, — представила меня Маня, — Полькин сын. — Денисиха, соображая, с пытливой мукой уставилась на меня.

— Ну, Полянкин, сестрин, которая в городе. Иль забыла?

— Н-но! Полянку-то помню. Как же! Дак сынок ее? Нутя, нутя... Носами-то схожие, носы у вас у всех заметные. Ага, ага. Племянник, стало быть... Ну, коли все тут свои, то и скажу, Маня, зачем пришла. Да зачем...

Денисиха, кряхтя, забралась на завалинку, отодвинула стакан в сторонку.

— Гонит давеча Лаврушка трактор с плугом, пахал здесь на деревне, думаю, дай допытаю, может, и мне одним обиходом перевернет огород. А то шутка ли, лопатою-то копать, силов

вовсе не стало. Нутя... Остановил, хохочет, пострел: а это, мол, будет? А у меня как на грех и не оказалось. Была одна запрятанная, на черный день берегла: заболею али и вовсе помру — ямку выдолбить, кто ж меня за так туда определит, одна я... Берегла, берегла, а под май и стравила...

— Одна пила? — хохотнул Сима.

— Чево? — Денисиха оттопырила платок возле уха.

— Одна, говорю, опорожнила?

— Подь ты, варнак! Такому, как тебе, и выставила. Хата совсем облупилася, стоит, как зебра пятнатая, а тут май, вот он, перед людьми совестно. Я и попросила глинки-то привезти, стены обмазать. Ну дак платить-то нечем, какие мои доходы? Да нынче деньги и не спрашивают, знают, нетути у людей трояков, неоткуда им заводиться. Ну дак заместо денег подавай лиходея этого, горыныча распроклятого.

— Все верно, как по писаному! — согласно тряхнул кудрями Сима. — Как-то оборачиваться надо? Сполнять всякие услуги промеж собой? А коли не звякает, люди сами себе валюту придумали.

— Ага, ага...— закивала Денисиха. — Сенца ли привезти, дровишек — подавай окаянного. Без этого с тобой никакой шохвер балакать не станет. Дак которые и не пьют, и те припасают заместо трояков. Нынче это до всего отмычка. Ох ты, осподи! Ну, да и отдала я тот свой припас за глину-то. А нынче приспело, Лаврушка с трактором подвернулся, а у меня и нетути. Да пока он там налаживается, побегла спросить. Думаю, у Мани седни гармонь, никак есть чево, можа и даст взаймы.

Маня молча встала, сходила на кухню, вынесла оттуда газетный сверток, протянула Денисихе.

— Ну дак вот-то как ладно обернулось! — обрадовалась баба Дуся. — Дай Бог те здоровья всякого. А я, буде случай, отдам.

— Не надо мне ничево, — отмахнулась Маня. — Это уж за Санино благополучие.

— Ну, благодарствую, коли так. Ох, оскудела я, Маня, хозяйство мое совсем никуда низошло. Одна душа, а боле ни шиша. Как дворовые у худого барина. Обносилися, обтрепалися за войну, да и опосля войны уже десять годков прошло. Не знаю, как по другим местностям, а по нашей уже скорее бы государство прибрало землю под свое начало. Да платило б нам хоть

помаленьку. Как же крестьянину без копейки-то? Дети у нево, чай, тоже не кутята, не в шерсти родятся, чтоб без всего по улице бегать. Ботиночки, одежку справить. И учить их надоть, ученье тоже живую копейку требует. Со своего двора, с одной картошки нет мочи всю эту справу тянуть. Эдак и от теперешней веры, того гляди, отобьются, пьянство пойдет, от земли побегут, помяни мое слово! Ох, похромаю, девка, чево там Лаврентий без меня наковырял? Еще, варнак, сарайку трактором заденет. А рыбку я заберу, придет охота, скушаю.

Трясучей рукой в темных крапушках Денисиха убрала с подоконника остаток окуня, потянулась опять и взяла хлебный ломоть.

Маня принялась хватать с тарелок что попадется, поспешно заворачивать в газетку.

— На-ка, баб Дусь, еще, а и правда, дома поешь без спешности. Тут вот и селедочка.

— Ох, да милая! Возьму, возьму гостинчик, пососу солененького, оском собью.

Денисиха пропала в окне, и гости, будто того только и ждали, враз загомонили, загалдели, застолье пошло своим чередом — весело и шумливо.

Сима вылез из-за стола, устроился на подоконнике, задымил газетную косульку, сыто поплевывая в палисадник. Галоши его соскочили с голых пяток и болтались на одних только носках.

Подвыпившая Маня обняла меня за плечи, в наплыве родственного расположения качнула к себе, обмякшей и жаркой.

— Ну вот, племяш, провожу я Саню, и камень с шеи. Теперь я выпуталася! Одна только Нинка при мне.

Маня хохотнула и опять истово сдавила мне плечи.

— Рази меня гром, Женька, великая я грешница! Во всем грешна!

— Да брось ты, теть Мань! Что ты так на себя?

— Молчи, малый! — Она посмотрела на меня усмешливо, с доверчивой теплотой. — Если тебе по правде, то Саня мой не по годам идет. Вот те крест! Ему ж, голубю, только семнадцать исполнилося.

Тетка прильнула к моему уху и зажужжала торопко:

— Я ему годок лишний выхлопотала. Только ты абы кому не надо, а то не возьмут. Пошла в сельсовет, там у меня одна знакомая в секретарях, так, мол, и так, сделай милось, нехай малый идет... А он, Саня, и правда, сам поохотился. Братья пишут, служат хорошо, в хороших частях, учат грамоте, и так, по технике, домой, дескать, придут не с пустыми руками, а со специальностями. А тут эта бумага про Колю подоспела, от его начальства, чем-то он там отличился на ученьях, не знаю я... Ну, Саня и загорелся: «Мам, пусти да пусти. Не хочу больше тут, чего зря время теряю». И пусть себе идет. Ох и набедовалась я с ними, пока выходила, не приведи Господь!

На кухне что-то загремело. Маня неловко, хватаясь за стены, мотнулась туда, турнула набившихся кур и воротилась с миской капусты.

— Ты-то в Казахстан тогда уехал, — подсела она ко мне снова. — Не видел этого (я, и верно, не пережил сполна российских сорок шестого и сорок седьмого: в Казахстане в то время было терпимо, помимо карточек разживались кукурузной мукой и кониной). А у нас только война кончилась, в колхозе ни мужиков, ни тягла, а тут вот тебе еще напасть — сушь хватила.

— Засуху-то я еще застал.

— Ну, все равно в городе тебе не так было заметно. А у на-а-с! — Маня шумно втянула воздух, округлила глаза. — Земля растрескалась, порвалась глудами, веришь, скотина ходить боялась. Идет, землю нюхает, как будто не узнает. А ветер — што из печи, так и обдает жаром. Отсюдова, из деревни, было слыхать, как лес шумел обожженными листьями. Да и разделся он в тот год рано, чуть ли не в августе. Страх-то какой! Пожары зачались по деревням. Копну, копну под картошечным кустом, а там пусто, пыль горячая. Да и кустов иных уже не найти, иссохли, рассыпались в табак. А хлебушко! Так мы тади старалися, с таким трудом посеяли, а он колос толечко успел выкинуть, а дальше сил у него не хватило, обник, бедный, остался стоять пустой соломой. Глядеть на него больно. Прибегу, бывало, из колхоза, и стою, не знаю, за што браться: в избе пусто, ни маковой росиночки. Ох, лихо ты мое! Не забыть этова... Ну вот. Осенью собрал нас бригадир, Михей Иваныч тогда был, хороший человек, совестливый. И говорит: вот какие дела, бабоньки, сами все видите, хлеба в этом году не будет, давать нечево. А про остальное и говорить не приходится. Но трудодни

ваши остаются в силе. Ежели на тот год уродит, тади и рассчитаемся. А пока, если хотите, забирайте на корню солому, может, чево из тех колосьев и налущите, все же не трава... Ну, мы и пошли по домам... И вот, Женя, когда я под весну схоронила девочку, ты ее и не помнишь, легла я и не встаю. Думаю, не встану, поколь не помру. Пока война шла — крепилась, из последних сил жилилась пережить беду, а когда немца-то одолели, тут-то и расслабилась я, думала, теперь прошли все напасти. А на новую беду, грянувшую голодню, я уже собраться не сумела, кончилось во мне все горючее. Уж и помереть решилась, но дети не дали. Скулят, скулят на печи, душу мою выматывают. Встала я, а ноги в сапоги не лезут, налило их какой-то водою. Ну, поднялась через силу, обтерпелась, помолилась угодникам, собрала деток, Нину маленькую на руки, те трое — за подол, и побрели мы чуть свет со двора невесть куда... Да пошли не по улице, а крадучись, огородами, штоб никто не увидел... А уж в чужой деревне, в Букреевке, там только сумки надели. Сереже сумочку, Коле сумочку. Перед тем как уйти, всем пошила. Саня только пустой ходил, дак он не только просить, а и говорить ишо не умел...

Маня заморгала, заморгала, прикрылась рукой, но тут же отняла пальцы, рот ее потянула виноватая улыбка, и уже весело, как не о себе, вскинулась голосом:

— Ой, да ладно, чево взялась вспоминать! Я и сама теперь не верю, что это со мной приключилося. Будь бы жив Яша, разве я пошла бы со двора? А то одна — растерялася. Ты-то Яшу помнишь, не забыл?

Дядю Якова я помнил хорошо. Родом он не наш, не толкачевский, а из-под Воронежа, из-под Лисок. Еще в Гражданскую мальчонкой подобрал его бездетный дед Кудряш и привел в дом. Парнишка прижился, стал помогать по хозяйству. Кудряш объявил его сыном, а потом, за несколько лет до войны, женил его на моей тетушке. Был он невеликого росточка, много меньше Мани, но живой, непоседливый и мастеровитый. Помню, в их избе всегда пахло сушившимся деревом, клеем, кипела стружка на полу, словно взбитая пена, нежная фуганочная стружка, в которой барахтались ребятишки. В зимнее время ладил он ларцы, сундучки, детские зыбки, прялки, решетчатые колясочки, салазки. Все это празднично смеялось ажурной резьбой и выдумкой. Но особенно было интересно, когда дядя

Яков затевал строить лодку, как потом, уже готовую, свеже-белую, выкатывал по весне за ворота и там, под горой, на молодой травке при жарком костре и всеобщем восторге деревенских ребятишек поливал ее смолой. Правда, одно меня в нем отпугивало: он глотал полными ложками соду и, запрокинув голову, что-то закапывал в глаза. А потом стал ходить в черных очках и все реже брался за инструменты... По этой причине на фронт он не попал, а взяли его позже в строительную команду. Там он где-то и загинул...

— Штой-то сердце опять давит... — замерла Маня, не отпуская, однако, улыбки, все еще пытаясь удержать ее на мелко задрожавших губах. — И не давит даже, а как боднет, боднет... Давай, племяш, выпьем, что ли?

— Не надо тебе больше. Валидол есть в доме?

— Не, этим я не пользуюсь. Я, когда, бывало, прихватит, стопочку выпью, оно и отпускает.

— На время и до поры.

— Оно дак и все до поры. Кувшин вон тоже до поры. Когда-нибудь да хряснешь.

— И кувшин: у бережливой хозяйки стоит да стоит.

— Э, милай! — засмеялась Маня. — Ежели ево в печку не ставить, дак на хрена он и нужон!

— А все же приляг, послушайся.

— Не-е! Щас пройдет! — упрямо тряхнула куделями Маня. — Я ишо плясать бу...

Маня оборвала слово, закусила губу и удивленно уставилась на меня, и тут же глаза ее начали пустеть и меркнуть.

— Идем, приляжешь: с этим не шутят.

— Да что ж лежать-то я буду. Людей назвала...

— Пошли, пошли. Тут душно, накурено.

Маня, с сожалением окинув стол, вяло поднялась, и я незаметно для гостей, занятых разговорами, отвел ее в кладовушку с маленьким, в лист писчей бумаги, оконцем, где была какая-то постель.

Маня прилегла навзничь. Боковой свет резко вычертил ее грубый мужичий профиль с крупным вислым носом, какой присущ всей нашей породе. Но у Мани эта топорная аляповатость передалась особенно въедливо. Она и в девках не слыла красавицей, и я не знаю, чем приглянулась она дяде Якову, любителю всего изящного, аккуратного? Разве смолистой надежностью только?

Здесь, в тихой полутьме закутка, было слышно, как за стеной отчужденно, занятый своим славным сегодняшним делом, бражно гудел и бурлил переполненный дом, и неподвижно лежавшая Маня ревниво, всем своим существом впитывала это желанное, давно задуманное гуденье.

И как раз в эту самую минуту игристо брызнула Сашкина гармошка, и кто-то из девчат со звонцой в голосе выхватил первый попавшийся куплет:

Вот на четвертом этаже
Окно распахнуто уже,
Еще окно, еще окно, еще одно-о-о...

Остальные обрадованно подхватили:

Эта песня для кварталов пропыленных,
Эта песня для бездомных и влюбленных...

И та, первая, опережая других, вызывающе взвилась, взлетела еще выше и там, на одной только ей доступной высоте, горделиво парила тонким красивым голоском:

И поет ее влюбленная девчонка
В час заката у себя на чердаке...

— Это Санина выводит, — одобрила Маня, глядя в потолок. — Ишь как тоскует.

— Уже завел?

— С самой зимы чуб прилизывает...

Она умиротворенно перевела дух. Видно, ей нравилась эта песня. А может, и не столько сама песня, сколь просто пение за ее столом в ее долго молчавшем доме.

— Ты иди, гуляй, — сказала она.

Я взял ее руку, пощупал пульс.

— Тебе к врачу бы надо.

Маня не ответила, а лишь неприязненно сдвинула брови. Я озабоченно попросил:

— Ну, хотя бы не пей больше. Нельзя тебе.

— С добром возиться да в добро не стать? — Она слабо усмехнулась: — Когда заводишь, дак и попробуешь. Кашу варишь и той зачерпнешь: солена — не солена... А тут как не испробо-

вать: ведь другим пить... Ну, стопочку да другую — вот и напробуешься к концу дела.

— А тетка Лена как? Тетка Вера?

— Дак и они... Ить детей куча...

(Тогда еще ни Мане, ни мне не могло быть известно, что через несколько лет тетка Вера вот так же, придя с поля, ойкнет и замрет на постели в чем была — в сыром ватнике, в резиновых сапогах с прилипшими к подошвам бурашными листьями. Тоже, бывало, все от сердца рюмочкой лечилась. И останутся одни с Аполлоном ее восьмеро...)

— А кто нынче не пьет? Все бабы, которые войну пережили, все до единой. Разве уж которой нельзя вовсе. А теперь дак и девки почем зря глотают. А пацанва — ишо только в третий класс ходят, а уже четвертинку с собой в школу берут, на большой перемене в кустах высасывают...

Глаза ее опять засветились смешком.

— Да што пацаны! Захожу тут к одной... Ну, сказать, знакомая... Как раз в самое пекло попала: печка пылает, бак бурлит, окна припотелые, ну, как положено. Заболтались мы с ней, а пацаненок ее бесштанный, грязную попу мухи облепили, подладился к бачку и подставляет ложку под шнурок. Ждет, постреленок, пока накапает. Выждет — и в рот. Опять выждет — и опять в рот. И даже не морщится, токо покрякивает, как большой. Мать подскочила, давай его нашлепывать по голой заднице: ах ты, поганец сопливый, рано тебе ишо, рано. Штаны вон на плетне сохнут, а ты уже опохмеляешься.

Грузный Манин живот затрясся в смехе.

— И грешно смеяться, да... чево делать, коли смех берет... глядеть на такое. А все ради них стараешься. Да и при них же!

Она долго потом лежала молча, большая, громоздкая, с выпиравшим бугром живота, будто выброшенная на песок моржиха. Взгляд ее был спокойно устремлен в оконце, безмятежную майскую синеву, где веселыми росчерками промелькивали касатки с вильчатыми хвостиками. И, не отрывая от ласточек глаз, она с тем же спокойствием объявила:

— Меня уже и судили за это. Год давали.

Я тоже уцепился взглядом в окошке за наплывшее облачко, похожее на ватный тампон, и стал наблюдать за ним, как оно наискосок пересекало оконный квадратик.

— Поскольку дети, дак не сажали, посчитали условно. Подписку только взяли, мол, случай чево — не пеняй.

Облачко достигло середины оконца, и было похоже, что ласточки, мелькая, общипывают его со всех сторон.

— С год терпела, не притрагивалась. А потом думаю: сщезни оно все, буду помаленьку да с опаскою. Шутка ли — четверо, а дома одни огурцы да картошка.

— Вот тоже комедь! Вырыли мы с Севой в погребе затулок на случай чево, штоб прятать там причиндалы. Ну а когда сусло затворю да плиту почну кочегарить, ребятишек в дозор высылаю. Севу с Колей — на зады, на огородную дорогу, Саню с Нинкой — на улицу, дескать, играйтеся, а сами поглядывайте. Да смотрите, не прозевайте. Вроде как оборону держу. Курская дуга... Ну а сама, значит, в это время колдую... Бывало, только прилажусь, вот тебе бежит кто-нибудь: скорей, мамка! К Цыганихе пошли! Ой, лихо мое! Бак в самый раз разошелся, клекочет, не подступиться. Чево делать? С чего начинать? Давай его вожжами обвязывать да горячий, паровой с печи воротить. Ну, а потом волоком через двор, да в погреб на вожжах-то. Затолкаю в тот потайной притулок, а сверху тряпьем, хламом всяким, да ишо пустую бочку сверху накачу. Вот так упыхкаюсь, пока с главным идолом-то управлюсь. Да отпыхиваться некогда, бегу скорее в избу дух изгонять: двери-окна настежь, ребятишки рушниками, полами, кепками махают, скорей за одеколон — припасла для такого случая. Набираю в рот «Кармену» и давай прыскать, карты запутывать.

Поглядеть в окно, дак сумасшедший дом: дети бегают, тряпками машут, баба патлами трясет, глаза выкачены... Ну, потеха! Цирк! Ну, заходят... На том месте, где у меня бак стоял, уже чугун с картошкой, мол, ничево не знаю, ничево не ведаю. Здрасьте — здрасьте... Глядят, носами тянут, а у меня, на-кось вот, цветами пахнет. Ну, и маленько картохою. А я ишо и ребятишек заставлю барахтаться, дескать, нечево им бояться, все у нас ладно, как у людей. Прости мене, грешную!

— Ох, Маня! — посмеялся и я. — И верно, жарить тебя будут на сковородке.

— А я и не отказываюсь! — она подхватилась, оперлась на локоть. — Я согласная! Чево было, то было. Да и чево меня жарить — я уже жарена.

— Лежи, лежи.

Маня послушно опустилась.

— Ну, хорошо. А куда же ты потом все это девала?

— Носила в город. Да и не я одна, многие носили. Был там такой человек-перекупщик. Ну, конешно, за полцены. А полную цену это уж он сам брал. Потом этот человек кудай-то делся. Видать, милиция изловила... Ну, да свято место пусто не бывает, нашелся другой. А потом стали и нас ловить. На пароме. Которые подозрительные, тех тут же, на берегу, обыскивали, заглядывали в корзины, котомки. Мы на время подзатихнем, а спустя опять давай выход искать, кумекать. И докумекали: покупили в аптеках резиновые грелки, начали в грелки наливать. Положишь пару-тройку, а сверху огурчиков, али чево. Проверяльщик копнет — вроде нет бутылок, и невдомек, что горыныч-то на самом дне, ничком распластался!

Манины глаза плутовато заискрились.

— Дак и это разгадали! Целая война: власть себе, а бабы — себе, кто кого обхитрит. Ну, чево? Раз они так, мы тади этак. Придумали грелки не в корзины класть, а на себя цеплять. Одну — на спину, а другую — промеж титек. И опять пошло дело — ступаешь на паром смело. Корзину опрокинут, а там ни шиша.

Она снова засмеялась, даже закашлялась, лежа навзничь.

— А и верно говорят, черт шельму метит... Все б ничево, да у одной грелка возьми да и прохудись! Кап да кап, а она, дуреха, знай себе бежит, поспешает. Подошла к парому, проверяльщики ноздрями шевелят, чуют, разит от бабы. Стали копать, корзину наземь опорожнили — нету ничево. Што за причина — ничево нет, а пахнет? Ну-ка, говорят, дыхни. Баба дыхнула — нет, не пила! Нюхали, нюхали и нанюхали: сзади юбка мокрая. Давай бабу разоблакать, одежку с нее стаскивать. Ну, и нашли! И начали опосля того всех ощупывать. Как видят, не по сезону одетая, за шкирку и в раздевальную будку. А там-то уж до всего докопаются... Ой, страму-то натерпелись!

— И что же?

— А што... Куда спрячешь? И решила я больше на паром не ходить. Раз проскочишь, другой, глядь, и попадешься. А у меня уже судимость была... Дак я чево: отверну в сторонку, в кусты, разденусь, покидаю все в корзину, да — вплавки. Уж, бывало, иней на траве. Выскочу на тот берег, пар с меня, как с лошади, скорее глотну из горла, штоб согреться, и бежки-бежки, трусмя-трусмя... Я-то не додумалась, как надо бы, а некоторые и тут нашли выход, похитрее грелок: палки себе алюминные завели.

Как раз на литру, а то и поболе. Идет, попирается, вроде бы с батожком. Бабы, они до всего допрут. На хитрый запор и отмычка вот она. Мне бы тоже такую палку заиметь, а я, дура, все плавала, пока не захворала. Вот как скрутило, вот как узлом завязало! Всю-то зимушку напролет корежило, левая нога даже начала отниматься. Да, слава Богу, на печке отлежалась, на каленых кирпичиках. С тех пор — ша в город носить. Все больше с солдатами имела дело. Тут раньше лагеря стояли в нашем лесу, дак я с ими больше имела дело. Бывало, здук-здук, в окошко. Зыркну меж занавесок — пилотка. Кричу Нинке: огурцы на стол! Живо! Солдаты пришли! Ну, зайдут: «Здрасьте» — «здрасьте». Садятся за стол, огладят стриженые головы. А на столе уже огурчики порезанные, камсичка с лучком. За столом им интереснее, чем пить по кустам. Волю напоминает, вроде как дома. И мне никуда не надо бежать, страху набираться. А за посиделки — что дадут: кто банку тушенки, кто сахару, деньгами, правда, редко — какие у солдата деньги? А кто и солдатское бельишко выложит. Начнет разворачивать, чтоб показать. А я остановлю: ладно, не надо, только чтоб не дырявое и не вшивое... Наш участковый, Иван Поликарпыч, дай Бог ему здоровья, хоро-о-оший человек, знал, что ко мне солдаты ходят, и просил только: ты, Марья, поаккуратней, а то и тебе несдобровать, и мне неприятности по службе. Входил в мое положение, не обижал — а все из-за детей. А так-то он строгий, кому зря потачки не давал, особенно которые от жадности, сквалыжничали. Только скажет: смотри, табаку не добавляй, нехорошо это. А и верно, иные подсыпают. Первый згон возьмут, тот крепкий, а когда остатний пойдет, ванек по-нашему, туда махры и подмешают. На другой день места себе не найдешь. Не мне это говорить, а и то руки-ноги за такое повыкручивала б.

— А как же под суд попала?

— Да как? Абнакавенно. Только не подумай: Иван Поликарпыч тут не замешан. Не ево работа. Это из самово района налеты делались. Целой бригадою. Вроде как неводом всю деревню обкладывают. Ну и я тоже попалася. Тарабанят в дверь, а у меня как раз капель пошла. Глянула в щелку, а на порожках сразу двое, а под окнами еще по одному. Ох, мать твоя курица, отец кочет! Ну, отперла дверь с крючка, куда денешься? Лейтенант сел писать протокол. Молоденький такой, ну, можа чуток постарше мово Сани, но такой ершистый из себя, бровки сдви-

нуты, губки поджаты. Ты, говорит, сознаешь, что совершаешь преступление? Сознаю. Я уже, говорю, тады преступление сделала, што четверых народила. Ты мне брось, кричит, детьми спекулировать! Не у одной тебя дети. Ну-ка, покажь колхозную книжку. Подаю. Полистал, молча возвернул. А чево он мне скажет? У меня за тот год двести двадцать пустопорожних ден было. Распишись, говорит, и пододвигает бумажку. Лучше бы, советует, корову завела, чем этаким молоком из-под бешеной буренки детей выкармливать, преступников растить. Избаловалась на легких заработках. Ну, дак чево ему скажешь, дите ишо. Коровку купить — не балалайку. Была у меня и коровка, да как ишо немец отнял, так с той поры и нету... Выволокли мою бражную хвабрику во двор, лейтенант взял в сарае ломик и давай по бачку садить. Весь бок ему издолбил, во каких дырок наделал, полилась по двору юшка. Запахло подушечками. А бачок у меня был хороший, в эмтээсе варили, так жалко, так жалко! Двое милиционеров вытолкали его сапогами за ворота да котом, котом под гору. А потом размахнулись и зашвырнули в речку, только бульки пошли.

Мимо кладовушки, через сени шумно протопали гости, повалили во двор, на волю. Запиликала гармошка. Маня прислушалась к топоту, вздохнула.

— Ну вот... С полгода ни за што не бралась. А жизнь-то поджимает, спуску не дает... Наконец очапалась я, выждала ночку потемней, дождик накрапывает, разбудила Севу с Колей, спихнули на воду чужую лодку и поехали, таясь, как преступники, искать то место, где бачок утопили. Я гребу легонько, штоб не было плеску, а Сева прилег на носу, грузик на веревке свесил, подергивает: не звякнет ли? Сколь мы барахтались под кручкой, и не упомню. Дождь булькатит по воде, сами все мокрые. Вроде тут должон быть, а железного стуку не слышно, гирька глухо обо дно бьется. В половодье снесло, что ли? А можа, и песком затянуло. Уж и вертаться решили, да тут-то и звякнуло. Ну, чево делать, как доставать? Хотели зацепить кошкою, не зацепляется. Крюки скорыгают, а не задевают.

Шепчет мне Сева: давай, мам, нырну. Куда ж ты, говорю, сынок, темень, ад кромешный, да мало ли чево, не смей даже и думать! А он потихоньку поздевал с себя все да и шмыганул за борт. Я так вся и захолодала, минутки-то эти, пока ево не было,

за век показались. А ево нету и нету. Только дождик пошумливает. Вот, слава Богу, слышу — Сева оттудова за веревку дергает, знак подает — чтоб тащили. Ухватились мы с Колей — ох и чижолый, — но пошло, пошло, да и выволокли, втащили в лодку, все руки изорвала о рваные бока.

— На что же он тебе дырявый-то? — не понял я.

— Хе, милай! Голь на выдумки хитра! — засмеялась Маня. — Новый бак заводить дорогова стоит. А я как? Зашла на другой день в эмтээс, шепнула одному, на аварийке работал. У него там в машине это самое дело... как ево? Ну, шланги, шланги-то?

— Автоген?

— Ага, ага... Ладно, говорит, тетка, как-нибудь буду ехать мимо, заверну. Да и завернул, не соврал. Нашлепал латок, страшон стал, корявый, пятнатый, спешил малый, латал — оглядывался... Ну да мне на комод не ставить, лишь бы капало.

— Значит, тогда и суд тебе был, как бак порубили?

— Не! Тогда только оштрафовали. А это опосля меня ишо раз заштопали. Тот же самый лейтенант. Бак-то он не нашел, мы его с Севой успели подземь схоронить в погребке, а бутылки нашел-таки. Я их по глиняным кувшинам рассовала и — в печку, вроде как молоко томится... Думала, не найдет. А он до того пронюхливый, возьми да и загляни туда. Как так, коровы нет, а кувшины в печи? Я, говорит, тебя предупреждал? Предупреждал! Не хочешь проявлять сознательность — пойдешь на трудвоспитание. А куда ж меня больше воспитывать? — изумленно уставилась на меня Маня. — Глянь руки мои, куда пальцы загнуло. Как у бабы-яги. Ну-ка в войну поле на себе поднять! В колхозе ни тракторов, ни лошадей, дадут, бывалыча, на двор норму, и паши, как хочешь. Которые с коровами, те хоть скотину запрягали. А нам, бескоровным, чего делать? Да соберемся артелью, по нескольку баб, станем в постромки и — пошел гузню рвать! А земля не то што теперь, — забурьяненная, одичалая за войну. День так-то плуг потягаешь, аж ноги гудут, как телефонные столбы в сиверку. Ну дак понимали: фронту помочь надо.

— Ну, хорошо, теть Мань, — перебил я. — А из чего все это делается? Где что брала? Сырье-то, сырье.

— А где?.. Которые бурак помаленьку с поля таскали. Ну дак за это строго при Хрущеве было, за пяток бураков срок давали. Это уж самые отчаянные шли на такое, иные исхитрялись: как

только бурак начинают возить — посылают ребятишек на большак, подальше от деревни, штоб след от себя отвести. Ребятишки поперек дороги положат жердину, а сами в кустах затаятся, ждут. Вот тебе машина едет, бурак в самый закрай. Ну, палка и палка, мало ли чево на дороге валяется, шофер гонит себе, не обращает внимания. А машину-то и тряхнет на неровности, глядишь, два-три бурака и выпрыгнут за борт. Дак и без жердины сколь так-то порастеряют на ухабах. Вроде и не воровство, ребятишкам даже забава, а за день этак-то и натрусят мешочек... — Я-то бурака не трогала и детей своих не посылала: у меня уже судимость была. Я так: пять кило конфет возьму — вот тебе и затрава. Пять кило подушечек, самых дешевых, по десяти рублей. За них мне никто ничево. А штоб незаметно было — я куплю маленько в одном магазине, маленько в другом. Из них получается пять литров хорошева пития, без «ванька». И запах приятный. Ну, вот и считай мои капиталы. Литру я отдавала барыгам по двадцати рублей. (Маня вела счет по действовавшим тогда ценам, поскольку денежная реформа к тому времени еще не подоспела.) Ежели в две недели раз соберешься, изгонишь, стало быть, с пяти литров получается сотня припеку. Из ее половину сразу откладываешь опять на подушечки. А остальная половина — твоя. Вот на эти полсотни и пляши, считай, две недели. А чево на них, ежели селедка пятнадцать рублей? Выходит, на три кило селедки всей-то моей поживы. Дак одной селедкой жив не будешь, да я ее и не брала, не по карману. А домой идучи, набирала чево подешевле: камсицы, хлеба, ну, когда бубличка ребятишкам. Бежишь домой, себе мороженова не купишь: хочется, да все жмешься, шутка ли, два рубля отвалить! А уж обновку какую справить — и не рассчитывай. Што у солдатов разживусь — сапожонки какие али тряпку — то-то и носится. Это я тебе, как перед Богом. Была б моя возможность, да разве я б маралася, вся душа в синяках. А мне ишо продналог выплачивать. Есть корова, нет ее, двести литров молока отдай. Где хошь бери, а рассчитайся. Да сто штук яиц. Да два с половиной кило шерсти. Да тридцать два кило мяса. Да заему сколь. Мне ежели рассчитаться за все это, полгода надо, штоб из бачка капало...

— Теперь тебе и без бачка обойтись можно, — сказал я. — Дети выросли. Сергей вон скоро приедет, работать станет, корову заведете. А там и Николай воротится.

Маня огладила лицо грубыми уродливыми пальцами, сгребла со лба прядку сивых волос.

— Да уж скорей бы... Думала ли я девкой, што со мною такое станется? Сколь страху-то пережито за те-та самогонные копейки! Да позору! Рази ж я жить по-людски не хотела, штоб не скрадничать, не таиться? Сплю, а мне только и снится: вот идут, вот здучатся. А у меня все расставлено. Прячу-прячу причиндалы, а они, проклятые, изо всех углов торчат. А то, снится, убегаю. Вот бегу, вот бегу! По кустам, по крапиве, клочья от себя рву, ноженьки мои подкашиваются, и дыху никакова нету, а сзади в свисток свистят, кричат: держи, держи ее, такую-рассякую... А уж того страшнее, когда привидится — судят меня. Уж который раз одно и то ж вижу: большой-пребольшой зал, народу полно. В первом ряду участковый Иван Поликарпыч сидит, рукой от меня застится, по обе стороны от него — детки мои перепуганные, соседи, подружки самогонные... Иной раз такая казня привидится, на што тебе суд на яви. Проснешься ночью, сердце бухает, пот ледяной...

Маня опять задергала животом, и я не сразу сообразил, то ли она смеется, что-то вспомнив забавное, то ли плачет? У нее ведь не поймешь: и то и другое перемешалось, как в переломную погоду. Но она отвернулась, и я догадался, что Маня не смеялась.

— Тот-та бак все печенки мои переел! — вырвался вдруг из нее полузадушенный вскрик, и она поспешно принялась перехватывать слезы, размазывать их по лицу. — Ни дня, ни ночи от него не вижу.

Она нехорошо, по-мужицки выругалась. Я смущенно уставился себе под ноги.

— Будь ты проклят! Огнем бы тебе гореть!

Маня подхватилась, села на топчане. Грубыми неуклюжими пальцами она скребла по груди, рвала рюши на новом платье, дыша мелко, прерывисто. Лицо ее покрылось бурыми пятнами, тогда как неухоженные разлатые губы бескровно побелели.

— Теть Мань! Теть Мань! — не на шутку испугался я. — Тебе лежать надо... Сейчас воды принесу.

— Не нада мне ничево! — Она дышала мелко, прерывисто. — Ничево не нада...

Я схватил ее за плечи, пытаясь опять уложить, но она вдруг налилась какой-то неукротимой упрямой силищей и дико, не

узнавая, так глянула на меня, что я отступился, бормоча что-то растерянное, бестолковое.

— Пусти! — Маня больно толкнула меня в грудь. — Пусти мене. Щас я его, заразу... Я его щас...

Во дворе, в тени под плетнем, Сашка, сидя на перевернутом ведре, играл на гармошке; рядом по обе стороны от него пристроились на корточках Сима, дядя Федор, дядя Аполлон и еще мужики; несколько подростковых пар лениво, разморенно танцевали, когда Маня, а вслед за ней и я выскочили из кладовки. Я не мог предвидеть, что она замыслила, и потому не упредил ее движение. А она на бегу сцапала в сенях подвернувшийся топор и, будто объятая пламенем в своем красном платье, вылетела с топором во двор на солнечный свет.

Куры брызнули от нее в разные стороны, завизжали и разбежались перепуганные девчонки. Мужики оторопело замерли под плетнем.

— Я ево щас, падлу! — сорванно и полоумно взвизгнула Маня, встрепанная и дикая.

— Ма-а-а! — где-то за сараем истошно заверещала маленькая Нинка.

Первым вскочил дядя Федор, за ним, отшвырнув гармошку, подлетел Сашка.

— Да ты что, ма? — крикнул он, все еще не понимая, что случилось.

— Марья...— смело пошел на нее Федор. — Ну-ка, брось топор... не дури... Что за шутки?..

Маня, ослепленная солнцем, загнанно озиралась.

— Дай, говорю, топор... — строго настаивал Федор. — Дай сюда.

— Да што вы смотрите! — махал руками Сима, однако не подходя близко. — Она же спятила! Веревку, веревку давай! Сашка, где веревка? Вязать ее надо!

Сашка, белый весь, побежал куда-то.

— Хватайте ее! — визжал Сима. — Она же всех порешит!

— Да погоди ты... — коротко обернулся дядя Федор. — Чево... орешь?

— Нечево мене ловить. Хватит! — сипло, остервенело вскрикнула Маня, и топор в ее руке полоснул меня по глазам зловещим солнечным взблеском. — Отойдитя! Никто не подходи! И ты, Хведор, не лезь...

Она кинулась к погребице, скрылась под ее соломенной застрехой, и пока мужики растерянно толпились, не понимая, что стряслось, оттуда с грохотом выкатился пустой бак — уродливый от бесчисленных вмятин и грубых автогенных заплат.

— Хватит! Хватит мене ловить! — выкрикивала она, соскребая с лица спадавшие космы. — Нечево...

Вскинув руки клином над головой, вся подавшись вверх за топором, она с тяжким выдохом рубанула по баку. Бак пусто гукнул и осклабился косой рваной дырой. Вырвав из надруба топор, Маня принялась махать наотмашь, вкладывая в свои замахи всю скопившуюся ярость:

— Кормилец, падла! Поилец, гад!.. Отец родной! Всю душу вынул, стерва! У-у, пар-ра-зит! У-у!!! А-ах! Э-эх!

— Змейку! Змейку не тронь! — кричал Сима. — Побереги, дура! Еще сгодится!

— А-а, змейку тебе?! — услыхала Маня. — На вот! Змея тебе подколодного! У-ух! — и она зло секанула по выпавшему из бака крупно перевитому патрубку. — На тебе змея! На, на...

Отшвырнув топор, она принялась было босыми ногами пинать посудину, не обращая внимания на остро торчавшие клоки железа, но вдруг, пошатнувшись, медленно осела на пыльную землю и, обхватив голову, запустив пальцы в волосы, крупно и тяжко затряслась обмякшим и рыхлым телом.

Прибежавший Сашка молча стоял над ней, теребя в руках ненужную веревку.

— Бери ее, — кивнул мне дядя Федор. Мы подхватили ее, безвольную и покорную, и понесли в дом.

* * *

Ее положили все в той же кладовке. Кто-то из девчат сбегал домой, принес ландышевых капель. Я насильно влил ей полстакана разбавленной микстуры, потом из еще горячего самовара наполнил сразу две Манины самогонные грелки, висевшие тут же в кладовушке на гвоздиках и с которыми она, как я догадался, некогда пробиралась на паром, подсунул их под ее ноги и укрыл теплым одеялом. Все это время, пока я возился с Маней, Сашка отрешенно сидел у изголовья, подперев голову кулаками. С его колен петлями свисала все та же толстая пеньковая веревка. Отвернув голову к стене, Маня наконец затихла. По ее редкому, но ровному дыханию я понял, что она уснула.

— Тебе к каким? — спросил я полушепотом Сашку.

— А? — отозвался он, не поднимая головы.

— Во сколько, говорю, являться?

— Поезд в половине пятого.

Я взглянул на часы: было начало второго.

— Ну, ты давай не расстраивайся. Это у нее просто нервная истерика. Столько накопилось. Все обойдется.

Сашка не ответил.

В горнице девчата, тихо переговариваясь, убирали со стола. Маленькая Нинка, перепуганная случившимся, послушно и готовно выполняла все их приказания: относила на кухню вымытую посуду, недоеденную закуску.

Во дворе под плетнем сгрудились парни и мужики, и я подошел к ним. На Сашкиной табуретке стояли начатая бутылка, тарелка с огурцами. Сима отмеривал в единственный стакан и раздавал по кругу. Вскоре подошел и Сашка, ему тоже плеснули, но тот отказался, подобрал брошенную возле сарая гармошку и повесил ее на тын.

— Все собрал? — спросил его дядя Аполлон.

— А чего собирать?

— Ну, как же... Дорога, небось, дальняя.

— А! — Сашка безразлично дернул плечами.

— Ложку, котелок...— сказал Сима. — Это первым делом иметь при себе надо.

— Котелки теперь не берут.

— Ну, харчи. Смотря куда повезут, а то и неделю будешь ехать.

— Не помру. — Сашка, привалясь, скрипнул плетнем, достал папироску.

— Да брюки-то хорошие смени, — наставлял Сима. — Туда в чем похуже. А то потом не отдадут. Как же, будут они тебя дожидаться, пока отслужишься, беречь твое шмутье, склады занимать. Вас вон сколько пойдет.

— Отдадут! А не отдадут — потом другие куплю.

— Широ-окай! За материным-то горбом. Вон мать валяется...

— Да ладно вам! — вспылил Сашка. — Что я, хуже других, что ли? В рваных пойду. Армию позорить. Подумаешь, штаны! Я их в колхозе на водовозке заработал. А приду — еще заработаю.

— Во! Порох! — крутнул головой Сима. — Не скажи ничево старший. Они нынче все такие. Грамотеи!

— А ну вас... — Сашка отшвырнул папиросу и, проходя мимо меня, сказал:

— Пошли, дядь Жень, искупаемся. Еще есть время.

После бессонной ночи и непредвиденного застолья меня порядком разморило, и я охотно согласился сходить на Сейм освежиться. За нами увязались еще несколько парней, Сашкиных дружков-погодков.

Через гать минули затон, обмелевший, заболоченный, наполненный киселистой тиной, — тот самый, где некогда нырял Севка за утопленным баком. Теперь здесь с упоением барахтались толкачевские утки, выставляя к небу остренькие попы, они доставали из тины уже успевших опузатеть головастиков.

Но луг был по-прежнему хорош. Еще без цветов, по-майски короткотравый, в плоских и незлых розетках молодого татарника, он манил своей ликующей зеленью, дрожа впереди парным маревом, и не было терпения, чтобы не разуться и не побежать по этой вольнице босиком! Ребята и в самом деле помчались взапуски, на бегу стаскивая рубахи, майки. Должно, им наскучило чиниться за столом, разыгрывать из себя взрослых, и теперь, вырвавшись на свободу, бежали, совсем как пацаны, дурачась, горланя, швыряя друг в друга праздничными башмаками.

Я еще только подходил к берегу, а река уже ходила ходуном от загорелых тел, вскидывалась солнечными брызгами, била в глиняный урез растревоженной волной.

Искупавшись, мы полежали на чистом песке, еще не истоптанном коровами, и молча, под умиротворенное журчание реки, стали одеваться.

Перед тем как обуть башмаки, Сашка еще раз вошел в воду, поддел чистую струю обеими пригоршнями и, окунув в ладони лицо, постоял так неподвижно — лицом в ладонях.

— Ну, прости-прощай, речка! — сказал он с натужной веселостью. — Все! Откупался! Где-то я еще буду пить, чью воду?..

Потом он долго, старательно, а скорее машинально, уйдя в себя, причесывал мокрые волосы, со строгой задумчивостью глядя куда-то за реку, и в эти минуты отрешения в нем, еще недавно ребячливо кувыркавшемся в воде, как-то исподволь, будто светлая тень, скрадывая все беспечно мальчишеское, проступили приметы спокойной, сдержанной мужской зрелости.

Я украдкой наблюдал за ним и даже любовался: он был росл, не по годам статен, с какой-то изысканной покатостью в широких плечах. Высокая сильная шея, легкая голова с продолговатым овалом лица, глаза, по-девичьи голубые, хорошая мужская большеротость и даже нос — наш, фирменный нос, — у Сашки был по-своему аккуратен, сух, с приятной горбинкой. Красавец парень! Черт возьми, подумалось мне, откуда у него эта классическая элладность? Неужто Маня, беспородная, серийная, деревенская баба, сама кое-как вытесанная топором из суковатого комля, хранила в своих генных тайниках задатки к такому совершенству? А главное, как исхитрилась она выходить такое, не прибегая к дистиллированным кефирам и витаминным допингам, считай почти на одной хамсе и картошке? Да не одного, а троих таких парней? Нет, не понятна мне эта кибернетика!

Я мысленно примерял Сашке солдатский мундир. Брюки еще сойдут сорок шестого размера, но сам китель надо уже теперь искать среди пятидесятых номеров. Что и говорить, доставит он мороки каптенармусам! Но зато, когда застегнется на все пуговицы и опояшется широким ремнем, какой это будет отменный гвардеец! Никто и не подумает, что ему только семнадцать. Предвидел, как на призывном пункте будут зариться на него представители родов войск: хорош он и во флот, и в ракетчики, и в столичный гарнизон для парадных шествий, и в почетный караул при встрече заморских президентов. Да и в офицерскую школу — ему бы золотой пояс, белые перчатки и легкий кортик на бедро... Только с грамотишкой у него слабовато: семь, не то шесть трудных, не каждый день хоженных деревенских классов не с лучшими отметками. Обычная безотцовщина...

— Ну, пошли, что ли? — наконец напомнил я Сашке.

В горнице на белом, прибранном столе шумел ведерный самовар, весело сиявший надраенными боками, отражая в них пестрое окружение конфет, печенья, бубликов. В синей эмалированной миске восковатыми глыбами желтел мед, должно быть, принесенный дядей Федором, заведшим в последние годы несколько уликов. К великому своему удивлению, я увидел и Маню, молча цедившую из самоварного краника в чашки и стаканы. Бледное, слегка припухшее лицо ее было спокойно.

Гости в ее присутствии со сдержанной сосредоточенностью прихлебывали из блюдечек, и только девчонки на другом конце стола иногда перешептывались, не решаясь первыми нарушить больничную напряженную тишину в доме.

— Кушайтя! Кушайтя! — время от времени поощряла Маня виновато-томным голосом. — Аполлон! Хведя! Пейте вволю.

— Да мы пьем...

Увидев вошедших, Маня поворотилась и к ним.

— Ребятки? Чайку на дорожку! Попейте, попейте горячненького.

— Дак и тово... — сказал дядя Федор. — Делу... гм... время, потехе час. Надо бы уже и... понимаешь... выходить.

— Сичас, сичас пойдем, — кивала Маня. — Я тебе, Саня, сумочку там сготовила.

* * *

К поезду, кроме гостей, потянулась чуть ли не вся поречная улица. Провожающие сами собой рассортировались по обособленным кулижкам. Впереди всех в праздной веселости, с шутками и всплесками частушек сразу под три гармошки, широко и вольно — кто где хотел и с кем хотел — брел по звонко-зеленому майскому лугу толкачевский молодняк — парни почти до единого в белых рубахах и галстуках, девчата все в пестром и веселеньком, будто полевое разнотравье.

За ними двигался с десяток разнокалиберных мужиков — почти все поголовье, уцелевшее после войны, — еще и не деды, но без должной матерости, одетые расхоже, в мятых штанах, с кирпично заветренными лицами, оттенявшими седые вихры и нестриженые загривки под насунутыми кепками и картузами. Двое не то трое из них приволакивались, опирались на батожки. Они шли, озабоченно поглядывая по сторонам, как бы прицениваясь к нынешним покосам, нагулу бродившего поблизости скота, к одуванчиковой россыпи первых гусиных выводков, каждый на свой лад радуясь выпавшему случаю оторваться от наседавших дел и забот и пройтись так вот, руки за спину, по вешней луговой вольнице.

Баб набралось во много крат больше, чем мужиков, что было естественно и привычно в итоге кровопролитной войны.

Еще и теперь женщины, Манины сверстницы, сплошь обездоленные, безмужние, мучимые ломью в суставах и поясницах, шамкающие полупустыми ртами, напрочь утратившие следы былой девичьей свежести и стати, составляли основное население послевоенных деревень и главную животворящую силу тогдашней российской земли. Они и поныне не оставляли своего первейшего ремесла — тетешкаться с ребятишками — теперь чаще с городскими заезжими внуками и внучками. С бабьей ватагой шла и Маня, пламенея своим маковым праздничным платьем.

До станции было версты четыре ходу: сперва лугом, берегом реки, а потом долгим песчаным узволоком, где буксовали, рвали моторы даже грузовые дизеля. Пешему человеку эта гиблая верста тоже нелегко давалась, особенно с ношей или с похмелья. Еще пока шли лугом, по ровному, Сашка раз да другой подходил к матери с попыткой отговорить ее не провожать дальше, не месить зыбучий песок после сердечного приступа, а попрощаться тут, на бережку, и поворотить обратно. Но Маня не хотела слушать этого обидного совета при народе, отпихивала от себя Сашку, кобенясь:

— Да что ты меня все гонишь? Чужие люди идут, а я, мать родная, брошу тебя, что ли? Да ни в жисть!

— Тебе полежать надо бы, успокоиться. Ведь только валерианкой отпаивали...

— Нечево меня укладывать. Еще належусь, успею...

— Не надо бы тебе так-то. — Сашка опять взял Маню под руку. — Пойми, мама, боюсь я за тебя...

— Да чево бояться? Чево страху зазря накликать? — Маня решительно высвободила руку. — Лучше налил бы рюмашечку. Поди, спроси у мужиков.

— Нету у них ничего. Все допили.

— Ну, тогда гляди!..

Маня отпихнула ничего не подозревавшего Сашку, в два прыжка подскочила к обрыву и со всего маху, взмелькивая красным подолом, ринулась вниз головой. Раздался тяжкий всплеск, будто в реку обрушился многопудовый кусок дернины.

Отшвырнув жалобно взмыкнувшую гармошку, Сашка, в чем был, сковырнув одни только лакированные штиблеты, кинулся следом. Набежавшие двое парней, мгновенно посбросав

одежку, тоже ринулись за Маней. Народ испуганно зашумел, запричетывал на обрыве:

— Чево наделала!

— Ополоумела, что ли?!

— С такой кручи! Да ишо выпимши... Там ить дна нетути...

— Грех-то какой!

— Бабы, бабы! — понеслось по лугу, — Манька утопла.

Бегущая сквозь века, безразличная к человеческому бытию, сомкнувшаяся над Маней и ее спасителями река, за время, пока все остальные онемело вглядывались вниз, вновь обрела свою прежнюю многоструйную зеленоватую устремленность, и даже перепуганная рыбья мелочь снова затемнела, замельтешила на прежних своих местах под зыбкой речной поверхностью.

— Мужики! — метались на берегу женщины. — Да что ж вы глядите, ей-богу?!

Несколько молодых ребят принялись стаскивать с себя рубахи, как десятком метров ниже по течению неожиданно показалась Манина голова.

— Да хватайте же ее! Ну что вы все, как онемели!

После затяжного, как в былой молодости, нырка, так перепугавшего всех на обрыве, Маня принялась колотить ступнями в клетчатых домашних тапочках, выбрызгивая целые взметы искрящейся воды и подгребая под себя попеременно лапищами, собачьим плавом направилась к береговой осоке.

Тут и налетели на нее Сашка и еще двое ныряльщиков. Они бесцеремонно подхватили Маню и выволокли ее сперва на береговой приступочек, а затем, переведя дыхание, и на сам травяной берег.

— Ну, напугала!

— Рази так можно?

— Снимай платье, давай выжмем. Мы загородим...

— А-а! Ладно. Сама высохну. Красота! — вдруг восторженно оповестила Маня. — Благодать-то какая! Вода — парное молоко!

— Да с чево, с какой досады так-то вот прямо в одежке в реку сигать?

— А чего он домой гонит? — кивнула она на тоже мокрого Сашку с зеленой россыпью ряски по белой рубахе. — Полежи да полежи... Ну как злу не быть! Чево меня заживо укладывать? Ты дай мне ружжо, дак я заместо Сашки служить готова.

И она, истово взвизгнув, крутнулась вокруг себя, осыпав окружающих щедрой капелью с взлетевшегося колоколом кумачевого платья:

— А ну-ка, Саня, — пришлепнула она ладошками и сбросила с ног набрякшие водой матерчатые тапочки, — Сольдиков! Сольдиков мне сыграй! Которые за два гроша!

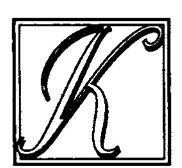
Сашка подобрал с земли гармонь, вздел ремень прямо на мокро проступившие лопатки. Подошли и те двое гармонистов, и они, покивав друг другу в знак готовности, разом распахнули ситцевую цветь дружно вздохнувших мехов.

Эта песня за два сольди, за два гроша.
С нею люди вспоминают о хорошем...

2002

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!

Дмитрию Борисовичу Спасскому —
заслуженному биологу



ак-то прибирался я на книжных полках, приводил в порядок разновеликие и разноименные творения, скопившиеся за многие десятилетия. Иные давненько не брал в руки, хотя и по-прежнему любил ровно и преданно за одно только их существование. Попалась оранжевая книжка стихов Александра Яшина с памятной веткой рябины на обложке. Эта ветка служила как бы символом, смысловым знаком всей его горьковатой и обнаженной поэзии. Разломил книгу наугад, в случайном месте, и вот открылись строчки, словно завещанные ушедшим поэтом:

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

А ниже звучит и вовсе моляще:

Сколько гибнет их — не счесть...
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Право, достал, достал меня Яшин этой своей тревогой, будто больно пнул мою совесть, умиротворившуюся было тихим сентябрьским деньком.

Не закрывая книги, я подошел к окну. А там исподволь уже делалось вот что: за минувшее лето уличные березки своими верхними побегами дотянулись до моего балкона на пятом эта-

же. Концевые листочки еще по-летнему весело и беспечно полоскались друг перед дружкой: «Я так могу, а я так умею!» Но первые утренники уже пометили их обманной лимонной нежностью, определив срок, когда порыв близкой невзгоды бросит их под ноги прохожих или вовсе унесет невесть куда.

А давно ли над этими березовыми вершинками с ликующим визгом проносились вставшие на крыло молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости задевавшие бельевые прищепки на балконе, которые и сами походили на вилохвостых ласточек, присевших передохнуть на протянутые веревки.

Стрижи исчезли в самый день Яблочного Спаса, когда в соседнем школьном саду еще дозревали, багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат которых в открытое окно опахал и мой письменный стол, отчего казалось, будто лето остановилось в своем необратимом благоденствии. Но как раз в этом голубом августовском безвременье внезапно обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и неуютом. Нас всегда смущает всякое прикосновение времени, его рокового перста. Неожиданный отлет стрижей и был знаковым предвестником надвигавшихся перемен, а мы, пребывая в ложном ожидании грядущей вечности, не всегда горазды уловить эти вкрадчивые перемены.

А между тем в легком перистом небе уже заходили предзимними кругами хороводы повзрослевших грачей. Они кружили высоко, на пределе своих возможностей, почти без взмахов, распластавшись крылами. Их гортанный переклик едва долетал из поднебесья. Грачи предавались доступной им радости своего бытия, взмыв над неприютной и всегда враждебной землей, на которой приходилось пребывать озираясь, а крылья держать наготове, будто взведенные курки. Эта радость кружения была выше радости сытости и покоя, потому что приходила вместе с чувством свободы. С бывалыми, умудренными птицами кружил молодняк, обучавшийся лету — крутым виражам и захватывающему скольжению с посвистом ветра в упругом молодом пере. Должно быть, каждый взлетевший впервые испытывал ликующую гордость от ощущения себя птицей, не ведающей, что ждет ее там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и грянут цепенящие морозы.

Синицы объявились прилюдно только с первой прохладой. Они не попадались на глаза все минувшее лето, и даже не было

слышно их тонко зинькающего голоса. В летнюю пору, поглощенные семейными хлопотами, они напрочь исчезали из виду и вели скрытную неслышную жизнь в кронах окрестных деревьев, порой прямо у нас над головой. Да и до песен ли, до праздного ли мелькания, пока не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых пискунов? И каждый, едва только забрезжит свет, уже пуще другого разевает оранжевую глотку: дай, дай, дай! Вот и крутись мать-синица с утра до вечера: в гнездо с букашкой, из гнезда с какашкой... Сказано это не ради смешка. Если за оглоедами не убирать, то вскоре этим непотребством гнездо наполнится до крайнего предела.

Да и сами-то букашки — они ведь не на каждом кусте, не на всяком листе. Их еще и разыскать надобно, да исхитриться поймать. Те ведь тоже умеют прятаться или притворяться не тем, что они есть. Да еще желательно, чтобы добыча была не кусача, не растопырена во все стороны. А то иная гусеница так устрашающе волосата, будто ерш для чистки бутылок, а малиновый клоп этак вонюч, что с души воротит. А пуще всего подавай им пауков, что развешивают свои тенета меж кустов и построек. Их брюшко наполнено уже готовой белковой кашицей, которую они сами высасывают из мягкотелых насекомых. Такой паучок для птенца сущее лакомство, за которое он готов выклевать глаз своему братцу и даже вытолкнуть из гнезда.

Все эти премудрости мамаше надо знать, чтобы не летать попусту, не носить в гнездо напраслину. В иной день до трехсот вылетов приходится совершать родителям в поисках завтраков, обедов и ужинов для своих ненасытных чад. А в иное благоприятное лето, не дав себе опомниться, собраться с новыми силами, синичья пара заводит новую кладку. И все начинается сызнова: туда-сюда, туда-сюда с рассвета до заката, без отгулов, без выходных. Поглядишь на эту птаху-кроху — в чем только душа держится: комочек перьев на тонюсеньких ножках да пара бусинок черных глаз, а какая материнская отвага, какое самопожертвование! А то бывает: папаша еще докармливает первый выводок, а синица-мать тут же поблизости, в запасном гнезде, насиживает яички второго захода...

Наш великий классик Пушкин как-то не подумавши написал:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...

Ой ли, однако!

И все же напрашивается вопрос: зачем синице этак напрягаться, выбиваться из последних сил? Для чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл такого самопожертвования?

А резон тот, что уж больно много этих милых, веселых, никогда не унывающих птичек погибает в лихие зимы. Из дюжины выращенных птенцов одолевают холода едва ли две-три синички. Оттого генетический механизм устроен таким образом, что синицы, дабы вовсе не сгинуть со свету, вынуждены выращивать потомство с большим запасом, как бы упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь да уцелеет... Такую жестокую дань они платят за то, чтобы не покидать свою родину, не искать чужого тепла и сытости, как делают иные, а еще для того, чтобы с первым дыханием весны оповестить округу своим веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть невзгоды и встретить желанную весну — надежду всего сущего в мире — воистину дорогого стоит!

И Александр Яшин напоминает нам об этой удивительной верности:

Разве можно забывать:
Улететь могли б,
Но остались зимовать
Заодно с людьми.

В предзимье каждый выводок начинает совершать кочевые облеты того участка, который достался ему как бы в родовое наследство. В соседнем школьном саду перепархивают синички одной семейки, тогда как насаждения нашего переулка — уже вотчина другого выводка. Всякое посягательство на чужую собственность пресекается строгим синичьим законом. Свои хорошо знают друг друга и ревностно следят, чтобы в их владения не залетали чужаки — особи без определенного места жительства или, по-нашему, бомжи.

Садовый участок, конечно, побогаче, поукормистее уличного. Там растет десятка полтора фруктовых деревьев, в шершавой, растресканной коре которых много укромных затаек для всяких куколок и зимующих яичек. Кроме того, яблони имеют широко распростертую крону, и не все листья опадают с

похолоданием. От укусов насекомых, под воздействием специальных ферментов эти листья сворачиваются в трубочки, фунтики и прочие пригодные упаковки, в которых и зимуют зародыши будущих вредителей. Но кроме яблонь и груш в саду много и чего другого: вишенника, смородины, непроходимой черноплодки и даже ломкой пустотелой бузины, из которой получаются отменные трубочки для стрельбы на уроках жеваной бумагой.

Владельцам же уличного участка скоротать зиму намного хлопотней. В их распоряжении всего-то несколько березок, парочка рябин, куст всегда пощипанной черемухи, костлявая неприютная акация, с которой даже собачата избегают общаться...

А еще разогнавшийся было в рост молодой каштан, этот лопоухий и простодушный верзила, которого вскоре и обрубили с одной стороны, чтобы не мешал телевизионной антенне. Впрочем, каштан у синиц не считался гостеприимным деревом: он рано сбрасывал свою квелую листву, в неприступных колючих плодах не заводится червоточины, а ветви его просты и незамысловаты для укрытия поживы.

Что и говорить: не велик и не густ лес в нашем переулке, всех его щедрот едва ли хватит, чтобы можно было десятку синиц безбедно скоротать предстоящую зиму.

Ну, допустим, в октябре, когда еще не вся листва опала, удается отыскать какое-никакое пропитание: глядишь, синяя муха села погреться на теплую, озаренную солнышком древесную кору и даже довольно потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе места для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-то поукромней; а то и шальная бабочка, будто с похмелья, вдруг неловко затрепыхает своими цыганскими оборками над сладко, обманно повеявшей на нее черемухой. Но сколько понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз в сутки склевать что-либо съедобное в промозглом, то сыплющем моросью, то секущем колючей крупкой ноябре? И сколь раз синичка с надеждой постучится в окно, завидев зелень на подоконнике? А в пугающем омертвелостью голых ветвей декабре? А в крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль — не подарок и, считай, половина марта — не мед.

Каждый день стайка синичек из конца в конец облетает свой небогатый, задымленный автомобильными выхлопами

уличный участок. Уже давно развернуты и обысканы подозрительно скрюченные листья, обследованы все трещины и щербатинки на каждом стволе, все развилки и надломы в кроне. Но все реже и ничтожней добыча, все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни.

И вот, сколько ни старайся, сколь ни оглядывай уже много раз осмотренные места, наконец приходит то роковое время, когда ничего не нашедшая, окончательно выбившаяся из сил, голодная, мелко вздрагивающая птаха забивается в свое гнездовье, а то и просто в какую-нибудь застреху или поленницу дров, где столь же люто, как и снаружи, где по-нашему не включишь свет, не затопишь печку, не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь ее под озябший бок и где, подобрав под себя одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову морозно шуршащими крыльями, забывается она в опасном беспамятстве. Так, едва вживе — каждую долгую ночь, которая в глухую пору начинается в пять часов вечера и тянется, терзая птаху лютостью, до девяти утра следующих суток. И каждый раз — без надежды, что эта ее ночлежка озарится для нее новым грядущим днем...

В безнадежную пору зимнего прозябания начинает рушиться порядок в синичьих семьях. Одни, отчаявшись, покидают родное урочище и принимаются скитаться по чужим местам — всегда гонимые и не принятые, другие пускаются обшаривать помойки, мусорные баки, всякие свалки и скопления мусора. Иные превращаются в профессиональных воришек-«домушников», устраивая шмон везде, куда возможно заглянуть и проникнуть, вплоть до плохо закрытой кастрюли с застывшим говяжьим борщом, выставленным хозяйкой на балкон вместо холодильника. А то и залазят в сетчатые авоськи, если там окажется курица, и даже внутрь выпотрошенной курицы.

Голодное, нищенское существование птиц (как и людей) нарушает свойственное им поведение. Шастанье по мусоркам и задворкам, случайные ночевки в закопченных расщелинах печных труб, в вентиляционных вытяжках и всяческих закутках, источающих самую малость тепла или хотя бы заслоняющих от ветра, со временем оборачиваются тем, что синицы утрачивают свою природную статность и привлекательность, от неопрятности бытия тускнеет, обтрепывается некогда нарядная одеж-

ка, приводить в порядок которую постепенно пропадает желание. Из прежних, ладно пригнанных рядков оперения часто выбиваются встрепанные, вывернутые наружу перышки, так и не заправленные снова вовнутрь, как бы сделала нормальная сытая синица. В эту зимнюю невзгоду появляются и просто бесхвостые синицы, не иначе как побывавшие в лапах таких же голодных и обездоленных наших прежних диванных мурлык, некогда мытых шампунем и пухово расчесанных гребнем.

Не доводите, пожалуйста, до этой унизительной стадии наших крылатых единопланетян и начинайте мастерить кормушки.

Лучше это делать в разгар листопада.

Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело:

Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Кормушка — вещица нехитрая. Под нее иногда приспосабливают даже обыкновенный пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится. А вообще-то кормушки всякие важны, кормушки всякие нужны... Только не надо их путать с птичьими домиками для жилья. Конструкций таких домиков великое множество, по крайней мере, на страницах всяческих изданий: от «Веселых картинок» до «Сада и огорода на вашем балконе». В иные годы пускаются конструировать птичьи коттеджи даже такие солидные органы, как «Труд» и «Сельская жизнь», а также многочисленные общества и организации, вплоть до любителей стрельбы по боровой и водоплавающей дичи. Устраиваются межрегиональные выставки и конкурсы на предмет «Чей дизайн лучше?» с вручением призов и почетных грамот. Правда, случается это всегда весной, когда приходит маревая теплынь и сочатся соком расковырянные березы, когда всем хорошо — и уцелевшим после зимы птицам, и особенно самим конструкторам: весна же! Пора сбросить надоевшее пальто и вволю позабавиться лазаньем по деревьям. В иных коллективах День птиц проводится даже под пиво и музыку.

После такой вдохновенной жилищной кампании в наших садах и рощах пернатых становится гораздо больше. Осчастлив-

ленные птицы, обзаводясь потомством, особенно не просчитывают, что с ним будет зимой. Устроители же веселого Дня птиц тоже не больно задумываются на сей печальный счет...

Кормушку не принято вывешивать под музыку. Деяние это во многом личное, схожее с исповедью. Оно столь же необходимо птицам, сколь и нам самим, ибо приносит очищение совести и благотворение души поступком. Выждав, когда в доме никого не остается, я принимаюсь мастерить, заведомо испытывая чувство внутреннего очищения и уважения к самому себе. В память об Александре Яковлевиче Яшине я вывешиваю кормушки вот уже несколько осеней. Придумки бывали всякие. Этой же осенью, в связи с появлением разных пластиков, я решил сделать по-новому. Первым делом я отпилил дощечку величиной с почтовый конверт. Она послужила донцем кормушки. А крышу я решил сделать из пластиковой бутылки, которые теперь есть в каждом доме, но к сожалению, и не только там...

Ножницами я отрезал от бутылки донышко и воронковидную горловину. Остался пустотелый цилиндр, или, проще сказать, — труба. Эту трубу я разрезал вдоль по одному боку, после чего края разреза прибил посылочными гвоздиками к большеньким сторонам дощечки-донца. Получился домик, похожий на фургон с округлой прозрачной крышей, сквозь которую будет хорошо видать, что делается внутри, — своего рода кафе-«стекляшка», где всякий на виду. Остается теперь с одной торцовой стороны прикрепить петельку для гвоздя, а с другой — веточку, можно с разветвлениями, так называемую присадку, на которую будут опускаться гости.

Свое изделие я повесил на вертикальном створе оконной рамы так, чтобы тюлевая штора скрывала меня своими узорами, зато я мог бы хорошо видеть все, что делается снаружи.

Однако, пока стоят еще погожие октябрьские деньки, заправлять кормушку едой не следует. Поспешное гостеприимство не пойдет на пользу птицам. Особенно молодым, еще не имеющим достаточного опыта добывать себе пропитание в естественных природных условиях. Многие зимующие птицы легко и быстро привыкают к кормушке и через день-другой запросто залетают в нее уже с наработанным проворством и бесцеремонностью, как к себе домой.

Но как неуютно и потерянно чувствуют они себя, если кормушка по каким-то причинам оказывается пуста: иссяк ли за-

пас зерна или устроитель птичьей столовой отлучился на несколько дней в командировку, а то, часом, и занемог, слег в больницу и т.п. Раз-другой посетив опустевший закромок, бывалая синица вскоре переключается на прежний способ пропитания, принимается, хотя и без видимой охоты, рыскать в кронах деревьев.

Молодняк же продолжает настойчиво заглядывать в кормушку, особенно перед вечером, и на синичьих недоуменных мордашках проступает недавнее, детское «дай, дай, дай!».

Ночевать впустую, не поевши, особенно в холодные ночи, — дело, конечно, неприятное, а для синиц — и рисковое. Они, в отличие от медлительных и созерцательных воробьишек, не запасают жирка впрок. Да и у воробьев его — только-только про черный день. А у синицы и вовсе... Все съеденное, весь запас энергии она расходует на движение, на свою непоседливость. Эта исключительная подвижность и предприимчивость обеспечивает синицу пищей, а добытая пища гарантирует ей подвижность. Нет еды — нет и активного движения, нет движения — не будет и еды. А без одной из этих составляющих итог печален... Почти как и у многих людей, не накопивших валютного жира...

Первейшим птичьим кормом не так давно считалась конопля — эта малюсенькая кубышечка, наполовину состоящая из высокооктанового топлива, то есть растительного жира. Она являлась кормом всей клеточной пернатой живности: щеглов, чижиков, коноплянок, реполовов, зеленушек, овсянок... Некогда коноплю сеяли почти в каждом крестьянском хозяйстве. Из нее добывали прекрасное душистое масло, без которого блины — не блины, заготавливали посконь для домашнего тканья, которое шло на рушники, скатерти и крестьянскую одежду. Если бы спросить, чем пахла тогдашняя Россия, то можно смело сказать: не антоновскими яблоками, не медами, не подмаренниками, а в первую очередь коноплей — полевой потаенной горечью отчей земли.

Но с некоторых пор это замечательное растение провинилось перед человечеством: злой умысел приноровился извлекать из него еще и вредоносные наркотики.

По этой причине я уже много лет не видел живой конопли, кажется, не стало ее зерен и в птичьих лавках.

Ныне коноплю заменил подсолнечник. Тоже прекрасный калорийный корм, правда, доступный не всякой птице. Особенно так называемые семечки, которыми торгуют тетки на перекрестках. После каления на сковороде их скорлупа обретает чрезмерную крепость. Надо видеть, сколько усилий приходится прилагать синице, чтобы вскрыть жесткое теткино семечко своим тоненьким и хрупким клювом. Иногда эта попытка не приводит к успеху и синица вынуждена ронять так и не расщепленное зернышко.

Лучший из подсолнечников — полевой, тот самый солнечный круг, когда он еще весь в обрамлении оранжевых лепестков, а сам его лик подернут рядками бронзовых соцветий. Но при одном условии, что он уже пребывает в стадии созревания: ядрышко налилось и сформировалось, а кожура еще не затвердела до древесной прочности. Такой подсолнышек для птиц — первое лакомство. Стоит только выставить его за окно, как все синицы округи — тут как тут! Видно, они еще издали чуют его острый, влекущий запах.

К сожалению, подсолнух «кругом» недолговечен, и, если его не заготовить вовремя, то приходится довольствоваться весовым зерном. Но отнюдь не поджаренным, не из бабушкиных полустаканчиков и бумажных фунтиков, которые у нас обычно покупают, идя в кинотеатр...

Можно предложить синичке ломтик свежего свиного сала величиной со школьный ластик. Только непременно несоленый! Ломтик прикрепляют мягкой проволочкой тут же, рядом с кормушкой, или даже на присадочной ветке. Синичка жадно набрасывается на него и долбит с таким азартом, особенно когда сало затвердеет на морозе, что стук ее клюва слышен даже в комнате.

Все это — любимая синичья еда. Но в кормушку можно засыпать также и обыкновенное пшено, льняное семя, вышелушенный репейник, сечку гречи и просто хлебные крошки, словом, все, что окажется под рукой. И хотя по причине своих пищеварительных особенностей синица не расположена к «постной» пище, зато на такое разнообразное угощение могут пожаловать и другие окрестные обитатели, в первую очередь дворовые воробьишки. Они ведь тоже птахи и тоже жестоко страдают зимней порой! Недаром сказано: синица — воробью сестрица.

Серым, не очень уютным утром, мотавшим концы голых берез, я открыл свое кафе для птичьего посещения. Как водится, по случаю открытия предлагалось самое разнообразное меню, была даже тертая морковка, но главенствовал все же полевой подсолнечник, вытеребленный из выспевших кругляшей.

Так знаменательно совпало, что это предзимнее утро явилось началом для почитаемого в святцах Зиновия-Синичника, покровителя всех зимующих птиц. В старинных книгах его изображали с горстью зерен на протянутой ладони — совсем как у Александра Яшина: «Горсть одна — и не страшна будет им зима». Пока я заправлял кормушку, с балкона был слышен благовест Сергиевского собора, призывавший верующих к молитве и добрым делам.

Синичка будто ждала в гуще берез, пока я затворю за собой дверь, и тут же объявилась на железном урезе балкона. Это оказался сам птах, возможно даже, что глава уличного синичьего клана! Ну хорош, хорош, пострел! Бодр, свеж, подтянут. Белый стоячий воротничок подпирает округлые щечки; атласный шейный платок небрежно выпущен поверх горчичного чичиковского жилета; отменного кроя зеленый фрак с черными фалдами чудо как впору: нигде ни лишней складочки, ни пустяшного зажимчика. На рукавах — все шевроны, шевроны, как бы служебные знаки отличия. А черные глазки, что буравцы, — так и шьют, так и сверлят. Перед таким красавцем не то что горсть семечек веером рассыплешь, а и все карманы повывернешь.

Птах пошустрил глазами направо-налево, бочком-бочком проскакал по балконному перильцу поближе к заведению и вдруг легким спорхом перебросил себя на веточку-присадку. В один погляд он оценил строение, убедился, что все устроено без подвоха, и, не труся, не озираясь, с неспешным достоинством снял с ворошка самое верхнее подсолнечное семечко.

Расклевывать его тут же, принародно он себе не позволил, а слетел на соседнюю березу и только там, уединившись, принялся за утреннюю трапезу.

Но, разумеется, стук клюва по скорлупе не утаишь: тотчас поблизости, на соседних ветках, лимонно замелькала еще парочка синичек: «Ты что там делаешь?» После того как Птах слетал за вторым семечком, те две сразу и сообразили: что и где дают.

И пошло, и замелькало: туда-сюда, туда-сюда. С дерева — на кормушку, с кормушки — на дерево.

Синицы никогда не едят скопом, как воробьи или голуби, не устраивают «кучу малу», а непременно чередуются. Так кормятся они и в природе, перепархивая с ветки на ветку на приличествующем расстоянии. Такая предупредительность объясняется тем, что их корм в естестве не бывает насыпом, а всегда нуждается в поиске. А для поиска нужно дать время. Оказывается, подобная деликатность рождается целесообразностью, полезной для всего клана.

Но зато сильный всегда ест первым, если пищи оказывается сразу много, как в нашем случае с кормушкой. И это тоже в общем-то синицам на пользу: для сохранения вида нужны крепкие особи, выстоявшие в борьбе за выживаемость.

Примерно то же самое ныне происходит и с нами, в пору нагой силы и бесправия, не правда ли? Что ж, дикая сила — она ведь на определенной стадии тоже участвует в становлении разума. А пока блага — не по закону, а по весьма условной совести. Самому же совестливому Бог подаст и упокоит.

Именно такая совестливая душа и объявилась на другой день у кормушки. Это оказалась синичка-лазоревка. Ну такая махотуля, такая кроха, меньше и выдумать нельзя. Что твой пуховой бубенчик на малышевой шапочке. А ведь тоже ежегодно высиживает по двенадцать-пятнадцать деток. А лазоревкой ее зовут за то, что много на ней голубых и лазоревых перышек и в крыльях, и в хвостике, и даже шапочка на ней не черная, как у обычных синиц, а нежно-голубая.

Сквозь штору вижу, что и ей хочется отведать подсолнушка, переминается на перильце, тянет головку, вострит крылышки, однако все ей боязно сунуться в синичью круговерть: враз затолкают, уронят наземь, а прав у нее никаких — чужая она, нездешняя, может, и не курская, и никто ее здесь не знает, даже не принимают за синицу. Теперь вот кочует, пробавляется, чем придется, пробирается на юг до тех пор, пока будут встречаться деревья. Да вот запахло семечками, поди, останется тут на недельку, пока кормят...

Наконец, выпал такой благовидный момент, когда на пороге кормушки никого не оказалось. Лазоревка, обмирая, шмыгнула вовнутрь фургончика-стекляшки, второпях схватила случайное семечко, оказавшееся пустым, еще больше сомлела от

неудачи, выронила его долу, взамен ухватила другое, на ощупь полненькое, и, едва не столкнувшись в проходе с подлетевшей синицей, успевшей, однако, больно ущипнуть ее за голубую шапочку, с колотящимся сердцем, но счастливая, упорхнула на самую дальнюю березу, где и затерялась среди россыпи сережек.

А спустя еще день на суету синиц неожиданно прилетел поползень — прочно сложенный крепыш в простом, однотонном сюртуке без излишеств, с коротким и упористым хвостом. Он и в самом деле опирался на него при лазаньи по стволам. Сразу видно — деловой, себе на уме господинчик. Ему б еще ряд пуговиц по белому брюшку. За синицами он всегда послеживает, будто пристав, ошиваясь поблизости, присматривая за ними то от комля, то с верхушки дерева, вися вниз головой. Все видит, хотя глаза и перевязаны черной тесьмой — так, для блезиру. Знает: коль синицы замельтешили, стало быть, обнаружили поживку. С долгим, крепким клювом, уверенный в своем праве, поползень не стал занимать очередь к закрому, а прямо так и плюхнулся откуда-то на присадку, упреждающе огласив: «Цит, цит!» — дескать, цыц у меня!

Синицы послушно разлетелись по березам. Подсолнечное семечко поползень расщелкнул без всякой долбежки, в один нажим, а кожуру ловко пустил по ветру. Еще раз подцепил черное семечко, так же мигом извлек из него белое ядрышко, мелькнувшее в клюве, но, узрев что-то неладное за оконной шторой, выкрикнув свое «цит, цит!», упорхнул восвояси.

Но ничего, впереди долгая зима, он, гордец, еще не раз прилетит.

Забавные минутки доставили мне местные воробьи. Все эти дни они, увлекшись вытеребливанием семян, мельтешили в путаных зарослях спорыша на соседнем стадионе и потому прошляпили открытие халявного «кафе», где все дают за здорово живешь. Набежавший фокстер выпугнул их из травы, и они с дождевым шумом расселись по нашим березам.

А дальше все просто: сначала один Чив слетел на балконную железку, потом рядом сел второй, и пошли нанизываться пушистым, неощипанным шашлычком — один к другому, один к другому — все восемь воробышей, оказавшихся в наличии на сей момент. Сидят рядком, словно и взаправду нанизанные на шампур: бок о бок, душа в душу, хитроватые, плутоватые пух-

лячки, в любой миг готовые смыться, глядят в восемь пар черных бисеринок, все видят, все примечают.

В отличие от синиц, промышляющих порознь, так сказать, рыночным способом, воробьишки предпочитают жить ватажкой: куда один, туда и все. У них вроде как социалистический метод хозяйствования: один ищет еду для всех, все — для одного. Этот артельный способ их вполне устраивает. Совсем как в песне: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

В ихней артели старшего нет, всем правит инициатива. Вот и теперь: кто-то из восьми, какой-то осмелевший Чив, первым нырнул под крышу «стекляшки». Тотчас и все остальные взметнулись тоже и принялись осаждать «кафе». Внутрь удалось протиснуться только половине, остальные пытались удержаться на крыше. Однако коготки не ухватывали скользкий пластик, и воробьишки кубарем сыпались с округлой кровли. Поднялись шум, гам, чивиканье, мельтешение крыльев. Неудачники забирались на спины сотоварищей, те отпихивались и щипались клювами.

И вдруг на фургончик грузно плюхнулся голубь — обыкновенный чердачный сизарь. Под его тяжестью кормушка скособочилась, так что посыпались и семечки, и пшено. Воробьишки — и те, что стиснуто клевали внутри, и те, кто суетился около, — все разом исчезли из виду.

Сизарь, подергивая маленькой оранжевоглазой головкой, несколько раз заглянул с крыши вовнутрь заведения, но по природной несмышлености так и не сообразил, как ему добраться до еды. Решив, что это все не про него, он перелетел на балконное перило, а с него, повернувшись вокруг себя, сронился вниз, на тротуар — к плевкам и окуркам.

И опять запорхали, замелькали синички.

Тем временем зима, эта подколодная змея, день ото дня все больше заглатывала лето, умерщвленное ненастьем и холодами, от которого остались лишь одиночные листья на деревьях да жухлые бархатцы на уличных газонах. И вот сегодня крутой ночной морозец льдистой повителью расписал мое окно, из которого больше не стало видно кормушки. Пришлось делать продых, этакий круглый зрачок в морозных художествах минувшей ночи. Но и без того было видать, как за матовым узо-

рочьем, поторапливаемые морозом, учащенно порхали озябшие синицы.

В обтаявшую продушину я и разглядел еще одну страждущую горемыку. Это была обычная желтозобая синька. Она нахохленно сидела на промерзшем железном периле балкона, как-то странно вздергивая плечиками, стараясь удержать крылья наподобие заглавной буквы «А». Из-под ее встрепанного брюшка омертвело высовывалась правая лапка с беспорядочно скрюченными серповидными коготками.

Я сразу уяснил себе причину этого ее странного подергивания крыльями, которые она всякий раз пыталась расставить пошире, чтобы опираться на них, будто на больничные костыли. Было ясно, что у нее осталась живой только одна левая ножка.

Что это: последствие удара коварной западни или мертвая хватка лавсановой петли, подстроенной каверзными ребятишками? Сотворившие это — теперь вот зрите свое злодеяние!

Синька перепорхнула на присадку и, помогая себе частыми взмахами крыльев, все же ухватила крайнее семечко. С ним она снова вернулась на балконное перило, где попыталась расклевать добычу. Но этого не получилось. Для успеха ей необходимо было удерживать подсолнечную зерновинку между обеих лапок, как делают это все нормальные синицы. Так что зернышко осталось нетронутым. Синька слетала на кормушку еще раз. Но и второе семечко тоже пришлось выронить. Она и в третий раз ухватила зернышко и улетела с ним на березовую ветку, надеясь, что там ей повезет. Но я-то уже понимал, что, куда бы ни улетела она со своей добычей, теперь уже нигде и никогда хромоножке не расклевать неподатливую кожурку.

На другой день Синька объявилась снова. Но все ее попытки добыть желанное ядрышко оказались напрасными. Она пробовала даже ложиться на бок, чтобы освободившейся лапкой удерживать семечко. Но, чтобы его расщепить, требовалась жесткая опора. На весу это никак не получалось.

В этот вечер, когда все остальные синицы заведомо разлетелись по своим ночлежкам, хромоножка еще долго согбенно сидела на холодном балконном закрайке, пока мороз снова не затянул окно веселой замысловатой ботвой.

С той поры Синька больше не появлялась на моем балконе. Где она теперь? Что с ней? Уж не полетела ли за сине море искать лучшую долю?..

На предстоящую неделю наметил себе два неотложных дела. Наперво — сходить за реку, пособирать всякого корму, какой еще был доступен: ольховых шишек, из которых после просушки можно натрясти съедобных крылаток; семян репейника, что под каждым забором; мелких черных зернинок огородной щирицы. Все еще гроздьями свисают винтокрылые семена клена — лакомство для снегирей. Однако эти осторожные северные гости редко слетают на кормушку, тем более если она вывешена не на открытом месте, скажем, в саду или в парке, а приспособлена к жилому окну.

А вдруг снегирек и ко мне слетит? То-то будет праздник!

А второе дело — размножить на принтере стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц» и расклеить на видных местах.

Размножил и расклеил: у подъезда своего дома, на двери почтового отделения, на ближайшей автобусной остановке, возле кинотеатра «Юность», у входа в булочную, на аллеях «Парка пионеров», под навесом соседней школы и просто на фонарных столбах. И еще осталось сколько-то — для раздачи знакомым.

Недели через две, когда крыши домов, газоны и стволы деревьев припорошил неспешный снежок, отправился посмотреть окрест, как воздействовал Яшинский призыв, — ведь минувших двух недель с того дня, как я расклеил стихотворение, вполне достаточно тому, кого оно растревожило, всколыхнуло душу, чтобы смастерить и вывесить кормушку.

Перво-наперво обошел по периметру наш двухсотвосемнадцатиквартирный дом-громадину — нигде ничего, ни одной кормушки. Только возле моей, как и прежде, перепархивали воробьи и синицы.

На соседнем строении тоже ничего. Оглядел дом напротив — пусто.

Не обнаружил я свежесколоченных кормушек ни в школьном саду, перед окнами гимназии, в которых иногда видно, как повзрослевшие старшеклассники в замечательных нарядах учатся прекрасному — пластичности бальных вальсов и мазурок...

Уныло и голо оказалось и на аллеях «Парка пионеров», где кто-то по дикости ума совсем недавно перебил ноги скульптурной лани, а гипсовому кенгуру отшиб оба уха...

Горько и одиноко после всего этого, тем горше, что заключительные строчки Яшинского стихотворения звучат так:

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Но надежда умирает последней. Вдруг вижу на автобусной остановке давнего своего знакомого — тонкого, прогрессирующего живописца, приверженца Сальвадора Дали.

Обрадованно пожав его руку, я извлек из бокового кармана куртки листок с Яшинским стихотворением.

— Слушай, на, почитай!

— А что такое? — Он был чем-то радостно озабочен и взял листок отстраненно, двумя пальцами, как обузу.

— От души написано... — вдохновенно пояснил я.

— Покор... Покормите птиц, — машинально произнес он заголовок и тут же протянул листок обратно.

— Да ты почитай, почитай! — настаивал я, возвращая бумажку.

— А-а! Некогда мне их кормить! — отвел он листок, а заодно и меня тоже. — Еду я, уезжаю... Уже билет на руках.

— И куда?

— За океан... — махнул он куда-то в сторону. — Теперь там птиц кормить буду... — И, усмехнувшись, добавил: — И сам кормиться...

* * *

И еще одно благое дельце надо было довести до ума... Уже давно собирался заиметь стапелию, дающую удивительные цветы, похожие на золотые ордена Славы. Отводок мне обещали. Надо было только приготовить горшочек с подходящей землей.

Вспомнилось, что еще летом набрал хорошей зернистой земли из кротового выброса. Хранилась она на балконе в резиновом четырехгранном ведерке, предназначенном для шоферского обихода.

Заглянул в кромешную глубину, а там, на черной, уже, должно, промерзлой земле зеленоватым отливом мерцала какая-то птаха. Она лежала ничком, уткнувшись клювом в почву,

широко, из угла в угол, распахнув крылья. По скрюченной лапке, торчавшей из-под правого крыла, я узнал в ней хромоножку Синьку, так и не склевавшую ни единого подсолнечного семечка. Этой распахнутостью крыльев, обнимавших квадрат луговой земли, Синька как бы олицетворяла Яшинское:

Улететь могли б,
А остались зимовать
Заодно с людьми...

2000

Москва,
25 апреля 2001 года

Церемония вручения Литературной премии
Александра Солженицына 2001 года
и прием по этому случаю состоялись
25 апреля в московском Доме Русского Зарубежья.
Слово от имени Жюри,
присудившего данную Премию
Евгению Носову и Константину Воробьеву (посмертно),
произнес
Александр Исаевич Солженицын.

С ответным литературным словом на церемонии выступил
Евгений Иванович Носов.

Александр Солженицын

ерез жизни и литературные труды Константина Воробьева и Евгения Носова, уроженцев Курской земли и невдали друг от друга, — Великая война пролегла несмываемыми, многопоследственными полосами.

У Носова в «Усвятских шлемоносцах» — эпическое озарение: первый зов и сплошной уход крестьянского народа на войну — с той покорностью и мужеством, с каким он уходил и уходил век за веком на столькие войны и войны. Ощутимы эта неоспорная поступь и ее былинный смысл. Это впечатление усиляется тем, что хотя в повести формально и даны черты колхозной жизни, но в какой-то расплывчатости, а проступает вечность мужика на земле, в своем родном краю и грозность предвоенного расставания с семьями, с детьми: сколькие ли вернутся?

Тема переходит к Константину Воробьеву — ноябрьскими боями 41-го года под самой Москвой, которых он был участник, высокий момент грозности для всей страны, когда маячило едва ль не обрушенье ее. Только чтобы написать о тех днях — автору предстояла многолетняя выдержка: там-то, под Москвой, он попал в немецкий плен.

Это новое, разящее, уму не представимое бытие, по сути грозившее в тот год любому воюющему, бытие, смертную жестокость которого нельзя было и близко вообразить тогдашней советской молодежи, воспитанной в победных обещаниях,— врезалось в грудь молоденького лейтенанта по сути как тема всей его жизни. Захватило не только обреченное тело пленника-новичка, но в первые же недели и мысль его: э т о г о никто у нас не

Новый мир, 2001, №5.

представляет! об этом — непременно рассказать, если только выживу. Лагерь подо Ржевом: средь снежного поля он — темное прямоугольное пятно, оттого темное, что губами ползающих военнопленных «съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега» — чтоб утолить жажду: ведь им не привозят воды.

Дальше пленная судьба Воробьева, прошедшего и другие лагеря, развивалась драматически: когда их повезли в Литву — на ходу поезда он вылез из окошка товарного вагона, повис на привязанной портянке — и спрыгнул. Товарищ ушибся насмерть, а Воробьев повредил ногу. Схоронив товарища, он несколько дней бродил по литовским лесам, но потерянная подвижность обрекла его на новый, повторный плен. Теперь он узнаёт и страшные тюрьмы в Паневежисе и Шяуляе — смертники в камере «в одном исподнем белье сидели, тесно прижавшись один к другому. Глаза каждого казались дегтисто-черными: зерна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом»; и худо знаменитый Саласпилсский лагерь под Ригой, где, в косячке соснового леса, все сосны, сколько может дотянуться рука человека, обглоданы военнопленными от коры — а выше того на стволах кора осталась. — Наш автор находит мужество и умение бежать из этого лагеря и свыше года, до прихода советских войск, пробыл в лесных партизанах, составленных из бежавших военнопленных и поддержанных из Москвы. За это время Воробьев на месяц укрывался на конспиративной городской квартире — и в нервности не успеть и под ежедневной опасностью захвата, то, что называется «репортаж с петлей на шее»,— освободил душу от неразделенного бремени, написал повесть «Это мы, Господи!» — первую да и последнюю в советской литературе о немецком плене — только бы наши узнали, знали об этой судьбе совсем ничтожной малости — пяти миллионов советских воинов! И написанное — зарыл в землю.

Однако советское *освобождение* несло бывшим советским пленникам новое недоверие и допросы. «С каким полуночным вниманием ящеров глядели на нас смершевцы, когда задавали вопросы, почему мы остались живы». В героическое сопротивление — у смершевцев не было веры. И Воробьеву, может быть, не удалось бы избежать лагеря, теперь уже советского, если б его следствие не шло в прямом соседстве с партизанскими местами и, значит, десятками свидетелей.

Но теперь-то, хоть по концу войны, мог он наконец рассказать соотечественникам, что такое был немецкий плен, о чем никто в Союзе не имел понятия? Свою повесть он послал в «Новый мир». Но она была, конечно, отстранена: власть победителей не хотела знать, кому и во сколько досталась Победа. Повесть отбросили — и этим «ударом в спину ножом», как назвал Воробьев, он был ранен надолго, надолго — больше он не пытался печатать ее до конца жизни — по полной безнадежности. Лишь два коротких его рассказа, связанные с пленом, много позже увидели свет — «Немец в валенках» и новеллистически отточенная «Уха без соли»,— оба просвеченные человечностью. Да тема-то оставалась неисчерпаемой: а кто когда расскажет о жестокой борьбе между пленными за выживание на краю гибели, и сколько зла и низости обнажалось при этом? или об изможденных процессиях под конвоем — как пленных гонят за повозкой с трупами закапывать своих умерших?— «Это мы, Господи!» напечатали — лишь через 40 лет, уже в «перестройку».

А человеку, жаждущему правды, невозможно брести в реке лжи. Воробьев читал и читал, что полилось в печати о фронте, о войне,— и приходил в ярость от перекажения, от облыгания. Даже честные публикации были искажены утайками и полуправдой. И при начале общественного оживления, в 60-х, Воробьев написал две прямодушные повести о подмосковных боях — «Крик» и «Убиты под Москвой». В них мы найдем, при всем скоплении случайностей и неразберихи любого боя, и нашу полную растерянность 41-го года; и эту немецкую легкость, как, при лихо закатанных по локоть рукавах, секли превосходными автоматами от живота по красноармейцам; и тупость неподготовленных командиров; и малодушие тех политруков, кто спешил свинтить шпалы с петлиц и порвать свой документ; и засады за нашей спиной откормленных заградотрядчиков — уже тогда, бить по своим отступающим; и еще, еще не все поместилось тут — и об этом тоже целые поколения не узнают правды?? — Повесть «Убиты под Москвой» безуспешно прошла несколько журналов и была напечатана в начале 63-го в «Новом мире» личным решением Твардовского. И концентрация такой уже 20 лет скрываемой правды вызвала бешеную атаку советской казенной критики — как у нас умели, на уничтожение. Имя Воробьева было затоптано — еще вперед на 12 лет, уже до его

смерти. Он жил эти годы со «вторым ножом в спине», в состоянии безысходности.

Да судьба одного ли Воробьева? Сколько талантливых и неведомых нам писателей мы потеряли и в боях той войны (мы знали только о потерях на видных журналистских должностях) — и в нечистой, вымарывающей обстановке советских издательств.

А Евгений Носов, на шесть лет моложе, со своих 19 лет был взят к противотанковым пушкам, всегда на переднем краю пехоты, под танковым огнем вчетвером-впятером управлялись с пушкой в тонну двести килограмм. И в те недели зимы на 1945, когда в Литве следователи еще терзали Воробьева, Носов не так вдали, в Восточной Пруссии, был тяжело ранен. И месяцы Победы, и самый день Победы встречал в госпитале. И обвершил военное четырехлетие рассказом «Красное вино Победы» — о госпитальной жизни, с мучительным тлением там израненных и обезрученных, в смутной неизвестности выздоровления или смерти.

А затем вся жизнь Носова полвека текла в переструйке с негромким течением послевоенной — и никогда уже не поднявшейся к силе — русской деревни. Таковы и обычные его нерезкие, «неслышные», задушевные рассказы. Иные из них я подробнее разобрал в «Новом мире» в прошлом году, лишь немногое повторю здесь.

В каждом рассказе Носова сюжет просочен затопляющим настроением, теплой любовью к людям, их обстоятельному быту и неутихающей привязанностью к природе. Ощущение часто сравнимо с ощущением от рассказов чеховских: как и малозначительный эпизод ласково высвечен, лучится от пропитанности теплотою. Немало и лирики, какой покорны все возрасты: тут — и затаенное ожидание молодой крестьянки; и первая любовная смута сельской старшеклассницы; и одинокость старого неудачника; и возбуждение детской души от весеннего паводка. Тут — и добродушные рассказы о природе — с благоговейностью к ее множественным силам и тайнам, доступным только внимчивому глазу, уху, обонянию, осязанию.

В рассказах Носова крестьянская жизнь — до того натуральная, будто не прошла через писательское перо. Крестьянское осмысленное понимание каждого бытийного хода, и поэзия ремесла, неизмышленная простая народность, самый тип народного восприятия. И десятилетиями Носов удержался, не давая

согнуть себя в заказную советскую казенщину. — Довел он деревенские картины и до страшного послесоветского состояния: доконечный колхозный развал; деревни, заросшие бурьяном,— знак последней гибели; даже мостики разворованы на дрова, а яблони жгут; беспомощные смерти, до лекаря не дотянуться; лег мужик отдохнуть на лугу — беспечный парень раздавил его трактором-мастодонтом, а старуху его слепую, потонувшую в невылазной дорожной грязи, чуть не застрелили приезжие горожане-охотники, приняли за кабана («Темная вода»).

К сельской теме в 60-х годах не раз обратился и Воробьев. Его юность, прожитая в деревне, дала ему многое оживить, и он свободен и естественен в сельском материале. Обо всем растущем, живущем и народном обиходе — у него и слова природные, и звучит непринужденный разговорный язык. Отметное достижение здесь,— правда о разоре русской деревни, повесть «Друг мой Момич», в которой автор сумел *изнутри* показать и раннесоветскую коммуну (всю мертвечину ее обряда и образа мысли — очень свежо); и закрытие церкви (священника заставили перед мужиками отрекаться от веры, разгром иконостаса); и — конокрад председателем сельсовета — начало раскулачивания, первые конвойные отгоны, сперва по паре выхватываемых, — при общем замирании села. Повесть написана с характерной для Воробьева четкостью эпизодов, языка, фраз и большой мерой в недосказанностях. В ней — десяток ярких весьма своеобразных фигур. Мужик-богатырь Максим Евграфович, а по кличке Момич — твердый, хозяйственный, мужественный и вместе с тем добродушный и сочувственный к слабым, — из лучших крестьянских образов в нашей литературе. Когда-то пойманный им конокрад и отпущенный — теперь, в буденовке, с милицией, приходит выгребать все его имущество, нажитое собственными неутомимыми руками. Момич, однако, с этапа уходит, обзаводится ружьем и скрывается в лесу, в землянке — непобедимый тип. А в войну — он и в партизанах.

К этой повести подтолкнула Воробьева невыносимая фальшь «Поднятой целины», с ее щукарским балаганом. И он отнес рукопись в «Новый мир», это было уже в 65-м году, кажется, приосвобожденное время? Никак нет, в самой благожелательной редакции он услышал: повесть имеет несостоятельную претензию сказать новое слово о коллективизации, это — ограниченность взгляда. Затем ее принимали в московском из-

дательстве — но набор велено было рассыпать. Это был — третий удар по автору, после которого он уже не оправился до своей тяжелой смерти. «Не могу представить себе дальше свою судьбу как писателя». Напечатали повесть только в 1988 году.

С наступлением гласности твердел и голос Носова. Теперь, но без всякого политического жара, несвойственного ему, свидетельствовал он и о советском обезумелом отступлении 41-го года, о поджигальщиках сена в стогах и немолоченого хлеба в копнах, обливателях керосином складской пшеницы — свое бросаемое население обрекающих на голод. И недосказанное прежде: штабеля мертвых красноармейцев в госпитальном дворе и свалку их сотнями в колхозные ямы из-под картофеля.

И, донося через 40 лет всю ту же военную тему, с горькой горечью всколыхивает Носов то, что больно и сегодня, что досталось никому уже не нужным ветеранам-фронтовикам, израненным, больным и нищим, когда невежественная молодежь высмеивает их боевые ордена, пренебрегает их терпеливой скромностью, чужа их воспоминаниям и датам.

Этой неразделенной скорбью замыкает Носов полувековую раму Великой войны и всего, что о ней не рассказано и сегодня.

Евгений Носов

осточтимые Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна! Уважаемые члены жюри! Дорогие гости высокого Собрания!

Вглядываясь в историю многострадальной Руси, невольно приходишь к мысли, будто нам, россиянам, досталась воистину роковая земля, подверженная постоянным социально-тектоническим катаклизмам. С незапамятных времен нас все время что-либо сотрясает— то извне, то изнутри, непременно случается то, что не дает ощутить надежную твердь под ногами, обрести желанное и устойчивое благоденствие, коим счастливо пользуются многие другие устроенные народы.

Я и сам приехал сюда из мест, где исстари пахали землю, положив меч и шелом в борозду, и где ветер часто тянул палом и плачем. Здесь, в Дикой степи, веками копился злой половецкий умысел. Здесь же потом забраживала великая российская смута, от которой и по сей день в Путивльском монастыре остался стоять походный трон Гришки Отрепьева. Отсюда, из-под Касторной, выплеснулась конноармейская лава самой кровавой братоубийственной гражданской войны. На этих же среднерусских холмах изогнулось огненной дугой самое ожесточенное противостояние Великой Отечественной... И по сей день там еще скрежещут под лемехом ржавые осколки, а по курганам белеют скорбные обелиски братских могил...

А великий передел земли с его кандальным перезвоном на российских владимирках?!

А ГУЛАГ — это запекшееся невыводимое клеймо, которое, как татуировка, навсегда останется на заново отброшюрованных страницах нашей истории.

Литературная газета, №19-20, 16-22 мая 2001 г.

Но и теперь, уже спустя порядочно лет с того дня, как мы принялись заново обустраивать наше существование, что-то не очень-то спокойно, надежно и уютно под общей российской крышей...

Но и то благо — нас минула гражданская междоусобица, ибо нет ничего страшней, кровавей и противонародней, чем зло этой неукротимой стихии. С ее вихрями вздымается все самое темное, самое несправедливое, самое мстительное и алчное, что с годами накапливается в обществе. Она, эта стихия, безрассудно рушит и величественные колоннады, и хрупкие судьбы людей, в неистовстве топчет прежние, надоевшие правды, обращаясь к новым, наспех придуманным правдоподобиям. И все это якобы во имя народа и во благо его. Но на самом деле во главе этих завихрений ума и совести нередко стоят затаенные властолюбцы, возбудители галлюцинирующего самомнения, а то и откровенные стяжатели и прохвосты.

Был предроковой момент, когда в окнах наших домов едва ли не высветились зловещие всплохи гражданской схватки. В громкоговорителях уже было загромыхал площадной мат, заклацали обтертые от смазки оружейные затворы. Неким воспаленным головам, самовозбужденным революционной психотропией, очень не терпелось поскорее подпалить фитиль, чтобы по столичным улицам и переулкам помчался багровый пузырящийся поток, неся в своих крововоротах детский башмак, плюшевого Винни-Пуха или резиновую пустышку.

К нашему всеобщему благу, нынешнее общество хотя и не удержалось в сплоченном единстве, но и не распалось на несовместимые половины, к чему некогда привели большевистские революционные химеры. Не произошло это потому, что за годы тотальной анемии примелькались и пообтрепались на ветрах времени сами путеуказующие постулаты. Общество, его конкретные человеческие массы, перемешиваясь в будничности сосуществования, со временем ослабили радикальность своих групповых идеологических символов. Как это, например, произошло во франкистской Испании, где непримиримость противостояния обрела предельную жесткость и вовлекла в соучастие глобальный классовый фанатизм. Надо думать, закон социальной усталости присущ всем эпохам и народам, всем общественным водоворотам. Видимо, мы тоже не исключение. Красное сознание от постоянного, ежедневного, ежечасного соприкос-

новения со все возрастающим инакомыслием просто устало, как устает даже всемогущая сталь, в которой ослабевает молекулярная сцепка. Господствующая идея поблекла, ее былая кичливая кумачовость заметно порозовела и даже в чем-то высветлилась покаянно.

Утрата власти большевиками возмездна и морально справедлива. Ибо они не только обманули свой народ, позвав, а вернее, погнав его в недостижимый коммунистический Эдем, но и сами предали свою идею, построив для себя отдельный, зазаборный раек с закрытыми распределителями благ здоровья, увеселений и сладострастия.

Поэтому идея нового перепаха общества, вертикальной смены его пластов вызревала не только в социальных напряжениях народного неблагополучия, но и в потаенных катакомбах самого деморализованного коммунизма.

Задача такого перепаха грандиозна и предельно ответственна. Тем не менее множественные попытки запустить историческое орало оказались несостоятельными. Перестроечный плуг, установленный гайдаровскими пахарями-самоучками на несоразмерную идиллическую глубину, сразу же завяз в слежалой толще общественного неустройства, перевитого корнями цепкой большевистской идеологии.

В общем, никто толком не знал, как сдвинуть Россию. В те пустопорожние дни в устроительной горячке много кричали, не слушая и перебивая друг друга, размахивали руками и замахивались микрофонами. Многим тогда казалось, что если сменить на улицах осовеченные указатели, убрать с пьедесталов соцреалистические изваяния, переменить Ленинград на Санкт-Петербург, а Калинин — на Тверь, вот тебе и вся демократия. Как говорится: дешево и без хлопот. А еще предполагалось почистить учрежденческие аппараты и прочие сферы влияния и воздействия по уже испытанному методу: «Наш — не наш», «Замаран в большевизме или не привлекался, не вступал».

Но получилось не столько дешево, сколь сердито. Устроители будто бы новой морали самосудно пустились метить крестами забвения чем-то непоказавшиеся имена, как, например, был предан анафеме много сделавший для кинематографа режиссер Сергей Бондарчук. Едва не вывели «на канаву» прекрасного актера Евгения Матвеева только за то, что он сыграл Нагульнова в пресловутой «Поднятой целине», а может, и за то,

что его брови оказались уж очень похожими на брови генсека Брежнева.

В хрестоматийных учебниках, составленных весьма и весьма тенденциозно, больше не называли Максима Горького, якобы вымаравшегося в большевизме, совершенно не давая разъяснений, что же делать с его монументальной драматургией, с такими классическими пьесами, как «На дне», «Васса Железнова», «Егор Булычов и другие», через которые прошли выдающиеся русские актеры.

Да и дивный Бунин представлен молодежи всего лишь раздраженными и не во всем справедливыми «Окаянными днями», тогда как за одно только «Легкое дыхание» я бы отдал всю современную новеллистику.

В элитных салонах ныне стало неприличным поминать кисть Репина, поскольку он своим якобы прямолинейным примитивом не способен что-либо противопоставить непостижимому «Черному квадрату» Казимира Малевича, тем паче тонкому и задушевному иррационализму Марка Шагала.

Подобную калибровку почувствовал на себе и я. Уже с первых дней нового порядка меня определили в состав «бывших», не отвечающих духу современности, хотя меня никак нельзя было упрекнуть в том, что я баловался соцреализмом и угодничал перед прежним режимом. Алексей Кондратович, ответсекретарь «Нового мира», в своем дневнике еще в 1966 году вспоминает, как его вызывали в Главлит по поводу моего рассказа «За долами, за лесами». Начальник Главлита, некий Аветисян, резюмировал: «В тридцать седьмом году вас бы посадили...» (сиречь и автора, и редактора).

Или вот такой курьезный случай: однажды мне позвонили из высокого аппаратного кресла и воодушевленно спросили: «Слушай, тут одна приличная вакансия открылась. Пойдешь главным редактором в журнал «Волга»? Ну как?» — «А никак!» — ответил я. «Это почему? Ты же рыбак, а там Волга-матушка. Красотища!» — «А мне не положено», — пояснил я. «Не понял?!!» — «Я же беспартийный...» В трубке помолчали, посопели и после некоторого раздумья ответили: «Ну, тогда извини...»

Так что с моей «кумачовостью» было все в порядке. И тем не менее меня поспешили вычеркнуть из прежних издательских планов, расторгли заключенные договоры и перекрыли радиоэфир для моих рассказов. Не стало столичных заинтересован-

ных звонков, опустел и почтовый ящик. Постепенно ветшая и изнашиваясь, мои прежние книги начали исчезать с библиотечных полок, которые больше не восполнялись, поскольку выход новых изданий был произвольно остановлен.

Я списался с Василием Беловым, и, оказывается, он пребывал в таком же мертвящем положении. Но у того хотя бы была видимая причина: когда-то он написал не совсем дальновидный роман о своей парижской поездке...

Я хожу вдоль рядов книжного сброса, выискивая знакомые имена. Вот сощуренно усмехается с обложки Анатолий Рыбаков, уже упокоившийся за океаном. А это добродушно растягивает до ушей свои подростковые губы Анатолий Алексин, тоже облюбовавший для творчества иные берега. У него в развале сразу аж четыре тома! Везет же человеку! А вот и новый кумир, Виктор Пелевин, один из романов которого начинается почти патологической строкой: «Утреннее солнце высветило каверны можжевельника». А можно и того круче: «Утреннее солнце высветило изъеденные геморроем корневища старого дуба...» Нам уже так не написать...

Ражий, постриженный под любера мужик, надзиравший торговлю, неприязненно осведомился:

— Чего надо?

— Да так, ничего особенного, — сказал я. — Просто ищу знакомых. Товарищей по перу...

— Чево-о?! — вызрелся он белоглазо. — Какие тебе товарищи?! А ну вали, не засть мне торговлю... — И тут же сипло, похмелисто заорал: — Есть русская матерщина в двух томах! Бабы, налетай! Лучший подарок мужику на день рождения! Есть матерщина...

Настроение от такого общения с книгой, разумеется, не ахти! Было острое ощущение конца света.

И вот однажды зимним заиндевелым днем вдруг раздается телефонный звонок, и в трубке совсем близко зазвучал неизвестный голос и в то же время удивительно узнаваемый по своей торопливой деловой тональности.

Этот голос я уже много и подолгу слушал, и он прочно запал в мою чувственную память всей своей неповторимой особливостью.

— С вами говорит Солженицын.

Это было так внезапно, так неподготовленно, что я, совершенно обескураженный, спросил нелепо и глупо:

— А вы откуда?

Говоривший не стал отвечать на мой оторопелый вопрос — откуда он, а сразу же объявил, что мне в паре с Константином Воробьевым присуждается известная всем премия за предстоящий год.

— Кстати, как вы себя чувствуете? Постарайтесь поберечь себя.

Голос еще что-то оповещал, но я, весь иссякший в самом начале ошеломляющего сообщения, больше ничего не воспринимал. В моем перевозбудившемся мозгу начало непроизвольно прорисовываться: якобы говоривший из-за оконной изморози и сам был одет в нечто белое, невнятное, и только плотная колодочка русой бороды отчетливо зрилась в рассеянной белизне. И почудилось мне, будто этот узнаваемый ручейно журчащий голос вдруг обрел твердость и решительность мессии совсем так, как в библейской притче о Лазаре.

— Отвалите камень! — прозвучало в моих ушах. А спустя время еще: — Развяжите его! Пусть идет!

Ради ощущения чуда я вынужден тут хронологически несколько сместить событийность и сообщу, что во исполнение воли мессии нашлись такие сподвижники, которые отвалили этот захоронный камень и освободили от усыпальных пут воскрешенного Лазаря.

Я с удовольствием называю их имена: это Леонид Фролов и Георгий Пряхин. Они совсем недавно издали мои книги «Вечерние стога» и «Журавлиный клин», которые выставлены здесь и которые можно полистать, как живую реальность.

Пришел момент низко, сердечно и благодарно поклониться дорогому Александру Исаевичу, воочию воплотившему это чудо о воскрешении Лазаря. А также всем его единомышленникам и соучредителям. Особую душевную признательность выражаю Наталье Дмитриевне Солженицыной — за ее жертвенное сподвижничество и удивительную человеческую доброту...

ОБ АВТОРЕ

Евгений Иванович Носов родился в 1925 году в с.Толмачево под Курском. Участник Великой Отечественной войны, служил артиллеристом противотанковой бригады, на подступах к Кенигсбергу был тяжело ранен. После войны работал художником-оформителем и литсотрудником в Казахстане, затем в Курске.

Окончил Высшие литературные курсы (1962). Избирался членом правления Союзов писателей СССР и России. Действительный член Академии российской словесности (1996). Герой Социалистического Труда (1990). Награжден двумя орденами Ленина, Отечественной войны, Красной Звезды и другими орденами и медалями. Гос. премия РСФСР им. А. М. Горького (1975), премии им. М. А. Шолохова, им. А. П. Платонова «Умное сердце», А. И. Солженицына и другие. Неоднократный лауреат ежегодных премий многих журналов и газет, Почетный гражданин Курска.

Произведения Е. И. Носова переведены на многие языки народов нашей страны и мира.

Жил и умер в 2002 году в Курске.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

МОСКВА, 25 апреля 2001 года

Носов, Евгений Иванович

Н 84 Памятная медаль : повести и рассказы / Евгений Носов. – М. : Русскій міръ : Моск. учеб., 2005. – 512 с. : портр. — (Литературная премия Александра Солженицына). – ISBN 5-89577-069-X

Агентство CIP РГБ

В книгу повестей и рассказов известного русского писателя, лауреата Государственной премии России Е. И. Носова вошли наряду с получившими мировое признание произведениями и малоизвестные широкому читателю, написанные в последние годы жизни автора.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Литературная премия Александра Солженицына

Евгений Иванович Носов

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ
Повести и рассказы

Ответственный за выпуск *В. Е. Волков*
Редактор *А. Т. Волобуев*
Художник *В. В. Покатов*
Технический редактор *Т. В. Покатов*
Корректор *Е. В. Феоктистова*
Операторы верстки *Т. Е. Постникова, Е. П. Селиванова*

Сдано в набор 10.06.2004. Подписано в печать 27.12.2004.
Формат 60×90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Печать офсетная. Печ. л. 32. Тираж 5000 экз. Заказ № 5732.

ЛР № 071422 от 07.04. 1997.
Издательство «Русскій міръ»
125438, Москва, Онежская ул., 13, корп. 2

Отпечатано в ОАО «Московские учебники и Картолитография»
125252, Москва, ул. Зорге, 15

ISBN 5-89577-069-X

9 785895 770696

Литературная премия Александра Солженицына учреждена Русским Общественным Фондом и вручается ежегодно с 1998 года. Ею награждаются писатели, живущие в России и пишущие на русском языке, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы. Кроме того, с 2002 года Премия присуждается за труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также за значимые действующие культурные проекты.

В книгах серии «Литературная премия Александра Солженицына», выпускаемой издательством «Русскій міръ», публикуются избранные сочинения лауреатов этой Премии.